

СТЭНЛИ КОЭН



## СОСТОЯНИЯ ОТРИЦАНИЯ

СОСУЩЕСТВОВАНИЕ  
С ЗВЕРСТВАМИ И СТРАДАНИЯМИ



# States of Denial



In memory of Stephanie



# States of Denial

---

Knowing about Atrocities  
and Suffering

*STANLEY COHEN*

Polity

Copyright © Stanley Cohen 2001

The right of Stanley Cohen to be identified as author of this work has been asserted in accordance with the Copyright, Designs and Patents Act 1988.

First published in 2001 by Polity Press in association with Blackwell Publishers, a Blackwell Publishing Company.

Reprinted 2001 (twice), 2002, 2005, 2008

Polity Press  
65 Bridge Street  
Cambridge CB2 1UR, UK

Polity Press  
350 Main Street  
Malden, MA 02148, USA

All rights reserved. Except for the quotation of short passages for the purposes of criticism and review, no part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior permission of the publisher.

Except in the United States of America, this book is sold subject to the condition that it shall not, by way of trade or otherwise, be lent, re-sold, hired out, or otherwise circulated without the publisher's prior consent in any form of binding or cover other than that in which it is published and without a similar condition including this condition being imposed on the subsequent purchaser.

ISBN 978-0-7456-1657-5  
ISBN 978-0-7456-2392-4 (pbk)

A catalogue record for this book is available from the British Library and has been applied for from the Library of Congress.

Typeset in 10 on 12 pt Palatino  
by Kolam Information Services Pvt. Ltd, Pondicherry  
Printed in the United States by Odyssey Press Inc., Gonic, New Hampshire

This book is printed on acid-free paper.



Ставим фильтр, закрываем глаза, отключаемся, не желаем знать, надеваем шоры, видим только то, что хотим видеть - все это формы «отрицания». Алкоголики, отказывающиеся признавать свою зависимость, люди, отмахивающиеся от подозрений в неверности партнера, жена, не замечающая, что муж издевается над их дочерью, все они находятся в состоянии «отрицания». Правительства отрицают свою ответственность за зверства и планируют их так, чтобы добиться «максимального отрицания». Комиссии по установлению истины пытаются преодолеть предание забвению и отрицание ужасов прошлого. Страны-наблюдатели отрицают свою ответственность за вмешательство.

Есть ли что-то общее у этих явлений? Отрицая что-либо, осознаем ли мы, что делаем, или это бессознательный защитный механизм, защищающий нас от нежелательной правды? Могут ли существовать культуры отрицания? Как такие организации, как Amnesty International и Oxfam, пытаются преодолеть очевидное равнодушие общества к страданиям и жестокости в далеких странах? Всегда ли отрицание так плохо, или же позитивные иллюзии нам нужны, чтобы сохранить здравомыслие?

«Состояния отрицания» – это первое всестороннее исследование личных и политических способов избежать или уклониться от неудобных реалий. Оно базируется на широком спектре материалов от клинических исследований депрессии до изображений страданий в СМИ, объяснений феномена «пассивного наблюдателя» и «усталости от сострадания». Книга показывает, как организованные злодеяния – Холокост и другие акты геноцида, пытки и политические убийства – отрицаются преступниками и сторонними наблюдателями, теми, кто стоит в стороне и ничего не делает.



Каждый из нас осознает в себе наличие отрицания, нашу потребность быть невиновным в беспокоящем признании.

Кристофер Боллас, *Быть персонажем*

У людей не помещался в сознании такой невообразимый ужас... и у них не хватало мужества противостоять ему. Можно жить в сумерках между знанием и незнанием.

В.А.Уиссерт'т Хофт, протестантский богослов, 1973  
(надпись на соборе памяти Холокоста).

Все националисты умеют не видеть сходства между аналогичными фактами. Националист не только не осуждает зверства, совершаемые его собственной стороной, но обладает замечательной способностью даже не слышать о них. В националистической мысли есть факты одновременно истинные и ложные, известные и неизвестные. Известный факт может быть столь непереносимым, что его привычно отодвигают в сторону и не берут в расчет; или, наоборот, его всегда учитывают, но он тем не менее никогда не признается за факт, даже мысленно. Каждого националиста неотступно преследует убеждение, что прошлое можно менять. Факты замалчивают, даты изменяют, цитаты вырывают из контекста и препарируют так, что смысл их совершенно меняется. События, которые, по мнению националистов, не должны были иметь места, не упоминаются, а в конце концов отрицаются полностью. Безразличие к объективной истине поощряется отгораживанием одной части мира от другой, из-за чего все труднее и труднее узнать, что происходит на самом деле. Если кто-то питает где-то в своем уме националистическую лояльность или ненависть, некоторые факты, хотя в известном смысле истинные, оказываются недопустимыми.

Джордж Оруэлл, *Заметки о национализме*.

Живописуя нам страданье,  
мастера старинные не ошибались,  
им была внятна без слов  
вся человеческая суть его,  
когда при нем же пьют, едят, идут себе куда-то...

Уистон Х.Оден, *Музей изобразительных искусств.*

Знать и не действовать – значит не знать.

Ван Ян Минь

# Предисловие

Мое самое давнее воспоминание, которое можно было бы назвать «политическим», связано с зимней ночью в Йоханнесбурге в середине 1950-х годов. Мне тогда было лет двенадцать или тринадцать. Мой отец отсутствовал дома уже в течение нескольких дней, разъезжая по делам. Подобно многим южноафриканским семьям среднего класса (особенно еврейским и деловым), мы нанимали в таких нечастых случаях ночного сторожа, чернокожего мужчину – в данном случае старого зулуса (я отчетливо помню деревянные диски в мочках его ушей), – предоставляемого частным охранным агентством. Перед сном я выглянул в окно и увидел, как он примостился у костра, потирая руки, чтобы согреться, и подняв воротник шинели цвета хаки. Уже устроившись в своей постели – на фланелевых простынях, согретых грелкой, под пышным одеялом на гагачьем пуху, привезенным бабушкой из Польши, – я вдруг задумался, почему он там, а я здесь.

Моя мама всегда говорила мне, что я «слишком чувствителен». Должно быть, это было моим преувеличенным, но еще не осознанным чувством не то чтобы вины – это появилось позже – но ощущением, что что-то не так в окружающем меня мире. Почему старик должен был провести всю ночь на холоде? Почему наша семья (и все, такие как мы) имела преимущества перед чернокожими мужчинами и женщинами (которых называли «мальчиками» и «девочками» или просто «туземцами»), служившими у нас в качестве домашней прислуги? Почему они ютились в крошечных комнатках на заднем дворе? Где их жены, мужья и дети? Почему ко мне обращались «хозяин»?

Я не помню, что почувствовал в тот момент прозрения. Оно наверняка не помешало мне заснуть. Но много позже, уже когда я начал с точки зрения социологии размышлять об апартеиде, привилегиях, несправедливости и расизме, я упорно возвращался к той или иной версии моего детского психологического беспокойства. Я воспринимал эту тревогу – и думаю, правильно – как результат

осознания того, что что-то в нашем мире глубоко неправильно, но также и осознания того, что я не могу жить в состоянии постоянного принятия этого убеждения. Абсолютно независимо от моей воли это осознание приходило или, что бывало чаще всего, забывалось. Могли быть недели и даже месяцы слепоты, амнезии и лунатизма. Политическое образование, позже названное «повышением сознания», сделало эти этапы менее частыми, как и должно быть.

Позже я начал задаваться еще одним вопросом, который до сих пор обсуждаю с людьми, выросшими в одних условиях со мной. Почему другие люди, даже те, что выросли в таких же как я семьях, школах и районах, кто читал те же газеты, ходил по тем же улицам, по-видимому, не «видели» того, что видели мы? Могли ли они жить в иначе воспринимаемой вселенной, где ужасы апартеида были незаметны, а физическое присутствие чернокожих ускользало от сознания? Или, возможно, они видели точно то же, что и мы, но им было просто безразлично, или они не видели в этом ничего плохого.

Моя последующая жизнь исследователя в области социологии увела меня в совершенно ином направлении, но мои детские вопросы не давали мне покоя. Я собирал и хранил всевозможные материалы - вырезки из газет, призывы общественных организаций о помощи голодающим, фотографии войн в африканской Биафре и азиатском Вьетнаме, цитаты, названия книг, обрывки разговоров. Моя тайная мечта заключалась в том, чтобы однажды объединить все это в нечто, что я претенциозно назвал «социологией отрицания». Тема, если не претензия, остается прежней: что мы делаем с нашим знанием о страданиях других и что это знание делает с нами?

Казалось само собой разумеющимся, что обычной - возможно, универсальной или даже «естественной» - реакцией является блокирование, отключение или подавление этой тревожащей информации. Люди реагируют так, как будто они не знают того, что в действительности знают. Или же информация регистрируется - нет попытки отрицать факты - но ее последствия игнорируются. Люди кажутся апатичными, пассивными, равнодушными и невосприимчивыми, и они находят удобные объяснения, чтобы оправдать себя. Я настойчиво употреблял термин «отрицание», чтобы охватить весь этот диапазон явлений. Мне никак не

удавалось подобрать замену этому слову, хотя его концептуальная двусмысленность была вопиюще очевидна.

Меня не до конца удовлетворял и термин, который я принимал как противоположность отрицанию: «признание». Это то, что «должно» происходить, когда люди активно возбуждаются – думая, чувствуя или действуя – поступающей информацией. Они адекватно реагируют в психологическом и моральном плане на то, что им становится известно. Они видят проблему, что требует их внимания; они расстраиваются или злятся, выражают сочувствие и сострадание; и они что-то делают: вмешиваются, помогают, принимают чью-то сторону.

Поначалу мои ранние южноафриканские вопросы тянули меня только в сторону политическую: страдания, вызванные несправедливостью, расизмом и репрессиями. Позже я стал больше думать о личностных и семейных утратах. Контраст между отрицанием и признанием, казалось, проявлялся повсюду – на улицах, в обращениях благотворительных организаций, организаций поддержки развития или борьбы за права человека, в средствах массовой информации. Даже мои академические предметы – девиантность, преступность, социальный контроль, наказание – стали актуальными в этом плане.

К тому времени моя одержимость проявилась с неожиданной стороны. В 1980 году я вместе с семьей переехал из Англии в Израиль. Однако, мой винтажный радикализм шестидесятых сделал меня совершенно неподготовленным к этому шагу. Почти двадцать лет в Британии мало что изменили в тех наивных представлениях, которые я усвоил, взрослея в сионистском молодежном движении Южной Африки. Вскоре, однако, стало очевидным, что Израиль совсем не такой, каким я его воображал. Ко времени вторжения израильтян в Ливан в 1982 году я уже разочаровался в либеральном движении за мир, к которому, как мне казалось, принадлежал. Я оказался среди тех, кого в израильских терминах называли «крайне левыми» – радикалами среди радикалов.

Я также стал заниматься вопросами нарушения прав человека, особенно пытками. В 1990 году я начал сотрудничать с Дафной Голан, директором по исследованиям израильской правозащитной организации «Бецелем» (B'Tselem) в исследовательском

проекте по заявлениям о пытках палестинских заключенных. Наши доказательства повседневного использования насильственных и незаконных методов допроса подтверждались различными и многочисленными источниками. Но нас тут же погрузили в политику отрицания. Официальная и мейнстримная реакция была враждебной: от прямого отрицания (такого не бывает) и дискредитации (правозащитная организация является предвзятой, манипулируемой или доверчивой) до подмены понятий (да, что-то происходит, но это не пытки) и неприкрытого оправдания (во всяком случае, оно было морально оправдано). Либералы были встревожены и выражали озабоченность. Но реального возмущения не было. Вскоре послышались даже одобрительные отзывы. Дескать, злоупотребления были продиктованы сложившейся ситуацией; ничего иного нельзя было сделать, пока не найдено политическое решение; что-то вроде пыток иногда может быть даже необходимо; в любом случае, мы не хотим, чтобы нам постоянно об этом напоминали.

Это мнимое умиротворение казалось трудно объяснимым. Доклад имел огромный резонанс в СМИ: были широко воспроизведены схематические рисунки стандартных методов пыток, а табуированная тема стала обсуждаться открыто. Однако очень скоро всеобщая благодать вернулась. Более того, само то, что пытки не попали в новости, уже не становилось новостью. Нечто, существование которого невозможно было признать, теперь считалось не стоящим обсуждения.

Было что-то вроде негласного заговора молчания (или демонстративного игнорирования?) по отношению ко всей теме. Тысячи израильтян и туристов каждый день ходят по главной улице Иерусалима, Яффо-роуд, в двух шагах от которой, в Русском подворье, находится «Москобия», тюрьма и следственный изолятор. Они были хорошо известны как место, где содержались задержанные палестинцы, где их допрашивали и подвергали пыткам сотрудники Шабак, Службы общей безопасности. 22 апреля 1995 года подозреваемый палестинец Абед ас-Самад Харизат потерял сознание после пятнадцати часов допроса. Через три дня он скончался в больнице, не приходя в сознание. Харизату буквально не давали покоя до самой смерти – трясли за воротник рубашки в



попытках добиться какой-нибудь реакции. Израильский адвокат, действовавший от имени семьи, ходатайствовал о признании этих действий незаконными. Нет, постановил Верховный суд, встряска – это нормально.

Пешеходы проходили всего в нескольких метрах от тюремных камер, где это произошло. На улице и в переполненных окрестных кафе (в которых сидят полицейские и сотрудники Шабак) не было заметно ничего из ряда вон выходящего. На следующий день после решения Верховного суда я услышал, как двое пассажиров автобуса между прочим спорили о том, что на самом деле юристы имели в виду под словом «tilltulim», еврейским словом, означающим «трясти».

Это было время интифады – палестинского гражданского восстания, которое началось в 1987 году, после двадцати лет военной оккупации. Телевизионный мир следил за ответом Израиля: избиениями, пытками, ежедневными унижениями, неспровоцированными убийствами, комендантским часом, сносом домов, задержаниями без суда, депортациями и коллективными наказаниями. Израиль был критически упомянут в международных сводках о зверствах, таких как годовой отчет Amnesty International. Но по сравнению с другими странами, в которых процветает цензура, Израиль кажется раем демократии и верховенства закона. Активные правозащитные организации и независимые журналисты в критическом плане освещают происходящее. Эта доступная публике информация может быть проверена и подтверждена личными наблюдениями. Почти у каждого израильтянина есть собственный опыт, прямой или косвенный, службы в армии. Солдаты – не наемники и не призывники из низших слоев населения. Каждый гражданин без исключения служит сам или имеет мужа, сына, наконец, соседа, находящихся в запасе. Очень немногие из них держат в секрете обстоятельства своей службы, не рассказывают о ней.

Однако даже либералы не отреагировали так, как они «должны были бы». Мне все время хотелось спросить: «Разве ты не знаешь, что происходит?». Нет сомнений, знали. Я с очевидностью обнаружил в этом еще одну форму отрицания – не грубую ложь циничных апологетов, а хитрую недобросовестность людей, пытаю-

щихся выглядеть невинными, просто ни на что не обращая внимания. Оставался ли шанс привлечь их внимание с помощью еще одного отчета, пресс-релиза, статьи или документального фильма, мотивированных нашей трогательной верой в то, что «если бы они только знали»? Едва ли. Информация была получена, но не «зарегистрирована» или (лучшее клише) не «усвоена». Она внедрилась в сознание, не изменив, однако, ни политики, ни общественного мнения. Был ли какой-то глубокий изъян в том, каким образом мы пытались донести наше сообщение до общественности? Или существовал ли момент, когда простое накопление большего количества даже более качественной информации уже не имело никакого значения?

Можно было бы сделать предположение об уникальности, замкнутости ситуации, заявить, что эта проблема уникальна, потому что Израиль уникален и ужасен. К счастью, наши единомышленники из международного правозащитного сообщества напомнили нам, что проблема носит глобальный характер. Они внимательно изучали информацию, циркулирующую в международном медийном пространстве. Например, как публика в Северной Америке или Западной Европе отреагировала на сообщения о зверствах в Восточном Тиморе, Уганде или Гватемале? Я представил себе милую пару лет по тридцать, сидящую за завтраком с кофе и круассанами в Нью-Йорке, Лондоне, Париже или Торонто. Они берут утреннюю газету: «Еще одна тысяча тутси убита в Руанде». В почте два тревожащих письма, одно от Международной организации по борьбе с голодом: «Пока вы завтракаете, в Сомали еще десять детей умрут от голода», и одно от Amnesty International: «Пока вы обедаете, восемь беспризорников убиты в Бразилии». Как эти «новости» воздействуют на них, и как они реагируют на новости? Что приходит им в голову? Что они говорят друг другу?

Я вернулся к предмету своих первоначальных интересов: реакциям на нежелательные знания, особенно о страданиях, причиняемых людьми друг другу. Что люди имеют в виду, когда говорят, что с этими зверствами нужно что-то делать? Для правительств это предполагает «вмешательство» в расплывчатом смысле, который используется в недавних рассуждениях о Боснии, Ираке, Заире, Руанде, Косово или Сомали. Для обычной публики – предмету

моего реального интереса – это означает сочувствие, ответственность и действие: сделать пожертвование, бойкотировать продукт, вступить в организацию, принять узника совести, подписать петицию, присоединиться к демонстрации. То есть, «признание», а не отрицание.

А затем вопросы «социологии отрицания» вновь оказались на втором плане. В 1992 году, благодаря гранту Фонда Форда, я приступил к изучению того, как передается информация о нарушениях прав человека. В центре внимания были международные организации, базирующиеся либо в Соединенных Штатах, либо в Великобритании, и особенно Amnesty International, единственная, пытающаяся донести свою информацию до широкой публики. Я также обратил внимание на благотворительные организации и организации помощи и развития; на группы исследования рынка и рекламные компании в секторе общественных интересов; а также на традиционные и альтернативные медиа-организации. Моими источниками были как публичные отчеты, пресс-релизы, агитационные материалы, рекламные объявления, прямая почтовая рассылка и освещение в СМИ, так и личные встречи, и конференции; а также интервью примерно с пятьюдесятью сотрудниками организаций, действующих в области прав человека и поддержки развития, и двадцатью журналистами. В 1995 году результаты этого исследования были опубликованы в виде отчета<sup>1</sup>.

Освободившись, наконец, от нескончаемых требований политики и практики, я вернулся в безопасный мир теории и исследований. Начал я с Фрейда и его психологических теорий отрицания, а затем перешел к темам, где использовалась эта концепция – будь то СПИД, бездомность или глобальное потепление. Между тем пустые слова «в отрицание» стали частью массовой культуры. Не только отдельные люди, но и целые общества скатываются к отрицанию всего.

Затем я погрузился в изучение Холокоста и соответствующей литературы. Развиваемая мной концепция (почти наверняка ошибочная) должна была убеждать в том, что если вы хотя бы

---

<sup>1</sup> Stanley Cohen, *The Impact of Information about Human Rights Violations: Denial and Acknowledgement* (Jerusalem: Centre of Human Rights, Hebrew University, 1995).

попытаетесь понять что-либо, то сможете понять что угодно. В этот период я очень много читал о геноциде, массовых убийствах и пытках, смотрел фильмы о человеческих страданиях. Моя идея (конечно же, ошибочная) состояла в том, что если я увижу больше изображений страданий, то это поможет мне максимально приблизиться к их пониманию.

В результате получилось не совсем то, на что я рассчитывал. Во-первых, хотя я оставался социологом, язык психологии оказался для меня более естественным. Кому-то другому придется написать политическую экономию отрицания. Во-вторых, хотя я намеревался сосредоточиться только на наблюдателях (свидетелях), мне регулярно приходилось обращаться к отрицаниям, демонстрируемым преступниками и их жертвами. В-третьих, я обнаружил, что слишком много внимания уделяю израильским событиям. И не потому, что они особенно ужасны, а потому, что я прожил там целых восемнадцать лет, тесно переплетенных с ними.

«Средние читатели», к которым я обращаюсь – это в основном этноцентрические, культурно-империалистические «мы» - образованные и благополучные люди, живущие в стабильных обществах. Конечно, мы совершаем какие-то поступки в пределах нашей «сферы», но в основном мы наблюдаем за далекими от нас местами вне нее, в бедных, нестабильных и жестоких регионах, о которых сообщают в новостях именно из-за их повышенной жестокости и многочисленных страданий, или за странами, где хунты, беженцы, эскадроны смерти и голод никогда не становятся частью нашей повседневности, оставаясь лишь достаточно абстрактной памятью. Но они живут, создают свою действительность и оказывают сопротивление; они не просто абстрактные жертвы, которые упоминаются на страницах моих текстов. К тому же и у «нас» есть свое уродливое настоящее и прошлое, свои непризнанные социальные проблемы.

Я уделяю в книге максимум внимания зверствам и агентствам по правам человека, но не забываю при этом рассматривать проблемы, которыми занимаются агентства по оказанию помощи, реальной помощи в здравоохранении или поддержке развития, и которые теперь включены в понятие

«социальные страдания»<sup>2</sup>. Если не указано иное, я использую общий термин «гуманитарный» для обозначения всех этих организаций. За исключением психологических теорий (глава 2) и исследований (глава 3), я старался избегать необязательных академических цитат. Но повсюду я стараюсь использовать возможность максимально педагогического изложения, как бы создавая учебник для воображаемого курса социологии отрицания.

С.К.

---

<sup>2</sup> Arthur Kleinman et al. (eds), *Social Suffering* (Berkeley: University of California Press, 1997).

## Благодарности

Я уже писал выше, в предисловии, что этот проект видоизменялся по мере его выполнения. Я благодарен многим людям за то, что они так щедро помогали мне в его реализации. В разделе «Благодарности» моего отчета 1995 года «Влияние информации о нарушениях прав человека» перечислены все сотрудники и организации, с которыми я работал в предшествовавшие два года. Но я считаю необходимым еще раз поблагодарить всех их. Вновь хочу отметить Дэна Джонса, Карен Шерлок и сотрудников Британского отделения Amnesty International за их непоколебимый энтузиазм, а также моих друзей из Медицинского фонда помощи жертвам пыток.

Этот проект финансировался в виде гранта Программы международных отношений Фонда Форда. Тогдашний программный директор Фонда Марго Пикен не только формально курировала его, но и всячески поддерживала, помогала и ободряла меня. Такой она остается и сегодня – неизменно вовлеченной. Как и Эмма Плейфейр, друг, которая ввела меня (через Рамаллах) в международное правозащитное сообщество. Марго и Эмма мотивировали меня двигаться, действовать и думать. Я также благодарен моим новым друзьям из Международного совета по политике в области прав человека.

Работа с моими молодыми коллегами, Джози Глаузиуш за год до написания первоначального отчета и Кейт Стюард за год до того, как я закончил эту книгу, была в высшей степени эффективной. Оба оказывали мне необходимую помощь, собрав и предоставив даже слишком много материала. Спасибо также Брайди Бетелл, Меган Комфорт, Ребекке Фасмер, Шэрон Шалев, Энди Уилсону и другим моим аспирантам Лондонской школы экономики за случаи срочной помощи, помощи с моей нагрузкой и постоянный энтузиазм.

Я благодарен за мотивацию и товарищество со стороны всех моих друзей в израильском и палестинском сообществах по правам человека и миру. Благодаря этой работе я познакомился с Дафной Голан, которая на протяжении десяти лет была моим близким другом и коллегой и помогала мне в реализации многих замыслов,

связанных с этой книгой. Спасибо ей за все это. Благодаря моей работе в Лондоне мне посчастливилось познакомиться с Бруной Сеу. Она ознакомила меня с основами психологии отрицания, а также помогла мне в трудные времена. Ее советы и энтузиазм были неоценимы.

Многие друзья помогали мне в эти годы, всегда смешивая личное с интеллектуальным. Особая благодарность Джуди Бланк, Нильсу Кристи, Колин Ковингтон, Морису Гринбергу, Барбаре Колтув, Адаму и Джессике Купер, Кэти Ластер, Харви Молотчу, Эвели Шленски, Радже Шахаде и Пенни Джонсон, Селии Шустерман, Лори Тейлор, Рут Тауз и Эндрю фон Хиршу. Я также глубоко признателен Ноаму Хомскому. В моем новом академическом доме, Лондонской школе экономики, особая благодарность Тони Гидденсу, моим старым друзьям Дэвиду Даунсу и Полу Року, а также многим новым друзьям, особенно Аманде Гудолл, Николе Лейси и Ричарду Сеннету.

Моя жена Руфь (ее терпение я испытывал больше, чем когда-либо), мои дочери Джудит (и муж Чанан) и Джессика (и муж Адам) и мой брат Робин (и его жена Селина) всегда были для меня больше, чем семьей. Они знают, как я им благодарен. Лия и Йонатан, мои дорогие внуки, напомнили мне, что мир – это не книга.

Издатели выражают благодарность за разрешение использовать материалы, защищенные авторским правом:

Faber and Faber Ltd и Random House, Inc. за фрагменты из W. H. Auden, «Musée des Beaux Arts» из Collected Poems by W. H. Auden. Copyright © 1940, новое издание 1968 года;

A. M. Heath Ltd on behalf of Bill Hamilton as the Literary Executor of the Estate of the Late Sonia Brownell Orwell and Harcourt, Inc. for excerpts from George Orwell, 'Notes on Nationalism' in Such, Such Were The Joys by George Orwell. Copyright ©1953 by Sonia Brownell Orwell, renewed 1981 by Mrs George K. Perutz, Mrs Miriam Gross and Dr Michael Dickson, Executors of the Estate of Sonia Brownell Orwell;

The Random House Group Ltd за фрагменты из Don McCullin, Unreasonable Behaviour, Vintage (1992) pp. 123–4;

Routledge and Pantheon Books, подразделение Random House, Inc, за цитирование R. D. Laing, Knots, Tavistock (1970), copyright ©1970 R. D. Laing.

Издатели предприняли все возможные усилия, чтобы отследить владельцев авторских прав, но, если кто-то из них был непреднамеренно упущен из виду, мы будем рады принять необходимые меры при первой же возможности.



# Элементарные Формы Отрицания

Одна общая черта объединяет множество различных ситуаций отрицания: люди, организации, правительства или целые общества в тот или иной момент получают информацию, которая настолько тревожна, угрожающа или аномальна, что ее невозможно полностью принять или открыто признать. Такая информация каким-либо образом корректируется, дезавуируется, полностью отвергается или интерпретируется по-новому. Или же информация «регистрируется» достаточно адекватно, но ее последствия, когнитивные, эмоциональные или моральные, игнорируются, нейтрализуются или банализируются.

Рассмотрим следующие общие выражения и фразы:

Закрывая глаза.

Зарывая голову в песок.

Она увидела то, что хотела увидеть.

Он услышал только то, что хотел услышать.

Незнание – это блаженство.

Жизнь во лжи.

Заговор молчания.

Экономически оправданный.

Это не имеет никакого отношения ко мне.

Не поднимай волну.

Они были типичными пассивными наблюдателями.

Я ничего не могу с этим поделать.

Быть как страус.

Я не могу поверить, что это происходит.

Я не хочу больше знать/слышать/видеть.

Все общество не принимало это.

Это не может случиться с такими людьми, как мы.

Намеченный план требовал максимального отрицания.

Отвести взгляд.  
 Ношение шор.  
 Он не смог до конца осознать новости.  
 Умышленное невежество.  
 Она смотрела в другую сторону.  
 Он не признался в этом даже самому себе.  
 Не выноси сор из избы.  
 Это случилось не при мне.  
 Я узнал бы в свое время.

Теперь представим следующие ситуации.

Экран телевизора пестрит изображениями человеческих страданий, лиц, искаженных агонией и отчаянием. Бесследно исчезнувшие беженцы, голодающие дети, трупы в реках. Иногда мы принимаем вполне сознательное решение избегать подобной информации. Часто мы не осознаем, как много мы впускаем в свое сознание или, напротив, как много отвергаем. Иногда мы впитываем всю информацию, но чувствуем себя бессильными и беспомощными, а следовательно, остаемся пассивными: «Я ничего не могу с этим поделать». Или мы начинаем чувствовать злость и обиду: ну вот, еще одно требование, еще один навязчивый, вызывающий чувство вины упрек – как в случае с посланием Ассамблеи Организации Объединенных Наций: «Сегодня в мире насчитывается более 18 миллионов беженцев, спасающихся от преследований, изнасилований, пыток и войн в Африке и Азии, Южной Америке и теперь здесь, в Европе. Вы можете закрыть глаза, заткнуть уши, отключить разум, запереть двери, закрыть границы. Или вы можете открыть свое сердце».

- В период с 1915 по 1917 год около одного с четвертью миллиона армян были убиты турецкой армией или погибли во время насильственного изгнания. Эти события были тщательно зафиксированы в официальных документах, рассказах выживших, свидетельских показаниях и исторических исследованиях. Вскоре после этого независимые наблюдатели безоговорочно приняли основные детали. Но в течение восьмидесяти лет сменявшие друг друга турецкие правительства последовательно отрицали ответственность за геноцид и массовые убийства или любые преднамеренные

убийства. Большинство других стран, особенно США и союзники Турции по НАТО, вступили в сговор с ними в этом стирании прошлого.

- Население городков, которые окружали Маутхаузен, концлагерь смерти в Австрии с 1942 по 1945 год, сорок лет спустя было опрошено американским историком Гордоном Хорвицем. Многие жители утверждали, что хоть и видели дым от печей и до них доходили слухи о предназначении лагеря, но толком они не были в курсе того, что там происходит. В то время они не задавали слишком много вопросов и не могли «сложить воедино» имеющуюся у них информацию. Хорвиц пишет о реакции жителей одной из деревень: «Они никогда даже не пытались узнать о том, что происходило. Имеет место не категорическое отрицание существования лагерей, а лишь безразличие к их существованию в прошлом. В подобных случаях нельзя говорить о забывчивости, ибо невозможно забыть то, что никогда не пытались узнать»<sup>1</sup>.
- Однажды в 1964 году ночью в Нью-Йорке женщина по имени Китти Дженовезе подверглась разбойному нападению на улице прямо перед своим домом. Нападавший издевался над ней в течение сорока минут, пока она, избитая и истекающая кровью, из последних сил пыталась добраться до своей квартиры. Ее крики и призывы о помощи слышали не менее тридцати восьми соседей, видевших, что происходит, или слышавших шум борьбы. Но ни один из них не оказал никакой помощи, ни вмешавшись напрямую, ни хотя бы позвонив в полицию. Это событие все еще обсуждается и анализируется спустя тридцать пять лет<sup>2</sup>. Социальные психологи скрупулезно изучили «эффект пассивного наблюдателя», опубликовав более 600 исследований в академических журналах. Были проанализированы все мыслимые факторы – как в реальных жизненных ситуациях, так и в смоделированных лабораторных условиях –

---

<sup>1</sup> Gordon J. Horwitz, *In the Shadow of Death: Living Outside the Gates of Mauthausen* (London: I. B. Tauris, 1991), 178.

<sup>2</sup> В 1999 году оригинальная статья из *New York Times* была перепечатана в книге: A. M. Rosenthal, *Thirty-Eight Witnesses: The Kitty Genovese Case* (Berkeley: University of California Press, 1999).

чтобы понять, как работает «эффект свидетеля» и как можно противодействовать пассивности.

- Газетное объявление размером в целую полосу, опубликованное британской Amnesty International, представляет собой фотографию мусульманки, кричащей от горя. Изображение окружено коллажем из слов: *обезглавлены, массовые убийства, изуродованы, сожжены заживо, младенцы сброшены с балконов, выпотрошены беременные женщины*. Текст начинается так: «Нет слов – совсем нет слов – чтобы выразить то, что чувствует эта алжирская женщина»: ее ребенок разбился насмерть, ее маленькая дочь зарезана, голова ее матери валяется в пыли. Но оказывается, *слова теряют силу*: «Шокирующие заголовки нас больше не задевают. Мы не тронуты, мы возмущаемся, что нами манипулируют. Опыт говорит, что вы прочитаете такую страницу, перевернете ее и забудете, потому что именно так вы, как и все мы, научились справляться с назойливой рекламой».

Это примеры некоторых из многих состояний, охватываемых моим кодовым словом «отрицание». Это не сформулированный психологический «механизм» и не универсальный социальный процесс. В этой главе просто классифицируются способы использования концепции отрицания. Рискую повториться, я также обращаюсь к последующим темам всей книги, но описываю их кратко, без слишком большого количества примечаний, отступлений, теорий и академических ссылок, которые появятся в последующих главах.

## Психологический статус: сознательно или бессознательно?

Отрицание – это утверждение, что что-то не произошло, не существует, не соответствует действительности или что о чем-то неизвестно. Есть три возможности для таких утверждений быть истинными. Первая и самая простая состоит в том, что утверждения эти действительно верны, обоснованы и правильны.

Очевидно, существует множество случаев, когда отдельные лица, организации или правительства имеют полное право утверждать, что событие не имело места вовсе, или произошло не так, как

задумывалось, или что оно могло произойти, но без их ведома. Эти опровержения являются простой констатацией фактов, сделанной добросовестно. Доказательства и контрдоказательства могут быть представлены публике, утверждения могут быть проверены, измышления разоблачены, представлены разумные стандарты доказательств.

Даже без сегодняшнего постмодернистского скептицизма в отношении объективности знания эти игры в правду весьма изменчивы. Возможно, действительно непросто выявить правду о зверствах в запутанной цепи заявлений и встречных заявлений, выдвинутых правительствами, их критиками из лагеря защитников прав человека и оппозиционными силами. Демонстранты ли первыми применили насилие или полиция? Это действительно была попытка или «интенсивный», но законный допрос? Еще труднее представить юридические обоснованные доказательства и зачастую практически невозможно установить ответственных за событие. Более того, утверждения об отрицании могут быть сделаны совершенно добросовестно. Это в равной степени справедливо как для правительств («резни не было»), так и для отдельных лиц («ничего не видел»).

Вторая возможность также логически проста, хотя ее труднее идентифицировать. Это умышленное, преднамеренное и осознанное заявление, предназначенное для обмана, то есть несомненная ложь. Истина ясна и известна, но по многим причинам – личным или общеполитическим, оправданным или неоправданным – ее скрывают. Отрицание является обдуманым и преднамеренным. На индивидуальном уровне для этого достаточно нескольких общих слов (ложь, сокрытие, обман). На организованном уровне (возможно, именно тем указывая на распространение лжи в общественной жизни) в ходу больше терминов: пропаганда, дезинформация, обеление, манипуляция, раскрутка, мошенничество, сокрытие. Таковы стандартные ответы на обвинения в зверствах, коррупции или нарушениях законов общества. В отсутствие действенных гарантий того, что правительство обязано говорить правду, в то время как все остальные могут быть предвзяты, ненадежны или могут лгать, большинство из нас предполагает, что большинство подобных официальных опровержений действительно являются ложью. Другой формой сознательного отрицания является преднамеренное решение избегать определенной неприятной информации.

Немыслимо жить в состоянии постоянного осознания факта, что тысячи детей ежедневно умирают от голода или умирают от легко поддающихся профилактике и излечимых болезней. Поэтому мы принимаем осознанное решение отключить источники подобной информации. Это все равно, что ходить только по определенным улицам, чтобы ни в коем случае не видеть на других бездомных попрошаек.

Однако иногда мы не полностью осознаем, что отгораживаемся или ставим блок. Это третий набор возможностей, который не так просто описать. Отрицание может быть не связано ни с правдой, ни с преднамеренной ложью. Утверждение это не до конца детализировано, да и степень «знания» об истине не совсем ясна. Повидимому, существуют состояния индивидуального ума или даже целые массовые культуры, находясь в которых, мы одновременно и знаем, и не знаем. Возможно, так было и с теми сельчанами, которые жили вокруг концлагеря? Или с матерью, которая не знает, что ее муж делает с их дочерью?

Сложная психология отрицания – это тема моей следующей главы. Самая известная психологическая теория – достаточно известная, чтобы войти в обыденное употребление, хотя в некотором смысле и самая крайняя – берет свое начало в психоанализе. Отрицание там понимается как бессознательный защитный механизм, помогающий справиться с чувством вины, тревогой и другими будоражающими эмоциями, вызванными реальностью. Психика блокирует информацию, которая буквально невыносима или невыносима. Бессознательно воздвигается барьер, затрудняющий мысли достичь осознанного знания. Информация и воспоминания перенаправляются в обычно недоступную область разума.

Может ли это действительно происходить без какого-либо сознательного ментального усилия – на неизведанной территории между сознательным выбором и бессознательной защитой? Является ли это нормальным подавлением фонового шума, позволяющим сосредоточить внимание на более важных вещах, или это защита от угрожающего персоне восприятия? И является ли отрицание злокачественным (как в случае с группами высокого риска заражения ВИЧ, отрицающими свою уязвимость) или доброкачественным (как ложные надежды, которые позволяют неизлечимо больным пациентам продолжать жить)? Психология

реакции «закрывать глаза» или «смотреть в другую сторону» – сложная материя. Эти фразы подразумевают, что у нас есть доступ к реальности, но мы предпочитаем игнорировать ее, потому что так нам удобно. Это может быть простая нечестность: информация доступна и зарегистрирована, но приводит к выводу, от которого сознательно уклоняются. Однако «знание» может быть гораздо более двусмысленным. Мы смутно осознаем, что решили игнорировать факты, но не совсем осознаем, от чего именно мы уклоняемся. Мы знаем, но в то же время не знаем.

Политические отголоски этих настроений можно найти в тотальном отрицании, столь характерном для репрессивных, расистских и колониальных государств. Доминирующие группы кажутся сверхъестественно способными не замечать или игнорировать несправедливость и страдания, окружающие их. В более демократичных обществах люди закрывают глаза не по принуждению, а по культурным привычкам, игнорируя видимые напоминания о бездомности, лишениях, бедности и городском упадке. Знания о зверствах в отдаленных местах еще легче сделать невидимыми: «Я просто выключаю новости по телевидению, когда показывают эти трупы в Руанде».

Отрицание также изучается с точки зрения когнитивной психологии и теории принятия решений. Такой подход подчеркивает естественные начала процесса, но преуменьшает его эмоциональную составляющую. Отрицание – высокоскоростной когнитивный механизм обработки информации, подобный компьютерной команде «удалить», а не «сохранить». Но это приводит к парадоксу отрицания. Чтобы использовать термин «отрицание» для описания заявления человека «я не знал», необходимо предположить, что он знал или знает о том, что он утверждает, как о неизвестном ему, в противном случае термин «отрицание» неуместен. Строго говоря, это и есть единственное правомерное использование термина «отрицание».

Специалисты в области когнитивной психологии используют язык и методы теории обработки информации, мониторинга, избирательного восприятия, фильтрации и концентрации внимания, чтобы понять, как мы замечаем что-либо и одновременно не замечаем его. Некоторые даже предлагают в качестве модели неврологический феномен «слепого зрения»: одна часть разума может точно знать, что она делает, в то время как часть, которая знает

только предположительно, не замечает этого. Очевидно, что информация отбирается в соответствии с уже укоренившимися стандартами восприятия, а слишком угрожающая информация полностью исключается. Разум каким-то образом схватывает смысл того, что происходит, и без промедления приводит в действие защитный фильтр. Информация канализируется в своеобразную «черную дыру разума» – слепую зону заблокированного внимания и самообмана. Таким образом, внимание отвлекается от фактов или их значения – отсюда возникает «необходимая жизненная ложь», поддерживаемая членами семьи о физическом насилии, инцесте, сексуальном насилии, прелюбодеянии и несчастье. Ложь остается невыявленной, прикрытой семейным молчанием, алиби и заговорами<sup>3</sup>.

И так не только в семьях. Государственная бюрократия, политические партии, профессиональные ассоциации, религии, армия и полиция – все они имеют свои собственные формы сокрытия и лжи. Такое коллективное отрицание возможно вследствие существования профессиональной этики, традиций лояльности и секретности, корпоративной взаимовыручки или кодексов молчания. Поддерживаются мифы, препятствующие тому, чтобы посторонние узнали компрометирующую информацию; существуют негласные договоренности о согласованном или стратегическом неведении. Порой очень удобно не знать точно, что делают ваши начальники или подчиненные.

Это звучит подобно философскому интересу к самопознанию и самообману, особенно к знаменитому понятию «недобросовестности». Для Сартра, вопреки психоаналитической теории, отрицание всегда сознательно. Самообман относится именно к сокрытию от самих себя правды, которая может создать неудобства. Сартр высмеивает теорию о том, что это происходит благодаря бессознательному механизму, поддерживающему двойственность между обманщиком и обманутым. Его альтернатива, «недобросовестность», представляет собой форму отрицания, которую разум сознательно направляет на себя. Но как вы лжете себе? Как можно знать и не знать одно и то же одновременно?

---

<sup>3</sup> Daniel Coleman, *Vital Lies, Simple Truths: The Psychology of Self-Deception* (New York: Simon and Schuster, 1985).



Это вопросы, которые мы рассмотрим во второй главе. Политическое отрицание – обычная дезинформация, ложь и сокрытие со стороны государственных властей – редко включает в себя эти тонкие психологических детали. Политическое отрицание цинично, расчетливо и прозрачно. Серые зоны между сознательным и бессознательным гораздо более значимы в объяснении обычной реакции общества на знание о зверствах и страданиях. Это зона раскрытых секретов, закрывания глаз, зарывания головы в песок и нежелания знать.

## Содержание: буквальное, интерпретационное или подразумеваемое?

Существуют три возможные формы «отрицания»: буквальное, интерпретативное и подразумеваемое (импликативное).

### *Буквальное отрицание*

Это тип отрицания, который однозначно соответствует словарному определению: утверждение, что что-то не произошло или не соответствует действительности. При буквальном, фактическом или явном отрицании отвергается факт или знание факта. В частной сфере семейного насилия: мой муж не мог так поступить с нашей дочерью, она выдумывает, социальный работник нас не понимает. В публичном пространстве насилия: ничего здесь не случилось, резни не было, все они лгут, мы вам не верим, мы ничего не заметили, нам ничего не сказали, если бы было так, мы бы знали (или это могло произойти без нашего ведома). Эти утверждения декларируют отказ признавать факты – по той или иной причине, добросовестно или недобросовестно, независимо от того являются ли эти утверждения правдой (подлинное незнание), вопиющей ложью (преднамеренная ложь) или бессознательными защитными механизмами.

### *Интерпретативное отрицание*

В других случаях непосредственная, первичная информация (что-то произошло) не отрицается. Скорее, ей придается значение, отличное от того, что кажется очевидным другим.

В личной сфере это звучит следующим образом: я пьяница, а не алкоголик; то, что произошло, на самом деле не было «изнасилованием». Президент Клинтон курил марихуану, когда был студентом, но никогда не вдыхал дым; так что на самом деле это не было употреблением наркотиков. Что касается более поздних утверждений о его сексуальных отношениях с Моникой Левински, то после своего первоначального буквального отрицания (ничего подобного вообще не произошло) он последовал некоему оригинальному интерпретирующему отрицанию: оральные секс был «неприемлемым поведением», но на самом деле не был «половым актом» или «сексуальными отношениями», и поэтому не было ни прелюбодеяния, ни супружеской неверности, ни шалостей. Действительно, традиционного секса не было. Так что президент не солгал, когда сказал, что его отношения с мисс Левински не были сексуальными.

В публичной сфере декларируется: это был обмен населением, а не этническая чистка; сделка с оружием не была незаконной, да и на самом деле не была сделкой с оружием. Чиновники не утверждают, что «ничего не произошло», но говорят, что произошло не то, что вы думаете, не то, на что это похоже, не то, что вы вкладываете в эти понятия. Это был «сопутствующий ущерб», а не убийство мирных жителей; «перемещение населения», а не принудительное изгнание; «умеренное физическое давление», а не пытки. Меняя слова, используя эвфемизмы, технический жаргон, наблюдатель оспаривает когнитивное значение, придаваемое событию, и перенаправляет его в другой класс событий.

### *Импликативное (подразумеваемое) отрицание*

Возможна ситуация, когда отсутствуют попытки отрицать факты или их общепринятую интерпретацию. Отрицаются же или сводятся к минимуму психологические, политические или моральные последствия событий. Факты смерти детей от голода в Сомали, массовых изнасилований женщин в Боснии, резни в Восточном

Тиморе, появление бездомных на наших улицах признаются, но не рассматриваются как психологически тревожные или как морально обязывающие к действию. Как свидетель грабежа в метро, вы точно видите, что происходит, но как гражданин отказываетесь от какой-либо обязанности вмешаться. Такие отрицания часто называют «рационализациями»: «Меня это не касается», «Почему я должен сам рисковать стать жертвой?», «Что может сделать обычный человек?», «В другом месте хуже», «Кто-то другой разберется с этим».

Как и в случае буквального отрицания, такие утверждения могут быть вполне оправданы как морально, так и конкретными обстоятельствами. Вы ничего не можете сделать с эскадронами смерти в Колумбии; было бы довольно глупо пытаться остановить ограбление. Другое дело рационализация, когда ты знаешь, что можно и нужно делать, у тебя есть для этого средства, а риск отсутствует. Это не отказ признать реальность, а отрицание ее значения или последствий. Мой неуклюжий неологизм «импликативное отрицание» охватывает множество значений – оправдание, рационализация, уклонение, – которые мы используем, чтобы управляться с нашим осознанием столь многочисленных образов непреодолимого страдания.

С одной стороны, эта терминология совершенно деликатная и ничего не оправдывающая. Мы либо не можем, либо не хотим расшифровывать поступающие сообщения. Как бы между делом используются народные идиомы, обозначающие отстраненность, равнодушие и эгоцентризм: «Мне наплевать», «Меня это не беспокоит», «Не моя проблема», «У меня есть кое-что поважнее, о чем подумать», «Из-за чего такая большая суета?», «Ну и что?». Когда эти отрицания кажутся гротескно неуместными, мы снисходим до объяснений: «Он явно не понимает, что происходит» (ему нужно больше информации); «Она не может на самом деле иметь это в виду» (она лукавит... в глубине души ей действительно не все равно). Или, в зависимости от предпочитаемого дискурса: он должно быть совершенный психопат, моральный урод, продукт позднекапиталистического тэтчеровского индивидуализма или ироничный постмодернист.

Другой крайностью является богатый, запутанный и постоянно растущий словарный запас для преодоления морального и психического разрыва между тем, что вы знаете, и тем, что вы

делаете, между ощущением того, кто вы есть, и тем, как выглядит ваше действие (или бездействие). Эти приемы уклонения, избегания, приспособления и рационализации должны базироваться на добротном сложенных, то есть правдоподобных, историях. Эти истории, однако, трудно распутать. Пассивность и молчание могут выглядеть так же, как забывчивость, апатия и равнодушие, но иметь при этом совершенно иную природу. Мы можем испытывать сильные чувства и волноваться, но при этом хранить молчание. Термин «имплицативное отрицание» расширяет значение термина, чтобы охватить все такие состояния. В отличие от буквального или интерпретативного отрицания, речь идет не о самом знании, а о «правильном» использовании этого знания. Это вопросы мобилизации, выбора позиции и участия. Однако, в определенном смысле, бездействие связано именно с отрицанием, обязано ли оно незнанию или знанию, но точно – с безразличием. Отсюда апокрифический ответ британского государственного служащего на вопрос о том, проистекает ли политика его правительства на Ближнем Востоке из отсутствия информации или определяется безразличием: «Я не знаю, и мне это все равно».

Каждая форма отрицания имеет свой психологический статус. Буквальное отрицание может быть подлинным и вполне искренним незнанием; преднамеренным отведением вашего взгляда от истины, слишком невыносимой для признания; сумеречным состоянием самообмана, когда часть правды скрывается от самого себя; культурным незамечанием, потому что реальность является частью вашего устоявшегося взгляда на мир; или одной из множества преднамеренных форм лжи, обмана или дезинформации. Интерпретативное отрицание варьируется от искренней неспособности понять, что те или иные факты в реальности означают для других, до глубоко циничных переименований, с целью избежать морального порицания или юридической ответственности. Имплицативные отрицания исходят из некоторых довольно банальных народных приемов уклонения от исполнения моральных или психологических обязательств, но внедряются с вызывающей изумление степенью искренности.

Таким образом, отрицание включает в себя знание (в виде непризнания фактов); эмоции (не чувствовать, не волноваться); мораль (непризнание неправоты или ответственности) и действие

(точнее, отсутствие активных действий в ответ на знание). На общественной арене распространение знания о страданиях других – СМИ, политика, призывы к благотворительности – превращается в действие. Oxfam и Amnesty стремятся к тому, чтобы распространяемая ими информация не позволяла вам абстрагироваться, игнорировать, забывать и просто продолжать жить только своей жизнью.

## Организация: личная, культурная или официальная?

Отрицание может быть как личным – индивидуальным, психологическим и частным, так и общим – социальным, коллективным и организованным.

### *Личное отрицание*

Иногда отрицание кажется совершенно индивидуальным или, по крайней мере, понятным с психологической точки зрения: пациенты, которые забывают, что им поставлен диагноз неизлечимой стадии рака; супруги, отбрасывающие подозрения в изменах партнера («Я просто не хочу знать, есть ли у него интрижка»); отказ поверить в то, что наша семья и друзья – «свои люди» – могли действовать так жестоко. Открытого доступа к тому, как эти процессы происходят в сознании человека, нет. Фрейдистская модель оставляет их бессознательными и недоступными для своего «я», если их не выявить с помощью профессионала.

### *Официальное отрицание*

Другой крайностью являются формы отрицания, которые носят публичный, коллективный и высокоорганизованный характер. В частности, есть опровержения, инициированные, структурированные и поддерживаемые мощными ресурсами современного государства: сокрытие голода и политических расправ или вводящие в заблуждение комментарии, покрывающие нарушения международных запретов на поставки оружия. Вся риторика правительственных ответов на обвинения в зверствах состоит из опровержений.

В тоталитарных обществах, особенно классического сталинского типа, официальное отрицание выходит за рамки отдельных инцидентов (резни, которой не было) вплоть до полного переписывания истории и блокирования информации о настоящем. Государство делает невозможным или опасным для индивидуумов признание существования прошлых и настоящих реалий. В более демократических обществах официальное отрицание устроено более тонко – приукрашивание правды, декларирование отвлекающей общественной повестки дня, политтехнологии, тенденциозные утечки в СМИ, избирательная забота о подходящих жертвах, интерпретирующие опровержения в отношении внешней политики. Отрицание, таким образом, не является личным делом, а встроено в идеологический фасад государства. Социальные условия, порождающие злодеяния, становятся частью официальных приемов отрицания этих реалий – не только для наблюдателей, но даже для самих преступников.

### *Культурное отрицание*

Культурные отрицания не являются ни полностью персональными, ни официально организованными государством. Целые общества могут постепенно входить в режим коллективного отрицания, не зависящего от тотальной сталинистской или оруэлловской формы контроля над мышлением. Не имея указаний, о чем можно думать (или о чем нельзя думать), и не подвергаясь наказанию за «знание» неправильных вещей, общества, тем не менее, приходят к негласным соглашениям о том, что все-таки можно публично запомнить и признать. Люди делают вид, что верят информации, которая, как им известно, является ложной, или имитируют преданность бессмысленным лозунгам и китчевым церемониям. Причем такое происходит даже в более демократичных обществах. Помимо коллективного отрицания прошлого (например, жестокости по отношению к коренным народам), людей можно склонять действовать так, как будто они не знают о настоящем. Целые общества основаны на разных формах жестокости, дискриминации, подавления или исключения, о которых «известно», но которые никогда открыто не признают. Эти отрицания могут быть инициированы государством, но затем приобретают самостоя-

тельную жизнь. Они могут относиться к другим, отдаленным сообществам: «такие места». Некоторые из них являются массовыми и организованными, но не «официальными» в том смысле, что они открыто не спонсируются государством. Известным примером является движение отрицания Холокоста.

Взаимная зависимость официального и культурного отрицаний наиболее заметна в освещении средствами массовой информации зверств и социальных страданий. Образ войны в Персидском заливе в средствах массовой информации был шедевром сговора между теми, кто создавал реальность и теми, кто информировал о ней публику. А публика и не хотела знать больше. Подобное сочетание официальной лжи и культурного уклонения четко прослеживается и в языке гонки ядерных вооружений: использовании аналогий с военными играми и других языковых уловок для нейтрализации предчувствия катастрофы. Был создан целый язык отрицания для того, чтобы избежать размышлений о немыслимом<sup>4</sup>.

Смысл «роста сознания» (феминистского, политического, правозащитного) состоит в том, чтобы бороться с ошеломляющими эффектами этого типа отрицания. Такие утверждения, как «Я действительно не знал, что случилось с курдами в Ираке», требуют радикальных изменений в средствах массовой информации и политической культуре, а не возни с индивидуальными психологическими механизмами. Мы обязаны сделать так, чтобы людям было трудно сказать, что они «не знают». Amnesty International предварила один из своих отчетов следующими словами Артура Миллера: «Amnesty с ее потоком задокументированных отчетов со всего мира – это ежедневная, еженедельная, ежемесячная атака на отрицание»<sup>5</sup>.

Существуют также локальные культуры отрицания внутри отдельных институтов. «Жизненно важная ложь», поддерживаемая семьями, и сокрытия внутри правительственной бюрократии, полиции или армии опять-таки не являются ни персональным выбором, ни результатом официальных предписаний. Группа подвергает себя

---

<sup>4</sup> Robert Jay Lifton and Eric Markusen, *The Genocidal Mentality* (New York: Basic Books, 1990).

<sup>5</sup> Arthur Miller, Foreword to Amnesty International, *Thoughts on Human Dignity and Freedom* (New York: Universe, 1991), 5.

цензуре, учиться молчать о вещах, открытое обсуждение которых может угрожать ее самооценке. Государства поддерживают сложные мифы (такие как «чистота оружия» израильской армии, которая утверждает, что сила применяется только тогда, когда это морально оправдано для самообороны); благополучие организаций зависит от форм согласованного незнания, от различных уровней системы, удерживающих себя в неведении о том, что происходит в другом месте. Говорить правду – табу: это донос, разоблачение, потворствование врагу.

## Время: историческое или современное?

Говорим ли мы о чем-то, что произошло давным-давно и теперь является уделом памяти и истории, или это происходит прямо сейчас? «Давным-давно» – расплывчатое понятие, но именно оно и есть точка совпадения исторического и современного отрицания.

### *Отрицание прошлого: Историческое отрицание*

На личностном, биографическом уровне историческое отрицание есть дело памяти, забвения и вытеснения. Общепринято говорить о запоминании только того, что мы хотим запомнить. Более спорное утверждение состоит в том, что воспоминания о травмирующем психику жизненном опыте, особенно о сексуальном насилии в детстве, могут быть полностью заблокированы на десятилетия, но затем «восстановлены». Здесь нас больше будет интересовать отрицание публичных и исторически признанных страданий. Теряются или восстанавливаются воспоминания о том, что случилось с вами (как с жертвой), что вы сделали (как преступник) или о чем вы знаете (как наблюдатель). Период нацизма обогатил лексикон отрицания, высказываемого свидетелями, двумя расхожими клише: «хорошие немцы» и «мы не знали». Такие отрицания относятся к более широкому культурному слою коллективного забвения («социальной амнезии»), такому как грубо избирательные воспоминания о виктимизации и агрессии, которые используются для оправдания сегодняшней этнической националистической ненависти. Иногда эта амнезия официально организуется государством,



скрывающим сведения о проводимом им геноциде или других прошлых злодеяниях.

Отношение к геноциду армян и к Холокосту сочетает в себе как буквальное, так и толковательное отрицание (этого не было; это произошло слишком давно, чтобы доказать; факты допускают различную интерпретацию; то, что произошло, не было геноцидом). Чаще всего историческое отрицание является не столько результатом спланированной кампании, сколько постепенным оттоком знаний в некую коллективную черную дыру. Нет необходимости обращаться к возможности заговора или манипуляции, чтобы понять, как целые общества вступают в сговор, чтобы скрыть компрометирующие исторические факты, подобно французскому мифу о сопротивлении, который маскировал реальность массового сотрудничества с нацистскими оккупантами. Исторические воспоминания о страданиях в отдаленных местах еще более подвержены быстрому и полному стиранию посредством «политики этнической амнезии». В то время и там правительство-преступник отрицало практикуемые зверства; поток информации ограничен; геополитические интересы либо отсутствуют, либо они слишком сильны, чтобы ими можно было пожертвовать; жертвами являются незначительные, изолированные народы в отдаленных частях мира. Жертвы подразделяются на более подходящие и запоминающиеся и жертвы не заслуживающие внимания.

«Признание прошлого» становится насущным, судьбоносным вопросом, когда режимы меняются после периодов государственного террора и репрессий. Как новое правительство относится к прошлым зверствам? Демократические преобразования в Южной Африке, Латинской Америке и посткоммунистических обществах подняли сложные вопросы о том, следует ли раскрывать, восстанавливать и обнародовать факты из прошлого и каким образом: не слишком ли свежи некоторые раны, чтобы их открывать? Мешает ли «жизнь прошлым» проводимой социальной реконструкции и национальному примирению? Должна ли всегда раскрываться ранее скрытая и отрицавшаяся информация?

В социалистическом лагере историю официально переписали, чтобы заставить людей забыть то, что государство предпочитало, чтобы они не знали. Но большинство людей все же слишком хорошо знали прошлое. Их личные воспоминания остались нетронутыми, и

официальной лжи никто не поверил. Однако частное знание, если его следует признать, должно быть официально подтверждено и включено в публичный дискурс. Всевозможные комиссии по установлению истины предоставляют возможность символического признания того, что уже известно, но официально отвергалось. Я буду часто возвращаться к различию между знанием и признанием.

### *Отрицание настоящего: Современное отрицание*

В любой момент времени мы можем иметь основания утверждать (то есть не лгать по этому поводу), что у нас нет возможности замечать все, что происходит вокруг нас. Когнитивная психология подтверждает, что люди подвержены влиянию настолько большого количества поступающей информации, что разум не способен ее обработать. СМИ сообщают нам так много сведений («информационная перегрузка»), что мы вынуждены быть очень избирательными. Реальность пропускается через перцептивный фильтр, и некоторые знания отбрасываются: «буквальное отрицание настоящего». Выше наших сил оказывается способность ощущать эмоциональное волнение или принуждение и действовать в ответ на все, что мы действительно осознаем. Даже если нет буквального отрицания ежедневного обзора социальных страданий, то и нет другого выбора, кроме как отрицать большую часть их последствий. Каждый из фактов не может иметь подавляющего приоритета. Согласно тезису об «усталости от сострадания», острота реакции постепенно притупляется («Я просто больше не могу фотографировать голодающих детей»), а фильтрация становится еще более избирательной. В нашей насыщенной информацией среде нет необходимости ждать исторического опровержения – информация обесценивается и удаляется в тот момент, когда она поступает. Проблема не в том, чтобы объяснить, как кто-то «отрицает» нечто, а в том, чтобы понять, как чье-либо внимание вообще это удерживает.

Существуют неявные связи между историческим и современным отрицанием. Риторика исторического отрицания подобна рассказам, которые преступники использовали в свое время, чтобы скрыть от себя и других последствия своих действий. Планы вводящих в заблуждение информационных кампаний и сведения о их реализации – путем преднамеренного использования эвфемизмов,

директив, имеющих закодированный двойной смысл, уничтожения компрометирующих приказов - живут еще долго после самого события.

## Действующее лицо: жертва, преступник или наблюдатель?

Можно обозначить треугольник злодеяния: в одном углу жертвы, которые подвергаются насилию; во втором – преступники, которые совершают насилие; в третьем – наблюдатели, те, кто видит и знает, что происходит. Роли эти не фиксированы строго и однозначно: наблюдатели могут стать и преступниками, и жертвами, а преступники и наблюдатели могут принадлежать к одной и той же категории отрицания.

### *Жертвы*

Жертвы испытывают страдания вследствие чего-то ужасного, что с ними «происходит» или что с ними делают преднамеренно. Жертвы по разным причинам – будь то ураганы, неправомерный арест или сексуальное насилие – говорят себе: «Со мной этого не может быть». Иногда это не более чем поверхностное и непроизвольное клише. Порой оно выражает более глубокое чувство отрицания: почти физиологически рождаемое ощущение того, что то, что на самом деле происходит с ними, происходит с кем-то другим. Об этом часто свидетельствуют самые разные категории жертв: женщины, которых изнасиловали, ВИЧ-позитивные больные, родители, которым сообщают, что их ребенок пострадал в результате дорожного происшествия, политические активисты, которых подвергли пыткам. В главах 2 и 3 исследуются психические приемы, которые мы используем, чтобы скрыть от себя неприятное знание.

Подобное происходит и на культурном уровне. Целые группы потенциальных или даже объявленных будущих жертв могут отрицать приближающуюся судьбу. Даже когда предупреждающие сигналы были очевидны, еврейские общины в Германии и остальной Европе отказывались верить в то, что должно было случиться с ними или уже происходило с их собратьями-евреями. Явные предупреждения игнорировались; каждая новая мера в постепенном усилении

преследования рассматривалась как последняя; первоначальным сообщениям не поверили; подавлялось невыносимое осознание того, что тебя и твоих близких убьют и ничто не может спасти тебя; вопреки всему сохранялась вера в то, что невинные люди не пострадают. Правительства-наблюдатели отказывались верить четким сообщениям о сформулированной и реализующейся программе уничтожения. Имело место моральное безразличие, но, возможно, также существовала и зона отрицания, общая с жертвами: отказ признать правду, которая казалась слишком невероятной, чтобы быть реальностью.

И если подобный отказ является явно неадекватным для жертв, которые затем не могут защитить себя от надвигающейся опасности, то во многих других ситуациях отрицание является защищающим и адаптивным. Жители Бейрута, Боготы или Белфаста не могут постоянно существовать в состоянии обостренного осознания того, что в любую минуту может взорваться заминированный автомобиль. Некоторое отключение необходимо, чтобы пережить реалии повседневной жизни.

### *Преступники*

Повторяющийся вопрос о виновниках политических злодеяний и серьезных преступлений заключается в следующем: как обычные люди могут совершать ужасные вещи, но в момент или после события находят способы отрицать истинный смысл того, что они делают? Эти отрицания играют причинно-следственную роль в том, что сначала позволяют совершать злодеяния, а потом позволяют правонарушителям продолжать свою оставшуюся жизнь, как будто ничего необычного не происходило. Такие же отрицания – будь то надуманная ложь или искреннее убеждение – возникают в официальном дискурсе и призывах правительства с целью мотивировать своих граждан совершать ужасные вещи или молчать о том, что они им известны. И они вновь и вновь появляются в риторике, которая позже используется для неприятия любой критики. Эти процессы и приемы рассматриваются в главе 4.

## *Наблюдатели*

Это и есть предмет моего главного интереса: ответы очевидцев, зрителей, свидетелей, сторонних наблюдателей – непосредственных, а также получивших информацию из вторых рук: тех, кто узнает, увидит или услышит, либо в то время, либо позже. Есть три типа аудитории: (а) непосредственная, буквальная, физическая или внутренняя (те, кто являются реальными свидетелями зверств и страданий или узнают о них во время их совершения из первых рук); (б) внешние или метафорические (те, кто получает информацию из вторичных источников, прежде всего из СМИ или от гуманитарных организаций); и (в) сторонние государства (другие правительства) или международные организации.

### Непосредственные свидетели

Многие человеческие страдания случаются в присутствии всего лишь двух персон, невидимо для любого стороннего наблюдателя. Мы никогда не знаем о тайных агониях самых близких нам людей. Насилие в семье может оставаться тайной на неопределенный срок, хранимой только жертвой и насильником. Но некоторые тайные злодеяния все же могут стать известны посторонним. Сведения о пытках выходят из круга, включающего лишь задержанного и следователя: полиция или солдаты конвоируют заключенных для допроса; врачи проверяют их до, во время или после следствия; судьи и адвокаты заслушивают их показания.

Массовое перемещение беженцев, этнические чистки и голод невозможно скрыть. Наблюдатели присутствуют на месте происшествия или получают свидетельства из первых рук: жители деревни живут рядом с концлагерем; прохожие наблюдают, как кого-то грабят; люди видят, как их соседей похищают и те «исчезают».

Характерная картина классического «эффекта пассивного наблюдателя» – безразличие городских прохожих к видимым публичным страданиям, их нежелание помочь жертве – восходит к одному из моих вступительных эпизодов, делу Китти Дженовезе. Исследования (главы 3 и 6) показывают, что вмешательство менее всего вероятно, когда ответственность распределена («Так много других видят это», «Почему я должен вмешиваться?» «Кроме того,

это не мое дело»); когда люди не могут представить себя на месте жертвы (даже если я вижу кого-то, ставшего жертвой, я не буду действовать, если не могу сопереживать его страданиям; мы помогаем своей семье, друзьям, сообществу, «таким, как мы», а не тем, кто исключен из нашей моральной вселенной, кого можно даже обвинить в их затруднительном положении – обычный опыт женщин, ставших жертвами сексуального насилия) и когда они неспособны вообразить свое эффективное вмешательство – даже если вы не воздвигаете барьеры отрицания, даже если вы испытываете искреннее моральное или психологическое беспокойство («Я просто не могу выкинуть из головы эти картинки из Сомали»), это не обязательно приведет к вмешательству. Наблюдатели не будут действовать, если не знают определенно, что делать, чувствуют себя бессильными и беспомощными, не видят никакой награды или боятся возможного наказания за помощь.

Эти толкования причин пассивности свидетелей были приложены к обычным городским чертам, таким как уличная преступность, наличие бездомных и несчастные случаи. Социальные психологи использовали эксперименты и создание моделей, чтобы выяснить, как возникает пассивность и что ей можно противопоставить. Как мы поощряем альтруистические ответные реакции – будь то банальные неприятности или массовые страдания? Свидетели могут быть слишком подобны преступникам: принадлежать к одной этнической группе, быть приверженными той же идеологии и следовать тем же стереотипам, быть склонными к таким убеждениям, как «справедливое мировоззрение» и обвинениям жертвы (желая верить, что они сами не станут жертвами случайных обстоятельств, они видят жертв как достойных их судьба). Наблюдатели, как и преступники, постепенно начинают воспринимать нормальными действия, которые поначалу кажутся им отвратительными. Они отрицают значимость того, что видят, избегая или преуменьшая реальную информацию о страданиях жертв.

Анализ данных, полученных от свидетелей Холокоста, выявил «историю бездействия, безразличия и бесчувственности»<sup>6</sup>. Наблюдатели остаются в стороне, даже когда их соседи подвергаются жестокому обращению, проходят мимо жертв, как будто их не было рядом,

---

<sup>6</sup> Michael R. Marrus, *The Holocaust in History* (Harmondsworth: Penguin, 1987), 157.

и начинают выполнять работу и присваивают имущество, оставленные жертвами. Глава 10 ищет обратное: наблюдателей, которые признают творимое зло и помогают жертвам, даже с большим личным риском.

### Внешние наблюдатели

Все мы являемся внешними или метафорическими наблюдателями, сидящими в своих гостиных перед описаниями и изображениями страданий. Перелистывание страниц газет, переход на другой канал, даже перерыв на отпуск – такими действиями можно выиграть лишь немного времени. Особенно будут досаждать новости о детях: убитые на улицах Рио, заболевшие СПИДом в румынских приютах, проданные в рабство в Бангладеш, двенадцатилетние «чистые» девочки в тайландских публичных домах, дети-солдаты из Сьерра-Леоне с ампутированными конечностями. К тому же, словно для того, чтобы усилить нашу тревогу, вызванную СМИ, неправительственные организации не прекращают своих призывов: пожертвовать деньги, спонсировать ребенка, подписать петицию, посетить демонстрацию, стать членом организации, сделать хоть что-нибудь, наконец.

Существует не много теорий и еще меньше данных о том, как мы реагируем на такие призывы. Некоторые что-то делают, но большинство из нас подбирают и используют что-то из своего набора рационализаций, или просто чувствуют себя беспомощными, или (метафорически и фактически) отключаются. Телевизионные образы далеких страданий, кажется, не принадлежат к тому же миру, что и наша привычная повседневность. Но и у дальнего, и у непосредственного наблюдателя возникают общие вопросы: действительно ли это моя проблема? Могу ли я поставить себя на место этих жертв? Что я могу поделать с этим, в любом случае?

### Сторонние государства-наблюдатели

Внешними наблюдателями являются также целые правительства и «международное сообщество». Термин «страны-наблюдатели» первоначально использовался для обозначения отсутствия реакции со стороны правительств союзников на ранние сведения о разворачивающемся уничтожении европейских евреев – нежелание

верить утверждениям о геноциде и отказ от конкретных действий, таких как бомбардировки концентрационных лагерей. Повторяющиеся мантры, призывающие западные правительства «что-то сделать» с Руандой, Косово и Чечней, являются частью долгой истории избирательного отказа от вмешательства в некоторые национальные и международные конфликты.

В настоящее время ведутся активные дебаты о поддержании мира и международном гуманитарном вмешательстве: обсуждается концепция национальных интересов; не затихают споры о том, являются ли национальные государства моральными действующими лицами с моральными обязательствами; формулируются доктрины невмешательства и национального суверенитета; крепнут убеждения в моральном релятивизме. Не преувеличивая таких понятий, как «отрицание» и «свидетель», они, по крайней мере, предполагают некоторые аналогии. Буквальное отрицание имеет место, когда правительствам-наблюдателям приходится реагировать на грабежи своих государств-клиентов или партнеров по торговле оружием. Цинично и с очевидным намерением ввести в заблуждение, они отрицают, что им известно о том, что творят их партнеры. Ежегодный обзор ситуации с правами человека Государственного департамента интерпретирует сообщения собственного посольства как «утверждения». Информации присваивается другой когнитивный идентификатор («этнический конфликт», «восстановление порядка», «потребности в безопасности», «продвижение мирного процесса») или отрицается ее политическая значимость. Такая реакция практически стала рутинной практикой в международных организациях, таких как Организация Объединенных Наций. Купер обращает внимание на «техно-логию отрицания, разработанную государствами-членами Организации Объединенных Наций, когда они прикрывают правительства-нарушителей»<sup>7</sup>.

Босния была наиболее показательным случаем, когда проводилась аналогия с Холокостом. Ранние сообщения – о зверствах, массовых изнасилованиях, лагерях для задержанных, этнических чистках – изначально не принимались официальными источниками. В конце концов, ни одна нация-наблюдатель уже не отрицала эти

---

<sup>7</sup> Leo Kuper, Preface to Israel Charny (ed.), *Genocide: A Critical Bibliographical Review*, vol. 2 (London: Mansell, 1991), xiv.



реалии, но теперь оправдывала невмешательство, используя знакомую смесь из высокопарных принципов, прагматических сомнений, политической целесообразности и личных интересов. События в Руанде, хотя и гораздо более похожие на Холокост, были сочтены слишком неважными и далекими для того, чтобы стать решающими аргументами для ответных действий.

## Пространство и место: свое или чужое?

Разница между знанием о страданиях своей семьи и своих близких и знанием о чужих и далеких настолько издавна присуща восприятию людей, что нет необходимости ее объяснять. Узы любви, заботы и долга не могут быть воспроизведены или смоделированы где-либо еще. Но границы моральной вселенной варьируются от человека к человеку, они также растягиваются и сжимаются исторически - от семьи и близких друзей до соседей и общины, этнической группы, единоверцев, страны, вплоть до «детей мира». Это не просто психологические вопросы, они опираются на более широкий дискурс о реакции на «потребности чужаков»<sup>8</sup>[8].

В вашем собственном сообществе вы знаете о социальных страданиях (в прошлом или настоящем) из собственных наблюдений и опыта. Но информация о других странах, зачастую необычных и отдаленных местах, поступает в основном из средств массовой информации или от международных гуманитарных организаций. Оставляя в стороне крайние случаи изоляции вследствие почти полного государственного контроля над информацией, обитатели мест событий обычно имеют большую по объему и более детальную информацию, чем посторонние – на основании личного опыта, памяти, из личных контактов, национальных СМИ, слухов, языковых нюансов и лучшего понимания местной общественной культуры. Эта информация богата, персонализирована, многомерна и исторически многослойна. Вы можете сами почувствовать запах слезоточивого газа; вы знаете, что кого-то пытали, и знаете того, кого пытали; ваш двоюродный брат служит в армии; вы участвовали в недавних политических событиях; вы испытываете сильные чувства (предвзятые или объективные) по отношению к злу, чинимому врагом

---

<sup>8</sup> Michael Ignatieff, *The Needs of Strangers* (London: Vintage, 1994).

(«жертвой?»), и страх перед тем, что может случиться, если вы пойдете на какие-либо уступки. Эта насыщенная картина совсем не похожа на плоскую, одномерную информацию (заголовки, звуковые фрагменты и пятидесятисекундные телевизионные сюжеты), которую мы получаем о зарубежных событиях.

Зверства, совершенные в прошлом, могут оставаться действительно неизвестными – остаются тайными камеры пыток и безымянными братские могилы. Но в обществах, где зверства имели место, люди обычно знают о большинстве из них, и правительства знают, что их граждане знают. Практика государственного террора одновременно не является ни тайной, ни общепризнанным явлением. Информация циркулирует – соседи становятся свидетелями исчезновений или похищений, жертвы пыток возвращаются к своим семьям, читатели газет точно знают, что сообщения подверглись цензуре, – но одновременно она отрицается. Страх внутри человека зависит от знания и неуверенности: кто будет следующим? Легитимность государства в общественном пространстве зависит от постоянного официального отрицания.

Если виновником оказывается ваше собственное правительство, это должно касаться вашей личности и вашей политической роли. Вы не несете ответственности за зверства – ведь вы можете быть противником правительства или даже потенциальной жертвой. Но это ваша страна. Как ее гражданин, каким бы далеким от его политики или критичным по отношению к ней вы ни были, вы привязаны к ней коллективными узами культуры, истории и лояльности. Это не ужасы в каком-то отдаленном месте, к которому вы не испытываете никаких чувств. Когда дело доходит до других стран, есть несколько подобных конкурирующих источников вины, стыда и лояльности.

На карту поставлены интересы и риски в вашей собственной стране: материальные интересы и личная безопасность. Любой исход конфликта напрямую повлияет на вашу жизнь. Интерес израильских граждан к тому, что происходит в их стране, отличается от интереса граждан Канады к информации об Израиле. И желание сделать что-то для своей страны потребует от вас больше, поскольку вам придется заплатить высокую цену за противостояние консенсусу большинства: вас подвергнут остракизму, изоляции и стигматизации как «предателя». Вы рискуете даже сами стать жертвой.

Удаленным международным наблюдателям, напротив, не нужно глубоко вникать во все эти сложности, чтобы занять определенную позицию. Им достаточно сделать совсем немного: выписать чек, подписать петицию, послать открытку заключенному, вступить в организацию – и почти без риска для себя. Гражданин Швеции, подписавший петицию Amnesty против смертной казни в Сингапуре, совершает малый поступок. Стороннему наблюдателю гораздо легче мобилизоваться, чтобы занять простую и однозначную позицию: «Конечно, я против оккупации Восточного Тимора»; «Нет сомнений, я поддерживаю права курдов». В вашей же собственной стране-нарушителе даже самое, казалось бы, нейтральное действие может поставить вас вне консенсуса. Моральное возмущение по поводу событий в отдаленном месте безопасно, дешево и несложно.

Существуют, однако, разные причины, которые снижают вероятность активного участия в международных событиях. Я понимаю, почему я должен интересоваться (а не «отрицать») существованием преступности, безработицей, имеющим место жестоким обращением с детьми, наличием бездомных, расизмом или непрекращающимся загрязнением окружающей среды в моей собственной стране. Но почему я должен вникать, не говоря уже о том, чтобы «сделать что-то», в то, что в Алжире было убито сто человек или в Малави был заключен в тюрьму поэт? Мощное моральное метаправило состоит в том, чтобы в первую очередь заботиться о своих людях: «Благотворительность начинается дома». Насущные внутренние социальные проблемы должны иметь приоритет над извечными потребностями отдаленных мест. Действие этого метаправила было наглядно продемонстрировано бывшим министром обороны Великобритании Аланом Кларком в телевизионном документальном фильме 1994 года о событиях в Восточном Тиморе<sup>9</sup>[9].

На вопрос, знал ли он, что британское оружие, экспортируемое в Индонезию, использовалось для массовых убийств на Тиморе, Кларк ответил: «На самом деле я не особо задумываюсь о том, что одна группа иностранцев делает с другой».

Международным организациям приходится настойчиво просить свою аудиторию приложить усилия хотя бы для того, чтобы

---

<sup>9</sup> 'Death of a Nation', directed by John Pilger on Channel Four, Feb. 1994. John Pilger, 'Journey to East Timor: Land of the Dead', Nation, 25 Apr. 1994, 550-2.

поинтересоваться тем, что происходит за границей, не говоря уже о признании значения этой информации. Естественной логике противоречит необходимость выходить из ритма частной жизни в своем собственном обществе, чтобы заниматься проблемами отдаленных территорий. И каналы, по которым передается соответствующая информация - будь то средства массовой информации, прямая рассылка или публичное обращение - устроены так, что их легко изолировать от остальной жизни. Мы выключаем телевизор, выбрасываем письмо с просьбой о поддержке и возвращаемся к повседневной жизни.

Но существует более глубокая форма отрицания, более универсальная - это неспособность или отказ от постоянного «столкновения» с неприятными истинами или «сосуществования с ними». Внутренних и внешних проблем, например, можно избежать с помощью одного и того же убеждения, что «в другом месте происходят вещи и похуже». В вашем собственном обществе это дает вам уклончивую уверенность в том, что происходящее не так уж и плохо. А для отдаленного общества это желание находить информацию в сравнительном атласе других страшных мест: зачем вам беспокоиться об этом одном месте, если в другом месте происходят еще худшие вещи?

Как знали старые мастера, описанные Оденем, страдание всегда происходит в другом месте.

## 2

# Знание и Незнание

## Психология Отрицания

Рассмотрев повседневное использование термина «отрицание», я анализирую происхождение этого понятия в психоанализе, а затем его появление в теориях самообмана и познания.

### Ежедневное отрицание

Обратимся к типичным ответам-отрицаниям на следующие утверждения: «Турецкая полиция регулярно пытается политических заключенных»; «Курение табака увеличивает шансы заболеть раком легких»; «У вашей жены роман с вашим соседом». Существуют пять способов опровергнуть такую информацию.

*Реальность...знание* Правдивость самого утверждения может быть просто отвергнута: «В Турции не практикуют пыток»; «Курение не имеет ничего общего с раком легких»; «У моей жены в принципе не может быть романа». Или, напротив, существование реальности не оспаривается («Да, по-видимому, это правда»), но вы тем ни менее отрицаете, что знали или знаете об этом («Я понятия не имел, что это происходит»). Отрицание фактов и отрицание того, что вы признаете факты, – это очень разные вещи. Таким образом, официальный ответ турецкого правительства заключается в том, что пытки в этой стране не применяются и действительно запрещены. Ответ британских туристов, которых уговаривают не отдыхать в Турции, заключается в том, что они никогда не слышали подобных обвинений.

Утверждение, что информация о фактической реальности неверна, является буквальным (всеобъемлющим, исчерпывающим, фактическим или категорическим) отрицанием. Те же прилагатель-

ные, однако, в достаточно казуистической манере применяются к совершенно другому ответу отрицания прошлого или настоящего знания об этой реальности: я ничего об этом не знал; мне и в голову не приходило, что моя жена могла сделать это; я не мог знать об этом.

*Существование...интерпретация...импликация.* Интерпретационное отрицание признает, что что-то происходит. Но это «что-то» следует рассматривать в свете, отличном от того, что предполагается, или оно на самом деле не принадлежит к этому обозначенному классу событий. Полиция может немного грубо обращаться с задержанными, но это не пытка; статистическая корреляция между курением и раком легких не доказывает причинно-следственной связи; у моей жены и нашего соседа интимные отношения, но у них нет романа.

*Импликативное отрицание* признает сами факты и даже их условные интерпретации. Но их ожидаемые последствия – эмоциональные или моральные – не признаются. Значимость реальности отрицается. Это «отрицания» в самом широком смысле. Они уклоняются от необходимости отвечать, преуменьшая серьезность поступка или оставаясь равнодушными («Меня это не касается... Почему меня это должно волновать?»).

*Правда...обман.* С одной стороны, утверждения, отрицающие, что что-то существует или о чем-то известно, могут быть истинными и сделанными добросовестно. Вы не в курсе происходящего («знаете» только в бессознательном и, следовательно, в недоступном смысле). С другой стороны, существует преднамеренный обман, откровенная ложь, высказываемая цинично и недобросовестно: например, опровержения, сделанные турецким правительством или руководителями табачной промышленности. И.Чарни отмечает непрерывный и плавный переход от «невинного» к «злонамеренному» отрицанию известных геноцидов: «наивные» отрицатели (например, «ревизионисты») Холокоста могут действительно верить в свое мировоззрение, поэтому их отрицания искренни; со стороны противной люди знают все факты, но нагло лгут и скрывают

правду<sup>1</sup>. Именно этим и занимаются политики и общественные деятели большую часть времени. Отрицание мужем неверности жены допускает более тонкие вариации: он может действительно не знать; он может подозревать, но не стремиться получить доказательства своих подозрений; он может знать, но намеренно делать вид, что другие не знают.

Отрицание всегда частично; некоторая информация всегда сохраняется. Этот парадокс или двойственность – знание и одновременно незнание – составляет основную идею концепции. Это создает то, что Вурмсер красиво называет «псевдоглупостью»<sup>2</sup>.

*Сознательный...бессознательное* В дискурсе реакции общества на доклад Общества борьбы за права человека о пытках, на исследования, доказывающие канцерогенное воздействие табака, на газетные разоблачения подлости и коррупции, открытое отрицание фактов или знаний вряд ли можно назвать «бессознательным». Объяснять и доказывать это излишне. Общественные деятели сознательно лгут о том, что им явно известно. Однако в личной, частной сфере – в случаях неверности, болезни, семейного насилия, горя, пагубных привычек, сексуальности – справедливо обратное. Даже те, кто не привержен фрейдовскому метанарративу, обычно (бессознательно?) описывают и объясняют практически любую форму отрицания как бессознательный защитный механизм. Неудобные истины слишком опасны, чтобы их можно было «знать», поэтому они бессознательно изгоняются в какую-либо недоступную область разума. Таким теориям посвящена большая часть этой главы.

*Опыт...действие* Три из четырех стандартных компонент человеческого действия естественным образом согласуются друг с другом: *познание (знание)*: вы отрицаете факты или свое знание о них;

---

<sup>1</sup> Israel W. Charny, «Innocent Denials» of Known Genocides: A Further Contribution to a Psychology of Denial of Genocide (Revisionism), Internet on the Holocaust and Genocide, 46 (Sept. 1993), 23–5. Но ни один убежденный отрицатель Холокоста не является «наивным» в этом смысле – в отличие от людей, которые действительно никогда не слышали о геноциде армян.

<sup>2</sup> Leon Wurmser, «Blinding the Eye of the Mind: Denial, Impulsive Action and Split Identity», in E. L. Edelstein et al. (eds), Denial: A Clarification of Concepts and Research (New York: Plenum Press, 1989), 175–201.

*эмоция (чувство)*: вы отрицаете свои чувства («Я ничего не чувствовал, когда мне сказали»); *мораль (суждение)*: вы одобряете то, что было сделано, или заявляете, что не имеете никакого суждения («я не вижу, что было так уж неправильно»).

Четвертый компонент, *действие (поведение)*, связан с отрицанием менее очевидным образом. Вам предоставляется убедительная информация о связи курения и рака. Но вы игнорируете это и продолжаете курить («Это моя проблема»). Другие формы бездействия – безразличие, апатия, пассивное наблюдение – как бы соглашались с тем, что «это не моя проблема». Отсутствие действий объясняется политическими убеждениями, трусостью, ленью, эгоизмом и чистой аморальностью лучше, чем сложными состояниями психического отрицания. Если только мы не согласимся с китайским мудрецом в том, что «знать и не действовать – значит не знать».

К счастью, уловки повседневного сознания подрывают любую попытку объединить эти пять измерений в четкую схему. Одно лишь буквальное отрицание, в смысле «незнания», могло означать: «Я даже не думал об этом», «Я скрывал от себя правду», «Я подозревал», «Я отчасти знал», «Я узнал лишь недавно», «Я думал, что не знаю, но я должен был знать». Клинические психологи, увы, пытаются ранжировать эти вариации. В нижней части шкалы отрицания находятся незначительные упущения в осознании, попытки свести к минимуму дискомфорт и поиск хорошего в трудных ситуациях. На верхнем уровне внешняя реальность категорически отрицается: «Я не в больнице; это отель Холидей-Инн». На среднем уровне отрицаются болезненные или пугающие последствия событий или восприятий, хотя сами факты признаются<sup>3</sup>. Помимо бессознательного блокирования известных фактов, отрицание может быть заблаговременным сознательным решением избежать ситуаций, в которых такие факты могут раскрыть себя.

Эти тонкие различия остаются и становятся заметными, когда мы переходим от психической сферы к политической. Как рядовой гражданин, вы знаете, что ваше правительство творит

---

<sup>3</sup> George E. Vaillant, *Ego Mechanisms of Defence: A Guide for Clinicians and Researchers*, Appendix 5: «Ego Defence Mechanisms Manual» (Washington, DC: American Psychiatric Press, 1992), 272.



ужасные вещи с каким-либо национальным меньшинством, ситуация ухудшается, и уже говорят о «перемещении». Каким образом вы сможете «отрицать» все это?

- Вы намеренно отводите глаза от реальности, потому что не хотите получать тревожную информацию выше определенного порога или не хотите, чтобы вас заставляли отстаивать свою позицию. Поэтому вы перестаете смотреть телевизор, читать газеты или разговаривать со своими политически ангажированными друзьями.
- Вы не замечаете этой реальности и не понимаете ее природы, потому что это всего лишь часть вашего само собой разумеющегося взгляда на мир. Вы буквально не замечаете или не понимаете, что происходит что-то особенное или необычное.
- Вы видите, что происходит, но отказываетесь в это верить или не можете «принять это». Если бы эти очевидные факты и их очевидные интерпретации оказались правдой, это серьезно угрожало бы вашему чувству личной и культурной идентичности.
- Вы прекрасно осведомлены о формирующейся реальности, но открыто отрицаете это, потому что поддерживаете проводимую политику или вас не беспокоит то, что происходит. Вы не обращаете внимания на это, вам просто все равно. Или вы следуете либо официальному предписанию государства, либо негласному культурному пониманию, что вам не следует высказываться по некоторым вопросам и следует доверять тем, кто лучше вас знает.
- Вы обеспокоены, возбуждены, даже возмущены происходящим, но по многим причинам (боязнь выделиться, бессилие, чувство самосохранения, отсутствие очевидного решения) храните молчание. Вы не протестуете лично (напишите письмо, сообщите об этом, увольтесь с государственной службы); вы не участвуете ни в каких коллективных акциях протеста.

Политические состояния, внешне похожие – апатия и покорность, – могут таить в себе в действительности разные психологические состояния. Их общую составляющую можно назвать «отрица-

нием», но она не обязательно соответствует формальному определению:

*Утверждение об окружающем мире или о самом себе (или о вашем знании мира или о самовосприятии), которое не является ни буквальной истиной, ни ложью, предназначенной для обмана других, но допускает странную возможность одновременного знания и незнания. Существование того, что отрицается, должно быть «каким-то образом» известно, и в утверждения, выражающие это отрицание, нужно «каким-то образом» верить.*

Многие другие применения этого понятия не соответствуют перечисленным критериям и могут полностью упускать из виду парадокс отрицания. Только лишь психоанализ приближается к неоднозначности этого понятия. Аналитик имеет дело с бессознательной потребностью субъекта не знать о тревожащих его вещах, поэтому в первую очередь должны быть определены тревожные идеи и эмоции, которые мобилизовали отрицание; пациент сопротивляется, но в конце концов осознает отрицаемое содержание. Боллас комментирует это следующим образом: «Каждый из нас осознает в себе работу отрицания, нашу потребность быть невиновными в тревожащем признании»<sup>4</sup>. Я выбрал эту простую формулу – «необходимость быть невиновным в тревожном признании» – как определение, которым я буду руководствоваться.

Вся настоящая глава посвящена этому сбивающему с толку состоянию одновременного знания и незнания.

## Психоанализ отрицания

### *Истоки: Фрейд об отрицании и отвержении*

Характерная для Фрейда терминология представляет собой первую загадку. Вместо отдельной статьи об «отрицании» мы находим «Disavowal (Отвержение)»<sup>5</sup>. Следуя ранним публикациям

---

<sup>4</sup> Christopher Bollas, *Being a Character: Psychoanalysis and Self Experience* (London: Routledge, 1993), 167.

<sup>5</sup> J. Laplanche and J.-B. Pontalis, *The Language of Psycho-Analysis* (London: Hogarth Press, 1973), 118-21.

последующие издания предпочитают «отвержение» (непрятие) как перевод немецкого термина Фрейда *Verleugnung*. Они предполагают, что, хотя «отрицание» является более распространенным переводом, он несет в себе другие и более сильные коннотации, чем имел в виду Фрейд, например, «Я отрицаю достоверность ваших утверждений». Он также имеет совершенно иное и не относящееся к делу значение отказа (то есть воздержания) от товаров, услуг или прав.

Следующая загадка возникает из-за неясного – чтобы не сказать странного – первоначального применения самой концепции. Фрейд впервые использовал *Verleugnung*, «отвержение», в особом смысле «способа защиты, состоящего в отказе субъекта признать реальность травматического восприятия – особенно восприятия отсутствия у женщины пениса». Фрейд задействовал этот механизм, в частности, при объяснении фетишизма и психоза»<sup>6</sup> (ссылка на психоз вводит в заблуждение, потому что Фрейд вскоре обозначил отличие непрятия от более радикального, психотического отрицания реальности).

Еще в 1894 г. Фрейд писал, что «Эго отвергает невыносимую идею вместе с ассоциированным с ней аффектом и ведет себя так, как будто эта идея вообще никогда не приходила человеку в голову»<sup>7</sup>. Однако термин *Verleugnung* впервые появляется в его статье 1923 г. об детской генитальной организации. Фрейд предполагает, что маленький мальчик замечает, возможно, случайно – увидев обнаженную мать или младшую сестру, – что не у всех есть пенис. Вот как, там что-то другое. «Мы знаем, как дети (то есть мальчики) реагируют на свои первые впечатления об отсутствии полового члена. Они отрицают этот факт и верят, что все-таки видят пенис»<sup>8</sup>. Как будто они отказываются принять то, что видят. Они могут придумать как сгладить противоречие между наблюдением и предубеждением – например, «он может вырасти позже». Лишь постепенно они сталкиваются с ужасной правдой: пенис отсутствует – и навсегда – из-за кастрации. Не в силах признать возможность того, что маленькие девочки были кастрированы и что

---

<sup>6</sup> Ibid., 118.

<sup>7</sup> S. Freud, «The Neuro-psychoses of Defence» (1894), in Standard Edition, III (London: Hogarth Press, 1961).

<sup>8</sup> S. Freud, «The Infantile Genital Organization» (1923), in Standard Edition, XIX, 143–4.

это могло и с ними самими случиться, мальчики скорее поверят, что они действительно видели пенис. Действительно ли?

Двумя годами позже Фрейд попытался продемонстрировать, как эквивалентное отрицание действует на девочек<sup>9</sup>. Судьба девочки состоит в том, чтобы превратить свое важное открытие – что у нее нет этого большого, видимого и явно играющего ответственную роль органа – в зависть. В отличие от маленького мальчика, который тотчас же отрекается или «ничего не видит», девочка лишь гораздо позже придает своему открытию психическое значение. Но даже в это время она ведет себя не так как мальчик. В мгновение ока она выносит суждение: «Она видела его и знает, что у нее его нет, и она хочет его иметь»<sup>10</sup>. Надежда обрести пенис и желание, несмотря ни на что, стать мужчиной, может сохраняться, как говорит нам Фрейд, до невероятно позднего возраста и может стать мотивом для странных и необъяснимых иным образом поступков. «Или же может начаться процесс, который я хотел бы назвать «отвержением», процесс, который в психической жизни детей не кажется ни необычным, ни очень опасным, но который у взрослого означал бы начало психоза»<sup>11</sup>. «Таким образом, – продолжает он, – девушка может отказаться признать факт кастрации, может ожесточиться в убеждении, что у нее действительно есть пенис, и впоследствии она будет вынуждена вести себя так, как если бы она была мужчиной»<sup>12</sup>. Без сомнения, глубокое отрицание.

Годом ранее Фрейд провел различие между невротическим и психотическим отрицанием реальности, но внес некоторую путаницу, рассматривая их как формы подавления<sup>13</sup>. При неврозе Эго, в зависимости от реальности, подавляет «часть Оно», то есть инстинктивную, неконтролируемую часть жизни. Однако при психозе Эго, служащее этому Оно, удаляется из реальности. Невроз – это подавление, которое не удалось. Таким образом, вытеснение

---

<sup>9</sup> S. Freud, «Some Psychical Consequences of the Anatomical Distinction between the Sexes» (1925), in Standard Edition, XIX, 248–58.

<sup>10</sup> Ibid., 252.

<sup>11</sup> Ibid., 253.

<sup>12</sup> Ibid., 253.

<sup>13</sup> S. Freud, «The Loss of Reality in Neurosis and Psychosis» (1924), in Standard Edition, xix, 183–7.

подсознательных влечений (таких как любовь к запретному объекту) невротично: вы «забываете» (всегда в кавычках) посредством вытеснения. Случай, который Фрейд приводит, типичен: пациентка влюблена в своего зятя; у смертного одра сестры она с ужасом подумала: «Теперь он свободен и может жениться на мне». Мгновенно запретное желание подавляется. Психотической же реакцией, напротив, было бы отрицание фактического события, то есть факта смерти сестры.

Все это несколько сбивает с толку. В статье Фрейда продемонстрированы как сходства, так и различия между невротическими и психотическими реакциями. Оба выражают бунт идентичности против нежелания внешнего мира приспособливаться; но «невроз не отрицает реальности, он только игнорирует ее; а психоз отрекается от нее и пытается ее заменить»<sup>14</sup>. В конце концов он находит определение, близкое к обыденному (и не особенно невротическому) опыту отрицания: «Невроз обычно довольствуется тем, что избегает рассматриваемой части реальности и защищает себя от контакта с ней»<sup>15</sup>.

В 1927 году Фрейд опубликовал свою статью о фетишизме, которую обычно ошибочно называют источником его концепции отрицания или отвержения<sup>16</sup>. Он утверждает, что фетишист увековечивает инфантильную установку, занимая две несовместимые позиции одновременно: он одновременно отвергает и признает факт женской кастрации. Объект, выбранный фетишистом, не является заменой какого-либо пениса, а является заменой детского пениса, впоследствии «потерянного». Фрейд отчаянно пытается прояснить этот странный тезис:

Фетиш – это заменитель женского (материнского) пениса, в который когда-то верил маленький мальчик и, по известным нам причинам, не хочет от этой веры отказываться. Таким образом, мальчик отказывается принять во внимание свершившийся факт, что он понял, что женщина не обладает пенисом. Нет, этого не могло быть,

---

<sup>14</sup> Ibid., 185.

<sup>15</sup> Ibid., 187.

<sup>16</sup> S. Freud, «Fetishism» (1927), in Standard Edition, XXI, 350-7.

потому что, если женщина была кастрирована, его собственное владение пенисом было в опасности<sup>17</sup>.

И так далее. Объяснения становятся все более неясными. Внезапно Фрейд переключается на процесс отрицания, а не на его предполагаемое содержание. Теперь очевиден парадокс одновременного знания и незнания. Должны ли мы сказать, спрашивает он, что мальчик «скоматизировывает» свое восприятие, то есть стирает его в психотическом, даже физиологическом смысле? Нет: в психоанализе уже есть для этого очень хороший термин – «вытеснение». Но превратность идеи отлична от аффекта (эмоции). *Verleugnung*, «отвержение», относится к идее; *Verdangung*, что означает «подавление», следует оставить для аффекта. «Скоматизация» – неподходящее объяснение, так как подразумевает, что восприятие полностью стирается, как зрительное впечатление, попадающее на слепое пятно сетчатки<sup>18</sup>. Истинное отрицание совершенно иное: первоначальное восприятие сохраняется, и необходимо предпринимать энергичные действия, чтобы поддерживать отрицание. Ребенок вовсе не сохранил неизменной свою веру в то, что у женщин есть фаллос. «Он сохранил свою веру, но также и отказался от нее»<sup>19</sup>.

---

<sup>17</sup> Ibid., 352.

<sup>18</sup> Однако один критик сравнил фактическую неспособность американского общества «видеть» ущерб, нанесенный иракцам во время войны в Персидском заливе, со слепыми полями зрения (скотомами), которые возникают у жертв некоторых неврологических расстройств. Это своеобразные окклюзии поля зрения: пациенты смотрят на лицо, но не могут его увидеть. Еще более странно то, что они в какие-то моменты не могут распознавать лица. По аналогии, общественность не могла видеть или представить, что пережили иракцы (Lawrence Wechsler, «Notes and Comments», *New Yorker*, 25 Mar. 1991, 25–6). Другие нейронные аналоги отрицания включают поражение головного мозга, вызывающее анозогнозию – синдром, при котором пациенты не подозревают о повреждении, таком как гемиплегия, или отрицают факт возникновения заболевания. Редкий вариант – «синдром Антона» – отрицание слепоты. «Визуальные анозогнезики» действуют так, как если бы они видели, и продолжают так делать, несмотря на все доказательства обратного. «Они упрямо отказываются научиться принимать слепоту, хотя эта неспособность дезориентирует» (Ruth Shalev, «Anosognosia: The Neurological Correlate of Denial of Illness», in Edelstein et al. (eds), *Denial*, 123). Другие формы нарушений зрительного восприятия, или гемианопсия, предполагают скорее неосознанность, чем «отрицание» – пациенты утверждают, что они «прекрасно видят» (см. David N. Levine, «Unawareness of Visual and Sensorimotor Defects», *Brain and Cognition*, 13 (1990), 233–81).

<sup>19</sup> Freud, «Fetishism», 355.

Только если это противоречивое состояние существует или подозревается, концепция отрицания имеет какое-либо значение. Фрейд описывает двух молодых людей, которые могут выглядеть так, как будто они «скоматизировали» смерть своего отца. Но это скорее раздвоение сознания. Их непризнание смерти отца было «лишь одним устойчивым фактором их душевной жизни ... но был и другой, который полностью учитывал этот факт. Позиция, соответствующая желанию, и установка, соответствующая реальности, существовали бок о бок»<sup>20</sup>.

Фрейд был увлечен идеей, что с неудобными жизненными фактами можно справиться путем одновременного принятия и отрицания. Они слишком опасны, чтобы противостоять им, но их невозможно игнорировать. Компромиссное решение состоит в том, чтобы отрицать и признавать их одновременно. Фрейду вряд ли нравилось такое решение: это было «ложное решение» – защита от реальности, а не обучение жить с учетом этой реальности. Вместо того, чтобы использовать понимание, с целью хотя бы попытаться интегрировать эти раздвоенные восприятия, субъект использует «извращенные аргументы» для искажения фактов, то есть способ обращения с реальностью, который, по словам Фрейда, «почти заслуживает того, чтобы его называли изощренным»?<sup>21</sup>

Многие отрицания, безусловно, являются «изощренными». Действительно, этот термин намекает на некоторое вполне сознательное намерение в процессе, который, как предполагается, является бессознательным. В любом случае, если оставить в стороне гностические рассуждения о зависти к пенису, кастрации и фетишизме, фрейдистская метапсихология все еще подпитывает современные дебаты.

---

<sup>20</sup> Ibid., 356.

<sup>21</sup> Цитируется по John Steiner, «The Relationship to Reality in Psychic Retreats», in *Psychic Retreats: Pathological Organizations in Psychotic, Neurotic and Borderline Patients* (London: Routledge, 1993), 88—115. Этот мой абзац во многом опирается на Штайнера.

## Реальность и смысл

Фрейд настаивал на том, что отрицается скорее «нежелательная идея», связанная с воспринимаемой реальностью, нежели объективное существование самого феномена. Если нет полностью психотического вмешательства, субъект вполне способен (по крайней мере теоретически) точно описывать вещи. «Отвержение или отрицание, как первоначально описал Фрейд, предполагает не отсутствие или искажение фактического восприятия, а, скорее, неспособность полностью оценить значение или последствия того, что воспринимается»<sup>22</sup>.

Это различие гораздо сложнее, чем кажется. Во-первых, несмотря на то, что Фрейд однозначно настаивал на том, что объектом отрицания является значение реальности (интерпретация и импликация), а не ее буквальное существование, многие толкования, включая его собственное, непоследовательны. Часто все же заявляется, что реальность (события, факты, вещи) отрицается. Во-вторых, строгое различие между восприятием и его интерпретацией вряд ли можно назвать однозначным. В-третьих, как мы вообще можем быть уверены, что человек действительно знает или знал – или, что еще сложнее, должен был знать – то, что отрицается? Терапевт знает, потому что видит симптомы, сны, оговорки и реакции. Но как журналист, разговаривающий со свидетелями давно прошедшей резни, может быть уверен, что они «должны» были видеть то, чего, как они утверждают, не видели?

## Раздвоение восприятия

В статье Фрейда о фетишизме было введено представление о том, что психика содержит несовместимые или раздвоенные восприятия. Отрицание ребенком анатомических различий между полами указывает, по Фрейду, на раздвоение Эго субъекта. Несколько лет спустя он вернулся к раздвоению эго как объяснению

---

<sup>22</sup> Eugene E. Trunnel and William E. Holt, «The Concept of Denial or Disavowal», *Journal of the American Psychoanalytic Association*, 22 (1974), 771.



отрицания<sup>23</sup>. У фетишиста есть две установки: отрицание восприятия отсутствия у женщины пениса и признание этого отсутствия и вызываемой им тревоги. Отрицание, настаивал Фрейд, всегда дополняется признанием; эти несовместимые позиции существуют всегда. Вы принимаете во внимание реальность и отделяете Эго от реальности. Эти психические состояния «существуют бок о бок на протяжении всей их жизни, не влияя друг на друга. Вот что можно по праву назвать раздвоением Эго»<sup>24</sup>.

Экологический троп «раздвоения» сознания присутствует практически во всех теориях отрицания и, тем более, в народной речи. Даже удивительно, что такая тревожная идея так легко принимается. Фрейд якобы называл отвержение «слепотой видящего глаза, при которой человек знает и не знает что-то одновременно»<sup>25</sup>. Это прекрасно передает суть явления. Но как это возможно? Как мы можем отрицать существование факта и одновременно, по-видимому, в другой «части» разума признавать, что этот факт действительно существует?

### Подавление против отрицания

Фрейд пытался, с возрастающей непоследовательностью, провести различие между вытеснением и отрицанием. В одной версии вытеснение относится к эмоциям, отрицание – к идеям; в другой вытеснение – это защита от внутренних инстинктивных требований, тогда как отрицание/отвержение – это защита от вызовов внешней реальности. Более поздние теоретики стирали все эти различия. Распространенные рассказы об отрицании – мать, отрицающая враждебные желания в отношении своего младенца, сын, отрицающий эдиповы фантазии, мужчина, отрицающий гомосексуальные желания, – едва ли даже пытаются провести различие между признанием внешней реальности и отношением к этой реальности.

---

<sup>23</sup> Freud, *An Outline of Psychoanalysis* (1940) and «Splitting of the Ego in the Process of Defence» (1940), in *Standard Edition*, XXIII.

<sup>24</sup> Freud, *Outline*, 203.

<sup>25</sup> Я много раз встречал эту цитату, приписываемую Фрейду, но цитаты были неверными, и я так и не смог найти ее источник. Эта фраза определенно звучит по-фрейдистски.

Вытеснение, как и предполагал Фрейд, вскоре стало движущей силой всего психоаналитического нарратива. Он стал использоваться специально для описания забывания реальных, воображаемых или желаемых сексуальных переживаний в детстве. «Отрицание прошлого» стало синонимом «вытеснения прошлого», а само отрицание стало неотличимым от других защитных механизмов, таких как вытеснение и диссоциация.

### Сознательное против бессознательного

Психоаналитическая модель исходит из того, что, как это чаще всего и происходит, весь процесс отрицания бессознателен. Однако она допускает частичное осознание – хотя и меньшее, чем требуют сторонние критики – того, что беспокоящие восприятия вытеснены в зону неосознанности. После такого первоначального осознания (которое можно отрицать) «утрата» информации с течением времени бессознательна. Эта последовательность выглядит более правдоподобно, чем привлечение таинственного внутреннего барьера, непроницаемого для сознательного мышления, который настолько эффективно подвергает фильтрации информацию, что делает ее вообще недоступной, но затем время от времени посылает предупреждающие сигналы, чтобы сообщить вам, что происходит что-то странное. Иногда, в довольно жестокой форме, мы не принимаем какую-либо жалостную историю: «Ты действительно все время знал, что она задумала», – говорим мы в этом случае.

В теории Фрейда, однако, защитный механизм должен быть полностью бессознательным. Отрицание в «бытовом смысле», когда заявляется, что что-то не соответствует действительности, не обязательно является отрицанием в «научном смысле» бессознательного процесса<sup>26</sup>. И это никакая не тайна, как может показаться. Многие свидетели совершающегося злодеяния опираются на распространенные версии топографической метафоры раздвоения: «Я не знал», но (обычно позже) «Другая часть (область) моего разума знала (или должна была знать)». Таким образом, «часть эго можно, говоря антропоморфно, рассматривать как «объявляющую» неистинным

---

<sup>26</sup> Trunnel and Holt, «Concept of Denial», 775.

то, что другая часть Эго «признает» как истинное»<sup>27</sup>. Но если отрица-ющая «часть» вашего раздвоившегося «я» полностью бессозна-тельна и отказалась от проверки реальности, как вы можете нести ответственность за что-либо?

### *Последующее развитие теории*

Более поздние варианты теории оставались близкими к оригиналу. В первых же работах Анны Фрейд обращалось внимание на частоту отрицания в детских играх и фантазиях<sup>28</sup>. Маленькие дети не могут использовать более сложные защитные механизмы; они часто прибегают к отрицанию как механизму выживания, чтобы блокировать восприятие, которое их беспокоит или пугает. Автор считала, что положительные утверждения (т. е. фантазии) заслоняют отрицательные реакции: «Отрицание реальности завершается и подтверждается, когда в своих фантазиях, словах или поведении ребенок изменяет на противоположный смысл реальных фактов»<sup>29</sup>. Как и большинство фрейдистов, она продолжала переключаться с внешней реальности на внутренние эмоции и с отрицания на вытеснение.

Анна Фрейд также отмечает, что отрицание во взрослом возрасте более радикально, чем в детстве. Дети могут отрицать какой-то аспект реальности в один момент, а в следующий признавать его. Взрослые, особенно те, кто строит большую часть своей жизни на отрицании, остаются укоренившимися в своей позиции и подвергаются большей угрозе, когда сталкиваются с реальностью. Позже она утверждала, что в том, что касается политиков и фанатиков, «отрицание переходит в ложь и фальсификацию»<sup>30</sup>. Утверждение многообещающее, но сбивающее с толку: как бессознательный защитный механизм «переходит» в преднамеренную ложь и манипуляции политического фанатизма?

---

<sup>27</sup> Ibid.

<sup>28</sup> Anna Freud, *The Ego and Mechanisms of Defence* (New York: International Universities Press, 1966), ch. 7; and Anna Freud and Joseph Sandler, *The Analysis of Defence: The Ego and Mechanisms of Defence Revisited* (New York: International Universities Press, 1985).

<sup>29</sup> A. Freud, *Ego and Mechanisms of Defence*, 95.

<sup>30</sup> Anna Freud, in Freud and Sandler, *Analysis of Defence*, 351–3.

Представление об отрицании как о нормальном (позитивном, здоровом, необходимом, даже доброкачественном и ценном) гомеостатично: отрицание защищает нас от болезненных эмоций точно так же, как физический поворот головы или моргание век защищает сетчатку от яркого света. Наша предсознательная оценка ситуации как опасной вызывает болезненные эмоции, которые направляют наше напряженное внимание на что-нибудь другое<sup>31</sup>. Но в каких случаях защитные манипуляции успешны? Если пациенту становится лучше, мы говорим, что отрицание было здоровым; если хуже, то отрицание оказалось патологическим.

Между вытеснением, отрицанием и отвержением проводится небольшое различие: все они возникают из «основного стремления» отразить бессознательную опасность и «прекратить утечку» того, что должно было оставаться вытесненным<sup>32</sup>. Ванг утверждает, что сами мы никогда не «осознаем спонтанно» наше отрицания – замечает это только сторонний наблюдатель. Но в то же время мы мобилизуем *сознательные* механизмы против «утечек» подавления. Они дополнительно нейтрализуются с помощью таких конструкций, как религиозные убеждения или откровенная ложь. Вы убеждаете своих слушателей с помощью лжи и это усиливает ваше собственное отрицание реальных фактов. Это важный теоретический компромисс, особенно в политической сфере. Здесь Ванг находит лучшую метафору, чем «ликвидация (plugging) утечек»: «Отрицание существования объекта – подразумевая под этим, конечно, его психическое представление – или отрицание чувства сродни «негативной галлюцинации». Там, где что-то должно быть, нет ничего. Такой перцептивный вакуум, однако, нелегко переносить из-за растущего давления чувства реальности и жажды восприятий»<sup>33</sup>. Нельзя слишком долго жить с пустотой «ничего не произошло». Так «положительные галлюцинации» (фантазии, мифы, рационализации, сказки, идеологии) приходят на помощь неубедительному отрицанию, утоляя голод по какому-то образу. Эти «образы», очевидно, не

---

<sup>31</sup> Theo L. Dorpat, «The Cognitive Arrest Hypothesis of Denial», International Journal of Psycho-Analysis, 64 (1983), 47–57.

<sup>32</sup> Martin Wanhg, «The Evolution of Psychoanalytic Thought on Negation and Denial», in Edelstein et al. (eds), Denial, 5–15.

<sup>33</sup> Ibid., 12.

являются идиосинкразическими и индивидуальными, а происходят из присущей нам культуры.

Чтобы достичь этой точки, вряд ли требуется такой окольный путь. И даже если большинство отрицаний является не психотическим отрицанием очевидных фактов, а уклонением от их значения, существует множество непсихотических форм буквального отрицания. Некоторые настойчивые отрицания – «Мой отец на самом деле не умер» – действительно психотические; другие – безобидные и бездумные культурные *глупости* типа: «Элвис Пресли на самом деле не умер»; третьи – «Наш святой на самом деле не умер» – основы религиозной веры. Потребность в альтернативной истории особенно остра, когда немыслима декларативная интерпретация признанного «чего-то». Это ответ на самые крайние формы массовых человеческих страданий. Ванг приводит болезненно актуальный пример: убеждения, культивировавшиеся евреями в Варшавском гетто, чтобы отрицать, что им угрожала опасность ликвидации: здесь, в Европе, этого не может произойти, будут убиты только коммунисты. Но почему «парадоксом» является то, что отрицание избавляет нас от сиюминутной тревоги, но мы должны «отказаться от его удобств», чтобы сохранять бдительность по отношению к долгосрочным опасностям?

Изложенные соображения больше применимы к отрицанию жертвами, чем к отрицанию чужих страданий наблюдателями. Очевидно, что отказ от нежелательных и потенциально опасных новостей, касающихся нас самих, требует объяснения. Но нет и веских причин хотя бы замечать страдания других. Отрицание значения резни в Восточном Тиморе не является иррациональным и не несет для нас никакой угрозы. Некоторые аналитики утверждают, что за то, чтобы сделать психологически несуществующим то, что для нас «действительно реально», приходится расплачиваться. «Такое грубое обращение с реальностью, – сурово предупреждает Эрлих, – не может остаться незамеченным или без компенсации. Рано или поздно, с большей или меньшей степенью справедливости, эго-виновнику придется столкнуться с отзвуками того события»<sup>34</sup>. Это может быть верно для незадачливого «преступника», который

---

<sup>34</sup> H. Samuel Ehrlich, «Adolescent Denial: Some Psychoanalytical Reflections on Strengths and Weaknesses», in Edelstein et al. (eds), Denial, 144.

отрицает ненависть к своему отцу, но в мире злодеяний ни самые информированные наблюдатели, ни даже преступники никогда не услышат никакой отзвук. В общественной, то есть вне персональной, сфере отрицание не имеет необходимой психической цены.

В обоих пространствах, общественном и частном, отрицание может быть скорее *активным* (отрицание, неприятие, отвержение), чем *пассивным* (простое переключение внимания, отведение взгляда)<sup>35</sup>. Люди, живущие среди политических ужасов, могут их *активно* отрицать, но в основном можно их просто игнорировать и забывать, продолжая свою повседневную жизнь. Тем более с новостями о страданиях вдали от нас: мы не отрицаем активно, что тысячи детей ежедневно умирают от голода; мы просто откладываем это знание в сторону, ослабляем их значения, как бы помещая в скобки, учимся жить с ним. Мы не *останавливаемся* на этом, как мы говорим. Но «помещение в скобки» – это еще одна пространственная метафора, такая же, как раздвоение, разделение и изоляция. Такие метафоры едва ли объясняют, как жизненно важная информация регистрируется и отрицается. Еще в меньшей степени они могут иметь дело с неуловимым различием между восприятием и интерпретацией. Если бы Красная Шапочка восприняла бабушкину кровать как пустую, это было бы психотическим отрицанием. Но неужели ее «обычное» отрицание *начинается* с мгновенного и грубого заблуждения, что это ее дорогая бабуля на кровати (ее лицо несколько странное, скорее мордочка, такой большой шарф, шерсть на декольте)? Наверняка Красная Шапочка сразу и безошибочно понимает, что волк никак не может быть ее бабушкой. Но она неверно оценивает *значение* того, что признает. Вот почему ей нужна терапия, образование и повышение сознания – как и всем нам – для устранения последствий, требований, сообщений или рисков, связанных с реальностью: «Послушайте, мисс Шапочка, вот что сделает с вами Грязный Старый Волк, если вы подойдете ближе».

Вместо того, чтобы заикливаться на разнице между фактом и интерпретацией, реальным интересом нашей личной и политической жизни должно быть следующее: «Что мешает нам продол-

---

<sup>35</sup> Michael Frederic Chayes, «Concerning Certain Vicissitudes of Denial in Personality Development», in Edelstein et al. (eds), *Denial*, 87–105.

жать искать истину?» и «Как мы поступаем с истиной, когда обнаруживаем, что она несомненна?» Давайте зададим эти вопросы величайшему отрицателю всех времен, Эдипу. Штайнеровское переосмысливание эдиповой драмы начинается с изучения случая пациента, который, несмотря на видимость, не был ни в неведении о реальности, от которой он уклонялся, ни жертвой раздвоения или вытеснения: «Я думаю, что он закрывал глаза, а затем пытался держать их такими, поскольку это возвышало его морально и делало праведным»<sup>36</sup>. Софокл видел своего героя, Эдипа, как типичную трагическую фигуру, борющуюся с реальностью и самопознанием, одновременно знающую и не знающую правду о том, что он уже сделал или намеревается сделать. История Эдипа как жертвы судьбы, отважно познающего истину, становится аллегорией пациента, при психоанализе которого постепенно открываются тайны бессознательного. При длительной и терпеливой помощи терапевта отрицание в конечном итоге приводит к озарению.

Однако Штайнер напоминает нам, что наряду с эпосом об Эдипе как невинном человеке, настигнутом безжалостной судьбой, драма Софокла несет и другое послание. Далекий от незнания и, следовательно, невинности в том, что он сделал, Эдип должен был осознавать, что он убил царя Лая, своего отца, и женился на его вдове Иокасте, своей собственной матери. Эдип, конечно, не знал полностью всех этих фактов; скорее, «он знал их наполовину и решил закрыть глаза на это полузнание»<sup>37</sup>. Все главные герои драмы также должны были знать о происхождении Эдипа и осознавать, что он сделал. Конечно, существует значительная неоднозначность в отношении того, как много каждый из них знал. Безусловно, у всех участников – Тиресия, Креонта, Иокасты, придворных, старейшин – были веские причины уклоняться от своих знаний или подозрений. Если бы кто-нибудь из них наводил

---

<sup>36</sup> John Steiner, «Turning a Blind Eye: The Cover Up for Oedipus», *International Review of Psycho-Analysis*, 12 (1985), 163. См. также: «The Retreat from Truth to Omnipotence in Sophocles' "Oedipus at Colonus"», *International Review of Psycho-Analysis*, 17 (1990), 227–37. О новом обзоре этих статей Штайнером см. его публикацию *Psychic Retreats*, ch. 10, «Two Types of Pathological Organization in Oedipus the King and Oedipus at Colonus», 116–30.

<sup>37</sup> Steiner, «Two Types», 120.

справки или расследовал открывшиеся намеки, правда легко бы вышла наружу. Вместо этого, сознательно или полусознательно, они присоединяются к Эдипу в инсценировке тайного заговора. Он, в свою очередь, воздвигает правдоподобный фасад, чтобы скрыть даже полужнание, которое он не хочет признавать, и убеждает себя и других принять его истинность.

Таким образом, легенда эта вовсе не о неустанном стремлении к истине, а, напротив, о систематическом отрицании истины. Это история сокрытия, как Уотергейт или Иран-контрас. Вопросы в этих случаях те же, что и в истории Эдипа: в какой степени и с какого момента Никсон, Буш или Рейган действительно знали правду? Как начался сговор? В чьих интересах проводилось сокрытие? Легенда также имеет отношение к вопросу о «хороших немцах»: «Как много они знали?» И к комиссиям по установлению истины: знал ли этот чиновник, что его подчиненные руководили эскадронами смерти?

Отрицание как «необходимость быть невиновным в тревожном узнавании» в точности соответствует такому прочтению трагедии: «Кажется, что мы имеем доступ к реальности, но предпочитаем игнорировать ее, потому что это оказывается удобным»<sup>38</sup>. Фраза «закрывать глаза» также передает «должную степень двусмысленности в отношении того, насколько сознательным или бессознательным является знание»<sup>39</sup>. Это не невинная ложь или мелкое мошенничество: когда факты доступны, но они могут привести к заключению, от которого мы сознательно уклоняемся, «мы смутно осознаем, что предпочитаем не видеть фактов, не осознавая того, от чего именно мы уклоняемся»<sup>40</sup>. Мы отворачиваемся от наших прозрений и скрываем их последствия. Мы знаем лишь наполовину, но не хотим открывать другую половину.

Эта ревизионистская интерпретация не заменяет традиционную версию. Обе могут быть истинными: и знание, и незнание. Действительно, большая часть напряженности драмы возникает из-за конфликта между желанием знать и страхом перед знанием. Каждое из этих состояний может доминировать – как и у всех нас – в

---

<sup>38</sup> Steiner, «Turning a Blind Eye», 161.

<sup>39</sup> Ibid.

<sup>40</sup> Ibid.



разное время. Что обеспечивает Эдипу статус героя, так это то, что, в конце концов, «он способен упорствовать в своих поисках истины, преодолевая собственное нежелание знать, которое полностью доминировало над ним в прошлом»<sup>41</sup>. Когда в этом конфликте *Царь Эдип* достигает наивысшей точки, его амбивалентность исчезает. Теперь, потрясенный открывшейся правдой, он признает факты и свою вину; он не ищет никаких оправданий. Но само предшествовавшее ослепление показывает, что полностью раскрытая истина слишком ужасна, чтобы ее выносить. Следующая часть драмы, *Эдип в Колоне*, демонстрирует дальнейшее отступление от реальности, ведущее к дикому отрицанию, самооправданию, самодовольной невинности и, в крайних случаях, к психотически-подобному чувству всемогущества.

Таким образом, существуют два способа уклонения от реалий индивидуальных и массовых страданий. Первый, *закрывать глаза* – оказывается удобным держать факты вне поля зрения, позволяя чему-то быть как известным, так и неизвестным. Такой и подобные методы могут быть в высшей степени патологическими, но, тем не менее, «отражают уважение и страх перед правдой, и именно этот страх ведет к сговору и сокрытию»<sup>42</sup>. Закрывать глаза – это социальное движение. У нас есть доступ к достаточному количеству фактов о человеческих страданиях, но мы избегаем делать выводы из-за их тревожных последствий. Мы не можем сталкиваться с ними постоянно.

Второй способ, *уход от истины к всесилию* (вседозволенности), более коварен и более устойчив по отношению к терапии или инсайту. Это предпочтительный ход преступников, а не простых наблюдателей. Когда Эдип, теперь фактически ослепший, больше не может, фигурально выражаясь, закрывать глаза, он проявляет презрение к истине. Он переходит к имплицативному отрицанию. Это принимает особенно опасную форму самодовольства, оправдывающего все злодеяния и одержимо обвиняющего других. «Он не отрицает самих фактов, слишком поздно делать вид, что он не убивал своего отца и не женился на своей матери, но он отрицает вину и ответственность и утверждает, что все обиды были нанесены

---

<sup>41</sup> Steiner, «Retreat from Truth», 228.

<sup>42</sup> Ibid., 233.

ему, а не им»<sup>43</sup>. Он надменный и высокомерный; он не уважает реальность, не стыдится и не пытается скрыть свои преступления. Это, безусловно, истинный голос «нового варварства» этнического националистического конфликта с его бредовыми схемами самодовольного всемогущества и самооправдания путем обвинения других.

В этом заключается лишь аналогия, но не причинная связь между психическим и политическим отрицанием. Недавний тезис, который обращается к *«Авторитарной личности»*, показывает опасность экстраполяции с индивидуального на политический уровень<sup>44</sup>.

Утверждается, что состояния отрицания возникают в результате того, что родители используют жесткие, суровые методы воспитания детей, особенно физические наказания, при этом отрицая собственную неоправданную жестокость («Мы делаем это для вашего же блага»). Дети таких родителей рано учатся отрицать реальность своей боли, подавлять чувства гнева и унижения и создавать воображаемые миры. Став взрослыми, они отрицают те аспекты реальности, которые напоминают им об эмоциональной боли, перенесенной в детстве, – страх, гнев, беспомощность. Как родители, они передают своим детям эту боль, которую сами они отрицали, накапливая отрицательный опыт. Отрицание передается из поколения в поколение и находит отклик в более широкой политической культуре: «Если мы отрицаем реальность, если мы не чувствуем боли от того, что происходит в Боснии или в соседнем доме, мы не делаем ничего, чтобы изменить эту реальность»<sup>45</sup>. Такие эмпирические связи весьма малоубедительны, а причинно-следственная цепочка слишком растянута, чтобы покрыть слишком многое: подъем религиозных правых, насилие в отношении геев, наказания в школах, смертную казнь, жестокое обращение с детьми и почти любую ярость, связанную с американскими белыми мужчинами.

---

<sup>43</sup> Ibid., 233-4.

<sup>44</sup> Michael A. Milburn and Sheree D. Conrad, *The Politics of Denial* (Cambridge, MA: MIT Press, 1996).

<sup>45</sup> Ibid., 3.

Растущая популярность нестрогих определений «отрицания» в большей степени порождается терапевтической психологической болтовней. Обнадеживает использование «профессионального» термина для объяснения странного существования людей, которые знают, но не знают, которые не просто лгут, а вообще не способны воспринимать реальность.

Таким образом, авторитетное руководство DSM предписывает клиницистам следовать семиуровневой «Шкале защитного функционирования», предлагающей ранжировать случаи в порядке адаптивности<sup>46</sup>. На втором уровне диссоциация и подавление делают полезную работу, удерживая потенциально угрожающие вещи вне сознания. Это также происходит на четвертом уровне, *отрицании*, когда оно удерживает «неприятные или неприемлемые факторы стресса, импульсы, идеи, аффекты или ответственность вне сознания». На седьмом уровне, самом неадаптивном, *защитное разрегулирование* приводит к «явному отрыву от объективной реальности». Разумеется, имеется немало ученых, которые иначе оценивают отрицание. В одной рейтинговой таблице, ранжирующей формы защиты в соответствии с их «зрелостью», отрицание отнесено к самой низкой категории, а *нарциссические защиты* – к «самым примитивным и присущим детям и людям с психическими расстройствами»<sup>47</sup>.

В соответствующих текстах разумная неоднозначность психоаналитической теории превращается в псевдоточную «научную» классификацию и фетишизированный «медицинский» диагноз. DSM, тем не менее, отмечает критерий, который обычно считается само собой разумеющимся: «болезненный аспект реальности», который человек отказывается признавать, тем не менее очевиден для других. Но если мы не уверены, что эта реальность действительно очевидна (или была таковой) для других, мы можем

<sup>46</sup> American Psychiatric Association, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 4th edn [DSM – IVtm] (Washington, DC: American Psychiatric Association, 1994), 751–3.

<sup>47</sup> Harold I. Kaplan et al., Kaplan and Sadock's Synopsis of Psychiatry, Behavioral Sciences, Clinical Psychology, 7th edn (Baltimore: Williams and Wilkins, 1994), 249–53. Вряд ли может быть что-то более незрелое, чем отрицание, которое появляется на их «столе развития» в качестве защиты эго, используемой между рождением и оральной стадией незадолго до достижения одного года. Альтруизм находится на вершине и считается зрелой защитой наряду с сублимацией, аскетизмом и юмором.

только догадываться о том, что эти другие видели, но субъект «отказывается признать».

Если клинические источники вряд ли сложны, то психология Новой Эры, которая популяризировала понятие «отрицания», звучит более многообещающе: саморефлексия и субъективность, а не относительная важность и синдромы. Я намеревался посвятить значительную часть текста самопомощи, росту, Новой Эре, альтернативным, комплементарным и духовным движениям. Но после того, как я пролистал около тридцати относящихся к теме книг, я обнаружил, что содержащиеся там рассуждения слишком повторяющиеся и слишком упрощенные, чтобы заслуживать подробного комментария. Все они формулируют две мысли об отрицании.

Во-первых, отрицание можно найти повсюду. Предполагается, что каждый читатель «отрицает» все, что является предметом читаемой им книги по самопомощи<sup>48</sup>, что, в свою очередь, и оказывается «действительной» его проблемой. Вы отрицаете свою зависимость (от наркотиков, алкоголя, нездоровой пищи, деструктивных отношений, марсиан или слишком большого количества витаминных добавок); для вас характерна низкая самооценка или недооценка вашего эмоционального интеллекта; вам присущи высокая способность к саморазрушению или высокий нарциссизм; у вас отсутствует контакт со своим внутренним, истинным Я или ребенком внутри вас.

Во-вторых, отрицание – это всегда то, что можно и нужно преодолеть, подорвать, пробить или сломить. Это ведет к пониманию, принятию и признанию, всплывает скрытая истина и затем начинается процесс заживления. Вы ставите галочки в диагностической таблице, ведете ежедневный дневник отрицания и выполняете предложенные упражнения. Теперь вы можете проверить, насколько вы лучше (то есть насколько хуже, потому что вы больше не отрицаете). Однажды я посетил серию лекций в Санта-Круз, штат Калифорния, по теме «Самоактуализация». Я был рад видеть работу Р. Д. Лэйнга в списке литературы, рекомендованной для чтения, пока не понял, что откровенно (порой тяжеловерсно) иронические

---

<sup>48</sup> На самом деле все наоборот. Причина, по которой вы купили именно эту книгу (о ожирении, а не о садомазохизме), заключается в том, что вы не можете избавиться от своей тревоги по поводу именно этого состояния. Вы не только не отрицаете, но и одержимы этой темой.

описания терапии Лэйнга воспринимались буквально как тяжелые случаи отрицания:

*Он не думает, что с ним что-то не так, потому что  
Одна из вещей, которая с ним связана,  
заключается в том, что он не думает,  
что с ним что-то не так,  
поэтому мы должны помочь ему осознать это,  
тот факт, что он не думает, что с ним что-то не так,  
является одним из того, что с ним не так<sup>49</sup>.*

Первоначальные фрейдистские рассуждения осознавали свою внутреннюю натянутость. Предположим, что существует или может существовать единое «я». В попытках объяснить и преодолеть отрицание используются обходные пути, уловки изоляции и раздвоения, которые имеют смысл только в том случае, если это интегрированное «я» существует. Напротив, позднемодернистское и постмодернистское «я», по сути, не имеет сущности. Для этого фрагментированного, подвижного и раздробленного «я» отрицание вовсе не отклонение от нормы, а вполне предсказуемо. Однако это не просто изменение мировоззрения. Сам Фрейд совершенно ясно дал понять, что внутреннее «Я» даже самого здорового, «целостного» человека постоянно находится в осаде. «Я» никогда не могло быть полностью социализировано; отрицание и самообман являются частью человеческого бытия.

Утверждение, что при нормальном (непсихотическом) отрицании перцептивные свидетельства остаются нетронутыми, а отрицается только их значимость, оставляет другие неразрешенные противоречия. Но это позволяет говорить о значениях, интерпретациях, символах и субъективности. Для такого языка нет места в механистической теории защитных «механизмов». Подумайте о средствах, сознательных и бессознательных, которые жители Иерусалима, Белфаста, Бейрута, Боготы и Алжира постоянно используют для того, чтобы не осознавать ежедневное насилие. Вы не можете ни допустить угрозу того, что ваши знания станут управлять вашим повседневным существованием, ни действовать без этого знания. Язык «механизмов» не может точно передать эти

---

<sup>49</sup> R. D. Laing, *Knots* (London: Tavistock, 1970), 5.

нюансы, как не может и говорить о когнитивных «потерях» или «лакунах» в восприятии.

В результате возникает повторяющийся вопрос о нормальности отрицания. Отрицание якобы защищает нас от дисфункциональной тревоги, не давая нам думать или выражать то, что нам угрожает. Но это также воспринимается как свидетельство сбоя, искажения или «когнитивной блокировки», которые необходимо исправить. Если защита работает так уж хорошо, почему кто-то должен пытаться разрушить ее? Моя последняя глава противостоит более широкой версии этого вопроса: есть ли абсолютная ценность в том, чтобы смотреть правде в глаза и говорить правду?

## Ложь и самообман

Мы предположили, что откровенная ложь гораздо проще, чем отрицание. «Правительство Руритании категорически отрицает, что его вооруженные силы несут ответственность за какие-либо убийства». Если это утверждение не соответствует действительности, правительство знает, что оно не соответствует действительности, а значит, утверждение сознательно направлено на обман, то это не является «опровержением» в каком-либо непонятном смысле. «Решительно отрицает» – это просто общепринятая фраза для обозначения лжи. Такие преднамеренно вводящие в заблуждение утверждения не вызывают каких-либо слишком усложненных идей об «отрицании» в психоаналитическом смысле.

Однако в некоторых состояниях ума индивидуума и на уровне государственной политики различие между очевидной ложью и парадоксальным отрицанием стирается. Это происходит в области самообмана и недобросовестности. Что может означать «лгать себе» – обычное (и странное) значение самообмана? Ложь – это «утверждение, направленное на то, чтобы ввести обманутого в заблуждение относительно состояния мира, включая намерения и отношение лжеца»<sup>50</sup>. Лжец, по сути, намеревается заставить обманутого принять понимание мира и/или его представление в разуме лжеца, которое лжец считает абсолютно ложным. Различие между

---

<sup>50</sup> J. A. Barnes, *A Pack of Lies: Towards a Sociology of Lying* (Cambridge: Cambridge University Press, 1994), 11.

правдой и ложью – напоминает нам Барнс, – относится к намерениям лжеца, а не к природе мира. Робинсон хорошо определяет «прототипическую, полноценную ложь как пропозицию (Р), выдвигаемую S (отправителем) адресату (А), такую, что (1) Р ложна, (2) S считает Р ложной и (3) объявляя Р, S намеревается заставить А поверить в Р»<sup>51</sup>. Несмотря на свой неуклюжий вид, это определение служит полезным инструментом для отсеивания тех отрицательных утверждений (конечно, большинства), которые являются «просто» полномасштабной ложью.

Но как быть с самообманом? Если он означает ложь самому себе, а не другим, это похоже на прототипическое отрицание. Однако буквальное применение определения PSA совершенно неправдоподобно. Семантически сложно представить эту последовательность лжи самому себе – вы как S (одна отдельная часть себя) пытаетесь одурачить себя же как А (другую часть). Понятие самообмана, однако, должно предполагать такие же внутренние диалоги или многосторонние разговоры: роли лжеца и обманщика действительно разыгрываются или придумываются одним и тем же человеком («я» в сознательном против «я» в бессознательном)<sup>52</sup>. Это больше похоже на текущие внутренние переговоры в реальности, которые, как и внешние переговоры между реальными, разными людьми, могут включать отрицание, ложь, заблуждение, иллюзию и обман. В этом, менее строгом смысле, можно вообразить самообман. Так же относится и к самообману: лжец начинает верить, что его ложь не ложь, а правда. Чтобы сосуществовать с самим собой, вы позволяете себе быть «захваченным» своим стилем обмана. Так что внутреннее отрицание похоже на уловку, направленную на самого себя, или самообман.

Но насколько люди «действительно» верят в ложь, которую говорят себе и другим? В главе 4 мы встретим виновных в чудовищных злодеяниях, которые не только отрицают свою вину, но и настаивают (и убеждают других), что они были морально правы: «они начали стрелять ... мы – настоящие жертвы ... они заслужили то, что получили ... это была воля Божья». Такая псевдосправедливость может быть только тактической уловкой, риторическим

---

<sup>51</sup> W. Peter Robinson, *Deceit, Delusion and Detection* (London: Sage, 1996), 33.

<sup>52</sup> Barnes, *Pack of Lies*, 87–98.

жестом, притворством. Эти люди знают, что лгут, и ни на минуту не верят собственным штампам. В качестве альтернативы, однако, они (и их аудитория) могут быть убеждены, что это правда: суть – это текст. Требуется долгая практика, освоение культуры, индоктринация, рутинизация или постепенное превращение людей в способных поверить в собственную ложь и не считать себя заблуждающимися. Вы становитесь искренними, когда, согласно классическому определению Рисмана, вы начинаете верить собственной пропаганде. Помните, что истинность или ложность таких нарративов не сообщают нам, являются ли они полнокровной ложью, пустой риторической болтовней или совершенно искренними убеждениями. Скорее всего, в устах сербского солдата, дающего интервью CNN, они представляют собой смесь всех трех.

Но предположим, что он действительно имеет в виду то, что говорит – либо после того, как убедил себя в этом, либо потому, что никогда не подвергал сомнению свои убеждения. Это самообман или искренность? Что лучше (менее опасно): чтобы солдаты, пресс-атташе и политики верили своей собственной риторике, или чтобы знали, что это всего лишь вводящая в заблуждение риторика? Начинают ли они сначала верить, а потом становятся циничными или начинают с того, что цинично формируют свою веру?

В любых рассуждениях об обмане самих себя путем сокрытия правды «от» самих себя такие термины, как «обманывать» или «скрывать», безусловно, отрицают идею того, что отрицание – это бессознательный процесс. Теория Фрейда не требует, чтобы мы на каждом этапе были полностью бессознательны в отношении того, что мы делаем. Таким образом, мы сознательно предпочитаем не задавать вопросы, которые могли бы подтвердить некое давнее знание: «Я просто не хочу знать, что они рассказывают на этих конференциях». Мы также не бессознательны, когда заявляем, что не осознаем того, что делаем, или протестуем против (совершенно правильного) названия, которое кто-то дает этому: «Дело не в том, что я на самом деле бросаю вас». Но основная движущая сила должна быть бессознательной, чтобы позволить нам продолжать думать, что мы делаем что-то совершенно отличное от того, что мы признаем как относительно других, так и по отношению к самим себе. Защищенные таким образом отрицанием – мы не несем ответственности за это уклонение от суждения, выносимого



суперэго – мы не только избегаем беспокойства, но даже наслаждаемся запретным.

Это очень похоже на самообман. Согласно общепринятой теории, люди в состоянии самообмана избегают «называть» то, что они делают: «Человек, практикующий самообман – это тот, кто каким-то образом вовлечен в события, но отрицает свое участие, кто не признается в этом даже самому себе»<sup>53</sup>. Фингарет отмечает, что это похоже на фрейдовское «раздвоение эго». Даже если у людей есть четкая личная самоидентификация, они действуют способами, которые, как им известно, являются морально неприемлемыми, но делают это в исполнении каких-то отдельных проектов, оторванных от остального «я». Этот тип отрицания – действие не имеет никакого отношения к тому, кто я есть на самом деле – может быть вполне искренним и, следовательно, самообманным. Как мы увидим, это имеет решающее значение для продолжения злодеяний. Я мог бы прибегнуть к еще более радикальной формуле отрицания: человек, который делал (или наблюдал) все эти ужасные вещи во Вьетнаме, был не я.

Самообман – это способ скрыть от самих себя правду, с которой мы не можем и не желаем столкнуться. Как отмечает Бок, «увидеть, что наше «я» обманывает себя, казалось, единственным способом объяснить то, что в противном случае могло бы показаться непостижимым: неспособность человека признать то, что слишком очевидно, чтобы его не заметить»<sup>54</sup>. Но это объяснение настораживает: «Каким образом можно быть одновременно и внутри, и снаружи, сохраняя секреты от самого себя, даже лгать самому себе? Как можно одновременно знать и игнорировать одно и то же, сознательно скрывать это и оставаться в неведении относительно этого?»<sup>55</sup>. Без этой одновременности – зная и не зная одно и то же в одно и то же время, быть на свету и во тьме, сохранять тайну и игнорировать ее – и самообман, и отрицание теряют

---

<sup>53</sup> Herbert Fingarette, *Self-Deception* (London: Routledge, 1969), 67, and (summarized) idem, «Self-deception and the "Splitting of the Ego"», in R. Wollheim and J. Hopkins (eds), *Philosophical Essays on Freud* (Cambridge: Cambridge University Press, 1982), 212–27.

<sup>54</sup> Sisela Bok, *Secrets: On the Ethics of Concealment and Revelation* (New York: Vintage Books, 1982), 60.

<sup>55</sup> Ibid., 61.

свой парадоксальный характер. Тем не менее, нет никакого способа «вывести» что-либо из этого. Если мне скажут, что я обманываю себя или отрицаю, у меня нет убедительного способа опровергнуть это. Все мои отрицания являются еще одним доказательством глубины моего отрицания, силы моего сопротивления или фальши моего сознания.

Решение Фрейда привлекательно, потому что топология раздвоения разума удерживает эти двойственности на месте. Именно это Сартр безжалостно высмеивал: «гипотеза цензора, задуманная как демаркационная линия с таможенной, паспортным отделом, валютным контролем и т. д., чтобы восстановить двойственность обманщика и обманутого»<sup>56</sup>. Выдвигаемая им альтернатива, а именно недобросовестность, есть форма отрицания, которую сознание направляет на себя, но это не то же, что не «лгать» самому себе. Человек, практикующий недобросовестность, безусловно, скрывает неприятную правду. Но это не ложь – просто потому, что вы скрываете правду от себя. Не существует двойственности обманщик–обманутый; все происходит в едином сознании: «Выходит, ... что тот, кому лгут, и тот, кто лжет, – одно и то же лицо, а значит, я должен знать в качестве обманщика ту истину, которая сокрыта от меня как обманутого. Более того, я должен в деталях знать правду, чтобы тщательнее ее скрывать»<sup>57</sup>.

Это уже имеет смысл. Но Сартр теперь сам становится непрозрачным. Он настаивает, что недобросовестность – это не то, чем заражаются; это точно не «состояние». Сознание «влияет на себя» недобросовестно: «Должны существовать первоначальное намерение и проект его реализации»<sup>58</sup>. Но что это может быть за проект в мире социальных страданий? Сартр настаивает на том, что знание истины «очень точно» и ее «более тщательное» сокрытие происходят не в разные моменты, а «в единой структуре единого проекта». Если проект не является ни бессознательным, ни преднамеренной и циничной попыткой (заведомо обреченной) солгать самому себе, то что же это?

---

<sup>56</sup> Jean-Paul Sartre, *Being and Nothingness* (New York: Philosophical Library, 1956), 50.

<sup>57</sup> *Ibid.*, 49.

<sup>58</sup> *Ibid.*

Одним из ответов является отказ разъяснить свою роль в мире. Эльстер интерпретирует это как преднамеренный отказ от сбора угрожающей информации<sup>59</sup>. Таким образом, диктатор сообщает своим подчиненным, что не хочет знать никаких подробностей; он знает, что происходит что-то сомнительное, но его добровольный отказ от подробных знаний позволяет ему позже сказать себе и другим, что он ничего не знал о том, что происходит. Отсюда происходила способность миллионов немцев не замечать программу истребления: они должны были знать, что происходит что-то ужасное, но пока они оставались в неведении о деталях, они могли позже сказать: «Мы не знали». Это совсем не сложная и не парадоксальная форма самообмана, привлекаемого для объяснения, «потому что мы не должны приписывать самообманываемому знание фактов, которые он не хочет знать, но можем приписывать знание того, что такие факты существуют»<sup>60</sup>. Мы все, я полагаю, хоть в какой-то мере злоупотребляли этой конкретной формой недобросовестности.

Таким образом, сущность самообмана остается неуловимой. Философы не могут прийти к согласию по поводу того, что такое самообман или как он связан с рационализацией, принятием желаемого за действительное или другими психическими стратегиями самоманипулирования. Например, в недавнем обзоре делается вывод, что «нет единого мнения о том, существуют ли вообще добросовестные случаи самообмана»<sup>61</sup>. Точка зрения Рорти приближает самооценку к отрицанию<sup>62</sup>. Она отбрасывает, во-первых, понятие лжи самому себе в смысле преднамеренной веры в то, что, как вы точно знаете, является ложным, и, во-вторых, одновременное осознание и неосознание своих убеждений. Ее постмодернистская альтернатива – фрагментарное «я», состоящее из относительно автономных микросистем. Это допускает «разделение, самоуправ-

---

<sup>59</sup> Jon Elster, *Ulysses and the Sirens: Studies in Rationality and Irrationality* (Cambridge: Cambridge University Press, 1984), 172–9.

<sup>60</sup> *Ibid.*, 178.

<sup>61</sup> Brian P. McLaughlin and Amelie Oksenberg Rorty (eds), *Perspectives on Self-Deception* (Berkeley: University of California Press, 1988), I.

<sup>62</sup> Amelie Oksenberg Rorty, «The Deceptive Self: Liars, Layers and Lairs», in McLaughlin and Rorty (eds), *Perspectives*, 10–28.

ляемую фокусировку, избирательную нечувствительность, слепую настойчивость, хитрую невосприимчивость»<sup>63</sup>.

Сравнивая трагический взгляд на то, что мы все обречены на вечный самообман (мы не способны не обманывать самих себя), с тезисом о том, что самообман невозможен (поскольку это означало бы, что один и тот же человек одновременно знает и не знает об одном и том же), Эльстер может только прийти к выводу: «Между двумя этими понятиями стоит здравый смысл, который говорит нам, что люди иногда, но не всегда, обманывают самих себя»<sup>64</sup>. Здравый смысл также говорит нам, что «иногда, но не всегда» мы попадаем в режим защитного отрицания, даже не осознавая этого.

Психический мир достаточно сложен, а потому способен принять и отрицание как бессознательную защиту, и самообман как недобросовестность. Давайте представим себе, что присутствуют и гомункулы Фрейда, и гомункулы Сартра, каждый из которых работает над разным материалом в разное время. В какой-то части вашего разума, без желания и даже без вашего ведома о ее присутствии, сидит довольно добрая фрейдистская тетя. Она может улыбаться, но она все время усердно работает – и без особой сознательной помощи с вашей стороны – над тем, чтобы защитить вас от психических издержек жизни в присутствии угрожающих и нежелательных знаний. Она не хочет, чтобы вам пришлось слишком беспокоиться. Она помогает вам с помощью всевозможных таинственных популярных приемов (проекция, диссоциация, формирование реакции), но ее любимый прием – подтолкнуть вас к отрицанию. Она действует так быстро, что вы не успеваете понять, что же вы заметили. Незаметно для вас исчезает любое «тревожное узнавание» – чувство, фантазия, факт, осознание того, что вы сделали или увидели. Позже, время от времени, вы получаете мгновенную, тревожную вспышку, намек на отрицаемое знание. Именно твоя тетя тут же поможет тебе отвергнуть его в очередной раз. «Это все в твоей голове», – усмехается она и возвращается к вязанию.

В другой части вашего сознания стоит довольно суровый и злобный сартровский дядюшка. Вы помните о его присутствии

---

<sup>63</sup> Ibid., 17.

<sup>64</sup> Elster, Ulysses, 172.

почти все время. Он тоже усердно делает свою работу, которая заключается в том, чтобы избавить вас от моральных издержек, связанных с признанием и принятием на себя ответственности за ваши собственные (глупые) решения, аморальные фантазии, эгоистичные импульсы и неприятные действия. Сговор с ним втянул вас в проект недобросовестности. Вы обдумываете (или уже начали) что-то, что сомнительно с моральной точки зрения или противоречит вашему личному и/или общественному имиджу. Однако вы слишком напуганы, чтобы столкнуться с бездной собственной свободы, знания, с тем, что вы можете выбирать. Итак, вы многозначительно подмигиваете друг другу – и изливаете грустные истории про «нет выбора», «принуждение», «бессознательную мотивацию», «просто подчиняясь приказам» и «не знал, что происходит». Он вполуха слушает, покуривая трубку. В конце концов вы превращаетесь в своего дядю и никогда не делаете ничего достойного до конца своей жизни.

## Когнитивные ошибки

Когнитивная революция последних тридцати лет устранила все следы фрейдовских и других мотивационных теорий. Если вы искажаете внешний мир, это означает, что ваши способности обработки информации и рационального принятия решений несовершенны<sup>65</sup>. Сегодня ни в одном учебнике по когнитивной психологии в указателе нет даже таких терминов, как «отрицание» или «вытеснение». Тематами являются внимание, восприятие, осознание и память, подкрепленные изложением достижений в области когнитивной науки, нейропсихологии, искусственного интеллекта и функционирования мозга.

---

<sup>65</sup> Отбросив весь ненужный фрейдизм, когнитивная психология взяла на себя новый псевдонаучный багаж, чтобы объяснить некоторые довольно простые вещи. Многие «когнитивные ошибки» (и некоторые мотивированные отрицания) возникают, как прекрасно показывает Сазерленд, из-за хитрости, тщеславия, безумия или просто глупости. К ним относятся принятие желаемого за действительное; попытки избегать неуклюжих доказательств, отклонения или искажения противоречивой информации; избирательная память; неправильное толкование доказательств; ложный вывод; чрезмерная самоуверенность; ошибочная оценка рисков и т. д. (Stuart Sutherland, *Irrationality: The Enemy Within* (Harmondsworth: Penguin Books, 1992)).

Явления, подобные отрицанию, могут проявляться в пяти контекстах<sup>66</sup>.

### *Восприятие без осознания*

Если восприятие зависит от полного сознательного принятия, субъект должен иметь возможность проводить самоанализ и сообщать о том, что воспринимается. Последователи когнитивистского и нейропсихологического подходов, однако, уже давно обдумывают доказательства существования способов восприятия без осознания, которые иногда в общем называют «подсознательным восприятием»<sup>67</sup>. Здесь важны три формы:

*Негативные галлюцинации.* Метафора отрицания как «негативной галлюцинации» предполагает, что вместо того, чтобы воображать, что вы что-то видите, вы воображаете, что ничего не видите. На самом деле негативные галлюцинации могут быть вызваны экспериментально и выглядят как прототипы неосознанного восприятия. Загипнотизированные испытуемые, которым сказали, что они не увидят стула, тем не менее избегали наткнуться на стул, когда им велели пройти по комнате. Очевидно, они сформировали визуальный образ объекта, не представляя его как «стул».

*Слепое зрение.* У некоторых пациентов с повреждением головного мозга имеются поражения в зоне коры, ответственной за зрение. Они слепы в том смысле, что не осознают объектов, появляющихся в поле их зрения. Несмотря на это, они могут делать некоторые точные суждения и различать визуальные стимулы, представленные в слепой зоне. Кажется, что они «регистрируют» событие, не осознавая его субъективно. Это странное сочетание, известное как слепое зрение, наиболее тщательно исследовал Вейскранц на своем пациенте Д.Б., который частично ослеп после операции на головном

---

<sup>66</sup> Обзор соответствующих разделов см. в: Robert J. Sternberg, *Cognitive Psychology* (Fort Worth, TX: Harcourt Brace, 1996).

<sup>67</sup> Michael W. Eysenck and Mark Keane, *Cognitive Psychology: A Student's Handbook* (Hove: Lawrence Erlbaum, 1990), ch. 3: «Theoretical Issues in Perception»

мозге<sup>68</sup>. Но действительно ли это восприятие без осознания? Д.Б. утверждал, что у него было ощущение, что «что-то там было», хотя он также утверждал, что ничего не «видит». Такие пациенты, как предполагает Вайскранц, могут находиться в промежуточном состоянии сознания, когда у них возникает «интуитивное ощущение», что там что-то есть.

Независимо от того, следует ли это называть «слепым зрением», очевидно, что происходит что-то, заслуживающее внимания. «Слепое зрение предполагает поразительную возможность, связанную с разумом: одна часть может точно знать, что она делает, в то время как часть, которая предположительно знает – то есть осознание – остается в неведении»<sup>69</sup>. В этом смысле слеповидение – также встречающееся у «нормальных» людей<sup>70</sup> – аналогично повседневному отрицанию. Ум может знать, не осознавая того, что нам известно.

*Подсознательное восприятие* Исследования подсознательного восприятия были популярны в начале 60-х благодаря открытию того, что потребительский выбор аудитории кинотеатра может зависеть от мигающих рекламных сообщений, влияющих на подсознание. Шансы купить определенную марку безалкогольных напитков или сигарет увеличивались, даже если не было осознания или воспоминаний о том, что они видели изображение торговой марки на экране. Те ранние выводы были противоречивы. Но психические и физические реакции – изменения кожно-гальванической реакции, ЭЭГ, эмоции, даже принятие решений – на неосознанно воспринимаемые раздражители действительно существуют. Объективный порог восприятия (где разум обнаруживает и регистрирует стимул) ниже субъективного порога (сознательное принятие сигнала). Это, пожалуй, наиболее «научное»

---

<sup>68</sup> Lawrence Weiskrantz, *Blindsight: A Case Study and Implications* (Oxford: Oxford University Press, 1986), and idem, «Blindsight», in M. W. Eysenck (ed.), *The Blackwell Dictionary of Cognitive Psychology* (Oxford: Blackwell, 1994), 44–6.

<sup>69</sup> Daniel Goleman, *Vital Lies, Simple Truths: The Psychology of Self-Deception* (New York: Simon and Schuster, 1985), 67.

<sup>70</sup> F. Christopher Kolb and Jochen Braun, «Blindsight in Normal Observers», *Nature*, 377 (Sept. 1995), 336–9.

доказательство отрицания как видимого, при этом не знающего, что ты видел.

### *Перцептивная защита и избирательное внимание*

Но почему одни раздражители пропускаются фильтрами, а другие нет? Стандартным объяснением была модель защиты восприятия, сформулированная в конце 1940-х годов. Для этого раздражители – фотографии, мигающие огни, подсознательные сообщения – контролировались, с целью показать, как люди либо игнорируют, либо обращают внимание на определенную входящую информацию. Именно сфокусированное внимание, а не рассеянное и периферийное восприятие, перенаправляется и тормозится. Эмоционально заряженные раздражители воспринимаются с меньшей восприимчивостью, чем более нейтральные раздражители. Это защищает вас от осознания объектов, имеющих неприятные эмоциональные коннотации. Без вашего ведома разум «активирует» ваш внутренний фильтр или задействует внутреннего цензора. Если вы знали о том, что видели, но отрицали это, то это было простым притворством или ложью. Но раздражители могут вызывать вегетативные реакции тревоги или удовольствия, опережая какое-либо осознание<sup>71</sup>.

Это объяснение является по своей сути психоаналитическим во всем, кроме названия. Некоторые раздражители избегаются, блокируются или искажаются, потому что они тревожат или вызывают стресс. Субъект либо придает им менее тревожное значение, либо сопротивляется любому их восприятию. Чтобы избежать угрозы, вы переключаете внимание на что-то менее болезненное, более нейтральное или более приятное. Это «мотивированное отрицание» требует не здравого смысла восприятия, а осознания значения события до того, как оно войдет в сознание. Вы каким-то образом знаете реальность, чтобы не знать ее. Было ли это тем, что происходило с жителями деревни, жившими рядом с концлагерем? И это опять оказывается парадоксом отрицания: «если перцептивная защита действительно перцептивная, то как восприни-

---

<sup>71</sup> Классические примеры приведены в: Elliott McGinnies, «Emotionality and Perceptual Defense», *Psychological Review*, 56 (1949), 244–51.



мающий может защитить себя от определенного раздражения, если он сначала не воспринимает раздражение, от которого он должен защищаться?»<sup>72</sup>. Высказывавшаяся ранее критика Хоуи применима ко всем «объяснениям» отрицания: «Говорить о перцептивной защите – значит использовать метод дискурса, который должен сделать невозможным какое-либо точное или действительно вразумительное значение перцептивного процесса, ибо это значит говорить о перцептивном процессе как о том, что каким-то образом он одновременно является и процессом познания, и процессом ухода от знания»<sup>73</sup>.

Фрейдовский «цензор» уступил место модели восприятия не как «застывшего» события, а как множественного одновременного набора психических процессов: вместо эмоционально мотивированной защиты – просто ошибки познания и рациональности<sup>74</sup>. Популярная социальная психология все еще пытается соединить эти отчасти несовместимые идеи. Когда мы отрицаем наше осознание угроз или редактируем свои мысли, «надвигающаяся тревога успокаивается изменением направления внимания»<sup>75</sup>. Это создает слепое пятно, притупление боли, возникающей из-за глубоких воспоминаний о детстве, от текущих эмоциональных ран, невыносимых образов страданий других или страха перед болезнью. Боль притупляется ослаблением внимания – универсальным процессом, основанным на таких нейрохимических системах, как подавление эндорфинов.

Избирательное внимание ограничивает возбуждение стресса и беспокойства. «Отрицание – это психологический аналог эндорфинного отключения внимания»<sup>76</sup>. Соответствующее лекарство действует и как обезболивающее. В ответ на травмирующее психику событие, такое как смерть любимого человека, мы колеб-

---

<sup>72</sup> Matthew Erdelyi, «A New Look at the New Look: Perceptual Defence and Vigilance», *Psychological Review*, 81 (1974), 1–25.

<sup>73</sup> Duncan Howie, 'Perceptual Defense', *Psychological Review*, 59 (1952), 311.

<sup>74</sup> Четко изложено в Richard Nisbett and Lee Ross, *Human Inference: Strategies and Short-comings of Human Judgment* (Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1980).

<sup>75</sup> Goleman, *Vital Lies*, 19.

<sup>76</sup> *Ibid.*, 43.

лемся между навязыванием (вторжением) и разновидностями отрицания (избегание, отрицание очевидного смысла, оцепенение и т. д.). Это две стороны внимания; ни одна из них не является здоровой, и обе приводят к предвзятости. Отрицание – лишь паллиатив: тревога уменьшается, но угроза остается. Всегда есть компромисс, утверждает Гоулман. Затемнение сознания защищает разум и дает ощущение безопасности, но возникающие в результате слепые пятна заблокированного внимания и самообмана могут в конечном итоге привести к саморазрушению. Эти паллиативы, особенно когда они используются по привычке, искажают нашу способность концентрировать внимание, видеть вещи такими, какие они есть. В когнитивной модели эмоциональная часть фильтра не бросается в глаза; более важным оказывается *интеллект*<sup>77</sup>. «Умный фильтр» автоматически сканирует наши внутренние и внешние сообщения, пропуская только «приемлимые» материалы.

В эти уловки внимания могут быть вовлечены и другие люди. Действительно, искажения и самообман чаще всего синхронизированы – внутри семьи, в интимных отношениях или внутри организаций. Целые общества следуют негласным и неприемлемым правилам относительно того, о чем нельзя говорить открыто. Вы подчиняетесь условиям соблюдения этих правил, но также связаны метаправилом, которое требует, чтобы вы отрицали свое знание исходного правила:

*Они играют в игру. Они играют не в игру.  
Если я покажу им, что вижу, что они есть,  
я нарушу правила, и они накажут меня.  
Я должен играть в их игру, не видя, что я вижу игру*<sup>78</sup>.

### *Когнитивные и логические ошибки*

Психические ресурсы, которые мы можем мобилизовать в любой момент, ограничены. Обработывается лишь небольшая часть доступной информации, и это происходит без сознательного

---

<sup>77</sup> Ibid., 61–66.

<sup>78</sup> Laing, Knots, 1.

контроля<sup>79</sup>. Мотивация не играет доминирующей избирательной или защитной роли в объяснении внимания или сознания. Подсознательное восприятие – это просто «предсознательная обработка» или «подготовка»: определенные раздражители активируют психические пути, которые повышают способность обрабатывать более поздние связанные раздражители. Подготовка также производится, когда фон слишком «шумный».

Различают автоматические процессы (скрытые от сознания, непреднамеренные, потребляющие мало ресурсов внимания, протекающие параллельно, а не последовательно) и контролируемые процессы. При реализации автоматических процессов – привычек и распорядка дня – мы буквально «рассеяны»; разум «скользит по поверхности». Чтобы объяснить ошибки внимания и обработки данных, нет необходимости ссылаться на таинственное мотивационное состояние, подобное отрицанию. Ошибка – это просто ошибка. Оговорка по Фрейду – это просто одна из предсказуемых ошибок, которые случаются в любой сложной системе обработки данных.

Ближайшим к отрицанию процессом является подавление мыслей. Мы пытаемся удержать конкретную мысль от проникновения в сознание; когда мы останавливаем это сознательное усилие, наш автоматический сканер продолжает «выискивать» нежелательные мысли, и в конце концов они входят в сознание. Когнитивное сканирование облегчается привыканием: по мере того, как мы привыкаем к раздражителю – бездомному, спящему на пороге дома; новостным заголовкам об очередной балканской резне, – мы постепенно замечаем этот раздражитель все меньше и меньше. Мотивы и эмоции значения не имеют. Это просто еще один когнитивный феномен, такой как бдительность (ожидание появления сигнала), обнаружение сигнала, поиск (сканирование окружающей среды) или разделенное внимание (выполнение нескольких задач).

Существуют две группы теорий о том, как такое происходит<sup>80</sup>. В теориях фильтра и узкого места множественные входящие ощущения проходят через узкое место, которое определяет, что

---

<sup>79</sup> См.: Sternberg, Cognitive Psychology, ch. 3: «Attention and Consciousness».

<sup>80</sup> Ibid., 95–100.

должно привлечь внимание. В теориях ресурсов внимания у людей активируется лишь фиксированное количество внимания, которое они могут распределять в зависимости от задачи. Внимание приходит, чтобы видеть, чувствовать, знать и слышать; восприятие – это распознавание и осмысление этих ощущений: не то, что мы замечаем, а то, как мы оцениваем его значение или важность.

Выражения, используемые для объяснения повседневных сбоев в восприятии, могут быть метафорами отрицания стороннего наблюдателя: вы «не видите того, что находится прямо у вас под носом», и вы «не видите леса за деревьями»<sup>81</sup>. У людей с неврологическими заболеваниями при зрительной агнозии, то есть нарушении зрительного восприятия, создаются нормальные ощущения того, что находится перед ними, но они не могут распознать то, что они видят. Отрицания, используемые здоровыми людьми, иногда выглядят столь же экстремально. Но если оставить в стороне поражения головного мозга, почему наблюдатели не могут увидеть то, что находится прямо у них под носом? Для когнитивной науки они не лгут намеренно, не запутались в фрейдистских защитах, не одурачены самообманом и не действуют недобросовестно. Они просто некачественные, дефектные процессоры данных; они делают ошибки вывода.

Как происходят такие ошибки? Модели обработки информации и принятия решений выявили множество наших заслуживающих сожаления («неоптимальных») стратегий принятия решений<sup>82</sup>. Предубеждения, умственные упрощения и «эвристика» уменьшают когнитивную нагрузку при принятии решений, но при этом приводят к ошибкам восприятия и принятию нерациональных решений. То, как мы собираем информацию и делаем выводы, не выдерживает критики: «Вместо простодушного ученого, проникающего в окружающую среду в поисках истины, мы сталкиваемся с довольно нелестной личностью шарлатана, пытающегося заставить данные выглядеть таким образом, чтобы они были выгодны для него самого или удовлетворяли уже существующим теориям»<sup>83</sup>.

---

<sup>81</sup> Ibid., 109.

<sup>82</sup> Ibid., ch. 12: «Decision Making and Reasoning».

<sup>83</sup> Susan T. Fiske and Shelley E. Taylor, *Social Cognition* (Reading, MA: Addison-Wesley, 1984), 88.

Создатели когнитивной теории не подчиняются инфантильным и бессознательным желаниям, но сами по себе способны к поразительным перцептивным суждениям, решениям и рациональности. Даже предубеждения, иллюзии и рационализации, происходящие при этом, являются результатом рациональных ошибок в решении проблем, а не скрытых потребностей, желаний или травм. Их жизнь как ученых, пользующихся собственной интуицией, к сожалению, скомпрометирована «дедуктивными недостатками». Нет смысла мучиться отрицанием, вот и все.

### *Загадка сознания*

Если «интерпретационное отрицание» – это просто еще одна ошибка вывода, то буквальное отрицание – это что-то вроде внимания без осознания: высокоскоростной психологический механизм, запрограммированный, как компьютер, на «УДАЛЕНИЕ», а не «СОХРАНЕНИЕ» информации. Но в отличие от компьютера, мозг не обрабатывает информацию шаг за шагом. Он может одновременно выполнять несколько операций над мириадами данных («параллельная распределенная обработка», как говорят в информатике).

Отрицание – это всего лишь «схема обработки информации, направленная на избегание знания». Прерывание и искажение происходит где-то между стадиями, предшествующими сознательной регистрацией, фокусного внимания, понимания и полной когнитивной проработки. В отличие от взглядов на сознание, основанных на здравом смысле, в декартовом театре нет внутреннего зрителя, нет «я». Для постороннего этот механистический взгляд, который пытается обойтись без сознательного разума, несводимого к функционированию мозга, полностью противоречит интуиции<sup>84</sup>. Конечно, нельзя сказать ничего очень интересного об отрицании, не предполагая сознательное я, которое отрицает.

---

<sup>84</sup> См. доступный и (для меня) убедительный отчет Джона Сирла о текущих дебатах: *The Mystery of Consciousness* (New York: New York Review of Books, 1997).

Как ни странно, очень механистическая теория Деннета предлагает яркий образ некоторых форм отрицания<sup>85</sup>. В модели разума с «множественными черновиками» вы не можете остановиться на одном моменте ментальной обработки как на моменте сознания. Деннет утверждает, что нет никаких функциональных различий между «пред-шествующими» стадиями или ревизиями, которые являются предвосхищающими, и «последующими» стадиями, которые при воспоминании обнаруживаются как обремененные памятью. Вы даже не можете провести различие между тем, что субъект осознает, и тем, что он не замечает в любой данный момент. Вы не выделяете сущности сначала, а создаете шаблон уже потом. Скорее, это мгновенные множественные наброски, в которых точка зрения наблюдателя «размазывается» в мозге в одно и то же время.

Деннет сравнивает «сталинское» и «оруэлловское» объяснения того, что делает мозг. В традиционной сталинской модели цензор задерживает передачу до тех пор, пока более приемлемая, должным образом отредактированная версия не станет доступной для циркулирования. Сталинский монтажер вклеивает в фильм дополнительные кадры перед отправкой в кинотеатр, единственным зрителем которого является сознательный субъект. Отрицание происходит вследствие того, что редактор вырезает нежелательную информацию еще до того, как она достигает полного субъективного осознания и сообщения. Оруэлловский же редактор замечает, что неприкрашенная история не имеет достаточного смысла. Таким образом, он интерпретирует необработанные события (в типичном эксперименте красная точка, за которой следует зеленая точка на пустом экране), составляя причинно-следственный рассказ о промежуточных отрывках, а затем закрепляет эту историю в памяти для использования в будущем. Вы говорите и верите, что видели иллюзорное движение и изменение цвета, но на самом деле это галлюцинация памяти, а не точное отражение вашего изначального сознания.

Деннет отдает предпочтение оруэлловской версии – дополнительная обработка выполняется после того, как вы приходите в сознание – по сравнению со сталинской версией, в которой она

---

<sup>85</sup> Daniel C. Dennett, *Consciousness Explained* (Harmondsworth: Penguin, 1992). On Orwell-ian versus Stalinesque models of the mind, see esp. 116-24.

предшествует осознанию. Но вы не можете выбирать между ними: в машине нет субъекта, нет призрака, «которому» ретранслируются образы. Вместо познавательного театра разума есть просто программный пакет одновременных множественных черновиков. Прекрасная метафора, которая мало что объясняет в отношении отрицания.

### *Когнитивная схема: фреймы, адаптации, иллюзии*

В одной из когнитивных моделей информация о мире поступает непосредственно от доступных внешних раздражителей. Такой процесс называется восходящей обработкой или обработкой, управляемой данными. Альтернативная модель отдает приоритет сохраненным ранее знаниям. Это называется нисходящей или концептуально управляемой обработкой. Ни одну из моделей не следует воспринимать буквально. Если все идет снизу вверх, становится невозможным неточное восприятие; а если все идет сверху вниз, то не может быть точного восприятия. Эти процессы работают вместе. Остатки знания, сохраненные в памяти, направляют восприятие (сверху вниз) на выборку конкретных раздражителей; что, в свою очередь, приводит к модификации (снизу вверх) процесса.

Теории нисходящего когнитивного фрейминга – называемых по-разному «картами», «допускаемыми мирами», «схемами» – объясняют, как некая информация оказывается закрытой. Эти «новые» теории не представляют ничего нового для любого социолога. Понятие «допустимых миров» просто означает, что люди живут с предположениями о себе и внешнем мире, не подвергаемыми сомнениям. Эти предположения организованы в оперативные пакеты, которые помогают разобраться в крупных нежелательных и травмирующих событиях<sup>86</sup>. Когнитивные схемы – это наши личные, не заданные заранее способы управления потоком информации – просмотр, проверка, упрощение, организация. Это фильтры, работающие одновременно: кодирование, интерпретация и извлечение информации в соответствии с нашими предыдущими пред-

---

<sup>86</sup> Ronnie Janoff-Bulman, «Assumptive Worlds and the Stress of Traumatic Events: Applications of the Schema Construct», *Social Cognition*, 7/2 (1989), 113–36.

ставлениями и убеждениями. Мы все «когнитивные скряги», пытающиеся экономить энергию, выбирая только те раздражители, которые нам «подходят». Мы упорствуем в своем когнитивном консерватизме (необходимости поддерживать стабильность схемы), даже когда знаем, что выбранная информация ложна.

Каковы наши «предустановленные убеждения»? По мнению когнитивных психологов (а других я не встречал), мы все предполагаем, что (1) мир и люди доброжелательны; (2) жизнь имеет смысл (результаты распределяются по принципу добра и справедливости, люди могут что-то делать, чтобы напрямую управлять событиями); и (3) личность положительна. Последнее означает, что вы обладаете достойными моральными качествами, вы делаете все необходимое, чтобы контролировать результаты, и судьба вас защитит.

Травматическое жизненное событие – болезнь, катастрофа, агрессия – сталкивает вас с аномальными переживаниями, то есть данными, которые слишком болезненны и слишком ярки, чтобы их игнорировать, но не соответствуют вышеуказанным предположениям. Мгновенно, без интеллектуального осмысления, эта информация продвигается в соответствии с существующей схемой. То, что выглядит как отрицание, является приспособлением к когнитивной угрозе. Атака на ваши жизненные представления становится менее агрессивной, а угрожающая информация сокращается до приемлемых доз. Это приводит к провокационной идее о том, что психическое здоровье во многом зависит от нашей способности поддерживать то, что на самом деле является *иллюзией*<sup>87</sup>.

Это «позитивные иллюзии», демпферы событий, которые угрожают нашему ощущению смысла, контролю и самооценке. Такие иллюзии не обязательно отрицают известные факты (буквальное отрицание), но они, как минимум, искажают эти факты (интерпретативное отрицание), чтобы повысить самооценку и подтвердить наше представление о внешнем мире. Как это ни парадоксально, но положительные ошибочные интерпретации (некачественная обработка информации) являются адаптивными,

---

<sup>87</sup> Shelley E. Taylor, «Adjustment to Threatening Events: A Theory of Cognitive Adaptation», *American Psychologist*, 38/11 (Nov. 1983), 1161–1173; Shelley E. Taylor and Jonathon D. Brown, «Illusion and Well-Being: A Social and Psychological Perspective on Mental Health», *Psychological Bulletin*, 103/2 (1988), 193–210.



особенно в неблагоприятных условиях. Эти режимы «отрыва от реальности» вовсе не указывают на психическое заболевание, они необходимы для здорового функционирования.

У этой счастливой истории есть и темная сторона: адаптивные принципы аналогичны тоталитарным стратегиям контроля над информацией, описанным в «1984» и других антиутопиях<sup>88</sup>. Первый – это эгоцентризм – организация памяти вокруг себя, являющегося осью причин и следствий; второй принцип Гринвальд называет благодеянием – приписывание успеха (хорошие последствия) и отрицание ответственности за неудачи (плохие последствия); третий – консерватизм – познавательная установка на сохранение уже установленного. Новые доказательства или противоположные аргументы игнорируются или подгоняются под схему. Мой эпиграф из Оруэлла о национализме показывает сходство между личным и идеологическим отрицанием.

Отрицание – это наличие, которое испаряется, чем ближе вы подходите к его определению. бессознательные защитные механизмы, раздвоение эго, когнитивные парадоксы, самообман, недобросовестность, логические схемы: эти конструкции уходят в свое собственное пространство. По мере удаления от глубоких оригиналов Фрейда и Сартра академический дискурс становится все более мелким, мельче, чем мысли даже самого минимально застенчивого взрослого, не говоря уже об ощущении знания и незнания, которое можно найти в литературе.

Эти психологические концепции нельзя, однако, просто перенести на политический уровень. Они не основаны на ролях и отношениях; они также не принимают во внимание различия между жертвой, преступником и свидетелем. Также мало смысла вкладывается в социальную обстановку: зал суда, повседневная беседа, противостояние с ревнивым любовником, сеанс психотерапии, мыльная опера «родитель–ребенок», свидетель массового зверства, война, раковая палата. больницы, просмотр новостей по телевизору или проход мимо нищего на улице. Более того, соображения, используемые при атрибуции отрицания – важность говорить

---

<sup>88</sup> Anthony G. Greenwald, «The Totalitarian Ego: Fabrication and Revision of Personal History», *American Psychologist*, 35/7 (July 1980), 603–18.

правду, достоверность апелляций к бессознательному, идеал самоинтеграции – не являются универсальными ментальными механизмами, а есть в высшей степени контекстуализированные лингвистические приемы и культурные практики, меняющиеся во времени и в социальном пространстве.

Научный дискурс, прежде всего, упускает из виду тот факт, что способность отрицать является удивительным человеческим феноменом, во многом непонятным и часто необъяснимым, продуктом исключительной сложности нашей эмоциональной, языковой, моральной и интеллектуальной жизни. Эту способность хорошо оценил замечательный персонаж Сола Беллоу, мистер Сэммлер. Сэммлер оказывается в одной из тех ситуаций, которая превращает всех нас в психологов-теоретиков, экспертов в области знания и незнания, обмана и самообмана. Его племянник Элия Грюнер – всего на несколько лет младше и сам врач по профессии – лежит в больнице после операции по поводу тромба. Сэммлер размышляет: «Элия мог умереть от кровотечения. Знал ли он об этом? Конечно, он знал. Он врач, так что он должен был знать. Но он человек, поэтому многое мог решить сам. И знание, и незнание – одно из самых частых человеческих состояний»<sup>89</sup>.

Действительно типичная для человека ситуация. Но не всегда она во благо. Мистер Сэммлер раньше иных людей должен был усвоить, что состояние «и знания, и незнания» служит не только тем, кто страдает. Это состояние используется также теми, кто преднамеренно причиняет ужасные страдания и своим собратям, и тем, кто узнает об этом.

---

<sup>89</sup> Saul Bellow, *Mr. Sammler's Planet* (London: Weidenfeld and Nicholson, 1970), 81.

## 3

## Отрицание в Действии

### Механизмы и Риторические Приемы

В первых двух главах я продемонстрировал многогранность концепции отрицания и сделал обзор некоторых направлений исследования его психологии. Теперь я перехожу к статусу концепции и различным вариантам ее использования. В этой связующей главе, прежде чем погрузиться в мир массовых страданий и публичных злодеяний, я рассмотрю отрицание страданий в повседневной жизни.

### Нормализация

Наиболее известное использование термина «отрицание» относится к поддержанию социальных миров, в которых нежелательная ситуация (событие, условие, явление) не распознается, игнорируется или выдается за нормальную. Повышение уровня сознания, политизация, экономические изменения, наличие профессиональных интересов, групп давления или требования жертвы превращают этот «объект» в категорию отклонения, преступления, греха, социальной проблемы или патологии. Миры личных страданий после этого входят в публичные дискурсы. Такой процесс соответствует известной гипотезе Райта Миллса о превращении личных проблем в общественные. Обратимся к случаям домашнего насилия над женщинами.

Промежутки между актами физического насилия и «соответствующей реакцией» являются формами микроотрицания: «Этого не было» (жертва, друзья, соседи); «Трезвый он совершенно нормальный» (жертва); «Настоящим насилием это не назовешь» (обидчик); «Ей это очень нравится» (правонарушитель, некоторые наблюдатели и терапевты). Варианты этой нормализации будут

нашими постоянными темами: приспособление, банализация, терпимость, миролюбие, сговор и сокрытие.

Макроотрицание происходит на уровне общества. Насилие в семье прошло знакомую последовательность от отрицания до признания. На этапе отрицания феномен был скрыт от сторонних глаз; нормализован, изолирован и скрыт. Стена публичного умолчания была построена из обозначения женщин как собственности, осуществления господства как мужского права, защиты семьи как личного пространства и т. д. Фаза признания началась с публичных откровений жертв, реакции феминистских движений и официальных лиц. Со временем возник отдельный дискурс – поддерживающий, расширяющий права и возможности политические – и набор институтов: юридические санкции, полномочия на вмешательство социальных и правоохранительных органов, приюты для женщин, подвергшихся побоям, агентства самопомощи и т.д.

Как и в случае с массовыми страданиями, эти нарративы подводят нас к границе между историческим (макро-) и личным (микро-) отрицанием. По мере того, как проблема становится политически обозначенной, отдельной жертве становится легче преодолеть остаточное отрицание, самообвинение, стигматизацию или пассивность, и добиться соответствующего вмешательства. Соответственно, обидчику становится все труднее формулировать отрицания («Она сама хотела этого»), которые имеют большие шансы быть принятыми. Существуют современные общества, в которых это общественное осознание факта насилия почти не имеет места или неравномерно распределено по социальным классам. Здесь мы находим не буквальное отрицание, а культурные интерпретации и нейтрализации, поощряющие притупленное, пассивное принятие насилия: таковы мужчины, такова судьба женщин, ничего никому не говорить, это должно оставаться в семье.

«Притупленное, пассивное принятие» – лишь одна из форм возможных реакций. Такие термины, как «терпимость», «нормализация» и «аккомодация», обозначают другие варианты отрицания. К ним часто обращаются, чтобы ответить на стереотипный (и глупый) вопрос о том, почему женщины остаются в отношениях, оскорбляющих и унижающих их достоинство, а не уходят или не желают вмешательства извне. Одно из исследований традиционного палестинского общества показывает, что очевидная «терпимость» жен-

щин к жестокому обращению – отсутствие публичных заявлений или стремления к постороннему вмешательству – не означает «принятие»<sup>1</sup>. Женщины не игнорируют насилие и не оправдывают его; они также не находятся в каком-то психическом состоянии отрицания жертвы. Они попали в ловушку культуры общества, где терпимость является формой социального контроля, препятствующей или даже запрещающей любое признание проблемы. (Цитируют пословицу: «Лучше скрытое поражение, чем публичное позорище».) Мало того, что жену обвиняют в насилии, совершенном мужем, но и ее терпимость является миражом, скрывающим тот факт, что пассивность («Почему она не жалуется?» «Почему она не уходит?») возникает не из-за свободного выбора, а из-за отсутствия выбора.

## Защитные механизмы и когнитивные ошибки

Отрицание и нормализация отражают личные и культурные состояния, в которых страдание не признается. Модели «мотивированного защитного механизма» и «когнитивной ошибки» призваны объяснить, почему вообще происходит наблюдаемое отрицание. Я беру свои иллюстрации из области болезней: серьезных физических заболеваний, ВИЧ/СПИДа и депрессии.

Отрицание – это предсказуемая реакция на информацию о «стрессовых, серьезных или катастрофических жизненных обстоятельствах», входящая в расширяющийся синдром посттравматического стрессового расстройства (ПТСР). К последним относятся тяжелые заболевания, преступления, несчастные случаи, психические травмы, пытки, войны, стихийные бедствия, внезапная смерть близкого человека и т. д. Вы можете отрицать саму информацию, угрозу, исходящую от нее, личную актуальность и безотлагательность, вашу эмоциональную уязвимость и моральную ответствен-

---

<sup>1</sup> Nadera Shalhoub-Kevorkian, «Tolerating Battering: Invisible Methods of Social Control», *International Review of Victimology*, 5 (1997), 1–21.

ность<sup>2</sup>. Стандартная последовательность ответных реакций – протест, отрицание, навязчивость, проработка и завершение<sup>3</sup>.

Аналогичная последовательность этапов применима к процессу умирания и самой смерти: вы подвергаете себя риску и возможно приближаете смерть, вы реагируете на смертельную болезнь и смерть близких. Когда неизлечимо больные отрицают свою неминуемую смерть, неужели они не знают правды? Скрываем ли мы правду от самих себя, если утверждаем, что не осознаем серьезности состояния больного? Есть много вариантов: бессознательные спирали самообмана между пациентом и окружающими; неявное соучастие в том, чтобы открыто не признавать правду; рассчитанный обман, организованный (обычно из лучших побуждений) различными манипуляциями пациента, врача или семьи, затем, на более поздней стадии, горе от тяжелой утраты, отказ поверить в то, что произошло, нескончаемый траур и сохранение нетронутой комнаты любимого человека.

Существует богатый запас народных обычаев, личного и семейного опыта в части того, как люди сначала реагируют на диагноз «смертельное или серьезное заболевание», а затем справляются со своим состоянием. Некоторых первоначальная информация шокирует, и они с трудом верят в нее; для других это подтверждает то, что они уже каким-то образом «знали». Большинство людей в конце концов успокаиваются, принимают диагноз и соглашаются на предложенное лечение, колеблясь между принятием нового состояния и нежеланием смириться с ним: «Со мной этого не может быть» или «Почему я?». Некоторые люди впадают в отчаяние; другие энергично сопротивляются, даже исчерпав все возможные средства лечения; другие полны мужества, оптимистичны и полны надежд, вплоть до того, что ведут себя так, как будто болезни не существует.

Но существует ли правильный способ справиться с информацией о травмирующих, катастрофических или калечащих потерях? Даже осторожная оценка того, что пациент «не так расстроен, как можно было бы ожидать», допускает совсем иные возможности.

---

<sup>2</sup> Shlomo Breznitz, «The Seven Kinds of Denial», in idem (ed.), *The Denial of Stress* (New York: International Universities Press, 1983), 185–235.

<sup>3</sup> M. J. Horowitz, «Psychological Responses to Serious Life Events», in Breznitz (ed.), *Denial of Stress*, 129–59.

Люди могут не осознавать эмоциональные последствия своей потери или могут испытывать лишь незначительный стресс из-за потери. Не может быть никакой объективной оценки степени бедствия, которое можно «разумно ожидать». Также нет никаких доказательств догмы о том, что (на «правильной» стадии) люди должны «осознать», а не отрицать свое чувство горя. Когда именно и в какой форме можно наблюдать отрицание? В одном из ранних исследований приняли участие 345 пациентов мужского пола, которым предстояло выписаться из больницы через три недели после лечения первого инфаркта миокарда<sup>4</sup>. При опросе отрицание определялось как ответ «нет» или «не знаю» на вопрос о том, думает ли пациент, что он перенес сердечный приступ. Около 80% ответили «да», 12% «нет» и 8% «не знаю». Эти 20 процентов были определены как «отрицатели»<sup>5</sup> и их характеризовали как «личности, которым присуще отрицание», отрицание своих неблагоприятных личностных черт. Они сводили к минимуму свои симптомы и влияние сердечного приступа на свою жизнь и, как правило, не соблюдали медицинские рекомендации.

Я цитирую результаты этого исследования только для того, чтобы показать проблемы обнаружения отрицания. Исследователи допускают, что в число не отрицающих могли входить люди, которые неосознанно отрицали, но по какой-то причине ответили «да», и те, кто отрицал про себя, но чувствовал социальную обязанность при опросе дать основанный на реальности ответ. Но «да/знаю/не-знаю», безусловно, очень упрощенная характеристика даже явного отрицания. В настоящее время измерения более совершенны. Шкала Левина отрицания болезни (LDIS), например, содержит два измерения: когнитивное отрицание (смещение симптомов, миними-

---

<sup>4</sup> Sydney H. Croog et al., «Denial among Male Heart Patients: An Empirical Study», *Psychosomatic Medicine*, 33/5 (Sept. 1971), 385–97.

<sup>5</sup> В более раннем исследовании сообщалось, что 19 процентов больных раком отрицали, что у них рак, всего через несколько недель после постановки диагноза. Другие зарегистрированные отрицания включают отказ от обращения за лечением от явно уродующей болезни; отрицание существования беременности даже после родов и отжимание от пола рядом с кроватью в коронарном отделении во время восстановления после сердечного приступа. Обзоры этих и подобных исследований см. David Ness and Jack Ende, «Denial in the Medical Interview», *Journal of the American Medical Association*, 272 (Dec. 1994), 1777–81, and Jacob Levine et al., «A Two Factor Model of Denial of Illness», *Journal of Psychosomatic Research*, 38 (1994), 99–110.

зация диагноза и прогноза, избегание информации и признаков проблем со здоровьем) и аффективное отрицание (отсутствие тревоги, отрицание депрессии, отрицание гнева, отчуждение/безразличие)<sup>6</sup>.

Но контраст между отрицателями и не отрицателями предполагает, что отрицание является свойством личности, а не ситуации. Действительно, есть свидетельства того, что некоторые люди используют отрицание в качестве привычной стратегии выживания. Но отрицание не является устойчивым психологическим состоянием, которое можно так оценивать. Никто не является полностью отрицающим или не отрицающим, не говоря уже о том, что он постоянно «отвергает» или «не отрицает» до тех пор, пока он не будет психотически отрезан от реальности. Люди по-разному оценивают как себя, так и других; всегда присутствуют элементы частичного отрицания и частичного признания; мы быстро колеблемся между состояниями. Родственники и лечащий персонал часто приходят в ярость, видя, как пациенты, недавно ставшие инвалидами, колеблются между осознанием своего состояния и радикальным отрицанием своего нового положения. «Колебания с течением времени предполагают, что пациент должен «знать», но в разные моменты может быть более или менее способен переносить то, что известно, и интегрировать знание в осмысленную реальность»<sup>7</sup>. Для людей, у которых только что диагностировали серьезное заболевание, отрицание и принятие мерцают, как нить накаливания умирающей лампочки. Как раз тогда, когда вы думаете, что вы, наконец, «смирились» с болезнью, вы понимаете, что это принятие было действительно самообманом – простым упражнением в области внутренней связи с общественностью – и что слои реальности остаются непроницаемыми.

А как насчет интригующей возможности того, что отрицание может увеличить шансы на выздоровление? Существует ли оптимальный уровень отрицания? Слишком многое в этом вопросе неоднозначно, но некоторое отрицание – либо путем защиты пациентов от стресса, либо путем разрушения направленного на себя

---

<sup>6</sup> Levine et al., «Two Factor Model».

<sup>7</sup> Karen G. Langer, «Depression and Denial in Psychotherapy of Persons with Disabilities», American Journal of Psychotherapy, 48/2 (Spring 1994), 191.



фатализма – улучшает показатели лечения отдельных болезней. Это было показано в серии недавних исследований групп лондонских женщин, у которых был диагностирован рак молочной железы на ранней стадии<sup>8</sup>. Через три месяца после первоначального диагноза женщин разделили на три группы в соответствии с психологической реакцией. Группа 1 встретила свое положение с боевым настроем, оптимистичной верой в свою способность выжить. Группа 2 демонстрировала стоическое, пассивное принятие своей болезни или чувствовала себя полностью подавленной, безнадежной и побежденной. Пациентки из группы 3 фактически отрицали, что у них рак, отказывались обсуждать эту тему и не проявляли эмоционального стресса. При пятилетнем наблюдении женщины в группах 1 и 3 значительно чаще продолжали жить и не имели рецидивов. Было обнаружено, что два (достаточно разных) состояния – боевого духа и полного отрицания – лучше, чем стоическое («реалистическое») принятие и беспомощность. В последующие пятнадцать лет первая и третья группы продолжали выживать лучше: 45% из них были все еще живы и не болели раком, по сравнению с 17% во второй группе.

Так как же это происходит? В модели перцептивной защиты люди с ограниченными возможностями справляются, отрицая свои отличия от нормальности, используя когнитивный щит, защищающий их от осознания реальности. Однако для большинства людей знание о серьезном заболевании создает большее, а не меньшее владение соответствующей информацией. Вы начинаете замечать ранее игнорировавшиеся телесные функции; изменения рассматриваются как «симптомы»; друзья присылают газетные вырезки о последних методах лечения; обращаете особое внимание, если известное лицо болеет той же болезнью. Это противоположно закрытию восприятия.

Когнитивные теории более изощрены. Люди активно обсуждают свои реалии, и успешное лечение не зависит от адекватности восприятия. Даже пациенты с тяжелыми травмами стараются сохранять позитивную самооценку в самых угрожающих обстоя-

---

<sup>8</sup> Summarized by Paul Martin, *The Sickening Mind: Brain, Behaviour, Immunity and Disease* (London: Flamingo, 1998), 229–34.

тельстввах<sup>9</sup>. Они не оправдывают себя; они пытаются укрепить свою самооценку и чувство свободы воли; они работают над методами, которые бы замедлили ухудшение их состояния. Их «отрицание» можно было бы лучше описать как поиск хоть какой-то надежды в своих жизненных обстоятельствах<sup>10</sup>. Подобно отрицающим наличие рака молочной железы, они не отрицают категорически факт своего состояния. Скорее, они преуменьшают последствия лечения и влияние эмоционального воздействия, чтобы лучше адаптироваться и функционировать.

Аналогичные формы «конструктивного отрицания» включают поиск смысла в предыдущем опыте, веру в то, что они могут контролировать болезнь, принимая активные решения о лечении, и предпринимая усилия по укреплению самооценки путем проведения «нисходящих» сравнений, чтобы убедиться, что они выглядят удовлетворительно<sup>11</sup>. Столкнувшись с угрозой, восприятие становится самоусиливающимся и, в конечном счете, полезным инструментом. Психическое здоровье, оказывается, зависит не от контакта с реальностью, а от иллюзии, самообмана и отрицания.

Смысл понятия «оптимистической предвзятости» заключается в том, что при восприятии рисков для здоровья люди склонны утверждать, что они менее подвержены риску, чем люди, практикующие аналогичный образ жизни<sup>12</sup>. Несоблюдение мер предосторожности – ремней безопасности, отказа от курения, диеты с низким

---

<sup>9</sup> Timothy R. Elliott et al., «Negotiating Reality after Physical Loss: Hope, Depression and Disability», *Journal of Personality and Social Psychology*, 61/4 (1991), 608–13.

<sup>10</sup> Моё собственное, здравомыслящее, «глубокое» прочтение подобных исследований. Ни одного человека, справляющегося с личным опустошением, не видно. Простые выводы похоронены под безвкусной теорией и притворным саентизмом (Корреляционная матрица переменных, используемых в иерархическом регрессионном анализе, содержит шкалу надежды, опросник для диагностики депрессии и профиль воздействия болезней).

<sup>11</sup> Shelley E. Taylor, «Adjustment to Threatening Events: A Theory of Cognitive Adaptation», *American Psychologist*, 38/11 (Nov. 1983), 1161–73.

<sup>12</sup> Neil D. Weinstein, «Unrealistic Optimism about Susceptibility to Health Problems: Conclusions from a Community-Wide Sample», *Journal of Behavioral Medicine*, 10/5 (1987), 481–500, and idem, «Why it Won't Happen to Me: Perceptions of Risk Factors and Susceptibility», *Health Psychology*, 3/5 (1984), 431–57.

содержанием жиров, безопасного секса – отражает предубеждение, что «со мной этого не случится». Тезис предполагает – совершенно необоснованно – что оптимистическая предвзятость универсальна и не соответствует ни предполагаемой серьезности риска, ни фактическому риску (люди, подвергающиеся как высокому, так и незначительному риску одинаково ошибаются). Это когнитивная версия «раздвоения»: люди держат мысли о своем поведении и мысли о своей уязвимости в отдельных ментальных доменах.

Все эти модели используют интрапсихический язык, который не дает намека на жизнь рядом с другими. Даже в самые интимные моменты болезни и смерти присутствуют другие люди. Это открывает возможный сценарий сговора, соучастия и лжи. Многие пациенты на ранних или поздних стадиях опасного для жизни заболевания участвуют в многоплановых играх со своими врачами и семьей. Любой из этих игроков или любая комбинация этих игроков могут знать диагноз и прогноз, но не показывать, что они знают о нем, или что они знают, что знают все остальные. Архитектура сговора отрицания остается нетронутой.

Тема отрицания является неотъемлемой частью истории СПИДа. Публичный нарратив начался с культурного умолчания и уклончивости. Некоторые общества еще не прошли эту стадию: культурным эквивалентом фразы «Это не может случиться со мной» является «Это не может случиться здесь» (например, «СПИД – это африканская болезнь»). Культурное отрицание может возникнуть по причине добросовестности: искреннего незнания, нехватки ресурсов или же политики, направленной на то, чтобы не создавать ненужной паники. Чаще имеет место отказ в выделении ресурсов стигматизированным группам. Полное признание затруднено и этому способствуют угрожающее и загадочное появление синдрома, окончательность диагноза, связь со стигматизированными группами и сексуальными практиками, мощная метафора разврата<sup>13</sup>.

Существует много возможностей для микроотрицания: продолжение небезопасного секса, задержка с прохождением тестирования или получением результатов тестов, трудности с верой или «принятием» ВИЧ-положительного диагноза, сокрытие правды от

---

<sup>13</sup> Обратите внимание на критику Зонтаг болезни как метафоры: от туберкулеза до рака и СПИДа.: Susan Sontag, *Illness as Metaphor and AIDS and Its Metaphors* (New York: Anchor Books, 1989).

других, поиск адаптивных стратегий, как жить с болезнью – начиная от организации своей жизни с осознанием самого пессимистического исхода и заканчивая стоическим поведением, как будто ничего не изменилось. Но расхождение между фактическим знанием и изменением поведения остается. В этом разница между тем, что «с эпидемиологической точки зрения рассматривается как рискованное поведение» (научная информация в образовательных кампаниях), и тем, что сами люди считают рискованным<sup>14</sup>. Даже будучи хорошо информированными, они создали свою личную – гораздо более рискованную – категорию «приемлемого риска». Это «принятое в народе поверие» превращает групповые данные в личные. Бинарное различие между «безопасным» и «небезопасным» превращается в непрерывный спектр с небольшим количеством максимумов.

Бедные, чернокожие и другие группы обездоленных женщин используют иной язык отрицания<sup>15</sup>. «Факты о СПИДе» распространяются и известны, но в оторванной от реалий форме. Фактическая информация отвергается, интерпретируется или нейтрализуется культурным цинизмом: «эксперты» могут ошибаться; система здравоохранения расистская; СПИД неизбежен; идея безопасного секса – чепуха. Вера в то, что «СПИД не может случиться со мной», существует независимо от объективного риска – хотя бы потому, что признать риск слишком постыдно.

Мой последний пример – связь между депрессией и отрицанием. Каким бы неоднозначным ни было понятие психического здоровья, все его определения относятся к адекватности восприятия действительности. Официальный обзор 1958 года определяет восприятие как психически здоровое, когда «то, что видит человек, соответствует тому, что есть на самом деле» и когда человек «способен принимать вещи, которые он хотел бы изменить, не искажая их, чтобы они соответствовали этим желаниям»<sup>16</sup>. Напротив, психи-

---

<sup>14</sup> Eva Lowy and Michael W. Ross, «It'll Never Happen to Me: Gay Men's Beliefs, Perceptions and Folk Constructions of Sexual Risk», *AIDS Education and Prevention*, 6/6 (1994), 467–82.

<sup>15</sup> Elisa J. Sobo, *Choosing unsafe Sex: Aids-Risk Denial among Disadvantaged Women* (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1995).

<sup>16</sup> Цитируется в Shelley E. Taylor, *Positive Illusions: Creative Self-Deception and the Healthy Mind* (New York: Basic Books, 1989), 4.

чески больные люди, люди «не в себе», «не соприкасаются с реальностью», «живут в своем собственном мире». Некоторые же теоретики познания излагают это иначе<sup>17</sup>. Люди с умеренной депрессией могут показаться более пессимистичными, но их клинический профиль содержит меньше когнитивных искажений, чем у нормальных людей. Далекие от того, чтобы исказить реальность, они видят ее слишком ясно. У них также более сбалансированный взгляд на себя, мир и свое будущее. Неспособные поддерживать «позитивные иллюзии», они обречены на состояние депрессивного реализма. У них отсутствуют предубеждения, которые обычно защищают людей от более суровой стороны реальности.

Нормальные люди способны отрицать что-то; их не парализуют навязчивые мысли о том, как все ужасно. Они поддерживают свою мораль именно отрицанием и самообманом, которые так легко осуждают в других. Их «позитивные иллюзии» демонстрируют изрядную долю самообмана и бегства от реальности<sup>18</sup>. Но это не то же самое, что заблуждения, ложные убеждения, которые сохраняются, несмотря на факты. Будучи иллюзиями, они неохотно соотносятся с фактами. Они способствуют психическому и физическому здоровью, уменьшая стресс и создавая оптимистичный настрой, который помогает лечению делать свою работу – как в эффекте плацебо.

Какими бы привлекательными ни казались эти утверждения – с их ироничным намеком на то, что только депрессивные люди адекватно воспринимают реальность (или что принятие реальности вызовет у вас депрессию), – это вряд ли является слишком большой натяжкой. Однако, таков упрощенный взгляд на психическое здоровье, так как имеется мало свидетельств широкого распространения подобных иллюзий, а их отличия от бреда или отрицания едва ли очевидны. Более того, идеальные люди Тейлора – это не активисты, поддерживающие свой и чужой моральный дух с помощью дозированного самообмана. Такое было бы прекрасно, так

---

<sup>17</sup> Christopher Layne, «Painful Truths about Depressives' Cognitions», *Journal of Clinical Psychology*, 39/6 (Nov. 1983), 848—53; доказательства рассматриваются в Shelley E. Taylor and Jonathon D. Brown, «Illusion and Well Being: A Social Psychological Perspective on Mental Health», *Psychological Bulletin*, 103 (1988), 193-210

<sup>18</sup> Taylor, *Positive Illusions*.

как все вдохнов-ляющие лидеры излучают большую надежду, чем позволяет ситуа-ция. Они знают лозунг «Пессимизм в голове, оптимизм в сердце». Но творческие самообманщики Тейлора не такие. Все, что они делают, это сводят к минимуму «более суровую сторону реальности» и отрицают излишнее чувство вины. Почему же тогда у них должна быть мотивация сделать мир лучше? Перспектива доверить дело социальной справедливости этим якобы глупым оптимистам с их положительными иллюзиями и творческим самообманом не успока-ивает. Я бы предпочел рискнуть присоединиться к нескольким депрессивным реалистам или реалистичным депрессивным людям. Люди, сильно одаренные положительными иллюзиями – особенно относительно собственного всемогущества – совершают самые ужасные злодеяния. Впечатляющими качествами высокой самооценки, чувством мастерства, верой в свою способность добиться желаемых результатов и нереалистичным оптимизмом в изобилии обладали Муссолини, Пол Пот, Чаушеску, Иди Амин и Мобуту.

### *Обоснования и риторические приемы*

Относительно и виновников масштабных злодеяний, и нарушителей обычных уголовных законов можно задать один и тот же набор вопросов: «Почему они совершили это?»; далее: «Как они могли это сделать, но при этом верить в те правила, которые нарушают?»; и еще: «Как они могли делать столь ужасные вещи, но при этом считать себя хорошими, порядочными людьми?».

Теория отрицания утверждает, что мы понимаем не структурные основы поведения (реальные причины), а объяснения, которые обычно дают сами девианты (причины, по их мнению). Оно связано не столько с буквальным отрицанием, сколько с интерпретациями или последствиями, особенно с попытками уклониться от суждения («Все не так плохо, как ты говоришь»).

Опровержения со стороны правонарушителя и стороннего наблюдателя относятся к более широкой категории речевых актов, известных как «обоснования», «мотивационные обоснования» или «словарь мотивов». Мотивы, как утверждал Райт Миллс, – это не таинственные внутренние состояния, а типичные выражения с

четкими функциями в определенных социальных ситуациях<sup>19</sup>. Они служат для классификации людей по группам, нормы и ожидания которых они смешали. Нет смысла пытаться найти за этими рассказами более глубокие, «истинные» мотивы. В отличие от фрейдистской «рационализации» – механизма постфактум, запускаемого после действия для сокрытия тайного, бессознательного, неприемлемого, неизвестного, но реального мотива, – словесные формулировки мотивов являются исходными ориентирами поведения. Обоснование – это не просто еще один защитный механизм, позволяющий справиться с чувством вины, стыда или другим психическим конфликтом после совершения преступления; в каком-то смысле оно должно присутствовать до акта. То есть, чтобы описание процесса звучало гораздо более рационально и расчетливо, чем обычно, я должен спросить себя: «Если я сделаю это, что я тогда смогу сказать себе и другим?». От намеченных действий можно отказаться, если, несмотря на сильное побуждение, потребность или желание, невозможно найти приемлемую причину.

Такие внутренние монологи не являются личным делом. Наоборот: обоснование вырабатывается путем обычной культурной передачи и извлекается из хорошо зарекомендовавшего себя коллективно доступного пула. Учетная запись принимается благодаря ее общественной приемлемости. Социализация учит нас, какие мотивы приемлемы для каких действий. Отрицание намерения («Я не хотел разбить стекло... это был просто несчастный случай») – вероятно, самая ранняя уклончивая формулировка, которую усваивают маленькие дети. Когда правила нарушаются – будь то незначительные нарушения повседневных норм, обычные преступления или политические злодеяния – правонарушители должны «дать обоснование» своих действий. Эта фраза несет в себе важнейшее двойное значение: не просто рассказывать историю («Вот что я сделал прошлой ночью»), но и нести моральную ответственность («Вот почему я украл эту книгу»).

Такое моральное обоснование может оставаться частным, тайным и направленным внутрь («как я могу жить с самим собой, если я сделаю это?»). Отрицания, с которыми мы сталкиваемся,

---

<sup>19</sup> C. Wright Mills, «Situated Actions and Vocabularies of Motive», American Sociological Review, 15 (Dec. 1940), 904–13.

предлагаются в предположении, что они будут приняты: жертвами, друзьями, семьей, журналистами, соратниками по партии, полицией, адвокатами защиты, судьями, общественными расследованиями, репортерами по правам человека, организациями и терапевтами. Как первоначально заметил Райт Миллс, тот факт, что каждой аудитории может быть предложена своя версия, вовсе не подрывает теорию, а подтверждает радикально социологический характер мотивации.

Обоснования могут быть направлены на объяснение причин или же выражать сожаление<sup>20</sup>. Объяснения причин, то есть оправдания – это «обоснования, в которых кто-то принимает на себя ответственность за рассматриваемое действие, но отрицает связанные с ним и заслуживающие осуждения качества», тогда как сожаления – это «обоснования, в которых кто-то признает, что рассматриваемое действие плохо, неправильно или неуместно, но отрицает полную ответственность»<sup>21</sup>. Солдат убивает, но отрицает, что это аморально: убитые им враги заслужили свою судьбу. Он оправдывает свой поступок. Другой солдат признает безнравственность совершенных убийств, но отрицает полную волю к своим действиям: это был случай подневольного подчинения приказам. Он осуждает свой поступок, но не самого себя.

Оправдания выглядят приемами, описываемыми психоанализом как отрицание, защитные механизмы, рационализация и отрицание, или социологией как корректирующими действиями, извинениями, нормализациями и нейтрализациями. Такие обоснования пассивны, они призваны извиняться и защищаться – то, что Гоффман назвал «грустными историями». Напротив, идеологические оправдания активны, непримиримы и оскорбительны; они отрицают уничижительные значения, игнорируют обвинения или апеллируют к определенным ценностям и лояльности. Это различие не всегда работает. «Я просто выполнял приказы» может быть высказано и как оправдание («отказ от ответственности»), и как подтверждение более высокой приверженности таким ценностям, как патриотизм и подчинение законной власти.

---

<sup>20</sup> Marvin B. Scott and Stanford M. Lyman, «Accounts», *American Sociological Review*, 33 (Feb. 1968), 46-62.

<sup>21</sup> Там же, 47.



Я буду часто использовать классификацию, предложенную для обоснований Сайксом и Матцей, к которой прибегают обычные правонарушители, чтобы нейтрализовать, навсегда или временно, моральную связь с законом<sup>22</sup>. Предполагается, что этот словарь задействуется после совершения преступления, чтобы защитить индивидуума как от самообвинения, так и от обвинений других, а до действия, чтобы ослабить социальный контроль и, следовательно, сделать правонарушение возможным. Между планированием акта и его выполнением ожидаемое социальное неодобрение со стороны значительной аудитории должно быть нейтрализовано или отклонено. Это необходимо, потому что преступность, утверждают они, не возникает из-за инверсии общепринятых ценностей и приверженности альтернативам. Перед лицом противодействия (привлечения к ответственности) родителей, полиции, учителей, судов и социальных работников нарушители не оправдывают совершаемые правонарушения, апеллируя к ценностям, противоположным ценностям общества в целом. По-прежнему существует верность, пусть и слабая, условная и скомпрометированная, общепринятой морали и законности. Именно поэтому эти ценности должны быть нейтрализованы, а не полностью проигнорированы или отвергнуты полноценной идеологической альтернативой. Правонарушитель не может полностью избежать осуждения. Отрицание и нейтрализация действительно являются риторическими приемами, но их нельзя сбрасывать со счетов как простые манипулятивные жесты, направленные на умиротворение властей. В трех из этих пяти техник используется слово «отрицание».

### *Отрицание ответственности*

Ссылаться на случайность – «я не хотел этого делать» – самый по-детски простой способ отрицать намерение и ответственность за поступок. Даже крайне умственно отсталый правонарушитель может выйти далеко за рамки этого: его действия были вызваны силами, ему неподконтрольными; у него не было намерения, и он был лишен выбора; «я» детерминировано, на него воздействуют больше, чем действует он. Популярные психологические аргументы

---

<sup>22</sup> Gresham Sykes and David Matza, «Techniques of Neutralization», American Sociological Review, 22 (Dec. 1957), 664-70.

включают в себя следующие: «Я не выдержал и сорвался», «Что-то на меня нашло», «Я не понимал, что делаю», «Должно быть, я потерял сознание». Более социологические версии апеллируют к разрушенным домам, трущобам, лишениям, дискриминации и плохим друзьям.

Чем серьезнее преступление и чем значительнее причиненные страдания, тем более радикальными должны быть отрицания ответственности. Таким образом, сексуальные преступники обычно предлагают (и судьи предпочитают) полностью безответственные объяснения: корковый сбой («ничего не может вспомнить»), внутренний импульс (внезапное побуждение, животная теория сексуальности) и недостаточная социализация (неправильное прочтение сигналов)<sup>23</sup>. За исключением случайного постмодернистского, в стиле де Сада, судам редко приходится заслушивать эстетические или идеологические обоснования, которые брали бы на себя полную ответственность.

### *Отрицание причинения вреда*

Этот метод – одна из форм «корректировки действия» или переназначения (но не «корректировки действующего лица») – пытается нейтрализовать противоправность действия, сводя к минимуму любой полученный в результате вред или травму.

Например, вандализм – это всего лишь «шалость», и, в конце концов, владельцы могут себе это позволить; кража автомобиля – это «заимствование»; групповые драки – это частная ссора, не представляющая интереса для общества в целом. Правонарушитель не осуждает существование этих формальных правовых запретов, но – «смутно», как выразились Сайкс и Матца, – чувствует, что его поведение не причиняет большого вреда, несмотря на его незаконность.

### *Отрицание статуса жертвы*

Даже если признается некоторая вина и наличие ущерба, правонарушители все же могут утверждать, что травма или ущерб не являются неправомерными в данных обстоятельствах. На самом деле,

---

<sup>23</sup> Laurie Taylor, «The Significance and Interpretation of Replies to Motivational Questions: The Case of Sex Offenders», *Sociology*, 6 (1972), 23-39.

жертва была первоначальным правонарушителем («Он ударил меня первым»), то, что я сделал – повреждение имущества несправедливого учителя или нечестного владельца магазина – было только законным возмездием или наказанием. Другие цели или обстоятельства неуместны (это показывает вашу остаточную верность общей норме), но эта «жертва» получила только то, чего заслуживала.

### *Осуждение осуждающих*

Правонарушители пытаются отвлечь внимание от собственного проступка апеллируя к мотивам и характеру своих критиков, которые представляются лицемерами или замаскированными девиантами. Таким образом, полиция коррумпирована и жестока, учителя несправедливы и дискриминируют учеников. Нападая на других, противоправность вашего собственного поведения может быть значительно подавлена или вообще исчезнуть из виду. (Такая защита близка к психоаналитическому механизму проекции.)

### *Призыв к более высокой лояльности*

Социальный контроль нейтрализуется за счет преуменьшения требований более широкого общества в пользу требований со стороны родственных групп (друзей, банды), которые должны проявлять в большей степени непосредственную лояльность. Если правонарушители пойманы на этих противоречивых требованиях, они реагируют на более насущные узы субкультурной лояльности – тем самым, к сожалению, нарушая закон.

Эти обоснования готовят почву для совершения преступления. Но после совершения правонарушения они выполняют еще и защитную задачу, возложенную на отрицание: «На самом деле я никому не причинял вреда»; «С ними всегда что-то случается»; «Все придираются ко мне». Такие риторические приемы обычно используются для неapolитических преступлений. Действительно, суть теории нейтрализации состоит в том, что, в отличие от политических действий, эти нарушения не отражают приверженности оппозиционной идеологии. Однако в следующей главе я покажу, что те же обоснования появляются, с соответствующими изменениями, в лексиконе политических преступников. Отрицание ответствен-

ности – это классический прием. Приземленные и тривиальные правонарушения, как и самые ужасные политические злодеяния, опираются на «одобренные обществом риторические приемы, призванные смягчить или снять ответственность, когда образ действий подвергается сомнению»<sup>24</sup>.

Обоснования должны быть принимаемыми: то есть они должны восприниматься жертвами (при необходимости), сторонними наблюдателями и теми, у кого есть власть и полномочия, чтобы привлечь людей к ответственности. Суть не в том, чтобы убедить аудиторию согласиться с версией, то есть не в том, чтобы поддержать действие, а в том, чтобы обоснование звучало правдоподобно и разумно. Журналист или судья, который «принимает» версию вроде «я просто выполнял приказы», говорит: «Да, я согласен с тем, что этот человек мог сделать это по этим причинам».

Каждый вид повседневных отклонений – будь то воровство на работе, списывание на экзаменах или внебрачные связи – имеет свой собственный набор отрицаний, будь то приспособление к действию («Это не то, на что похоже») или приспособление к действующему лицу («Я не тот человек, который делает подобные вещи»)<sup>25</sup>. Хорошо сформулированные обоснования вызывают, как и должны, интуитивное чувство узнавания: «это именно то, что я говорю себе» – даже если рассматриваемое действие не является чем-то, что мы сделали или даже намеревались сделать. Мы все «существа, прибегающие к рационализации». Отрицание – это тяжелая работа, потому что наши действия почти всегда противоречат нашему представлению о себе. Наши рационализации продолжают обостряться.

Извращенная интерпретация закона (отрицание путем толкования) – это распространенное обоснование повседневных проступков, таких как запрещенное использование университетской системы электронной почты для личных и семейных сообщений. Отрицание как нанесенного вреда, так и существования жертвы легко переходит от «Все так делают» к самодовольному моральному праву: «В этом нет ничего особенного»; «Это не совсем

---

<sup>24</sup> Scott and Lyman, «Accounts», 47.

<sup>25</sup> О различии между корректировкой действия и действующего лица (а также защитной и наступательной оценкой) см. Jason Ditton, *Part-time Crime: An Ethnography of Fiddling and Pilferage* (London: Macmillan, 1977).

преступление»; «Это не пройдет», «У нас так принято»; «Все так поступают»; «Они сами этого хотели»; «Посмотрите, как они к нам относятся», «Посмотрите, сколько нам платят». Эти подправленные обоснования действий явно предпочтительнее жалких оправданий виновных, таких как: «Это началось случайно; затем это стало навязчивым; теперь я не могу не делать этого».

Радикальное изменение формулировок нарушителями, применяемое в отношении самых обычных актов отклонения вплоть до массовых злодеяний, заключается в отрицании ответственности путем приписывания действия другой части «я», которая была оторвана от «реального я». Это упрощенная версия фрейдовского «раздвоенного эго». Правонарушители создают особое временное «я», «рабочее я», которое и совершает все эти плохие поступки, осуждаемые настоящим «я». Это «реальное я» становится наблюдателем – иногда недоумевающим, иногда забывающим, иногда осуждающим – за тем, что делает «рабочее я».

Мужчины, осужденные за половые преступления против детей, используют «отрицание отклонения» для действий, которые трудно оправдать, которые не имеют законного оправдания и слишком одиозны, чтобы их можно было нормализовать<sup>26</sup>. Факт нахождения в состоянии алкогольного опьянения является наиболее распространенным отрицанием: «Если бы я был трезв, этого никогда бы не произошло». Преступник признает характер своего поведения, но сохраняет при этом свою нормальную самооценку, заменяя ее менее приемлемой, временной формой отклонения. Это работает лучше, чем полное отрицание нарушения. Насильники, находящиеся в заключении, могут как признавать принуждение со своей стороны жертв к сексуальным действиям и определяют это как изнасилование, так и отрицать, что признаваемые ими сексуальные действия представляют собой изнасилование<sup>27</sup>. В обоснованиях таких отрицающих утверждается, что они связаны с гораздо

---

<sup>26</sup> Charles H. McCaghy, «Drinking and Deviance Disavowal: The Case of Child Molesters», *Social Problems*, 25/2 (1968), 43—9. Понятие «девиантное дезавуирование» появляется в классическом исследовании Fred Davis, «Deviance Disavowal: The Management of Strained Interaction by the Visibly Handicapped», *Social Problems*, 9 (Fall 1961), 120-32.

<sup>27</sup> Diana Scully and Joseph Marolla, «Convicted Rapists - Vocabularies of Motive: Excuses and Justifications», *Social Problems*, 31 / 5 (June 1984), 530—44.

меньшим насилием. Они прямо указывают на жертв и утверждают, что познакомились с ними в баре или те воспользовались их предложением подвезти до необходимого места.

Является ли такое опровержение чисто макиавеллистским, циничной манипуляцией, направленной на то, чтобы сообщить аудитории то, что она хочет услышать; простым тактическим маневром, направленным на то, чтобы умиловить правосудие и избавиться от морального крючка, – или это то, что «на самом деле» думает преступник? Не вдаваясь в крайности, ответить можно следующим образом: иногда это может быть одно, иногда другое, а иногда их сочетание. Обоснования варьируются от правдивых, искренних и полностью достоверных до сознательных или моментальных импровизаций, или тщательно рассчитанного обмана. Правонарушители, не осознающие своих мотивов, выдвигают обоснования, предложенные им психиатрами, адвокатами защиты и криминалистами. Более радикальный ответ заключается в том, что этот вопрос не относится к сути проблемы – верно же утверждение Коффмана: «нет правдивых историй или ложных историй, есть только истории хорошо рассказанные и истории плохо рассказанные». Изучение отрицания – это изучение предложенных и воспринятых обоснований: как обоснования попадают в культурно доступную среду, как они различаются в историческом и социальном контексте, когда они принимаются или отвергаются.

Что делать, если поведение правонарушителей явно не соответствует их заявлениям? Практически никакие акты изнасилования, например, не соответствуют животному образу сексуальности. Преступник не идет бесцельно по улице, не видит вдруг женщину и его не охватывает вдруг непреодолимое желание изнасиловать ее. Скорее, он заранее выбирает свою цель, планирует последовательность действий, выбирает ситуацию, которая сводит к минимуму его риск быть пойманным. Практически нет преступлений, более навязчивых, чем принято считать «клептоманию». Но подобные оправдания могут возникнуть еще до происхождения или впоследствии предложены другими, например, сочувствующими сотрудниками службы пробации. Они легко становятся риторическими уловками, которые, если их регулярно принимают другие,

позволяют людям реально рассматривать себя с такой воображаемой точки зрения<sup>28</sup>.

Отрицание настолько срослось с алкоголизмом, что «преодоление отрицания» занимает центральное место во всех стратегиях лечения – будь то традиционная терапия, целительство Новой Эры (New Age Psychology) или Анонимные Алкоголики. Одно из руководств полностью организовано в терминах отрицания: *отрицание фактов* («Я не пил»); *отрицание подтекста* («Конечно, я люблю выпить, но это не значит, что я алкоголик»); *отрицание чувства* («Меня это не беспокоит») и *отрицание необходимости измениться* («Значит, я алкоголик – и что?»)<sup>29</sup>. Эти пункты «Шкалы отрицания» отрицают вашу неспособность контролировать употребление алкоголя («Я могу пить, когда захочу, и бросить, когда захочу») и отрицают то, что вам необходимо лечение. «Шкала рационализации» содержит объяснение причин и оправдание пьянства<sup>30</sup>.

Риторика политического оправдания не нуждается в сочувственных историях о сексуальных преступниках, алкоголиках или «маниакальных» магазинных воришках. Идеологическое преступление вовсе не влечет за собой ущербной способности учитывать ограничения, а отрицает саму легитимность этих ограничений. Но даже когда люди совершают ужасные вещи по благородным причинам, они все равно могут искать для оправданий культурно узнаваемый язык, чтобы избежать общепринятого осуждения. В результате получается мощная комбинация: отчасти идеологическая, отчасти защитная нейтрализация. Это может перерасти в неафишируемое самодовольство. Людям, сталкивающимся с полным моральным осуждением за совершение злодеяний, удастся поддерживать представление о себе как о хороших (идеалистичес-

---

<sup>28</sup> Пример и теория взяты из классической статьи Кресси о «компульсивных» и «импульсивных» преступлениях: Donald R. Cressey, «Role Theory, Differential Association and Compulsive Crimes», in Arnold M. Rose (ed.), *Human Behaviour and Social Process* (Boston: Houghton Mifflin, 1962), 443–67.

<sup>29</sup> Robert J. Kearney, *Within the Wall of Denial: Conquering Addictive Behaviors* (New York: W. W. Norton, 1996).

<sup>30</sup> L. Charles Ward and Paul Rothaus, «The Measurement of Denial and Rationalization in Male Alcoholics», *Journal of Clinical Psychology*, 47/3 (May 1991), 465-9.

ких, жертвующих, благородных, храбрых) или просто «обычных людях».

Словари отрицания базируются на том, что социальные правила являются предметом переговоров, гибкими, условными и относительными. Чем более толерантно, плюралистично и «мультикультурно» общество, тем богаче и разнообразнее будет его система мотивационного обоснования. Это может звучать достаточно мягко, но обоснования, встроенные в непротиворечивые мировоззрения – основанные на обращении к Богу, государству, революции или народу – становятся зловредными именно так, как предупреждал Оруэлл. Под «национализмом» он имел в виду не только национализм в узком смысле, но и все идеологии, поддерживающие себя за счет отрицания других реальностей.

## Сговор и сокрытие

Чтобы заслуживать доверие, отрицания опираются на общепринятые культурные словари. Они также могут быть едины еще и в другом важном аспекте: основываться на обязательствах, принятых между людьми – будь то партнеры (*folie à deux*) или вся организация – вступать в сговор и поддерживать друг друга в опровержениях. Без специальных переговоров члены семьи знают, каких проблемных тем следует избегать, какие факты лучше не замечать. Эти сговоры – взаимно подкрепляющие отрицания и не допускающие метакомментариев – лучше всего работают, когда мы не знаем о их существовании. В результате «жизненная ложь» в семье может стать настоящим слепым пятном, закрытым от критики. Но факты слишком жестоки, чтобы их игнорировать. Их приходится интерпретировать по-новому, используя такие приемы, как минимизация, эвфемизм и шутки: «Если сила фактов слишком жестока, чтобы их игнорировать, тогда их значение можно изменить. Жизненно важная ложь остается нераскрытой, покрываемая семейным молчанием, превращается в алиби, категорическое отрицание. Сговор поддерживается за счет отвлечения внимания от



пугающего факта или за счет переформулирования его значения в приемлемый формат»<sup>31</sup>.

Члены семьи обладают удивительной способностью игнорировать или делать вид, что игнорируют то, что происходит у них на глазах, будь то сексуальное насилие, инцест, физическое насилие, алкоголизм, сумасшествие или простое несчастье. Есть углубленный уровень, на котором все знают, что происходит, но оболочка – это постоянный «как бы» дискурс. Отличительный, принятый внутри семейный образ определяет, какие аспекты общего опыта могут быть открыто признаны, а какие должны оставаться закрытыми и отвергнутыми.

Эти правила регулируются неким метаправилom, согласно которому никто не должен ни признавать, ни отрицать их существование. Это типичная модель, реализующаяся в семьях алкоголиков. Отрицание является начальной стадией приспособления семьи к возмущению, вносимому родственником-алкоголиком<sup>32</sup>. Количественная оценка употребления им алкоголя сводится к минимуму или рассматривается как его личное дело; существует культурная поддержка «социального пьянства», особенно у мужчин; муж и жена стараются избегать этой темы; предпринимаются все более отчаянные попытки оградить детей от проблемы и скрыть ее от внешнего мира. Базисное поведение – питье; первичная патология – «алкогольное мышление», отрицающее, что вы пьете слишком много, при этом делая именно это. Основные убеждения – отсутствие проблем с алкоголем, употребление алкоголя из-за неких проблем, полный контроль над употреблением алкоголя – поддерживаются корректировкой, игнорированием или отрицанием любых поступающих тревожных данных. Информация должна соответствовать этой умиротворяющей версии реальности. Алкоголик – это «слон в гостиной». Присутствие такого прочно обосновавшегося гостя нужно отрицать,

---

<sup>31</sup> Daniel Goleman, *Vital Lies, Simple Truths: The Psychology of Self-Deception* (New York: Simon and Schuster, 1985), 17.

<sup>32</sup> См.: Stephanie Brown, *Treating Adult Children of Alcoholics: A Developmental Perspective* (New York: John Wiley and Sons, 1987), esp. 33–57, и там же, «Adult Children of Alcoholics: The History of a Social Movement and its Impact on Clinical Theory and Practise», in Marc Galanter (ed.), *Recent Developments in Alcoholism*, vol. 9 (New York: Plenum Press, 1991), 267–85.

игнорировать, уклоняться или объяснять чем-то другим – иначе вы рискуете предать семью. По мере того, как алкоголизм прогрессирует, поглощает большую часть жизни семьи и угрожает разоблачением секрета, давление, направленное на сохранение отрицания, возрастает.

Более зловещая форма сговора отрицания – это то, что Боллас назвал «агрессивной невиновностью»<sup>33</sup>. Анализируется текст пьесы «Суровое испытание» («The Crucible»), драмы Артура Миллера о судебных процессах над колдовством в Салеме, представляющей развернутую метафору маккартизма. Итак, преподобного Хейла приглашают в деревню, чтобы расследовать истории о присутствии дьявола. Эбигейл отрицает обвинение преподобного Пэрриса в том, что он видел ее обнаженной танцующей в лесу. Чем настойчивее он утверждает то, что видел, тем сильнее становится и ее настойчивость в отстаивании своей невиновности. Но она лжет и требует молчания от других причастных к этому девушек. Она изворачивается и полна коварства, потому что боится быть подвергнутой публичному наказанию за свои эротические танцы. Но в то же время она является жертвой другого отрицания: Джон Проктор отрекается от любых намеков на их предыдущие близкие отношения. Мэри, одна из ее подруг, позже выступает против Эбигейл и подтверждает ее вину. Эбигейл приходит в ярость, теперь она занимает позицию невинного свидетеля предполагаемого присутствия зла. Она утверждает, что это Мэри и есть воплощение дьявола.

Боллас использует реакцию Эбигейл, чтобы проиллюстрировать свое определение отрицания как «необходимости быть невинным при опасном признании». Сначала она отрицала, что танцевала в обнаженном виде, потому что такое признание пугало ее. Это отрицание вполне сознательное, и у преподобного Пэрриса возникают проблемы, потому что Эбигейл отказывается подтвердить то, чему они оба были свидетелями. Для него это достаточно неприятно: «Но Эбби меняет сценарий, когда становится радикально невинной, отказываясь от ответственности за свои действия и перекладывая вину на деревенских старейшин – она утверждает

---

<sup>33</sup> Christopher Bollas, 'Violent Innocence' in *Being a Character: Psychoanalysis and Self Experience* (London: Routledge, 1993), 165–92.

теперь, что они действуют от имени сатаны»<sup>34</sup>. Она стала «агрессивной невинностью», переложив свой проступок на другого, который теперь превращается в обвиняемого. Отрицание не ограничивается собственной персоной (или организацией, или нацией), чувством собственных реальностей. В переходный момент от простого отрицания к агрессивной невинности создаются новые отношения: нежелательное восприятие переключается на другого. Агрессивная невинность – это форма отрицания, на примере которой мы наблюдаем не природу отрицания субъектом внешнего восприятия, а отрицание субъектом восприятия другим»<sup>35</sup>.

Отрицание больше не является личным делом: в его пространство втягиваются другие люди – семья, друзья, любовники. Агрессивная невинность создает замешательство в другом человеке, а затем отрекается от любого знания об этом. «Я просто не могу понять, как вы можете думать, что я вам не доверяю». Вновь созданная жертва совершенно сбита с толку. Субъект отказывается признать самоочевидное восприятие, предлагает «невинный взгляд» и отказывается от помощи. «Что-то не так?», «Вы не выглядите довольным», – невинно спрашивает субъект, принимая позу «ложного удивления» – явно для того, чтобы поставить в неудобное положение другого<sup>36</sup>.

Целые организации и политические культуры обретают коллективное ложное «я». Элитная университетская кафедра может быть охвачена внутренними дразгами, но поддерживать глянцевого, фальшивого публичного «я». Наедине ее сотрудники могут признать – в кафедральной ссоре своим супругам или близким коллегам. Но в публичном пространстве говорят о том, как «вдохновляет» или «стимулирует» работа на кафедре. Таким образом, «каждый кажется невинным в более тревожных истинах, которые являются частью этого места. А те, кто исключительно одарен техникой ложного «я», внесут свой вклад в структуру невинности, создающую атмосферу в заведении»<sup>37</sup>. Люди, которые, знакомы с реальным состоянием дел,

---

<sup>34</sup> Ibid., 168.

<sup>35</sup> Ibid., 180.

<sup>36</sup> Ibid., 183.

<sup>37</sup> Ibid., 184.

могут легче приспособиться к расколу между ложным и истинным «я». Другие же страдают, не до конца понимая, что происходит.

Некоторые могут настолько возмутиться, что прервут молчание. Это приведет к разоблачению – таков типичный процесс, приводящий в наши дни к раскрытию организационных отрицаний, таких как политическая коррупция, корпоративные злоупотребления служебным положением, нарушения профессиональных кодексов и так далее. Кодексы молчания – будь то в мафии, крупных корпорациях, правительстве, армии, церкви, полиции или профессиональных группах – варьируются от строгих, формальных и принудительных до едва сознаваемых отрицаний. В паутину соучастия могут попасться независимые наблюдатели, которые начинают выступать в защиту худших из преступников, отрицать опасность их действий или умалчивать о вещах, которые угрожают представлению группы о себе.

Организации функционируют под управлением того, что Янов назвал «групповым мышлением»: коллективным мышлением, защищающим иллюзии от неудобной правды и опровергающим информацию<sup>38</sup>. Группа считает себя неуязвимой и монолитной; личные сомнения подавляются; поступающая информация отслеживается и анализируется; распространяются обоснования, призванные поддержать уверенность членов в том, что все, что они делают, полностью оправдано; негласные договоренности допускают согласованное незнание, тем самым изолируя людей от вины или даже знания о том, что делает остальная часть организации; и создаются стратегические мифы о высокой морали организации. Члены коллектива постепенно приходят к тому, что отрекаются от всего, что они знали раньше, при этом отрицая влияние любого коллективного давления.

Это больше, чем примитивное сокрытие, с которым могут справиться даже маленькие дети. Стратегия «максимально возможного отрицания» используется как для административных погромов, так и для мелкой организационной аморальности: отрицание заранее встроено в каждый этап. Те, кто планирует процесс и управляют им, скрывают всю правду от ключевых игроков («мне никто не сказал») или вооружают их методами отрицания. Те, кто «в

---

<sup>38</sup> См.: Coleman, *Vital Lies, Simple Truths*, 180–93.

списке» или «в курсе», должны предвидеть, что кто-то из их собственных людей или кто-то из второстепенных членов группы посвященных в конечном итоге заговорит.

Скандалные дела «Уотергейт» и «Иран-контрас» в США и расследование Скотта «Оружие для Ирака» в Великобритании предоставляют богатые нарративы отрицания<sup>39</sup>. Отрицание информации – ненадежная тактика перед лицом внешнего контроля. Расследование Скотта в 1996 году быстро установило, что, хотя британское правительство официально отрицало, что оно лицензировало экспорт смертоносного оружия в Ирак, все в правительстве знали, что закроют глаза и экспорт пойдет беспрепятственно. (Эта уловка была разоблачена после провала судебного процесса над бизнесменами, привлеченными к уголовной ответственности за продажу оборудования двойного назначения в Ирак, сделку, которую поощряло само правительство). Государственные служащие лихорадочно подыскивали правдоподобное опровержение или какую-то формулу, чтобы защитить своих министров от обвинений в преднамеренном обмане парламента<sup>40</sup>. При помощи официальных лиц и политиков, пытающихся спасти собственную шкуру, расследование легко взломало код опровержения. Политические изменения в правилах экспорта, которые фактически разрешали продажу оружия, были замаскированы под невинные «гибкие» и «либеральные». Прodelано это было ловко: уклончивое сообщение одновременно намекало на то, что политика была и изменена, и осталась неизменной. Алан Кларк, министр, изменивший руководящие принципы (и открыто поддерживавший «уклон» в сторону Ирака), с презрением отнесся к этим «предложениям в стиле Алисы в стране чудес». Он напомнил, что министр иностранных дел сказал, что «поскольку о чем-то не было объявлено, этого не могло быть».

Лорд-судья Скотт был удивлен не тем, что министры и государственные служащие пытались обмануть парламент и общественность, а тем, что они, казалось, действительно верили в то, что говорили. То есть им удалось обмануть самих себя своей

---

<sup>39</sup> Richard Norton-Taylor, *Truth is a Difficult Concept: Inside the Scott Inquiry* (London: 4th Estate, 1995); B. Thomson and F. Ridley, *Under the Scott-Light* (Oxford: Oxford University Press, 1997).

<sup>40</sup> Richard Norton-Taylor et al., *Knee Deep in Dishonour: The Scott Report and its Aftermath* (London: Gollanz, 1996).

собственной ложью. Сартру понравилось бы свидетельство этого высокопоставленного чиновника: «Я думаю, что здесь был элемент взаимного укрепления веры или непонимания ... Я просто ввел себя в заблуждение относительно того, что я думал о ситуации». Как правильно заметил глава отдела продаж вооружений Минобороны: «Правда – очень сложное понятие».

Здесь действуют два симбиотических обоснования: коллективная слепота (сокрытие, полуправда и экономия на правде) и отрицание ответственности. В организациях, уличенных в причинении массовых страданий, преступники низкого ранга и очевидцы отрицают свою осведомленность («Мы не понимали общей картины») и свою вину («Каждое действие само по себе безвредно»). Но в истории «Оружие для Ирака» преступники и сговорившиеся наблюдатели отрицали свою роль, указывая не вверх, а вниз. Секретарь кабинета министров заявил Комиссии Скотта: «Все это происходило ниже уровня моего зрения».

Необходимо умелое манипулирование, чтобы поддерживать удобную дезинформацию о том, что ответственные лица ничего не знают о том, что происходит. Ключ к тому, чтобы избегать спрашивать нижестоящих о происходящем заговоре, как отмечал И.Ф.Стоун, заключается в том, чтобы не сообщать о нем вышестоящим<sup>41</sup>. Вышестоящие нуждаются в уверенности в том, что их держат в полном неведении. Заговорщики среднего уровня производят «подлинное» отрицание, скрывая правду от высокопоставленных лиц, чьи более поздние опровержения тем лучше, чем более они правдивы. Эти ключевые персонажи заранее защищены тем, что им не нужно ничего знать (хоть это и неправдоподобно). Им не нужно закрывать глаза: нет ничего, чего знать не следовало бы.

Когда впервые расследовался скандал «Уотергейт», один из членов комиссии спросил Гордона Лидди, председателя комитета по финансированию избирательной кампании Никсона, что тот намеревался делать с огромными суммами наличных. Ответом было: «Я не хочу знать об этом, да и вы не хотите этого знать». Это клише выражает парадокс отрицания (как вы можете решить не знать что-то, если вы не знаете, что это такое?), но также представляет собой простой (не слишком ли простой?) способ обеспечить впоследствии

---

<sup>41</sup> I. F. Stone, «It Pays to be Ignorant», New York Review of Books, 9 Aug. 1973, 6–9. Все остальные мои цитаты об Уотергейте взяты из этого классического произведения.

возможность отрицания. Митчелл объяснил Комитету Эрвина, что он ничего не сообщал Никсону не для того, чтобы избавить президента от необходимости принимать решение, а чтобы позволить ему принять решение о том, хочет ли он быть проинформированным официально, а затем столкнуться с последствиями отрицания, что это было очевидной ложью.

Для Эдипа было бы лучше, если бы он действительно мог не знать того, чего, по его словам, он не знал.

## Ежедневные наблюдатели

Спустя более тридцати лет после произошедшего инцидент с Китти Дженовезе в 1964 году (описанный в главе 1) по-прежнему формирует как популярную, так и социально-научную иконографию «пассивного наблюдателя». Образ этой ставшей известной, но при этом неизвестной женщины, ее отчаянные крики о помощи, игнорируемые равнодушными соседями, стал метафорой городского недоумогания, моральной паники по поводу того, «что с нами случилось».

Социологи задались вопросом с политическим смыслом: как можно обратить вспять эффект пассивного наблюдателя<sup>42</sup>? Можем ли мы сформулировать и создать условия, при которых людей можно было бы побудить помогать другим?

К делу Китти Дженовезе вскоре присоединились другие, столь же печальные и пронзительные истории. В Британии сообщали: соседи, которые не сообщали, что слышали, как по соседству родители бьют своих детей; молодую женщину с криками вытащили из торгового центра Бирмингема при дневном свете и изнасиловали на глазах у десятков покупателей; женщину в вагоне пригородной железной дороги оскорбляют и угрожают ей трое молодых людей, в то время как пятнадцать пассажиров сидят тихо, игнорируя происходящее. А затем, что наиболее резонансно, размытые кадры с камер наблюдения, на которых Джейми Балджер отстает от матери и бродит по торговому центру в Ливерпуле, видно, как его хватают двое десятилетних мальчиков, а затем (при свидетелях в количестве около тридцати человек) бьют, пинают ногами и

---

<sup>42</sup> Bib Latane and John M. Darley, *The Unresponsive Bystander: Why Doesn't He Help?* (New York: Appleton-Crofts, 1970).

подбрасывают в воздух и, в конце концов, уводят из поля зрения камер наблюдения, чтобы убить на ближайшей железнодорожной ветке.

Эти и подобные примеры породили слегка истерический дискурс о пассивном наблюдателе. Контраст слишком резок и мелодраматичен: с одной стороны, равнодушие, эмоциональное оцепенение, десенсибилизация, холодность, отчужденность, апатия, падение нравов и изолированность людей в городской жизни; с другой стороны, ответственность, моральная чувствительность, сострадание, гражданственность, храбрость, альтруизм, общность, образ добрых самаритян. Для гуманистической психологии присутствие и наблюдение стали концепцией, охватывающей все: от молчания, когда вы слышите сексистскую шутку или слышите, как кому-то указывают неправильное направление улицы, до наблюдения за нацистскими карателями, расстреливающими евреев на деревенской площади, до «ничегонеделания» в связи с массовыми убийствами в Руанде, показываемыми по телевидению. Доктор Кларксон, опираясь, по ее словам, на свое политическое сознание южноафриканки и свой опыт клинического психолога, утверждает, что ее книга «Свидетель» посвящена «нашей ответственности за себя и других; нашей неискоренимой экзистенциальной связи с другими и разрушительному эффекту созерцания»<sup>43</sup>.

«Свидетель» – непростой термин, его использование уже подразумевает осуждение *пассивного или невосприимчивого* присутствия. Такие термины, как «наблюдатель», «зритель», «аудитория» и «прохожий», напротив, выглядят как строго нейтральные характеристики. На практике это различие трудно сохранять, и термин «наблюдатель» используется в обоих значениях: «Свидетель – это описательное обозначение человека, который не принимает активного участия в происходящем, когда кому-то другому требуется помощь»<sup>44</sup>. Кроме того, «требование помощи» расширено до «знания, что что-то не так». Использование термина в таком смысле придает ему серьезное значение.

---

<sup>43</sup> Petruska Clarkson, *The Bystander (An End to Innocence in Human Relationships?)* (London: Whurr Publications, 1996), xi, emphasis original.

<sup>44</sup> Ibid., 6.



Самые сильные утверждения о присутствии и наблюдении этически значимы, но эмпирически не доказаны: пассивность тех, кто наблюдает, знает и закрывает глаза, становится формой соучастия или одобрения, которая допускает или даже поощряет дальнейшие зверства и страдания. Это касается и обычных бытовых неурядиц, и массовых трагедий истории. Существует постоянный набор того, что Кларксон называет «образцами» или «лозунгами» наблюдателей. Их обоснования аналогичны (как и предсказывает теория) тем, которые используются правонарушителями. Они функционируют аналогичным образом – как подготовка к выходу из сложной ситуации, а затем как ретроспективные оправдания прошлого бездействия. Однако одни и те же слова означают разные вещи для правонарушителя и стороннего наблюдателя. «Ответственность» (как и «отказ от ответственности») подразумевает вину для правонарушителя, но *обязанность* для стороннего наблюдателя. В списке Кларксон мы встретим множество вариаций «лозунгов»:

Это не мое дело.

Я хочу оставаться нейтральным; Я не хочу принимать чью-либо сторону.

Истина лежит где-то посередине.

Я не хочу раскачивать лодку; Я не хочу поднимать трудный вопрос.

Это сложнее, чем кажется; кто вообще знает, что происходит?

Я не хочу снова обжечься.

Мой вклад не будет иметь большого значения. (Кто? Я?)

Я только выполняю приказы.

Я просто придерживаюсь своего мнения.

На самом деле они навлекли это на себя сами (обвинение жертвы).

Социально-психологические эксперименты имитируют состояние, требующее вмешательства – либо в лаборатории (дым, врывающийся через дверь, крик о помощи), либо в постановочных условиях реальной жизни (сотрудник теряет сознание в поезде метро или инсценирует сердечный приступ на беговой дорожке). Затем варьируют «переменные»: количество присутствующих людей, объявлено ли вознаграждение для наблюдателя или обстоя-

тельства инцидента. Как и во всех подобных экспериментальных работах, многие полученные результаты банальны, противоречивы или имеют ограниченное применение в более сложных социальных условиях. Ниже приводится простой список ситуативных влияний на наблюдателей, каждое из которых необходимо отнести к политическим культурам следующей главы.

### *Количество*

Когда присутствует слишком много других свидетелей и они могут оказать помощь, маловероятно, что кто-то из наблюдателей вмешается. Индивидуальная ответственность распределяется, расплывается и, таким образом, снижается. Испытуемые в экспериментах, имитирующих подобные ситуации, не были апатичными или равнодушными к (имитируемым) страданиям, а были расстроены и озадачены. Их сдерживало размытие ответственности («Чье это дело?»), из-за страха перед возможными социальными ошибками или из-за бездумного эгоизма и отчуждения. Людей останавливает не столько безразличие, сколько пассивность других присутствующих. Одиноким наблюдателям с большей вероятностью помогут, но также находятся и те, кого воодушевляет присутствие других активных людей.

### *Неоднозначность и интерпретация*

Абсолютно недвусмысленное насилие и призывы о помощи требуют большего вмешательства, чем ситуации с потенциальной двусмысленностью. Человек полагается на реакцию других, чтобы разрешить двусмысленность. Когнитивный тезис идет дальше: наблюдатели могут просто совершать когнитивные ошибки. Возможно, они неверно истолковали инцидент с Китти Дженовезе как любовную ссору и поэтому не вмешиваются, так как слишком сложно посторонним разрешить такой конфликт. Совершенно нелепое объяснение, но двусмысленность оказывает влияние на реакцию. Большинство прохожих, наблюдавших за Джейми Балджером и двумя его юными спутниками, возможно, добросовестно, но ошибочно истолковали ситуацию, которая только задним числом выглядит однозначной.

### *Ожидаемая реакция окружающих*

Тормозящее присутствие большого количества людей в меньшей степени оказывает влияние в группе, где люди хорошо знают друг друга. Если люди беспокоятся о том, что другие подумают о них, они быстрее предложат помощь. Неопределенность приводит к опасениям, что вас высмеют за то, что вы сделали что-то неправильное, навязчивое или бесполезное.

### *Предполагаемые вознаграждение, полезность и риск*

В модели рационального выбора люди сопоставляют свое желание помочь с возможными связанными с этим затратами. Они активно избегают ситуаций, в которых ожидают просьб о помощи; чем сильнее просьба, тем значительнее усилия, прилагаемые, чтобы избежать их. Чем больше добра, как вы думаете, вы можете принести, тем больше вероятность, что вы-таки окажете помощь. Помощь сама по себе является вознаграждением, и она будет повторяться вновь, если ранее вознаграждалась, если есть доказательства того, что она действительно приносит пользу, и если ожидается вознаграждение в будущем. «Оценка, проводимая свидетелем», ведет к альтруизму, если предполагаемое вознаграждение значимо (самостоятельная выгода и ожидаемый успех), а затраты невелики. Возможные риски, связанные с оказанием помощи варьируются от простой потери времени, денежных затрат или попадания в неловкую ситуацию до опасности стать жертвой, быть арестованным, физически раненым или даже убитым.

### *Социальная справедливость и равенство*

Оказание помощи может быть результатом твердой приверженности социальной справедливости. Но некоторые жертвы считаются более достойными, чем другие, особенно когда призывы основаны на моральных принципах. Сочетание равноправия с социальной справедливостью означает, что достойным жертвам следует помогать больше, чем незаслуживающим того жертвам. («Несчастному», упавшему в метро в результате инсценированного несчастного случая, скорее всего, помогут, если он будет выглядеть инвалидом, а

не пьяным.) Гипотеза «справедливого мира»<sup>45</sup> усложняет дело. Предположение о стабильном, контролируемом, благотворном мире подрывается, если кажется, что виктимизация вызвана случайными силами. Повышает вероятность оказания помощи осознание угрожающей вероятности того, что то же самое может случиться и с вами. Теперь гипотеза становится немного странной. Люди, которые не верят в справедливый мир, будут в большей степени готовы помочь. Люди же, которые согласны, что в мире царит справедливость, с меньшей готовностью станут помогать, если они верят, что жертвы чем-то заслужили свои страдания («Если бы она не гуляла в парке одна, ее бы не изнасиловали»). Только незаслуженные страдания угрожают вашей вере в справедливый мир. Поэтому вы должны сделать что-то, чтобы восстановить эту веру. Но только в том случае, если ваши действия будут эффективны: просто приверженные мировоззренческой справедливости хотят восстановить ее, но избежать при этом бесплодных действий. Страдания должны быть краткими и результативными, а не длиться долго без очевидных способов их прекратить. Таким образом, все три модели – справедливый мир, полезность и социальная справедливость – предполагают, что вмешательство зависит от воспринимаемой эффективности: перспективы, что помощь действительно поможет.

### *Вина и ответственность*

Может показаться, что люди, которые чувствуют себя виноватыми, с большей вероятностью окажут помощь, чем люди, которые не чувствуют за собой вины. Однако в большинстве исследований ситуация, в которой возникает необходимость оказания помощи, не имеет необходимой связи с исходной (экспериментально созданной) ситуацией, вызывающей чувство вины. Реальные организации часто пытаются вызвать у аудитории смутное чувство ответственности и даже вины за страдания, за причинение которых они не несут прямой ответственности.

---

<sup>45</sup> Melvin Lerner, *The Belief in a Just World: A Fundamental Delusion* (New York: Plenum Press, 1980).

### *Сочувствие и сопереживание*

Кажется очевидным, что действенный ответ на страдание должен быть мотивирован такими эмоциями, как сострадание, сочувствие и сопереживание. Доказательства тому, однако, в лучшем случае расплывчаты<sup>46</sup>. Сочувствие само по себе недостаточно, чтобы вызвать активную поддержку. Эмпатическое понимание сознания других можно пробудить, дав людям «правила наблюдения»: как смотреть на других и представлять себя на их месте. Но слишком сильное сопереживание вызывает у наблюдателя страдание, что представляет еще больший риск, если необходимость оказания помощи воспринимается как слишком требовательная или недостаточно обоснованная.

*Идентификация* Способность идентифицировать себя с другим обычно связана с сочувствием и сопереживанием. Это предъявляет к наблюдателям особый тип когнитивных требований: способность представить, что они находятся в точно таком же затруднительном положении, что и жертва. Именно к этому стремятся публичные призывы: «Это могло случиться с каждым из нас» или «Я мог бы представить себя на их месте».

Само собой разумеется, свидетели реальных чрезвычайных ситуаций или требований о помощи не усаживаются не торопясь, чтобы провести анализ и спокойно оценить эти восемь условий. Перцептивная вспышка мгновенна: что происходит? Что необходимо сделать? Почему другие люди ничего не делают? Вы являетесь частью аудитории, наблюдающей действия правонарушителя, но ваши коллеги являются аудиторией ваших действий: они удерживают вас от возможности делать глупости. Если свидетели видят друг друга как на стоп-кадре, то каждый из них может быть введен в заблуждение, думая, что ничего серьезного не произошло и что лучше всего ничего не делать<sup>47</sup>. Но отсутствие личной вовлеченности не является причиной упущенных когнитивных возможностей.

---

<sup>46</sup> См.: N. Eisenberg and P. A. Miller, «The Relation of Empathy to Prosocial and Related Behaviors», *Psychological Bulletin*, 101 (1987), 91–119; Lauren Wispe, *The Psychology of Sympathy* (New York: Plenum Press, 1989).

<sup>47</sup> Latane and Darley, *Unresponsive Bystander*, 125.

Проблема заключается в словарях отрицания, которые не позволяют первоначальному признанию (и даже страданию) развиваться дальше.

Когда знание является опосредованным, а не непосредственным, ситуативное свидетельство – как наблюдатель в ограниченной, временной обстановке, сталкивающийся с мгновенным требованием или призывом о помощи, – в любом случае становится менее срочным. Телезрители могут быть «метафорическими свидетелями» страданий, представленных глобальными СМИ, но даже это предполагает нечто слишком неожиданно быстрое. Опосредованно комментируемые кадры из Мозамбика не предъявляют тех же требований, что к соседям при агрессии против Китти Дженовезе.

Есть и другие, повседневные объекты для наблюдения, в частности, нищие, беглецы, бездомные, дамы с сумками, слегка невменяемые, наркоманы и алкоголики, населяющие улицы, тротуары и подъезды большинства наших городов. Они стали обыденной деталью городского пейзажа, нормализованной и не привлекающей специального внимания как нечто, что только что «произошло». Те из нас, кто страдает от чувства вины, чувствительны к каждой из подобных встреч. Существует нерелексивный, если не бессознательный, набор реакций: пассивная аккомодация (проходя мимо, отводить взгляд, изо всех сил пытаюсь сделать вид, будто ничего не замечаете), избегать и уклоняться (перешагивать через человека, переходить на другую сторону улицы, даже поехать на работу другим маршрутом).

Мы очень мало знаем о мыслях и эмоциях людей, когда они производят эти рутинные корректировки. Карлен говорит об аккомодации и «психическом закрытии», заимствуя у Лифтона понятие «удвоения в центре» (создание отдельного функционального «я», которое действует вопреки вашему обычному сознанию) и «онемение на периферии» (блокировка нормальной чувствительности)<sup>48</sup>. Может иметь место «расщепление» – но это не буквальное отрицание. Вы замечаете, но ваше восприятие моментально создает кадр, как объектив автоматической камеры. Удивляет полнейшая поверхностность обоснований, которые даже искушенные люди

---

<sup>48</sup> Pat Carlen, *Jigsaw: A Political Criminology of Youth Homelessness* (Milton Keynes: Open University Press, 1996).

формулируют сами себе. К ним относятся раздражающее чувство повторяемости, даже раздражение («Опять тот парень с *Большой Проблемой?*»); столь же утомительное чувство бессилия («Я понятия не имею, что можно с этим поделать»); самодовольство и уравновешенность («Почему я должен каждый раз отдавать?»); проницательность (давать деньги или проявлять сочувствие – «только усугубляет проблему»); повторение причинно-следственных теорий, которые Карлен называет «мифами сотворения» («Это их вина, им доступно достаточное количество альтернативных источников помощи, но они не хотят остепениться»); «Это все из-за алкоголя/наркотиков/психических расстройств»), а в пост-тэтчеровской Британии – словарь эгоизма и непримиримого безразличия: «Ну и что? Я могу с этим жить. Мне плевать»).

Видеть жестокое обращение с детьми на улицах, в торговых центрах, супермаркетах и других общественных местах – это совсем другое. Бездомность стала нормой, но культура отрицания жестокого обращения с детьми сильно подорвана, что снизило порог терпимости. Даже если наблюдатели не вмешиваются активно, они с меньшей вероятностью просто примут родителя, бьющего или унижающего ребенка на публике. В исследовании 567-ми студентов колледжа половина вспомнила, что была свидетелем публичного насилия над ребенком; из них только 26 процентов сообщили, что они вмешивались (70 процентов из них вступая в контакт с жертвой или правонарушителем, 30 процентов косвенно, то есть обращаясь по телефону в органы власти, побуждая других вмешаться или сообщая о насилии родственникам жертвы)<sup>49</sup>. Из *восемидесяти* отдельных факторов, тесно связанных с «вмешательством», выделяется одна группа: расовое сходство между вмешивающимися, другими свидетелями и жертвой. Афроамериканским детям меньше помогали люди из белой выборки. Однако все эти корреляции нарушаются отсутствием какого-либо конкретного определения «жестокое обращение с детьми». Единственный интересный вывод, согласующийся с другими исследованиями, заключается в том, что пассивный свидетель *не был* равнодушным наблюдателем.

---

<sup>49</sup> Cathryn A. Christy and Harrison Voigt, «Bystander Responses to Public Episodes of Child Abuse», *Journal of Applied Social Psychology*, 24 (1994), 824–47. (The authors list a bibliography of 47 bystander studies.)

«Наоборот, большинство не вмешивающихся сообщали, что испытывают столько же заботы о ребенке, как и вмешивающиеся»<sup>50</sup>.

Это критический – хотя иногда и неправдоподобный – момент. Блокирование знания, моральное забвение и «беспокойство» без действия – это три совершенно разных состояния ума. Эти различия могут быть неуместны для несчастной жертвы, но они имеют значение для образовательных или политических попыток преодолеть пассивность наблюдателя.

Я считаю, что издевательства в школе – это архетипическая повседневная обстановка для наблюдения за эффектом свидетеля. У большинства из нас есть яркие воспоминания о таких детских сценах, когда мы сами играли или были близки к ролям преступника, жертвы или стороннего наблюдателя. Именно этот личный опыт делает образ толпы, наблюдающей за политическим злодеянием, столь болезненно воспринимаемым. Насилие буквально проникает внутрь вас – даже если вы являетесь наблюдателем, рассматривающим изображение, зафиксированное еще одним наблюдателем (фотографом) других наблюдателей, наблюдающих за унижением или избиением жертвы. Теоретически обоснованных работ по этому вопросу практически не проводилось. Только психоанализ имел дело с меняющейся динамикой в отношениях хулиган-жертва-прохожий. Свидетели могут стать жертвами – не обязательно идентифицируя себя с последними, но становясь пассивными, беспомощными, напуганными и замороженными<sup>51</sup>. Или они могут стать похожими на хулиганов – получать замещающее и вуайеристское удовольствие, подстрекая их или даже помогая им, скрывая инциденты на игровой площадке от взглядов учителей или развлекаясь таким образом.

Семья, пространство такой тревоги, также является местом молчаливого присутствия. Психологи, занимающиеся проблемами обыденного и сексуального насилия в отношении детей, отмечают особое ощущение предательства и покинутости, которое испытывает ребенок по отношению к членам семьи, соседям и друзьям,

---

<sup>50</sup> Ibid., 844.

<sup>51</sup> Stuart W. Twemlow et al., 'A Clinical and Interactionist Perspective on the Bully—Victim—Bystander Relationship', *Bulletin of the Menninger Clinic*, 60/ 3 (Summer 1996), 296-313.



которые знают или подозревают, но ничего не делают. Более трагичная роль отводится матери, которая узнает об инцесте отца и дочери, но остается в бесконечном неведении или просто пребывает в ощущении беспомощности. Каждый клиницист упоминает об этом, но нет никаких идей относительно его степени. Рассел цитирует объяснения матерей, которые либо отказывались верить своим дочерям, либо не защищали их. Но автор не соглашается с образом «матери, вступившей в сговор», а также с образом «соблазнительного ребенка», как с направлением поиска козла отпущения и обвинения жертвы. Мать, которая активно не вмешивается, утверждает она, скорее бессильна, чем вступила в сговор<sup>52</sup>.

Если в подобных ситуациях и есть буквальное отрицание, то оно должно произойти в одно мгновение. Это избавляет нас от необходимости реагировать немедленно, но не срабатывает, потому что образ не исчезает. Именно поэтому мы говорим: «Должно быть, я все это время знал». Более широкий круг наблюдателей – родственники, соседи, друзья, врачи, социальные работники и учителя – еще меньше реагирует на свои подозрения. Но по мере того, как дискурс о сексуальном насилии смещается, кумулятивный и предполагаемый эффект заключается в том, чтобы предоставить меньше культурного пространства старым словарям отрицания. В определенных кругах выражения типа «Я не то имел в виду» или «Это была просто шутка» – это обоснования, которые больше не являются приемлемыми. Они, скорее всего, будут рассматриваться как формы насильственной невинности.

Историю эволюции реакции на сексуальное насилие над женщинами можно рассматривать как обнадеживающую притчу об изменении реакции людей на публичные страдания и зверства, что является предметом остальной части книги. На общественном уровне действительно существуют психологические препятствия – нормализация, стратегии защиты, уклончивые отчеты, сговор – и этим концепциям можно придать политическую окраску. Но они не могут объяснить ни политические условия, при которых люди

---

<sup>52</sup> См.: Diana E. H. Russell, *The Secret Trauma: Incest in the Lives of Girls and Women* (New York: Basic Books, 1986); R. L. Scott and J. V. Flowers, «Betrayal of the Mother as a Factor Contributing to Psychological Disturbance in Victims of Father–Daughter Incest», *Journal of Social and Clinical Psychology*, 6 (1988), 147-54.

хранят молчание, ни культуру отрицания, поддерживаемую государством, ни формирование безразличия к страданиям других. Однако, вопреки как ситуационным, так и социальным объяснениям, пассивное наблюдение может быть как небольшой устойчивой частью морального характера всех людей, так и значительной частью некоторых из них. Все мы не заботимся либо в какой-то момент, либо о каких-то вещах, а некоторые из нас, похоже, большую часть времени вообще ни о чем не заботятся. В следующей главе эти реакции рассматриваются в политических аспектах.

## 4

## Обоснования Зверств

### Преступники и Официальные Лица

В этой главе рассматриваются общественные и политические злодеяния: опровержения, используемые отдельными виновниками некоторых широко известных злодеяний, и официальная реакция правительств сегодня на утверждения о нарушениях прав человека. Эти два набора обоснований будут очень похожи. Иначе и быть не может. Культурный запас отрицаний, доступный во «время совершения» зверства, используется преступниками, которые позже привлекаются к ответственности, и правительствами, которые делают свои обоснования приемлемыми. Язык, используемый государством, чтобы убедить людей в необходимости делать ужасные вещи или хранить молчание об этом, затем снова появляется в ответ на критику извне. Обратите также внимание на то, что вооруженные оппозиционные группы (национально-освободительные движения, политические фракции, этнические сепаратисты, террористы или партизаны) используют очень похожие словари оправдания.

Еще более удивительно то, что снова и снова появляются обоснования, обычно связанные с неидеологическими преступлениями. Это не означает, что геноцид, политические убийства, исчезновения или пытки можно объяснить так же, как обычное преступление<sup>1</sup>. Тем не менее суть вопроса аналогична: как люди могут действовать ужасающим образом, продолжая при этом абстрагироваться от своих действий и отрицать их значение как злых, аморальных или преступных? Такие отрицания не являются частными состояниями ума. Они встроены в массовую культуру, в банальные

---

<sup>1</sup> О различии между обычными и идеологическими преступлениями см.: Stanley Cohen, «Crime and Politics: Spot the Difference», *British Journal of Sociology*, 47 (1996), 2-21.

языковые коды и поощряемые государством легитимации – отсюда двойственное значение «состояний ума». Эти общие культурные установки, которые позволяют людям быть преступниками или сговорившимися наблюдателями, не являются объяснением истоков и целей злодеяний. Я принимаю как данность Большие Теории о том, как националистические, расовые, этнические или религиозные конфликты трансформируются в институционализированное насилие. Эти социальные научные теории формируют фон, на котором предлагаются общеупотребительные обоснования – не зная общей картины, просто следуя приказам.

## Преступники: обоснования как отрицания

Согласно теории нейтрализации, обычные правонарушители обычно не оправдывают свои правонарушения: они не берут на себя полную ответственность, не выступают против общепринятых ценностей, не апеллируют к альтернативным моральным кодексам. Вместо этого они оспаривают общепринятые значения, придаваемые их правонарушениям, или пытаются избежать моральной вины и юридической ответственности. Повсеместное распространение таких подходов показывает, что общепринятые ценности остаются важными, даже когда они нарушаются. По определению, такие преступные обоснования не следует смешивать с политическими злодеяниями.

Тем не менее политические обоснования чаще всего следуют той же внутренней логике и выполняют ту же социальную функцию, что и обычные девиантные оправдания. Нарратив признает, что нечто произошло, но отказывается принять категорию действий, к которой оно отнесено. Эквивалентом фразы «вы не можете назвать это воровством» является «вы не можете называть это пыткой». Приводимый мной список отрицаний состоит главным образом из идеологических версий основных пяти методов нейтрализации. Но к этому списку следует добавить два особенно важных аспекта: в начале *отрицание знания* – преступники заявляют, что не знают, что сделали они или окружающие их люди – и, в конце, *моральное безразличие*: отсутствие даже символических апелляций к общепринятой морали – никакой нейтрализации, потому что нейтрализовать нечего.

Политические обоснования столь же беспорядочны и непоследовательны, как и любые другие. Нет никакого контраста между чистой, предшествующей идеологической приверженностью и ситуационным давлением, таким как послушание. В нынешнем язвительном использовании такого контраста Гольдхаген утверждает, что виновные в Холокосте не были просто обычными людьми – пассивными, не подверженными влиянию некой идеологии и не желающими, – которых принуждали к социальному конформизму или заставляли подчиняться приказам, становясь роботами-носителями банальности зла<sup>2</sup>. Они были обычными немцами, истинно верующими, движимыми исторически укоренившимся, широко распространенным и яростным антисемитизмом, который логически поощрял «истребительную» идеологию, существовавшую задолго до того, как появилась возможность действовать в соответствии с ней. В этом смысле они были «добровольными палачами». Они могли бы отказаться, но не отказались; они не только уступали, но и действовали с рвением и беспричинной жестокостью. Им не нужны были оправдания, чтобы позволить им делать то, что они уже хотели сделать. Более поздние обоснования («просто винтик в машине») – это полностью тактические и манипулятивные оправдания.

Сравните это с социологическим расширением Бауманом тезиса подчинения авторитету<sup>3</sup>. Холокост – это не анахронизм, а продукт современности. Его осуществлению способствовала бюрократичность мышления: бюрократическая организация общества и рациональность, разделение функций, этическое безразличие и специализация. Модель «подчинения авторитету» объясняет, как обычные люди совершают ужасные вещи, если им приказывают и разрешают делать это. Они не желают «естественно» и не вырождаются морально. Как продукты цивилизационного процесса, они обладают врожденными моральными запретами. По крайней мере, они должны преодолеть животную жалость, вызванную перспективой убийства. Их отрицание идеологических мотивов, таких как

---

<sup>2</sup> Daniel Jonah Goldhagen, *Hitler's Willing Executioners: Ordinary Germans and the Holocaust* (London: Little Brown and Co., 1996).

<sup>3</sup> Zygmunt Bauman, *Modernity and the Holocaust* (Cambridge: Polity Press, 1989).

крайний антисемитизм, и их отказ взять на себя полную ответственность за свои действия являются подлинными.

Не относит ли Гольдхаген «уничтожающий антисемитизм» к слишком раннему историческому периоду, не преувеличивает ли его связность, интенсивность и влияние и неправильно понимает тезис о послушании? Переоценивает ли Бауман влияние идеальной современной бюрократии, не игнорирует ли историческую специфику Германии, не недооценивает ли роль идеологии и не игнорирует ли другие примеры геноцида? Наш предмет - только словесные тени, которые подчеркивают контрасты приводимых примеров.

### *Отрицание знания*

Обычные правонарушители заявляют об ошибочных обвинениях именно в их адрес («Это был не я») и используют бесконечные юридические стратегии, чтобы добиться вынесения им оправдательного вердикта. С дымящимся пистолетом в руке они с поразительной настойчивостью и изобретательностью борются против признания того, что это именно они совершили что-то преступное. Не следует ожидать услышать это от идеологических преступников: они точно знали, что происходит и что они делали, это было оправдано в свое время и по-прежнему остается оправданным.

Но многие виновные в преступлении, особенно на низших уровнях, не говорят об этом даже уклончиво. Судя по их рассказам, они похожи на обычных правонарушителей: «Меня там даже не было в то время»; «Зачем придирайтесь ко мне (когда это делали все остальные)?» Многие из них, изображая недалеких людей, не находят ничего лучшего как заявлять, что даже не разобрались в происходящем несмотря на то, что большинство других участников (или даже наблюдателей), находясь в таком же положении, вполне смогли все понять. Среди подсудимых в подобных судах – ярким примером был Нюрнберг – оправдывающие обоснования варьируются от невинного невежества до высокомерного самооправдания<sup>4</sup>.

---

<sup>4</sup> Американский психолог, наблюдавший за обвиняемыми за кулисами суда, описывает, как эти версии были коллективно согласованы: G. M. Gilbert, *Nuremberg Diary* (New York: Farrar Straus, 1947).

«Мы не знали» может быть правдой по отношению ко многим людям. Публичные знания о зверствах и социальных страданиях варьируются в зависимости от политической обстановки, продолжительности конфликта, контроля над средствами массовой информации, его видимости, географического распространения, доли вовлеченного населения и многого другого. Сторонние наблюдатели, да и преступники, могут не иметь представления об общей картине. Большинство граждан страны, захваченной военной хунтой, в течение долгого времени могут мало что знать о тайных исчезновениях или пытках. Впрочем, практически во всех массовых зверствах послевоенного периода цинизм оправдывался: фраза должна оставаться в кавычках. Но нужны ли нам непрозрачные концепции отрицания, психической защиты, самообмана и недобросовестности? Существуют ли состояния – в психическом и политическом смысле – в которых что-то известно и неизвестно одновременно? Первоначально мой вопрос относился к свидетелям. Но как быть с исполнителями, даже с теми, кто отдавал приказы, кто, несомненно, был движущей силой совершаемого зла, кто имел доступ к информации – но все же настаивает на том, что не знал ни сути, ни деталей?

Несмотря на различия между этим конкретным и другими зверствами, есть нечто более общее в не до конца понятном заявлении Гутмана о том, что Холокост уже отрицался, как только он произошел: «Отрицание, затуманивание реальности и уничтожение следов и пережитков суровой правды были неотъемлемой частью самого акта убийства»<sup>5</sup>. Отрицание – неотъемлемая стадия распространения геноцида за пределы его «практических целей»; отрицания являются «продолжением сложных мотивов, которые с самого начала вдохновляют геноциды»<sup>6</sup>.

Это относится не только к ретроспективным обоснованиям, но и к первоначальным идеям, планированию и реализации. Предварительное планирование «максимального отрицания» может быть просто более явным. Случай с нацистской Германией был

---

<sup>5</sup> Yisrael Gutman, *Denying the Holocaust* (Jerusalem: Institute of Contemporary Jewry, Hebrew University, 1985), 14.

<sup>6</sup> Israel W. Charny, «The Psychology of Denial of Known Genocides», in idem (ed.), *Genocide: A Critical Bibliographical Review*, vol. 2 (London: Mansell, 1991), 3.

наиболее тщательно изучен, но до сих пор ведутся споры о том, кто и насколько был осведомлен о том, что и когда должно произойти. Несомненно, создание государства, осуществляющего геноцид, требовало более массового участия, чем признавали историки на ранних этапах изучения феномена. Большая часть широкой публики знала или, по крайней мере, догадывалась о характере программы истребления, если не о ее точных деталях. Это был типичный «секрет Полишинеля». В историю крайнего отрицания невозможно поверить: небольшая группа фанатичных преступников спланировала и осуществила убийства, в то время как большая часть общества была пассивной, отстраненной, анонимной массой, которая ничего не знала? «Очевидная тайна» не означает коллективной ответственности или того, что секретарь, заполняющий документы о конфискованном еврейском имуществе, и нацистский врач в Освенциме психологически идентичны. Но это подразумевает градации коллективного знания: не только сколько было тех, что знали, но и сколько из них в этом признаются. Здесь различие между свидетелем и преступником менее актуально. Крошечный винтик внутри машины действительно может знать меньше, чем осведомленный сторонний наблюдатель.

Некоторые знания были очевидны еще в довоенные годы. Когда социальная изоляция евреев, цыган, умственно отсталых и гомосексуалистов стала общепринятой; когда наметились этапы изгнания, а затем истребления, в дело были вовлечены даже явно не связанные друг с другом подразделения правительства и бизнеса<sup>7</sup>. Министерство внутренних дел предоставило записи о рождении евреев; почта доставила уведомление об экспроприации и депортации; министерство финансов конфисковало собственность; предприятия увольняли рабочих-евреев. А позже фармацевтические компании испытывали лекарства на заключенных лагерей; одни компании претендовали на контракт на поставку газовых камер, другие – на получение волос, состриженных с женских голов (для переработки в войлок), и переплавку золота (10–12 килограммов в неделю к 1944 г.) из ювелирных изделий и зубных коро-

---

<sup>7</sup> См.: Michael Marrus, *The Holocaust in History* (Harmondsworth: Penguin Books, 1989). The quote is from another useful summary: Michael Berenbaum, *The World Must Know: The History of the Holocaust as Told in the United States Holocaust Museum* (Boston: Little, Brown & co., 1993), 106-7.



нок (каждая сделка тщательно фиксировалась чиновниками). Врачи, юристы и другие специалисты оказывали содействие всему этому.

Представьте себе, однако, что утверждения о незнании не были преднамеренной ложью, а лежали в «сумерках между знанием и незнанием»: предполагаемые преступники и сговорившиеся наблюдатели попали в паутину отрицания, которое является «неотъемлемой частью действия». Последующие сокрытия и оправдания более правдоподобны тогда, когда обман встроен в первоначальные замыслы, планирование и исполнение – с помощью эвфемизмов, двусмысленности, секретности, двойного следа или закодированных приказов, размывающих цепочку подчинения.

Речь Гимmlера в Позене в 1943 году удивительно «откровенна» в объявлении и оправдании политики истребления – и предупреждении, что это не может быть публично признано:

Я также хочу обратиться к вам совершенно откровенно по очень серьезному вопросу. Среди нас об этом следует говорить совершенно откровенно, но мы никогда не будем говорить об этом публично. Я имею в виду эвакуацию евреев, уничтожение еврейской расы. ... Большинство из вас должно знать, что это означает, когда рядом лежат сто трупов, или пятьсот, или тысяча. Выстоять и в то же время – кроме исключений, вызванных человеческой слабостью – остаться порядочными людьми, вот что сделало нас жесткими. Это страница славы в нашей истории, подобная которой никогда не была написана и никогда не будет написана.

Но это не «чистый» (то есть двусмысленный) вариант отрицания. Едва ли такой текст мог оставить аудиторию в сумеречном состоянии знания и незнания. Это всего лишь инструкция, о чем лгать. Другие общедоступные нацистские тексты были закодированы, они были двунаправленными сообщениями. Призыв к уничтожению был скрыт, но лишь слегка. Это было мнимое сокрытие – как «прятать» предметы от детей в игре. Конкретные термины, такие как «убийство» и «уничтожение», использовались редко. Действия айнзатцгрупп объявлялись «депортациями», «особыми действиями», «исполнительными мерами специальной направленности», «зачистками», «переселением», «окончательным решением»,

«выдворением» и «надлежащим обращением». Текст позволяет любому автору дезавуировать его смысл, а зрителям заявить, что они его не поняли.

Ханна Арендт ссылается на «языковые правила»: на одном треке язык был предельно ясным; на другом служил инструкцией, как замаскировать реальность ложью, прикрытием и эвфемизмом<sup>8</sup>. Переписка подчинялась жестким языковым правилам: никогда не «ликвидация» или «убийство», а предписанные кодовые имена. Только между собой «носители тайн» могли разговаривать на незакодированном языке. «Более того, сам термин «языковое правило» ... сам по себе был кодовым названием; это означало то, что на обычном языке назвали бы ложью»<sup>9</sup>.

Сам по себе это очевидный момент. Шпионы, корпоративные юристы и боссы мафии также используют кодированный язык подобным образом. Но Арендт идет дальше, утверждая, что та же «лживость» и самообман, присущие характеру Эйхмана, были неотъемлемой частью *всего* немецкого общества. Именно это ограждало немцев от «реальности и фактичности». Но может ли лживость быть национальным характером? Преднамеренная, спланированная ложь – это не то же самое, что самообман. Арендт предлагает альтернативу, которая в этом контексте является более «радикальной» и пугающей, чем простая откровенная ложь: «Чистый эффект этой языковой системы состоял не в том, чтобы держать людей в неведении относительно того, что они делают, а в том, чтобы они не могли соотнести это со своими старыми, «нормальными» знаниями об убийствах и лжи»<sup>10</sup>.

Это идеальное определение интерпретативного отрицания, хотя используемый термин «люди» вряд ли может означать «все люди». Вспомните те образы железных дорог, которые так чудесно переданы Клодом Ландзманном в «Шоа» («Shoah») – линии, связывающие жизни людей с их смертью. Была ли организация «транспорта» преднамеренным обманом или гротескным, но непро-

---

<sup>8</sup> Hannah Arendt, Eichmann in Jerusalem: A Report on the Banality of Evil (New York: Penguin USA, 1994; original edn, 1965), 84—6.

<sup>9</sup> Ibid., 85.

<sup>10</sup> Ibid.

думанным продолжением обычной немецкой бюрократии?<sup>11</sup> Служащие немецких железных дорог (Рейсхбана) знали маршруты и пункты назначения этих сотен тысяч «пассажиров» и то, как именно их обманывали. Эти работники (1,4 миллиона, из которых 500 000 были государственными служащими, которые управляли системой) продолжали распределять персонал, получать грузовые вагоны, согласовывать графики, водить и обслуживать автомобили. Должностные лица, которые разрабатывали, отдавали и доводили приказы до исполнителей, могли намеренно использовать закодированный язык, но у обычных рабочих не было необходимости зашифровывать и расшифровывать тексты. Оказываясь участниками этих причудливых, ужасных сцен «все», что им нужно было делать, это поддерживать видимость нормальности происходящего.

Эсэсовцы использовали турагентов для организации проезда в один конец, в лагерь, по цене четыре пфеннига ... за километр пути. Дети до десяти лет ехали за полцены; дети младше четырех лет «путешествовали» бесплатно. Для депортации более четырехсот человек была введена групповая ставка в размере половины обычной платы за третий класс... Работники Рейсхбана использовали те же формы и процедуры для бронирования туристов, отправляющихся в отпуск, что и для отправки евреев в Освенцим<sup>12</sup>.

Не может быть такого, чтобы все эти железнодорожники не знали, что происходит. Но что ими двигало: идейное убеждение? знание, не поддержанное чувством ответственности? сумеречное знание? Всякая нормализация, то есть всякая жизнь, требует некоторого притворства, жизни «как будто» то, что происходит, не происходит. Люди могут долго сосуществовать с ужасами, но продолжать жить так, как если бы все было нормально. Все эти клерки и машинисты поездов, не могли не понять, что происходит что-то необычное, если даже не морально неправильное. Должно быть, со временем они впали в состояние притупленной рутины – как будто это было более или менее обычным делом. «Ко всему

---

<sup>11</sup> Кратко изложено в Berenbaum, *The World Must Know*, 112—17.

<sup>12</sup> Ibid., 115.

можно привыкнуть». Этот переход в новое состояние мог произойти из-за бессознательной эмоциональной защиты, но в равной мере и вследствие сознательного, с учетом знания реальности, решения действовать так, как если бы все было нормально. Нет нужды защищаться или нейтрализовать без внутренней убежденности в том, что происходит что-то нехорошее, или без присутствия кого-либо, кто может бросить вам обвинение. Или же – ужасающая возможность – «языковая система» действительно предотвратила отождествление с «их старыми, «нормальными» знаниями об убийстве и лжи». Эти клерки использовали обычные процедуры бронирования для перевозки сотен тысяч людей на бойню. Что кажется нам более ужасающим шестьдесят лет спустя – то, что они были слишком заняты собственными проблемами, чтобы осознавать, что происходит нечто очень необычное, или то, что с полным осознанием происходящего они продолжали делать свою работу?

Случаются массовые зверства в условиях, когда политическая власть слишком изолирована, точнее, настолько сильно обращена внутрь страны, что не прибегает к изощренному обману или языковым кодам. В свое время «красные кхмеры» в Камбодже практически не пытались скрыть свои преступления. В руководстве по проведению допросов, найденном в центре исполнения наказаний Туол Сленг, есть раздел, озаглавленный «Применение пыток». Он включает в себя подробные инструкции о том, как причинять боль, и предостерегает от любых колебаний или нерешительности при «применении пыток».

Ни в одной стране сегодня не *существуют* такие тотальные внутренние репрессии и внешняя изоляция. Вот почему одновременность буквального отрицания и идеологического оправдания необходима – для преступников во время совершения преступления, для более поздней официальной риторики и для сторонних наблюдателей. Аргентинская хунта создала самую запутанную версию двойного дискурса. Это был интенсивно осуществляемый словесный режим, одержимый мыслями о своих противниках. Режим этот изобрел особый язык, тайный дискурс террора, для описания частного мира, официальное присутствие которого

публично отрицалось и оправдывалось<sup>13</sup>. На официальном уровне дискурс хунты был не только идеологическим, но и мессианским: в конечном итоге «Грязная война» была защитой западной и христианской цивилизации. Аргентина стала местом последней битвы сил жизни против сил смерти. Публичный дискурс был строго закодирован, полон ханжеских – даже метафизических – ссылок на чистоту, добро и зло, а также на священную ответственность за устранение противников. Однако на частном уровне возник новый лексикон повседневной жизни, чтобы зверства выглядели нормально. В тайном мире пыток, где причинение боли настолько личное, значения слов, существовавших и до периода хунты, меняются, а нейтральные слова получают новое значение. *Assado* (барбекю) теперь стало костром для сжигания трупов; *la parilla* (гриль для приготовления мяса) означало металлический стол, на который кладут жертв для пыток; *Comida de Pescado* (рыбная пища) описывает заключенных, сброшенных с самолетов в море, либо накачанных наркотиками, либо мертвых, с распоротыми животами. *Submarino* был не подводной лодкой, не бутербродом и не традиционным детским лакомством в виде плитки шоколада, тающей в молоке, а многократным удерживанием головы жертвы под грязной водой (часто содержащей мочу и фекалии), каждый раз почти до удушья.

Каждый режим, практикующий пытки, использует один и тот же лингвистический прием: если *делается* что-то ужасное, то соответствующий глагол транспонируется в нечто обыденное, обозначаемое *существительным*. Израильские палачи всего лишь дали палестинцам *банан* (связанный в болезненном положении на полу), *мешок* (длительное нахождение в грязном муслиновом мешке) и *холодильник* (запертый в шкафу размером с гроб, с обдувом холодным воздухом).

Палачи не могут буквально «отрицать» то, что они делают. Показательное извращение языка является скорее мучением для жертвы, садистским наслаждением для некоторых мучителей и

---

<sup>13</sup> See Frank Graziano, *Divine Violence: Spectacle, Psychosexuality and Radical Christianity in the Argentine Dirty War* (Boulder, CO: Westview Press, 1992), and Marguerite Feitlowitz, *A Lexicon of Terror: Argentina and the Legacies of Torture* (New York: Oxford University Press, 1998).

«приспособлением» для других в цепочке подчинения<sup>14</sup>. Но мучители конструируют социальную реальность, которая искажает факты и события, перемещая причинение боли в другой когнитивный мир<sup>15</sup>. Пытка может называться «работой» («В какое время вы завтра работаете?»), а следователям могут быть даны банальные псевдонимы («дядя»). В некоторых аргентинских центрах содержания под стражей палачи, охранники и потерпевшие жили вместе в одном здании. Повседневная жизнь часто была похожа на галлюцинацию. Заключенные играли в карты со своими мучителями. Все (заключенные в наручниках и кандалах) смотрели чемпионат мира по футболу 1978 года, дружно скандируя в поддержку национальной сборной. В лагере Олимп Буэнос-Айреса беременные женщины-заключенные, все еще подвергавшиеся пыткам, вместе с охраной отправлялись на прогулку в ближайший парк и кафе. Они сидели вместе, разговаривая, частично иносказательно, о повседневной жизни в пыточных центрах.

Юмор парагвайских палачей семидесятых был грубее. Они высмеивали риторику президента Картера о правах человека, называя свои палки по размеру: «Конституция», «Демократия», «Права человека». Избивая людей, они кричали: «Вот ваши права человека». В Бразилии мучители говорили, имея в виду Декларацию ООН о правах человека: «Пора снова применить Декларацию», привязывая заключенного к горизонтальному шесту и прикрепляя к его телу провода<sup>16</sup>.

С точки зрения здравого смысла несоответствия между официальными и частными дискурсами свидетельствовали бы о лицемерии и цинизме. Однако публичный дискурс – это не просто самоуверенная риторика для оправдания зверств, а скорее «своего рода перефразированная правда, мифологическая реальность, в

---

<sup>14</sup> Feitlowitz, *Lexicon of Terror*, 65. Неясно, отмечает она, является ли продолжающееся использование извращенных слов, таких как паррилла, долгое время после прихода хунты, «сознательной попыткой спасти прежние, незапятнанные значения, является ли это признаком отрицания или признаком того, что, что бы ни происходило, жизнь продолжается» (*ibid.*, 61).

<sup>15</sup> Ronald D. Crelinsten, «In Their Own Words: The World of the Torturer», in R. D. Crelinsten and A. P. Schmid (eds), *The Politics of Pain: Torturers and Their Masters* (Boulder, CO: Westview Press, 1995), 34—64.

<sup>16</sup> *Ibid.*, 39.

которой слова и дела хунты были составными частями единой согласованной повестки дня»<sup>17</sup>. Режим отрицает ответственность за злодеяния, которые в их интерпретации не происходят, и поддерживает герметическую мифологию об опасностях, исходящих от «врагов». Внешняя критика делает отрицание более сильным, а идеологию более неприкосновенной. Даже на судебных процессах 1985 года хунта признавала лишь оккультное чувство ответственности и продолжала отрицать все конкретные обвинения. Обвинитель стал экспертом по отрицанию: «Бессодержательные ссылки генерала Виделы, утверждающего, что он берет на себя всю ответственность, хотя, по его мнению, ничего не произошло, разоблачают первичный мыслительный процесс, который, придавая магическую силу словам, пытается с их помощью заставить исчезнуть реальность, потому что человек хочет ее отрицать»<sup>18</sup>.

Магический реализм, по-другому не скажешь. Двойной дискурс прижился по всей Латинской Америке как способ «говорить об ужасе»<sup>19</sup>. Один из колумбийских генералов упомянул грязную войну словами «говорят, что она идет». Она и есть, и ее нет. Тауссиг использует роман Гарсии Маркеса «Хроника объявленной смерти» как парадигму государственного террора в Колумбии. По сюжету жители наблюдают, как двое вооруженных мужчин следуют за третьим мужчиной по улице города; они переходят с места на место; они намерены убить его. Наблюдатели чувствуют это, но не могут до конца поверить, что его убьют, или, скорее, «они одновременно верят и не верят»<sup>20</sup>. Маркес передает то странное ощущение нереальной реальности, которое ощущается во многих культурах террора: идет «война молчания», ничего официального, никаких исчезновений, никаких пыток. Фактическое знание загоняется в частную сферу страха и неуверенности. Разговоры о терроре замолкают; вы не говорите публично ничего, что может быть истолковано как критика Вооруженных Сил<sup>21</sup>.

---

<sup>17</sup> Graziano, *Divine Violence*, 8.

<sup>18</sup> *El Libro de El Diario del Juicio*, cited by Graziano, *Divine Violence*, 45.

<sup>19</sup> Michael Taussig, «Terror as Usual: Walter Benjamin's Theory of History as a State of Siege», in *The Nervous System* (London: Routledge, 1992), 11—35.

<sup>20</sup> *Ibid.*, 21.

<sup>21</sup> *Ibid.*, «Talking Terror 4», 26—30.

«Двойной дискурс» практически можно визуализировать. Для более наглядного изображения известного и якобы неизвестного представьте типичный административный офис нацистской программы «эвтаназии». Клерки подделывают свидетельства о смерти, пишут стандартные письма с соболезнованиями и сводят бухгалтерский баланс проведенных акций. Карта на стене гарантирует, что места перемещения не сообщают о подозрительно большом количестве смертей. С помощью цветных булавок, обозначающих определенный месяц, сотрудники могли распределять плохие новости в пространстве и времени<sup>22</sup>.

Я закончу этот раздел рассказом об Альберте Шпеере, самом досконально изученном случае «я не знал» со времен Эдипа. От Нюрнберга и Шпандау до своей смерти в 1981 году Шпеер продолжал отрицать полное знание об «Окончательном решении». Большинство историков видят в этих опровержениях либо хитрую ложь, либо продукт преднамеренной преступной слепоты. Во любом случае, Шпеер знал достаточно, чтобы остающееся на долю незнания не дарило оправдание. Его биография, написанная Гиттой Серени, содержащая 750 страниц и оправдывающая подзаголовок «Его битва с правдой»<sup>23</sup>, усложняет историю: она слишком сложна для тех, кто думает, что автор была очарована Шпеером, приняв за правду ложную исповедь о его жизни как о долгой моральной агонии, страданий из-за того, как много он знал, подозревал или должен был знать. Критики справедливо относятся со скепсисом к «двойственному заявлению Шпеера об уникальном знании гитлеровского режима, с одной стороны, и одновременном незнании масштабов, если не самого существования геноцида, который был его движущей силой, с другой стороны»<sup>24</sup>. Однако Серени напоминает нам об историческом периоде, когда изначально предлагались такие обоснования. По мере того, как знания об ужасах увеличи-

---

<sup>22</sup> Michael Burleigh, *Death and Deliverance: «Euthanasia» in Germany, 1940—1945* (Cambridge: Cambridge University Press, 1994), 150.

<sup>23</sup> Gitta Sereny, *Albert Speer: His Battle with Truth* (London: Picador, 1996).

<sup>24</sup> Dan van der Vat, *The Good Nazi: The Life and Lies of Albert Speer* (London: Phoenix, 1997), 2. Это грубоватая, плохо написанная книга, но она правильно скептически относится к «тщательно культивируемому образу Шпеера как аполитичного нацистского функционера, который искупил вину, соизвавшись» (364). Он был не просто функционером; и он никогда не признавался.



вались, все поколение Шпеера было вынуждено поддерживать свои заявления о невинности и представлять себя в менее разрушительном свете для других и для себя. Серени преувеличивает степень денацификации и интенсивность любой связанной с этим стигмы. Но она показывает, как само знание стало таким же плохим, как и действие. «Знание было похоже на башню, построенную из костяшек домино – малейшее признание, и башня рухнула»<sup>25</sup>.

Другие подсудимые в Нюрнберге лгали о своих знаниях и отказывались брать на себя какую-либо ответственность. Ложь Шпеера была более осторожной, конкретной и правдоподобной. Он взял на себя полную ответственность за случившееся: в то время он не знал никаких подробностей, но его положение в правительстве означало, что он должен был знать больше. Он никогда не пойдет дальше этого: «Капля кажущегося признания временами исходила от него. Но за этим неизменно следовал настоящий поток опровержений и довольно часто убедительных обоснований для них»<sup>26</sup>. Его мантра была неизменной: «Он должен был знать, мог знать, но не знал»<sup>27</sup>.

«Должен» и «мог» вне всяких сомнений. «Не знал» – сложнее. Серени с осторожностью принимает его опровержения некоторых событий, отвергает другие как «совершенно несостоятельные» и заключает, что даже в 1942 году Шпеер еще не «понимал сознательно» геноцид. Симптомы его предполагаемого «бессознательного осознания» могут быть оглавлением учебника по психологии отрицания.

### *Виртуальная слепота*

Шпеер утверждает, что не видел ничего зловещего во время нарастания событий с 1934 по 1939 год. Так бывает, кое-что привлекает ваше внимание, но вы обращаете настолько мало внимания, что можете быть слепы. Рассказ Шпеера об этом периоде свидетельствует о «фактической слепоте, которую он проявляет по отношению к реальным событиям»<sup>28</sup>. По его собственным словам,

---

<sup>25</sup> Sereny, Albert Speer, 167.

<sup>26</sup> Ibid., 340.

<sup>27</sup> Ibid., 690.

<sup>28</sup> Ibid., 115.

«люди никогда не поверят мне и не поймут, когда я говорю это, но мои мысли были заняты другими вещами. Когда это происходило на самом деле, конечно, едва ли можно было не осознавать, как вы выразились... Но я, конечно, не видел этого, как это считалось исторически и политически позже»<sup>29</sup>. Зловещие вещи «ускользали от него» или «не проникали в его сознание»<sup>30</sup>. В своих мемуарах Шпеер даже не упомянул «Хрустальную ночь». Он, «казалось, совершенно не знал о том, что происходило»<sup>31</sup>.

### *Отсутствие необходимости знать*

Шпеера и его окружение «могли бы знать, но у них не было в том необходимости, как если бы не было практической необходимости или психологической или интеллектуальной решимости противостоять проблеме, а не игнорировать ее»<sup>32</sup>. Многолетний секретарь Шпеера, Аннемари Кемпф, выражается отчетливо ясно: «Конечно, я думаю, что мы должны были почувствовать что-то неладное и задать себе те же вопросы, которые задаете вы. Но мы этого не сделали, и это было достаточно нормально, чтобы даже не думать об этом»<sup>33</sup>. Это обескураживающее заявление: то, что происходило в течение десятилетия, было «достаточно нормально, чтобы даже не думать об этом». Даже когда позже они узнали о лагерях, последние не считались настолько важной темой, чтобы заслуживать обсуждения. Судьба евреев была просто недостаточно интересна.

### *Не желая знать, отказываясь знать*

Принципы программы «эвтаназии» были известны жене Шпеера и ее элитному кругу подруг, но никогда ими не обсуждались. Аннемари и Шпеер видели пропагандистский фильм на эту тему, но она утверждала, что никто из них не знал, что такое происходит на самом деле. Возможно, предполагает она теперь, у них могло быть «смутное подозрение», что, если бы они знали или попытались выяснить это, это слишком усложнило бы дело. Она объясняет:

---

<sup>29</sup> Ibid., 115-16.

<sup>30</sup> Ibid., 161.

<sup>31</sup> Ibid., 164.

<sup>32</sup> Ibid., 175.

<sup>33</sup> Ibid., 379.

«Если бы кто-то знал, ему пришлось бы подвергнуть сомнению это, пришлось бы столкнуться с реальностью этого и – гораздо больше, чем говорить об этом теоретически, как о сюжете фильма – пришлось бы подвергнуть пересмотру собственное отношение к этому»<sup>34</sup>. Даже в 1943 году, когда все стало предельно ясно, они продолжали поддерживать свое «решительное незнание», свое намеренное нежелание признавать происходящее. Серени часто отмечает склонность Шпеера отказываться знать о вещах, которые он не мог принять. Опять же, Аннемари Кемпф дает объяснение получше: «В каком-то смысле я думаю, что он чувствовал, что то, чего он не знал, не существовало»<sup>35</sup>.

### *Разделение на части*

В конце 1943 года Шпеер посетил лагерь рабского труда; он также знал, что Гиммлер сказал в Позене. Он не мог более исповедовать незнание. Теперь он воочию увидел реальность зверств, о которых до сих пор только подозревал или «ощущал». Он не мог жить с этим знанием – и таким образом началось разделение, которое продлится до его смерти. Это отличается от механизма блокировки Лифтона: «намного сложнее, чем «блокировать» правду, которая в своей крайней форме может означать, что человек больше не осознает ложь; Шпеер жил во лжи, не видел способа покончить с ней и – я думаю его единственная значимая заслуга – жестоко страдал из-за этого»<sup>36</sup>. Он страдал, утверждает Серени, потому что был морально амбивалентен. Другие менее сочувственны: «способность Шпеера разделять (не выражаясь более резко) осталась с ним на всю жизнь, позволив ему впоследствии с невозмутимым видом ссылаться на неосведомленность о важных событиях в непосредственной близости от него»<sup>37</sup>.

---

<sup>34</sup> Ibid., 200.

<sup>35</sup> Ibid., 148.

<sup>36</sup> Ibid., 707.

<sup>37</sup> Van der Vat, Good Nazi, 24.

*Моральная амбивалентность, моральное безразличие или моральное слепое пятно?*

Такое же невозмутимое выражение лица сопровождало выраженную Шпеером вину за то, что он ничего не сделал с тем «малым», что он знал. Его литания никогда не менялась: сколько он знал, было неважно по сравнению с «ужасами, о которых я должен был знать, и какие выводы были бы естественными сделать из того немногого, что я знал»<sup>38</sup>. Шпеер и его окружение знали не все, но они знали больше, чем «немного». Какие выводы они сделали *в то время*? А какие выводы были бы "естественными" для того времени? Эти люди не были введены в заблуждение, загипнотизированы или убеждены, что неправильное было правильным. Их убедили «признать законность запретного знания»<sup>39</sup>. О некоторых вещах лучше не знать. Если со знанием нельзя столкнуться, должна быть по крайней мере моральная амбивалентность этого знания. Серени считает, что амбивалентность Шпеера между моральной необходимостью противостоять давно подавляемой вине за его ужасное знание и его отчаянной потребностью отрицать была великой дилеммой его жизни. Отвечая на просьбу опровергнуть заявление об отрицании Холокоста, он еще раз подтвердил свою «общую ответственность», признав, что его главная вина заключалась в его «молчаливом согласии (*Billigung*)» с преследованием и убийством миллионов евреев». Серени перевела *Billigung* как «молчаливое согласие», а Шпеер добавил сноску, объясняющую этот термин как «отведение взгляда, а не знание приказа или его исполнение». «Первое, – добавил он, – столь же серьезно, как и второе». Противоположное и более простое объяснение состоит в том, что предполагаемая моральная чувствительность или амбивалентность Шпеера были просто безразличием – определенно в то время – к знанию. Это были вещи, о которых не стоило думать. Как сказал один из собеседников Серени о круге Шпеера и других немцах его поколения: «В отношении евреев существовало и, возможно, сохранялось слепое пятно с моральной точки зрения». Это не было и не могло быть буквальным когнитивным слепым пятном: означает ли *Billigung* принятие, терпимость, попустительство или согласие, оно

<sup>38</sup> Albert Speer, *Inside the Third Reich* (London: Weidenfeld & Nicholson, 1970), 113.

<sup>39</sup> Цитаты в остальной части этого абзаца взяты из Sereny, Albert Speer, 707-8.

должно быть о чем-то, что человек осознает. Семантически невозможно быть «амбивалентным» по отношению к чему-то, о чем вы ничего не знаете.

### *Позволить говорить памяти*

Только после освобождения из Шпандау Шпеер вспомнил вещи, которые в то время выглядели по-другому, но почти не замечались. Спустя сорок лет он вспомнил чувство «мгновенного беспокойства», когда увидел на берлинском вокзале толпы эвакуируемых немецких евреев. Такого рода запоздалые размышления были «всего лишь неумелой попыткой заявить, что он не был морально слепым, а был просто слепым»<sup>40</sup>. «Почему, – спросила его Серени, – откуда у него какое-либо беспокойство, в конце концов, люди все время переезжают?» Шпеер был явно раздражен. Он ответил: «Я был слеп по своему выбору, ... но я не был в неведении». Конечно же, он знал, что евреи – «особая проблема». Но он не ответил на ключевой вопрос о «беспокойстве». Если у него было такое душевное состояние («предчувствие» или «подозрение»), это могло означать только то, что он знал *в свое время* то, что впоследствии постоянно отрицал: что он имел какое-то представление о программе истребления. Серени не остановилась на этом. Она напомнила, что Шпеер писал: «Я могу сказать, что чувствовал, что с евреями происходят ужасные вещи»<sup>41</sup>. Она продолжала настаивать: «Если вы чувствовали, значит, вы знали. Вы не можете чувствовать или подозревать без причины. Вы знали»<sup>42</sup>. Он знал то, что он так успешно отрицал в Нюрнберге, тем самым спасая себя от смертной казни. Серени настаивала: «Вы говорите, что что-то почувствовали... Но вы не можете чувствовать в пустоте; "ощущение" есть внутреннее осознание знания. По сути, если вы «чувствовали», то знали»<sup>43</sup>.

Единственное, что Шпеер мог бы сделать после этого – возблагодарить Бога за то, что Серени не была прокурором Нюрнберга. Он сразу понял, что моральные последствия парадокса отрицания применимы как к ощущению, так и к знанию. Некоторые

---

<sup>40</sup> Ibid., 222.

<sup>41</sup> Ibid., 706.

<sup>42</sup> Ibid., 707.

<sup>43</sup> Ibid., 222.

вещи он никогда не знал и даже не чувствовал: в иерархической организации, одержимой секретностью, люди высшего уровня защищены от реальности. За пассивное незнание никого нельзя упрекнуть – можно только назвать «неискренним». Активное незнание (не пытаться узнать), пассивное бездействие (безразличие) и активное бездействие (молчание): извините, виноват, можно назвать «ханжеским».

### *Отрицание ответственности*

Наиболее доступными и популярными версиями, излагаемыми обычными правонарушителями являются различные отрицания ответственности (или свободы действий, умысла, автономии и выбора). Они варьируются от категорических отговорок и полной недееспособности («Я не знал, что делаю», «Я, должно быть, потерял сознание») до более умеренной лексики социального детерминизма (плохие дома, плохие друзья, плохие соседи, невезение). Эти оправдания совсем не похожи на вдохновленные идеологией обоснования, которые по определению должны брать на себя полную моральную ответственность.

Идеологическая сфера содержит еще более богатый набор отрицаний ответственности. Бауман отмечает, что уклонение от ответственности не является удобным предлогом постфактум, а представляет собой «безотносительную, неперсонализированную ответственность», которая является условием участия обычных людей в злодеяниях: «Свободно плавающая ответственность на практике означает, что моральная власть как таковая была лишена дееспособности без того, чтобы ей открыто бросали вызов или отрицали»<sup>44</sup>. Самым известным из этого репертуара является подчинение власти, но я также рассмотрю три других объяснения: соответствие, необходимость и расщепление.

---

<sup>44</sup> Bauman, *Modernity and the Holocaust*, 163. Большинство комментаторов чрезмерно упрощают этот великий эксперимент. Различия, которые Милгрэм наблюдал при варьировании его условий, игнорируются, как и острое понимание подчинения авторитету. См.: Stanley Milgram, *Obedience to Authority* (New York: Harper and Row, 1974).

## Подчинение

Самый легкий и понятный способ уйти от личной ответственности – апеллировать к авторитету и послушанию. Вы отрицаете свободу воли, намерение, предрасположенность и выбор: «Я просто выполнял приказы ... У меня не было выбора ... Я не мог отказаться ... Я ничего не имел против этих людей, но нам сказали, что мы должны их убить». Такие признания исходят от подчиненных, которые реализуют, а не формируют и проводят политику, получают, а не отдают приказы. Культовым образом такого подчинения является Эйхман (который, конечно же, проводил политику и отдавал много приказов): винтик в машине, подчиняющийся только тем приказам, которые касались его; выполнение обязанностей добропорядочного гражданина в соответствии с новыми «законами страны»

Точно так же, как «добропорядочные немцы» являются символами незнания, так и добровольцы из лаборатории Милгрэма стали символами послушания. Сцена эксперимента незабываема: люди, сидящие перед фальшивыми счетчиками, получают приказ от фальшивого «инструктора» подавать фальшивые удары током фальшивым жертвам, симулирующим сердечные приступы. Это мощное напоминание о неназидательных способах, которыми большинство людей подчиняются власти<sup>45</sup>. Концепция «преступления подчинения» была уточнена и применена к делу о резне в Май Лай в 1968 году, совершенной американскими солдатами во Вьетнаме<sup>46</sup>. Преступления повиновения – это аморальные или преступные действия, совершаемые в иерархических организациях (армии, полиции, силах безопасности, партизанских ячейках) и связанные с приказами вышестоящего в цепочке командования. Общее понятие послушания или подчинения применяется по-разному. Чем ниже вы находитесь в иерархии, тем проще отказаться от личной ответственности. Вы самый пассивный реципиент из всех возмож-

---

<sup>45</sup>Большинство комментаторов чрезмерно упрощают этот великий эксперимент. Различия, которые Милгрэм наблюдал при варьировании условий эксперимента, игнорируются, как и его острое понимание подчинения авторитету. См.: Stanley Milgram, *Obedience to Authority* (New York: Harper and Row, 1974).

<sup>46</sup> Herbert C. Kelman and V. Lee Hamilton, *Crimes of Obedience* (New Haven: Yale University Press, 1989).

ных, в конце длинной командной цепочки, неспособный проявить какую-либо инициативу. Но чем выше вы находитесь в структуре власти (если не считать инициирования приказов), тем дальше вы от конечных результатов. Вы подвержены более слабому социальному контролю и ограничениям, потому что вы не совершаете и даже не видите злодеяния. Это позволяет снять с себя ответственность, особенно эффективно в высокотехнологичных или многоступенчатых операциях по уничтожению – все, что вы делаете, это передаете резервный кодовый номер подчиненному на следующем уровне.

Келман и Гамильтон определили три условия преступления подчинения со стороны низшего звена. Во-первых, это санкционирование насилия по приказу законной власти. Вы не обязаны отрицать моральные ценности, а только их применение в данной конкретной ситуации: здесь вам позволено причинять вред этим другим (разумеется, лучшее объяснение, чем «раздвоенное эго»). Общего идеологического обоснования нет. Действительно, ваша собственная мораль не имеет значения; высшая власть принимает моральные решения. «Призыв к более высокой лояльности» относится к самому кодексу послушания. Второе – дегуманизация – враги или жертвы помещаются за пределы вашей моральной вселенной. У вас нет нормальных человеческих обязательств перед ними. В-третьих, это рутинизация: как только вы преодолеваете первоначальные моральные ограничения – солдат убивает своего первого мирного жителя, палач сначала применяет электрошок, – тогда каждый последующий шаг становится легче. Обоснование для прекращения действия найти труднее, потому что это поставит под сомнение предыдущие шаги. Каждый шаг становится механическим действием, внимание уделяется исключительно средствам. По леденящим душу словам подсудимого лейтенанта Келли, каждое убийство в Май Лай не было «большой проблемой».

Эти условия обычно уже существуют в организации или политической культуре преступника. Если нет, то им нужно научить. Обучение греческих палачей во время правления хунты 1967–1974 годов началось со снижения их чувствительности к собственной боли, страданиям и унижениям. Стажеров заставляли смотреть фильмы, которые становились все более ужасными. Они научились отрицать общую картину, заставляя концентрироваться



на мелких деталях, таких как рисунок на рукояти ножа. «Постоянное повторение этого снижает чувствительность солдата, так что он может отделить свои чувства от акта убийства и причинения боли»<sup>47</sup>. Новобранцы чувствуют все меньше, в то время как их «объект» лишается какой-либо идентичности, кроме образа террориста или врага. Обучение поощряет «ориентацию на задачу»: сознание сужено и сосредоточено на единственной навязчивой задаче получения информации. То, что делается с кем-то, просто становится «то, что происходит». Этих новобранцев-греков нужно было перевоспитать, чтобы убедить их в том, что люди, которые раньше казались такими же, как они, на самом деле были скрытыми подрывными элементами.

Большинство злодеяний совершаются внутри таких организаций, как армия. Они немыслимы без некоторой степени послушания. Но подчинение авторитету само по себе является идеологической ценностью, точно так же, как риторика даже самых преданных преступников может прославлять немногим больше, чем послушание, невежество, недобросовестность, притворство и самобман. Эти состояния ума сочетаются или переходят друг в друга. Самое опасное – недобросовестность. В моральной пустоте государственного террора то, что они действуют против своей воли, преступники могут принять как *собственное добровольное убеждение*. Во время четырехлетних массовых убийств в замке Хартман в Австрии (K4–«смерть из милосердия» для неизлечимо больных, затем газовые камеры для детей, больных и ослабленных заключенных из Маутхаузена и других близлежащих лагерей) административные работники усердно выполняли свою работу и исполняли получаемые приказы, все время успокаивая себя «убеждением, что их сотрудничество было вынужденным вопреки их личной воле»<sup>48</sup>. В моральном вакууме было ощущение беспомощности: утешение, что ничего другого не может быть, что нет смысла пытаться сопротивляться. Результат: «Покорность привела к вере в беспомощность, окончательному внутреннему оправданию

---

<sup>47</sup> Crelinsten, «In Their Own Words», 48.

<sup>48</sup> Gordon Horwitz, In the Shadow of Death: Living Outside the Gates of Mauthausen (London: I. B. Tauris, 1991), 80.

подчинения»<sup>49</sup>. Если послушание является причинным требованием для злодеяний, значит, участие в зверствах создает послушание.

Психологический профиль преступников как добровольных или послушных не является проблемой. Важно только то, принимают ли культурный климат и власть государства мотивационные обоснования людей, утверждающих, что они убивают, калечат, пытаются и насилуют, потому что им приказали это сделать.

### Соответствие (конформизм)

Простое слово «соответствие» не имеет тот же смысл, что «подчинение авторитету», но заслуживает не меньшего внимания. Как в обосновании преступника, так и в идеологической версии обращение к соответствию – «Я просто делал то же, что и все остальные (так зачем меня трогать?)» – широко используется, весьма правдоподобен и имеет очевидный эмпирический смысл. Версии правонарушителей – плохие друзья, соседи или школа – появляются в народных массах в виде, подобном, например, следующему: «он был хорошим мальчиком, пока не попал в эту среду».

На первый взгляд идеологическая версия не привлекательна. Солдат вряд ли расскажет журналистам, что изнасиловал и убил мать на глазах у ее детей, потому что «это делали все остальные». Однако в более сложных описаниях давления, требования и ожидания ситуации – «Ты не знаешь, каково было тогда быть в деревне» – могут передать яркое ощущение временной потери выбора. Другие отрицания растягивают соответствие за пределы непосредственной ситуации и превращают его в более прочное алиби: «Я просто бездумно следовал тому, что в то время делали все остальные вокруг меня». Эта грустная история может мутировать в наиболее идеологически радикальную версию защиты конформизма: «Если бы вы были там, вы бы вели себя точно так же. Поэтому вы не имеете права судить меня». Это утверждение пугающе правдоподобно.

---

<sup>49</sup> Ibid.

## Необходимость и самооборона

Отрицание ответственности путем ссылки на необходимость является хорошо зарекомендовавшим себя подходом в уголовном праве. Подтекст может также обращаться к самообороне: «он собирался ударить меня ножом», «мы должны были спастись». Как и в случае с подчинением, это имеет отношение к непосредственной ситуации. Вы сталкиваетесь с очевидными опасностями и угрозами: террорист вот-вот бросит гранату, поэтому вы начинаете стрелять. Это может быть паника, рефлекторное действие или результат взвешивания шансов. Но любой разумный человек поступил бы точно так же. Что еще более спорно, угроза может быть менее непосредственной или более гипотетической: пытаться террориста, чтобы раскрыть местонахождение «бомбы с часовым механизмом».

«Необходимость» имеет несколько иной смысл в теории «грязной работы». В каждом обществе есть грязная работа, которую просто необходимо выполнять. Политический эквивалент утилизации мусора – это деятельность непопулярная и часто осуществляемая тайно, за кулисами. Мы не должны связывать эту работу с плохими людьми. Напротив, для этих самоотверженных задач нужны хорошие люди, чей тайный вклад в коллективную необходимость мы считаем само собой разумеющимся<sup>50</sup>. Израильский психиатр спросил офицера среднего звена Шабак (службы внутренней безопасности) о критике, высказываемой относительно применения пыток против палестинцев. Как он относился к своей работе? Офицер ответил, что никогда не воспринимал такую критику на свой счет. Он знал, что не был садистом и не делал ничего аморального. Обычные израильтяне, в том числе те самые критики прав человека, могут вести комфортную жизнь и знать, что их дети в безопасности только потому, что они могут положиться на скрытую грязную работу, выполняемую такими людьми, как он. Пришло время понять: «Каждый дворец имеет свою канализацию».

---

<sup>50</sup> Классическим остается анализ, проведенный в статье Everett C. Hughes, «Good People and Dirty Work», *Social Problems*, 10 (1962), 3-11.

## Раздвоение

Радикальное отрицание ответственности состоит в том, чтобы приписать свои действия другой, автономной части самого себя: как во фрейдистских моделях диссоциации, компартиментализации и раздвоения эго. Традиционные девиантные объяснения («Я не мог сделать ничего подобного», «Должно быть, это была другая часть меня») были дополнены открытием «диссоциативных состояний» и «множественной личности».

Наиболее известным идеологическим применением этой модели является исследование Лифтоном нацистских врачей<sup>51</sup>. Реальное «я» отделяется тремя способами от человека, совершающего зло. Во-первых, создается *диссоциативное поле*, «место», где две части «я» отделяются друг от друга. В новом отстраненном состоянии формируются подавленные воспоминания и множественные личности. Во-вторых, происходит *психическое оцепенение*: сниженная способность или склонность испытывать какие-либо эмоции или радикальное отделение знания от чувства. Наконец, происходит *удвоение*: формирование части Я, которая функционально становится целым Я. Человек, совершающий ужасные вещи, принадлежит к «Я-Освенцим», к Я, комфортно приспособленному к этой среде – он делает смертельные инъекции, проводит смертельные эксперименты, наблюдает за процессом убийств. Врач возвращается домой на выходные; там он вызывает свое прежнее, относительно более гуманное «Я» и действует как хороший, заботливый муж и отец. Вернувшись на службу, целитель превращается в убийцу, который «ожидает» в персоне искренней, но без осознания состояния убийцы. Когда убийца занимает свое место, он отрицает это и продолжает думать о себе и своем поведении как о личности положительной.

Несмотря на яркие образы Лифтона о «раздвоении в центре» (преступники) и «оцепенении на периферии» (прохожие, публика), тезис о раздвоении не является убедительным объяснением натуры нацистских врачей или подобных преступников. Не может быть,

---

<sup>51</sup> Robert Jay Lifton, *The Nazi Doctors: Medical Killing and the Psychology of Genocide* (New York: Basic Books, 1986), and idem, «The Genocidal Mentality», *Tikkun*, 5 (June 1990), 29-32 and 97-9.

чтобы врач, находящийся на отдыхе со своей семьей, мог либо не знать о своих действиях в течение недели, либо приписывать эти действия другой части себя. И если врач, делая смертельные инъекции фенола «пациентам», считает себя благородным целителем, то это не потому, что он «диссоциировал», а потому, что в этой обстановке его собственный идеологический аутизм находится в гармонии с социальной реальностью других.

Едва ли нужны тонкости раздвоения, чтобы объяснить, как эти врачи обманывали себя, думая, что занимаются благородной медицинской практикой и научной работой. Доктрина социально-биологической чистоты существовала задолго до Освенцима, как и аморальный профессиональный менталитет врачей и юристов<sup>52</sup>. Некоторые врачи уже участвовали в более ранних программах принудительной стерилизации. Лифтон допускает эти идеологические влияния, но справедливо отмечает, что не все эти врачи были истинно верующими; они исповедовали фрагменты, а не всю идеологию. Эти врачи, похоже, знали, что делают, хотя в то время (возможно) и впоследствии (вероятно) они предпочитали не рассматривать свое поведение как свидетельство их «настоящего» «я». Обычные люди не становятся на годы бездумными серийными убийцами из-за раздвоения и удвоения. Ссылаясь на особенно амбициозного и бессердечного врача в проекте «эвтаназии», Берли комментирует: «Я весьма сомневаюсь, что такие люди, как Горгасс, проводили день как два разных человека, как утверждают некоторые психиатры, пишущие об этих вещах»<sup>53</sup>.

Психопатологические механизмы, такие как «раздвоение», слишком драматичны, чтобы передать повседневные формы ролевого дистанцирования, разделения и сегментации, с помощью которых люди отделяют себя от того, что они делают. Мы все прибегаем к этому в нашей жизни и, обычно, осознаем, что делаем. Далекие от того, чтобы быть настолько частными и тайными, чтобы обмануть даже самого себя, эти состояния являются результатом общедоступных, даже клишированных культурных отрицаний, таких как

---

<sup>52</sup> Убедительным исследованием того, как немецкие адвокаты молчаливо покрывали ужасные преступления, ссылаясь на отрицания, заложенные в господствующую правовую идеологию: Ingo Muller, *Hitler's Justice: The Courts of the Third Reich* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1991).

<sup>53</sup> Burleigh, *Death and Deliverance*, 154.

«Моя работа – это не то же, что я сам». Наши общества поощряют и вознаграждают успешную практику разделения; диссоциация и оцепенение – неотъемлемые части постмодернистской культуры отрицания. Приведу четыре типа таких практик:

- *Ограниченная или ситуативная мораль*

Она позволяет вам изолировать ваше правонарушение в конкретной ситуации или месте, не считая себя аморальным в целом. В Израиле во время *интифады* солдаты запаса возвращались домой в отпуск на выходные после месяца жестокости в Газе, переодевались, прикалывали эмблему с голубем мира на свои рубашки и принимали участие в демонстрации «Мир сейчас». Адвокаты по гражданским свободам писали статьи и читали лекции приезжавшим делегациям, осуждая систему военной юстиции для палестинцев, но продолжали служить в резерве в качестве юристов в тех же военных судах. Эти формы институционализированного лицемерия и недобросовестности широко восхвалялись как признаки «терпимости» общества.

- *Средства – покончить с диссоциацией*

Согласно вездесущей метафоре «винтик в машине», люди не несут полной ответственности за результат предприятия, в котором они играют лишь ограниченную роль. В организациях с четким разделением обязанностей многие фрагментарные задачи кажутся безобидными сами по себе. Мораль легче приглушить, если эти рутинные, частичные вклады изолированы от конечной функции или конечного продукта. Вы в меньшей степени концентрируетесь на эффекте от того, что делаете, чем на том, чтобы сделать работу хорошо. Любое причиненное страдание отдалено и невидимо. Однако во многих случаях даже служащие, у которых очень ограниченные задачи (скажем, составление расписания поездов), имеют некоторое представление о том, к чему ведут запланированные перевозки. Просто невозможно, чтобы служащие в административном офисе «программы эвтаназии» точно не знали, что они делают. Берли описывает, как Ирмагд Хубер, старшая медсестра, непосредственно участвовавшая в убийстве заключенных, поддерживала психологичес-

кую выдумку о том, что была свободна от реальных убийств. «Она использовала различные стратегии отрицания и уклонения, чтобы дистанцироваться от того, что она делала»<sup>54</sup>. Хубер присутствовала на утренних совещаниях врачей, но затем служила лишь проводником инструкций по убийству пациентов своими подчиненными. Сохранение фальшивого образа самой себя как просто пассивного проводника, передающего приказы, было в высшей степени сознательным.

- *Моральное равновесие*

Преступники, которые вполне осознают вред или аморальность того, что они делают, тем не менее относят эти действия к небольшому автономному пространству самих себя. Это не какая-то голливудская маргинальная личность, мистер Зло, делающий эти ужасные вещи, неизвестные и неподконтрольные милой мисс Доброте. Утверждение не в том, что плохая наша часть самодостаточна, бессознательна или потаенна, а в том, что она маленькая. В нравственном атласе всей нашей жизни это пространство не имеет значения; не судите нас только по этому. В полной моральной книге общий баланс в нашу пользу. Жители литовских деревень, которые с готовностью сдавали своих соседей-евреев нацистам, а затем переселялись в их дома, сегодня напоминают посетителям (многие из них являются «туристами памяти»), что раньше они восхищались евреями и относились к ним с большой добротой. Они по-прежнему ничего против них не имеют.

- *Недобросовестность и ролевая дистанция*

Многие общества, особенно демократические, поощряют радикальное расхождение между верой и делом. Людям, которые не хотят совершать плохие поступки и считают, что их неловко оправдывать, дается возможность поверить, что то, что они говорят себе, не совпадает с тем, что они делают. Израильский следователь сказал палестинскому общественному деятелю, задержанному для допроса, что он чувствует

---

<sup>54</sup> Ibid., 252.

себя некомфортно в этой ситуации. Он сам был за примирение, в течение некоторого времени поддерживал цели палестинского государства и надеялся однажды встретиться там с доктором А. В иврите даже есть специальное выражение, употребляемое с нарастающей иронией, для описания диссоциации между действием и эмоцией. *Yorim V'Bochim* буквально означает «стрелять и плакать»: плакать после совершения всех этих неприятных вещей – из самообороны, необходимости или долга, – выражая таким образом громкое публичное сожаление, даже сочувствие пострадавшим.

Отрицания преступника и свидетеля неизменно содержат некоторые элементы раздвоения, диссоциации и дистанцирования. Это могут быть состояния ума, но они также являются индикаторами более широких культурных паттернов. Самые продолжительные движения против отрицания – «Черный пояс» в Южной Африке, «Матери Пласа-де-Майо» в Аргентине, «Женщины в черном» в Израиле – были инициированы и поддержаны женщинами. Означает ли это, что мужчинам легче, чем женщинам, разделить свои когнитивные, эмоциональные и моральные реакции на страдание?

### *Отрицание ущерба*

Правонарушители могут опираться на множество вариантов фразы «На самом деле никто не пострадал». К ним относится что-то близкое к буквальному отрицанию («Из-за чего вся эта суета?»), преуменьшение тяжести травмы («Они даже такую небольшую сумму не упустят») и юридическое переосмысление («Это была обычная деловая практика»).

Грубые политические злодеяния не позволяют так просто отрицать причинение вреда. Виновные в массовых убийствах или исчезновениях людей вряд ли могут утверждать, что жертвы на самом деле не пострадали. Переосмысление – «это не соответствует юридическому определению пытки» – больше фигурирует в официальном дискурсе, чем в лексиконе отдельных преступников. Однако, когда жертвы принадлежат к принижаемой этнической группе, принято утверждать, что они не чувствуют боли, как другие люди:



их культура привыкла к насилию, это единственный язык, который они понимают, посмотрите, что они делают друг с другом.

Мы не знаем, никогда, лишь иногда или всегда преступники отрицают причинение вреда, и какие именно из них. Некоторые выжившие жертвы и сторонние наблюдатели утверждают, что предшествующее неуважение создает механизм блокировки, ослепляющий преступников и не замечающий причиняемых ими страданий. Однако в буквальном смысле большинство преступников, несомненно, осознают страдания жертвы; это то, что они хотят. Или возникает осознание, пусть смутное, периферийное и мгновенное. Если затем страдание отрицается или нейтрализуется, это скорее мораль, чем слепое пятно познания. Однако иногда глаза были слепы с самого начала – кумулятивный результат тотального контроля над целым населением в течение продолжительных периодов (например, годы военной оккупации). Драматические зверства ощущаются менее остро, чем ежедневные унижения, мелкие притеснения и незначительные унижения на блокпостах, ограничения передвижения, обыски и комендантский час. Насколько чувствительно ощущаются эти незначительные травмы – обыск старика и словесные оскорбления на глазах у его внушки, – настолько же они совершенно невидимы для сильных мира сего.

### *Отрицание истинности жертвы*

«Они сами начали это» – вот первоначальное обоснование некоего насилия. Заявление правонарушителя о том, что он и есть «настоящая» жертва, является немедленной, краткосрочной защитой и провокацией. В политических злодеяниях отрицание истинности жертвы в большей степени идеологически встроено в исторически бесконечные нарративы обвинения другого. Недавние спирали жестокого политического насилия опираются на рефрен «Посмотрите, что они сделали/делают с нами».

Дискурс великолепно мелодраматичен: легендарные герои и преследуемые жертвы, завоевание и поражение, кровь и месть. Нарративы из совершенно разных историй и культур имеют одинаковую концовку: «история» доказывает, что люди, которых вы называете жертвами, на самом деле не являются жертвами; мы, которых вы осуждаете, были «настоящими» жертвами; они в

«конечном» смысле являются истинными агрессорами; поэтому они заслуживают наказания; справедливость на нашей стороне.

Следующий текст может также основываться на «мышлении о справедливом мире»<sup>55</sup>. В справедливом мире страдание не случайно; невиновных людей не наказывают без причины. Должно быть, они что-то сделали. Они заслуживают страданий из-за того, что они сделали, должны были сделать, поддержали или сделают в один прекрасный день (если мы не будем действовать сейчас). Даже при отсутствии объективной взаимообразности каждая сторона может чувствовать угрозу самому своему существованию. Самодовольное притязание на жертву было наиболее выражено в высказываниях Голды Меир, королевы израильского китча, в ее упреке *арабам* (палестинцев, по ее словам, не существовало) за то, что они «заставляли» хороших израильских мальчиков делать с ними все эти ужасные вещи.

Полноценные исторические призывы исходят скорее от лидеров, идеологов и официальных апологетов, чем от рядовых исполнителей. Однако во многих конфликтах, таких как израильско-палестинский, боснийско-сербский или североирландский, отдельные участники с каждой стороны обладают острым политическим сознанием и детальным историческим пониманием своих жертв. В этих обществах мифы этнического национализма о обращении жертвы легко распространяются между лидерами, СМИ и обычными людьми. Участники, даже если их жизнь полностью основана на гедонистической и аполитичной субкультуре жестокости и мужского насилия, бойко апеллируют к «истории» для оправдания насилия. Сербский солдат в 1999 году рассказывает о битве за Косово так, как будто это произошло за неделю до этого. Этот национализм, указывает Игнатиев, в высшей степени сентиментален: китч – естественная эстетика этнических чистильщиков<sup>56</sup>. Это похоже на оперу Верди – убийцы с обеих сторон делают паузу между выстрелами, чтобы декламировать ностальгические и эпические тексты. Их насилие санкционировано государством (или чем-то вроде государства); у них есть утешение в том, что они являются частью

---

<sup>55</sup> Melvin Lerner, *The Belief in a Just World: A Fundamental Delusion* (New York: Plenum Press, 1980).

<sup>56</sup> Michael Ignatieff, *Blood and Belonging: Journeys into the New Nationalism* (London: Vintage, 1994), 6.

сообщества и одержимы любовью большей, чем разум: «Такая любовь способствует вере в то, что судьба, какой бы трагической она ни была, обязывает вас убивать»<sup>57</sup>. Это ваша судьба. Вы должны избавиться от своих врагов – агрессоров, с которых все началось, – и жить в мире и безопасности со своим народом. Коллективная память, отрицающая полную человечность чужой группы, допускает различные оттенки «избавления» – от насильственной сегрегации до этнической чистки или массовой депортации («перемещения») и даже геноцида.

Это не ситуационная жестокость. Чтобы в течение многих лет совершать преступления группой единомышленников или быть сторонними наблюдателями, требуется ощущение мира, в котором присутствие других едва ли признается. Они получают то, что заслуживают, не за то, что они делают, а за то, кто они есть. Все идеологи исключают других из своего морального сообщества, помещая их за те границы, в пределах которых применяются ценности и правила справедливости<sup>58</sup>. Игнатьев применяет рассуждения Фрейда о «нарциссизме незначительных различий» к националистическому представлению врага. Национализм за границей, как и политика идентичности дома, кажется не просто нарциссическим, но аутистическим: «патология групп, настолько замкнутых в собственном кругу самодовольной жертвы или настолько запертых в своих собственных мифах или ритуалах насилия, что они не могут слушать, не могут слышать, не могут учиться ни у кого, кроме себя»<sup>59</sup>.

Не все преступники знают, не говоря уже о том, чтобы формулировать, идеологическую историю, сконструированную элитами, лидерами и чиновниками. Справедливо также и обратное. Популистский расизм (стереотипы, шутки) может быть обычным явлением среди солдат низшего звена в личных беседах друг с

---

<sup>57</sup> Ibid.

<sup>58</sup> See См.: «Moral Inclusion and Injustice», Special Issue of Journal of Social Issues, 46 (1990). Я чаще всего цитирую две статьи: Susan Opatow, «Moral Inclusion and Injustice: An Introduction», 1–20; Albert Bandura, «Selective Activation and Disengagement of Moral Control», 27–46.

<sup>59</sup> Michael Ignatieff, «The Narcissism of Minor Difference», in *The Warrior's Honour: Ethnic War and the Modern Conscience* (London: Chatto & Windus, 1998), 60.

другом, угрозами жертвам или в откровениях своим семьям. Словарный запас подвергается цензуре и дезинфицируется в официальном дискурсе, предназначенном для внешнего мира. Политические лидеры отделяют друг от друга официальную и популистскую культуры отрицания. Статус жертвы отрицается не ссылками на «арабское мышление» или «еврейский менталитет», а повторением принятого международного словаря споров, границ, соглашений, Женевской конвенции, исторических прецедентов и нарушений резолюций ООН.

### *Осуждение осуждающих*

В своей делинквентной форме «осуждение осуждающих» уже является несколько необычным обоснованием, потому что оно выражает своего рода идеологию. Внимание переключается с вашего собственного поведения («Все так делают – зачем именно меня выбирать?») на сомнение в праве критиков критиковать. Полиция коррумпирована и предвзята; учителя и социальные работники – лицемеры. Проблема в неправомерности других. Язык преступника носит явно политический характер. Внешние критики подвергаются нападкам за пристрастность или за то, что они не имеют права вмешиваться. Эти версии – нет права судить, двойные стандарты, где-то еще хуже – выработаны в дискурсе официального отрицания.

### *Призыв к повышенной лояльности*

Правонарушители апеллируют к своей лояльности друзьям, группам сверстников или бандам. В политическом мире эти высшие привязанности становятся трансцендентными, а язык оправдания тотальным и самодовольным. Задokumentировать происхождение и условия этой лояльности гораздо проще, чем узнать, что именно эта идеология означает для тех, кто действует от ее имени. Между террористом-смертником Хамаса и пограничником ГДР, стреляющим с Берлинской стены, глубокая пропасть.

Сербская версия этнического национализма ближе к «национализму», о котором предупреждал Оруэлл: «Полевые командиры – националисты, но их убеждения неважны. Они являются исполни-

телями насилия, а не его идеологами»<sup>60</sup>. Риторика национализма работает как «моральный словарь самооправдания», словно взятый из справочника мотивационных обоснований.

### *Моральное равнодушие*

По определению, теория нейтрализации ничего не может сказать о действительно радикальном и последовательном отказе от общепринятых моральных установок. Радикальное означает не психотическое отрицание существования таких кодов («Я не знал, что изнасилование – это неправильно»), а идеологическое отрицание их моральной легитимности. Фундаменталистская религия еще более радикальна, поскольку исключает саму возможность существования светского закона или морали. Последовательный или устойчивый означает, что оправдание не подбирается оппортунистическим образом, а присуще (до и после) поступку. Чисто идеологические преступления не требуют никакой нейтрализации, потому что вне идеологии нет морально легитимного универсума. Нет необходимости быть невинным в «тревожном узнавании» – потому что узнавание не беспокоит.

Чисто идеологические нарративы становятся все более резкими и невосприимчивыми к внешним проверкам реальности – таков урок из знаменитого исследования Фестингера о культе конца света. Если люди придерживаются двух противоречащих друг другу истин, мир придет к своему концу сегодня, и он не закончился так, как мы предсказывали, – люди, как рационализирующие существа, пытаются в таком случае разрешить коллизию, отрицая или искажая реальность. Последователи культа не только нашли обоснование для разрешения диссонанса (Бог спас мир благодаря нашей вере), но и начали распространять эту «истину» с еще большим рвением. Они должны были убедить себя и других, что их прежние обязательства и жертвы не были ни абсурдными, ни напрасными. Они превратились из простых верующих в фанатиков, и именно так «обычные» преступники (и зрители) становятся более идеологизированными. Каждый предпринятый шаг перерастает в оправдание дальнейших действий; за действием следует еще один раунд

---

<sup>60</sup> Ignatieff, *Blood and Belonging*, 30.

рационализации. Если их заставят оглянуться назад – дать показания в судах или комиссиях по установлению истины, эти правонарушители по определению будут придерживаться своего повествования об идеологическом безразличии: «Я все еще думаю, что то, что я сделал, было правильным». Другие, искренне или нет, используют словарь «раскаяния»: «Я думал, что был прав в то время, но только теперь я вижу, что это было неправильно».

Существует много вариантов морального безразличия, даже в рамках одного исторического случая. Антология Клее сочинений немецких преступников, составленная из дневников, писем домой, отчетов, более поздних показаний, предостерегает от простого прочтения такого рода отрицания. Он цитирует водителя газового фургона Вальтера Бурмейстера, чья работа заключалась в том, чтобы запускать людей в фургон, включать двигатель, чтобы газы из выхлопной трубы направлялись в отверстие в полу, а затем ехать в лес, чтобы выгрузить мертвые тела. Он просто выполнял приказы? Повлияла ли на него идеология? Его ответ (на суде в 1961 г.): «Сегодня я уже не могу сказать, что я думал в то время и думал ли я вообще о чем-нибудь»<sup>61</sup>.

Эти персональные воспоминания описывают массовые убийства (сотни евреев в деревне, выстроившиеся в ряд и расстрелянные или забитые до смерти) в банальных, фактических выражениях. События почти не описываются – как будто только для того, чтобы дать достаточно исходной информации, чтобы понять опасения автора, такие как:

- Правильная армейская атмосфера: «достойное обращение», «приличное солдатское отношение», избегание постыдных практик, таких как мародерство для личной выгоды или «дегенеративный садизм».
- Гордость: «Я могу с гордостью сказать, что мои люди, какими бы неприятными ни были их обязанности, корректны и честны в своем поведении и могут смотреть любому прямо в

---

<sup>61</sup> Ernst Klee et al., «Those Were the Days»: The Holocaust through the Eyes of the Perpetrators and Bystanders (London: Hamish Hamilton, 1991), 220. 62.

глаза, а дома они могут быть хорошими отцами для своих детей»<sup>62</sup>.

- Приличия: эсэсовец Эрнст Гобель наблюдает, как солдат поднимает детей (от двух до шести лет) за волосы, стреляет им в затылок и бросает в могилу. «Через некоторое время я просто не мог больше на это смотреть и приказал ему остановиться. Я имел в виду, что он не должен поднимать детей за волосы, он должен убивать их более приличным способом»<sup>63</sup>.
- Моральный дух и стресс: они делают неблагодарную работу, никто не понимает, насколько тяжела их работа. Офицеры должны следить за этим: «Я не могу сказать, были ли у меня опасения по поводу использования газовых фургонов. В то время я больше всего думал о том, что расстрелы были большой нагрузкой для людей, участвовавших в этом, и что эта нагрузка будет снята с помощью газовых фургонов»<sup>64</sup>.

Еще одно состояние – состояние отсутствия – похожее на диссоциацию, уводит преступников (и многих свидетелей) еще дальше за пределы моральной досягаемости. «Я» отрицает само свое присутствие в качестве активного участника события, превращаясь в зрителя. Люди, попавшие в автомобильную аварию, часто вспоминают, что чувствовали, как будто это происходит с кем-то другим, «это было похоже на просмотр фильма». «Произошла авария», а не «Я попал в аварию». Есть преступники, которым так мало дела до того, что совершилось, преступники, чье чувство личной ответственности настолько атрофировано, что они ведут себя как прохожие, случайно наткнувшиеся на что-то. Это прекрасно передано в описании Маккарти суда над командиром роты лейтенанта Келли, капитаном Эрнестом Мединой, за его участие в бойне в Май Лай<sup>65</sup>. Его собственные свидетельства и показания других изображают его случайным зрителем, случайным прохожим. В деревне он старался держаться как можно дальше от бойни: «Когда

---

<sup>62</sup> Цитируется по отчету: *Übersturmbannführer Dr Strauch*, приведенному в *ibid.*, 193.

<sup>63</sup> *Ibid.*, 197.

<sup>64</sup> *Ibid.*, 69.

<sup>65</sup> Mary McCarthy, *Medina* (London: Wildwood House, 1973).

ему неизбежно нужно было пройти мимо тела или груды тел, он шел быстро, не глядя ни направо, ни налево, как огибают мусор на улице большого города. Во время допросов, за исключением специфики суда, он казался «озабоченным» в не большей степени событиями в Май Лай, чем читатель газеты озабочен публикациями о голоде в Биафре или Бангладеш»<sup>66</sup>.

Это не состояние бездумной социальной бесчувственности. Во время мероприятия эти преступники, похоже, не задумывались о его значении; годы спустя они все еще могут заявлять, что не понимают, почему это событие вызвало такое осуждение. Это может быть как явная ложь (они точно знают, что произошло), так и форма самообмана, классическое сумеречное отрицание. Более пугающая возможность состоит в том, что они действительно не видели ничего плохого в то время и вели себя, как и все, не задумываясь. В этом, я полагаю, и заключается смысл неправильно понятой концепции Арендт о «банальности зла». Далекая от того, чтобы преуменьшать зло, она настаивает, что невообразимое зло может быть результатом совокупности обычных человеческих качеств: неполного осознания аморальности того, что вы делаете; быть таким же нормальным, как и все ваши сверстники, делающие то же самое; имея мотивы скучные, невообразимые и обыденные (совместимость с другими, профессиональные амбиции, гарантия занятости), и сохраняющие долгое время после этого фасад псевдоглупости, делая вид, что не понимают, о чем идет речь.

Таким образом, сам лейтенант Келли «не имеет большого значения». Его солдаты не сознались, потому что буквально не осознавали своих действий; они не были в состоянии психического отречения и не были похожи на неврологических пациентов Оливера Сакса, которые принимали своих близких за предметы мебели. Только в моральном смысле Арендт писала об Эйхмане: «Он просто, говоря простым языком, никогда не осознавал, что делает»<sup>67</sup>. Это становится сильным аргументом: «Как сказал Эйхман, самым мощным фактором в успокоении его собственной совести был тот простой факт, что он не мог видеть никого, вообще никого,

---

<sup>66</sup> Ibid., 44.

<sup>67</sup> Arendt, Eichmann in Jerusalem, 287.



кто был бы на самом деле против Окончательного Решения»<sup>68</sup>. Это чистое испытание: создайте моральную пустоту, такую, чтобы люди не знали, что это произошло.

Ужасающий образ: отсутствие кого-либо, кто мог бы проверить ваши старые моральные рефлексy. Но ни одно тоталитарное государство не было тотальным. Даже в экстремальных условиях моральные инстинкты некоторых людей остаются нетронутыми. Между теми, кто активно отказывается видеть что-то неправильное, и теми, кто считает все неправильным, подавляющее большинство можно было бы подтолкнуть к признанию того, что что-то не так, но это большинство продолжало поддерживать свое отрицание. Культуры отрицания побуждают коллективно закрывать глаза, оставляя ужасы неисследованными или признавая их нормальными, как часть ритмов повседневной жизни. Арендт сделала странное заявление об Эйхмане: «За исключением необычайного усердия в стремлении к личному продвижению, у него вообще не было никаких мотивов»<sup>69</sup>. Это заключение имеет глубокий смысл. Чем более очевидна аморальность культуры, тем легче мотивы подхватываются и опробуются совершенно оппортунистическим методом. Интересно, но безосновательно противопоставлять лишенный принципов, послушный автомат, следующий за лидером и принимающий любые удобные мотивационные уловки, достаточно информированному, идеологически мотивированному чудовищу, злобному, но действующему, исходя из принципов. Оба занимают одну и ту же моральную пустоту.

## Дискурс официального отрицания

По очевидным причинам – доброкачественным, нейтральным и злонамеренным – наши совокупные знания о недавних и нынешних злодеяниях не являются ни всеобъемлющими, ни однородными, ни объективными<sup>70</sup>. Некоторые страны закрыты для посторонних глаз, защищены государством-покровителем, малозна-

---

<sup>68</sup> Arendt, Eichmann in Jerusalem, 116.

<sup>69</sup> Ibid., выделено мной.

<sup>70</sup> Более полная версия: Stanley Cohen, «Government Responses to Human Rights Reports: Claims, Denials and Counterclaims», Human Rights Quarterly, 18 (1996), 517-43.

чимы и политически неинтересны; другие тщательно изучаются, особенно в условиях редкого сочетания видимых нарушений и относительно открытого доступа. Точного соответствия между тяжестью, продолжительностью и масштабами нарушений, и количеством внимания, уделяемого той или иной стране со стороны СМИ или докладов о правах человека, не существует. Таким образом, реакция правительства на международную критику («Зачем снова нас критиковать?») может быть оправданной, даже если она неискренняя или отвлекающая внимание.

Несмотря на такую избирательность, большинство стран попадали в фокус внимания общественности, а вопросы, касающиеся событий в них, освещались и не скрывались: подавление политических диссидентов в Китае, насилие со стороны полиции в Бразилии, военные преступления в Боснии, детский труд в Пакистане, противопехотные мины в Анголе, условия содержания в тюрьмах в Польше, калечащие операции на женских половых органах в Судане, геноцид в Руанде, лишение женщин прав в Афганистане, разрушение гражданского общества на Гаити, политическая резня Индонезией в Восточном Тиморе, исчезновения людей в Перу, зверства в Ираке, смерть аборигенов Австралии в резервациях, пытки в Турции, преследование цыган в Венгрии, внесудебные казни в Сомали, эскадроны смерти в Колумбии, ампутации и публичные порки в Саудовской Аравии, смертная казнь в США ... И, несмотря на редкие, но ставшие известными ошибки, эта информация в целом справедлива и достоверна.

Правительства реагируют в глобальных СМИ, по дипломатическим каналам, на пресс-конференциях, опровержениях докладов Amnesty, специальных комитетов ООН или Генеральной Ассамблеи. Их опровержения иногда оправданы: обвинения могут быть преувеличенными, отчеты несбалансированными, детали неточными, нарушения могут происходить без официального ведома. Но слова обретают свою собственную, независимую жизнь, когда они оказываются и повторяются в текстах докладов (утверждений), за которыми следует реакция правительства (встречные требования), за которыми следуют дальнейшие раунды обменов мнениями. Дискурс разрастается, становясь все более самостоятельным, перемещаясь в повестки дня вашингтонских подкомитетов и в документы, циркулирующие в офисах ООН в Женеве и Нью-Йорке.

В этой среде «отрицание» – просто еще один термин в сфере связей с общественностью. «Правительство Фридонии категорически это отрицает...» может относиться к внутренней или внешней политике, коррупции, личным скандалам, рискам для здоровья населения и т. д. Современное безобидное представление о том, что не говорят правды, – это «искажение» информации. Одни и те же агентства по связям с общественностью, базирующиеся в Вашингтоне, Нью-Йорке или европейских столицах и нанятые корпорациями, кинозвездами, футболистами и политическими партиями, обеспечивают обоснования правительств, пытающихся очистить свой имидж в области прав человека. Это непростые клиенты («Новый Заир?», «Демократическая Сирия?», «Северная Корея приветствует вас?»). Но задача рассматривается как техническая, а не как «контроль мыслей» или «выработка согласия»; происходящая из того, что Хомский называет «священным правом лгать на службе у государства»<sup>71</sup>.

Существуют три формы реакции правительства: классический дискурс официального отрицания, превращение оборонительной позиции в нападение на критику и, наконец, частичное признание критики. Это все активные реакции. Многие страны, в том числе, и особенно, страны с худшими показателями, не обращают внимания на критику извне. Они замыкают свою оболочку и отказываются от любых действий. Из-за давления извне (стигматизация, санкции, бойкоты, изоляция) и собственной внутренней идеологии (все против нас, никто нас не понимает) они никак не реагируют. Они не видят политической необходимости в диалоге с остальным миром; у них также нет необходимости бороться с внутренней критикой. Их молчание – самая радикальная из возможных форм отрицания.

В новом мировом порядке стран такого типа остается все меньше и меньше. Большинству приходится оправдываться перед сверхдержавами, Организацией Объединенных Наций, Международным валютным фондом или «международным общественным мнением». Но даже те страны, которые обычно активно реагируют, жалуются на несправедливое внимание и предвзятость. Израиль,

---

<sup>71</sup> Noam Chomsky, *The Culture of Terrorism* (London: Pluto Press, 1989), и там же, *Necessary Illusions: Thought Control in Democratic Societies* (Boston: South End Press, 1989).

например, отправляет в Amnesty International более подробные ответы, чем любая другая страна, каждый из которых предлагает изысканные юридические опровержения всех обвинений.

### *Классическое официальное отрицание*

В официальном дискурсе фигурирует каждый из вариантов отрицания: буквальный (ничего не произошло); интерпретативный (то, что произошло, на самом деле нечто другое) и имплицативный (то, что произошло, оправдано). Иногда они появляются в очевидной последовательности: если одна стратегия не работает, пробуются другая. Если буквальному отрицанию противопоставляются неопровержимые доказательства того, что нечто действительно произошло – видеозаписи расстрелов мирных демонстрантов, трупы в братских могилах, отчеты о вскрытии со следами пыток, – может быть задействована стратегия юридических интерпретаций или политических оправданий. Но эти формы редко запускаются последовательно: чаще они появляются одновременно, даже в рамках одного и того же одностороннего пресс-релиза.

Как можно говорить в одно и то же время, что резни не было и что «они получили по заслугам»? Однако, попытка «разоблачить» это противоречие упускает суть. Как заявил во Вьетнаме воображаемый представитель армии США: «Бойни не было, и ублюдки получили по заслугам». Противоречивые элементы образуют глубоко укорененную структуру: их отношение друг к другу скорее идеологическое, чем логическое. Применительно к пыткам причинение боли сразу сопровождается как буквальным отрицанием того, что какие-либо пытки имели место, так и переинтерпретациями и оправданиями деяния<sup>72</sup>. Жертвы пыток, которые слышат страшные слова палачей: «Кричи сколько хочешь, никто тебе не поверит», при освобождении сталкиваются с двойной проблемой. Им действительно не верят, но они также сталкиваются с ответом, что им «следовало что-то сделать». Идеология государственного террора оправдывает действия, существование которых официально никог-

---

<sup>72</sup> См.: Elaine Scarry, *The Body in Pain* (Oxford: Oxford University Press, 1987), и Crelinsten and Schmid (eds), *Politics of Pain*.

да не признается: «С одной стороны, ... репрессии оправдываются, а с другой стороны, жертвы репрессий обвиняются во лжи»<sup>73</sup>.

Аргентинская хунта «запатентовала» уникальную по бесстыдству версию двойного сообщения. В разговоре с представителями иностранных правительств и репортерами генерал Хорхе Видела высказал прямое и возмущенное отрицание: Аргентина «рождена свободной», политических заключенных не существует, за идеи никто не преследуется. Тем не менее, выступая по американскому телевидению в 1977 году, Видела настойчиво объяснял: «Мы должны принять как реальность то, что в Аргентине имеются пропавшие без вести. Проблема не в подтверждении или отрицании этой реальности, а в понимании причин исчезновения этих лиц»<sup>74</sup>. Имели место, признал он, некоторые «эксцессы». Но многие люди, считавшиеся пропавшими без вести, исчезли тайно и осознанно, чтобы посвятить себя подрывной деятельности; они появились на телевидении в Европе «с клеветой на Аргентину».

### «Ничего не происходит»: буквальное отрицание

В периоды правления большинства авторитарных и репрессивных режимов существует только буквальное отрицание, лаконичное отрицание того, что «что-либо произошло». Без внутренней подотчетности и изоляции от внешнего контроля не требуется никаких особых ответных мер. Внутренние встречные претензии невозможны из-за государственного контроля над источниками и средствами массовой информации.

По разным причинам даже более демократические общества также могут практиковать буквальное отрицание. Правительства, демонстрирующие твердую формальную приверженность ценностям прав человека, предпочитают оспаривать обвинения на буквальном, фактическом уровне. «Мы бы никогда не позволили случиться чему-то подобному, поэтому этого не могло быть». Такой ответ обязателен на международной дипломатической арене, где финансовая помощь или стратегические союзы зависят от имиджа

---

<sup>73</sup> Ariel Dorfman, «Political Code and Literary Code: The Testimonial Genre in Chile Today», in *Some Write to the Future* (Durham, NC: Duke University Press, 1991), 141.

<sup>74</sup> Feitlowitz, *Lexicon Of Terror*, 22.

государства, соблюдения им стандартов в области прав человека. Отчет Даннера об активной дезинформации общественности правительством США с целью сокрытия резни в Эль-Мозоте в Сальвадоре в 1981 году является образцовым примером<sup>75</sup>. Одновременно с заявлениями о том, что Сальвадор прилагает все усилия для улучшения своего положения в области прав человека (и, следовательно, имеет право на помощь, которая должна быть утверждена Конгрессом), сотрудники посольства США в Сальвадоре и работники Государственного департамента участвовали в вычурных манипуляциях, отрицая то, что знали о резне.

Нет предела методам, которые используются, чтобы отрицать, скрывать, туманно объяснять или лгать о самых очевидных фактах. Это отчетливо видно в известных эпизодах исторического отрицания. Как только события переходят в разряд «истории», так сразу же становятся доступными дальнейшие опровержения: это произошло слишком давно, память ненадежна, записи утеряны, и никто никогда не узнает, что произошло. Усиление контроля за соблюдением прав человека, распространение по всему миру репортажей и достижения в области информационных технологий (прямые глобальные телевизионные трансляции, электронная почта, которая способна обходить цензуру) сделали буквальное отрицание текущих событий еще более энергичным. Пример – реакция сербского правительства на массовую гибель мирных граждан на рынке в Сараево в феврале 1993 года: либо смертоносного обстрела не было (боснийцы инсценировали его, используя манекены или трупы из предыдущих инцидентов), либо боснийцы цинично обстреляли своих граждан, чтобы получить политическую выгоду путем обвинения сербов.

Буквальное отрицание обычно стоит за нападками на надежность, объективность и достоверность наблюдателя. Жертвы лгут, и им нельзя верить, потому что они имеют политический интерес в дискредитации правительства. Свидетели не заслуживают доверия или принадлежат к политической оппозиции. Журналисты и наблюдатели за соблюдением прав человека либо избирательны, предвзяты, действуют исходя из скрытых политических целей, либо же наивны, доверчивы и легко поддаются манипуляциям. Или задейст-

---

<sup>75</sup> Mark Danner, *The Massacre at El Mozote: A Parable of the Cold War* (New York: Vintage Books, 1994).

уется магия отрицания: подобные нарушения запрещены правительством, поэтому оно не могло произойти.

Феномен «исчезновения» берет свое первоначальное определение из способности правительства отрицать, что что-то произошло. Потерпевший не имеет юридического статуса или физического тела; нет не только никаких улик для судебного преследования, но даже признаков преступления. В дискурсе аргентинской хунты реальные акты похищений, пыток и казней дополнялись вербальным актом отрицания; в противном случае можно было бы использовать такие термины, как «арест» или «задержание»<sup>76</sup>. Чтобы исчезновение рассматривалось как исчезновение, его необходимо отрицать. Кто-то «исчез без следа», потому что отрицание скрыло следы. *Desaparecidos*, «исчезнувшие», были людьми, которые, по словам командующего армией генерала Роберто Виолы, «отсутствуют навсегда»; некоторые жили в изгнании, работая под чужими именами в подрывной организации; некоторые были устранены как предатели их товарищами. Официально они не были ни живыми, ни мертвыми. Их «судьба» состояла в том, чтобы «исчезнуть»<sup>77</sup>. Власти не могли больше ничего сказать родителям, ищущим своих детей; что касается похищений прямо с улиц, тайных центров содержания под стражей и пыток, то их просто не было.

Буквальное отрицание вызывает больше доверия у иностранной аудитории: источники информации неизвестны; государства-покровители готовы смотреть в другую сторону; вещи слишком сложны для понимания. Однако в условиях, сложившихся внутри страны, эти отрицания даются нелегко. Слишком много людей знают, что происходит. О государственном терроре должны знать все, но их нужно заставить безмолвно и тайно вступить в сговор.

«То, что происходит, на самом деле нечто иное»: интерпретативное отрицание

Большой международный контроль и информационная прозрачность сделали формы буквального отрицания более слож-

<sup>76</sup> Graziano, *Divine Violence*, 41—5.

<sup>77</sup> Feitlowitz, *Lexicon of Terror*, 49.

ными для реализации. Даже репрессивные правительства, находящиеся под глобальным экономическим контролем и пострадавшие от распада союзов времен холодной войны, с меньшей вероятностью будут игнорировать критику или выступать с неподуманными опровержениями. Стандартная альтернатива – признать голые факты – да, что-то произошло: люди были убиты, ранены или задержаны без суда, – но отрицать интерпретационные схемы, наложенные на эти события. Нет, то, что произошло, было не пытками, не геноцидом и не внесудебными казнями, а чем-то другим. Последствия подвергаются искажающей когнитивной интерпретации, а затем перемещаются в другой, менее осуждаемый класс событий.

Это сложная и достаточно тонкая стратегия, потому что наименования любых социальных событий требуют интерпретации. Однако идеалы прав человека должны исходить из того, что такие определения могут быть сделаны добросовестно и на основе определенного консенсуса. Должны быть общие определения минимальных тюремных стандартов, справедливого судебного разбирательства, пыток или изнасилования. В определении неизбежно будут некоторые неясности, но оно должно исключать официальные толкования, являющиеся недобросовестным уклонением. В этом суть таких понятий, как «стандарты». Такие уклонения наиболее очевидны, когда ярлык повсеместно стигматичен: даже самые лицемерные правительства будут оспаривать публичные ярлыки «пытки» и «геноцид».

Простор для законных споров, претензий и встречных претензий существует не из-за социологического трюизма (в том смысле, что все действия интерпретируются), а вследствие того, что доминирующий язык интерпретации является юридическим. Общепринятый интуитивный смысл таких терминов, как «геноцид», «политические убийства» и «пытки», был заменен юридическими определениями, на которых основаны международные стандарты и запреты. Такие понятия, как «геноцид», «преступления против человечности» и «военные преступления», как известно, трудно определить даже добросовестно – условие, едва заметное в официальном отрицании. Международные запреты всегда являются предметом политики определения. Какая степень «намерения уничтожить» необходима, чтобы соответствовать определению геноцида,



данному в Конвенции о геноциде? Насколько сильна «сильная боль», запрещенная Конвенцией о пытках. Заинтересованность правительств в применении наиболее ограничительного формального определения очевидна.

Эти дефиниционные битвы происходят потому, что право является «пластичным средством дискурса», способным к разнообразным, хотя, конечно, не бесконечным интерпретациям. В этом смысле спор между Amnesty International и правительствами о том, является ли конкретный метод допроса «приемлемым», а не «жестоким обращением», или «жестоким обращением», а не «пыткой», ничем не отличается от споров в обычном судебном разбирательстве о непредумышленном убийстве, а не об убийстве первой степени. Без этих законодательных терминологических игр при определении истины структуры международного правоприменения рухнут и процессы вернутся к старому моралистическому языку, который они заменили. Термин «этническая чистка» достоин восхищения и исключителен тем, что остается моралистическим и образным.

Переосмысление – это компромисс. «Слон» на обеденном столе есть, но государство и его союзники в сговоре определяют его как что-то другое, что-то не очень значительное. Вред может быть признан, но его юридическое или интуитивное понимание и значение отрицается, оспаривается или сводится к минимуму четырьмя распространенными методами.

*Эвфемизм.* Функция эвфемистических ярлыков и жаргона состоит в том, чтобы маскировать, дезинфицировать и придавать респектабельность. Паллиативные термины отрицают или искажают жестокость или причинение вреда, придавая им нейтральный или респектабельный статус. Классическим источником остается оригинальное описание Оруэллом анестезирующей функции политического языка – того, как слова изолируют своих носителей и слушателей от полного переживания смысла того, что они делают<sup>78</sup>.

---

<sup>78</sup> George Orwell, Appendix to Nineteen-Eighty Four (Harmondsworth: Penguin, 1954 [1949]), and idem, «Politics and the English Language», in his Selected Essays (Harmondsworth: Penguin, 1957), 143–58. Об эвфемизме и других техниках «противодействия» см.: Stanley Cohen, Visions of Social Control (Cambridge: Polity Press, 1985), 273–81.

Приводимые примеры стали слишком банальными: «умиротворение», «перемещение населения», «ликвидация враждебных элементов». В каждом случае «подобная фразеология становится необходимой, когда кто-то хочет называть вещи, не вызывая их мысленных образов»<sup>79</sup>. Полвека спустя словарь эвфемизмов оказался значительно расширенным. Но Оруэлл распознал бы новые термины – даже те, которые пришли из специализированного жаргона, запутанного словоблудия и технической болтовни современной войны<sup>80</sup>: «стратегические деревни», «запрещать», «перемещать», «выносить», «безопасные убежища», «умные бомбы» и «сопутствующий ущерб».

Лексика пыток полна эвфемизмами. При аргентинской хунте снижение насилия дополнялось ужесточением характеристик противника. В 380-страничном секретном руководстве, изданном в 1976 году, командующий армией Роберто Виола посвятил две колонки лингвистическим правилам: Термины, которые нельзя использовать, и Термины, которые следует использовать («Партизаны» стали «Вооруженными бандами подрывных преступников», «Ношение униформы» означает «узурпирование использования знаков различия, эмблем, униформы»)<sup>81</sup>. Самыми известными эвфемизмами пыток были «интенсивные допросы», использовавшиеся британцами в Северной Ирландии; «специальные процедуры», «давно установленные полицейские процедуры», «служебные действия» и «эксцессы», используемые французами в Алжире<sup>82</sup>; методы «умеренного физического давления», применяемые израильтянами против палестинских задержанных<sup>83</sup>. Целые органи-

---

<sup>79</sup> Orwell, «Politics and the English Language», 362.

<sup>80</sup> См., например: Robert Jay Lifton and Eric Markusen, *The Genocidal Mentality* (New York: Basic Books, 1990).

<sup>81</sup> Цитируется в: Feitlowitz, *Lexicon of Terror*, 50.

<sup>82</sup> Термины были использованы в докладе Вийяма 1955 года, ответе французского правительства на обвинения в пытках – это последнее слово появляется в докладе только дважды, который фактически описывает около двадцати пяти методов пыток. См.: Rita Maran, *Torture: The Role of Ideology in the French-Algerian War* (New York: Praeger, 1989).

<sup>83</sup> Термин «умеренное физическое давление» был изобретен Судебной комиссией в 1987 году, которая позволила Службе общей безопасности Израиля продолжать регламентированное использование определенных методов допроса (перечисленных в секретном приложении) против палестинских задержанных. О

зации, совершающие злодеяния, могут быть названы в эвфемистической манере. Были БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ (переименованная нацистская программа «эвтаназии» для убийства умственно отсталых и других недееспособных людей) и ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЕ БЮРО (угандийские эскадроны смерти Иди Амина).

*Легализм.* Действенные формы толковательного отрицания исходят из языка самой законности. Страны с демократической репутацией, заботящиеся о своем международном имидже, теперь предлагают юридические аргументы в свою защиту, основанные на общепризнанном дискурсе прав человека. Это приводит к запутанным текстовым комментариям, которые циркулируют между правительствами и их критиками или внутри юридическо-дипломатических кругов и комитетов ООН. Применим ли второй пункт статьи 16(б), п.6 ко всем государствам-участникам? Применяются ли минимальные стандарты тюремных условий к содержанию под стражей во время допроса? Действительно, вопросы, заслуживающие внимания.

Юридический дискурс создает совершенно непрезентабельный мир. Это своего рода настольная игра с ограниченным набором фиксированных ходов. Одна сторона утверждает, что событие А не подходит под соответствующую категорию (право, закон, статью или конвенцию). Да, этого демонстранта арестовали и задержали, но это не было нарушением свободы слова. Нет, нарушение имело место, делается встречный ход. Событие Б могло быть нарушением Четвертой Женевской конвенции, но Конвенция эта неприменима. Да, это так. В некоторые игры законников невозможно играть (или, напротив, можно играть бесконечно) из-за исходного определения. За прошедшие пятьдесят лет не было зарегистрировано ни одного случая применения Конвенции против геноцида, отчасти потому, что первоначальная политизированная редакция привела к такому большому количеству ограничений – отсюда и тезис Купера, «что суверенное территориальное государ-

---

дебатах и доказательствах пыток см. Stanley Cohen and Daphna Golan, *The Interrogation of Palestinians during the Intifada: Ill-treatment, «Moderate Physical Pressure» or Torture?* (Jerusalem: B'tselem, March 1991), and idem, *The Interrogation of Palestinians during the Intifada: Follow-up Report* (Jerusalem: B'tselem, March 1992). О реакции на доклад см.: Stanley Cohen, «Talking about Torture in Israel», *Tikkun*, 6 (Dec. 1991), 23—32.

ство заявляет, как неотъемлемую часть своего суверенитета, право совершать такие преступления как геноцид или участвовать в массовых убийствах против людей, находящихся под его властью, и что Организация Объединенных Наций, исходя из практических соображений, защищает это право»<sup>84</sup>. Купер обращает внимание на проект Кодекса о правонарушениях 1954 года: «К сожалению, он читается как руководство по современной международной практике»<sup>85</sup>.

Магический легализм – это метод «доказать», что обвинение не может быть справедливым, поскольку осуждаемое действие является в данном государстве незаконным. Правительство перечисляет внутренние законы и прецеденты, признания международных конвенций, механизмы апелляции и положения о дисциплинарном наказании нарушителей. Затем следует волшебный силлогизм: пытки в нашей стране строго запрещены; мы ратифицировали Конвенцию против пыток; поэтому то, что мы делаем, не может быть пыткой.

Многие подобные ходы национальных законников удивительно правдоподобны до тех пор, пока здравый смысл не действует. Хороший пример из Израиля: в 1991 году заместитель генерального прокурора написал официальное письмо с разъяснениями относительно требования компенсации, поданного палестинцем из Газы, чья 63-летняя жена была избита и застрелена солдатами после того, как во время беспорядков вышла на улицу, чтобы посмотреть, что там происходит. Письмо (отозванное после публичной критики) гласило: «Помимо обычных аргументов [именно так!] мы должны утверждать, что истец только выиграл от смерти покойной, потому что он должен был содержать ее, пока она была жива, а теперь он больше не должен это делать; таким образом, его ущерб в лучшем случае равен нулю».

Такому мнимому следованию закону, которое, казалось бы, признает законность требований соблюдения прав человека, противостоят сложнее, чем неприкрытому буквальному отрицанию. Организация должна показать, что за замысловатым юридическим фасадом скрывается другая реальность («ментальные картины»

---

<sup>84</sup> Leo Kuper, *Genocide* (Harmondsworth: Penguin, 1981), 161.

<sup>85</sup> *Ibid.*, 39.

Оруэлла). Интерпретирующие отрицания не являются полноценной ложью; они создают непроницаемый барьер между риторикой и реальностью.

*Отрицание ответственности.* Методы уклонения от ответственности – столь многочисленные и разнообразные для отдельных правонарушителей – более ограничены в официальном дискурсе. Требуется нечто большее, чем безадресная пассивная форма («Вчера были убиты четверо бунтовщиков»): языковой прием, создающий впечатление, что злодеяния просто происходят и вовсе не вызваны действиями людей.

Еще один прием – возложить ответственность на силы, названные или неизвестные, которые якобы не имеют никакого отношения к правительству и находятся вне его контроля. Да, случилось что-то плохое, но не вините нас. Ответственность лежит на теневых вооруженных группах, дружинниках, мошенниках-психопатах, марионеточных армиях, неясных «третьих силах», военизированных формированиях, наемниках, частных эскадронах смерти или «неизвестных элементах». Или насилие является «эндемичным» – межобщинное насилие, гражданская война, военачальники, бароны, межплеменное соперничество, этническая напряженность, общинное правосудие или войны с наркотиками – и всегда вне досягаемости государства. Или никаких ответственных нигде не найти: политическая власть рухнула, расправу могли заказать какие угодно силы.

Вместо подчиненного, заявляющего о выполнении приказов, начальник отрицает отдачу приказов. Министерство, конечно же, не санкционировало ничего подобного эскадронам смерти и понятия не имело, что все это происходит. Или же они отдавали приказы, но приказы эти были неправильно истолкованы. Такая защитная линия проводится – в комиссиях по установлению обстоятельств, судебных процессах и расследованиях – гораздо чаще, чем это принято считать. Южноафриканский трибунал спросил генерала Кутзее, бывшего главу полиции безопасности, что имел в виду Государственный совет безопасности, когда давал указание *eliminaar* (на африкаанс означает «уничтожить») своих противников. Генерал представил два словаря африкаанс, чтобы доказать, что глагол *eliminaar* сам по себе не означает убивать или уничто-

жать. Почему же тогда так много его подчиненных стали убивать и заявлять при этом, что убийства были санкционированы? Кутзее ответил, что никто на «низовом уровне» никогда не спрашивал его разъяснений, что означает это слово или другие слова, такие как *neutraliser* («нейтрализовать»), *uitwit* («уничтожить или стереть с лица земли») или постоянный *Ilit die saamelwing verwyder* («удалить навсегда из общества»). Если бы они это сделали, заверил он комиссию, он бы сказал им, что убийство запрещено.

*Изоляция.* Правительство признает то, что произошло, и берет на себя ответственность, но отрицает систематический, рутинный или повторяющийся характер, приписываемый действию. Это был «отдельный, изолированный инцидент»; вы ни в коем случае не можете поставить нас в один ряд с правительствами, которые систематически этим занимаются.

### Происходящее оправдано: имплицативное отрицание

Список оправданий причин человеческих страданий можно продолжать бесконечно. Государственные обоснования на международной арене составляют лишь крошечную подкатегорию. Какие-то из них объясняют, почему произошли нарушения; какие-то являются ретроспективными изобретениями. Какие-то из них искренни и выдвигаются вполне добросовестно; какие-то откровенно лгут. Какие-то ближе к чистым отрицаниям; какие-то больше похожи на извинения; а третьи представляют собой промежуточную нейтрализацию. Некоторые нуждаются в разъяснениях; другие заявляются открыто и однозначно. Некоторые исходят от правительств-преступников; некоторые предлагаются от их имени покровителями, союзниками и клиентами. Часть из них типичны для внутренней идеологии государства, но никогда при этом не используются на международной арене.

Несмотря на окончание «холодной войны», конец истории и смерть метанарративов, недостатка в идеологических обоснованиях по-прежнему нет.

### *Праведность*

Призывы к более высокой лояльности утверждают, что ценности, закрепленные в международных стандартах в области прав человека, вовсе не являются универсальными и, следовательно, любое общество может действовать в соответствии со своей собственной моралью. Более мягкий вариант утверждает, что альтернативные наборы ценностей могут при определенных обстоятельствах (или в отношении определенных людей) преобладать над универсалиями. Самые решительные оправдания ссылаются на трансцендентную идеологию, праведное дело или священную миссию. Ваша нация возвышенна, необыкновенна и обладает высшей мудростью и нравственностью, которая разрешает – даже требует – применения любых средств для достижения высшего блага. Член аргентинской хунты адмирал Эмилио Массера отметил, что «Бог решил, что мы должны нести ответственность за проектирование будущего». Более распространенная версия апеллирует к менее трансцендентным, но столь же обязательным идеологиям – революционной борьбе, этнической чистоте, западной цивилизации.

### *Необходимость*

Не столь категорическое оправдание ссылается на утилитарность и целесообразность: «нам пришлось это сделать», «альтернативы не было». Тема безопасности сейчас доминирует в ответах практически всех правительств. Не существует принципиального отрицания ценностей прав человека в пользу других ценностей. Правительство неохотно действовало по необходимости: в целях самообороны, национального выживания, предотвращения большего вреда, ожидания опасности или защиты своих граждан. Необходимость может относиться не к реальной или непосредственной угрозе, а к расчетливому предотвращению долгосрочной прогнозируемой опасности, что требует превентивного задержания, чрезвычайного положения и ограничений свободы передвижения.

Мощной версией обоснования необходимости является образ дарвиновской борьбы за выживание: конфликт длился веками; только одна сторона может победить; никакие компромиссы невозможны; либо они, либо мы.

### *Отрицание статуса жертвы*

Обращение к примитивным чувствам, типа «они сами это начали» или «они получили то, что заслужили», перекладывая вину на тех, кому причинен вред, обеспечивают как официальные обоснования, так и личное оправдание. Опять же, защита бывает ситуативной (реакция на только что совершенную провокацию) или исторической (рассказ о нынешней жертве как о главном преступнике). Зверства, имевшие место в последние несколько десятилетий, показывают, что нет конца историческим спиралям противоречивых утверждений о том, какая группа является первоначальной, «настоящей» или окончательной жертвой.

### *Контекстуализация и уникальность*

В некотором смысле все оправдания, такие как необходимость или обвинение жертвы, являются формами контекстуализации. Правительства всегда обвиняют своих критиков в незнании, непонимании сути или рассмотрении вне контекста, в котором имели место нарушения. По сути, они говорят: «Если бы вы действительно понимали нашу историю, политику, природу конфликта, тогда [слабая версия] ваше суждение не было бы таким резким или [сильная версия] вы бы поддерживали то, что мы делаем». Многие ответы правительства представляют собой подробный, дидактический (и, по определению, тенденциозный) исторический обзор конфликта.

Более сильная форма контекстуализации утверждает, что обычные стандарты суждений не могут быть применимы, поскольку обстоятельства страны – терроризм, изоляция, ядерная угроза – уникальны. Это не значит, что мы отвергаем универсальные стандарты: нам бы хотелось лишь соблюдать их; но, увы, история не позволяет нам быть такими, как все.

### *Выгодные сравнения*

Более косвенным оправданием является сравнение в свою пользу вашего собственного морального положения с моральным положением ваших критиков<sup>86</sup>:

---

<sup>86</sup> Эта и многие другие техники из моего списка представлены в Bandura, «Selective Activation».



- Если вы противопоставляете свои собственные неправомерные действия более предосудительным бесчеловечным действиям, совершенным вашим противником, ваш послужной список будет выглядеть положительным. Основная часть ответа правительства может представлять собой всеобъемлющий (и часто заслуживающий доверия) перечень злодеяний, совершаемых вооруженными оппозиционными группировками. Вывод: все, что мы делаем, – ничто по сравнению с тем, что делают они. В сложившихся обстоятельствах мы ведем себя очень сдержанно и в соответствии с принципом верховенства закона.
- «Осуждать осуждающих» означает проводить сравнения со своими внешними критиками, обвиняя их, в частности, в лицемерии («Их руки нечисты») или избирательности («Почему они продолжают приставать именно к нам?»). Они сами слишком морально скомпрометированы, чтобы иметь какое-либо право судить нас. Израильская версия этой тактики особенно резонансна: когда во время Холокоста убивали евреев, те самые страны, которые сейчас нас осуждают, либо вступили в сговор, либо молча стояли в стороне; тем самым международное сообщество лишилось права критиковать нас сейчас<sup>87</sup>. Нынешние правители бывших колоний делают аналогичные исторические призывы: их бывшие колонизаторы вряд ли могут осуждать жестокость. В более общем плане все демократии возникли в результате насилия, рабства, оккупации и истребления коренных народов; они не имеют права судить нас сейчас.
- Помимо наших противников и критиков, сравните нас с другими правительствами, сталкивающимися с аналогичными провокациями и опасностями. В отличие от нас, принимающих различные добровольные ограничения, они действовали бы и действуют хуже нас.

---

<sup>87</sup> В ответ на международную критику после вторжения в Ливан в 1982 году и бомбардировок Бейрута премьер-министр Менахем Бегин заявил в Кнессете: «Никто, нигде в мире, не может учить нравственности наш народ».

Такие и подобные сравнения можно объединить в единый дискурс праведного негодования: наши противники ведут себя ужасно (а вы их не осуждаете); ваши собственные моральные качества несовершенны (поэтому вы не имеете права судить); другие страны с меньшими проблемами ведут себя хуже нас (а вы о них ничего не говорите). Никакие сравнения не могут проводиться без универсальной меры – всего лишь предварительного условия, которое многие правительства отвергают как невозможное и нежелательное. Я еще вернусь (в главе 11) к интеллектуальным пляскам вокруг темы универсальности.

### *Контратаки*

В современной политической культуре обоснования внедряются посредством зрелищ, симуляций и сценического менеджмента. Правительствам приходится бороться с жертвами, общественными движениями и группами давления, которые получили полномочия, а также с гуманитарными организациями, которые заметны и телегеничны. Более того, источники разоблачающей информации имеют доступ к всепроникающим средствам связи – электронной почте, интернету, факсу, видео, – которые нелегко подчинить государственной власти. На этом рынке обоснований правительства защищаются путем упреждающих атак и «расстрела вестника».

Самая простая стратегия отвергает все обвинения как ложь, пропаганду, идеологию, дезинформацию или предрассудки. Приемы включают в себя ссылку на ошибки в предыдущих отчетах (этот задержанный был допрошен в марте, а не в мае, позже этот заключенный отказался от своих показаний); сомнения в легитимности источников финансирования организации или политической принадлежности ее информаторов, сотрудников на местах или членов правления; и объявление времени публикации ее доклада «политически мотивированным». Если какие-либо обвинения кажутся неоспоримыми, уклонитесь от них, дискредитировав источник. Правозащитные организации являются рупорами или прикрытием («сторонники Сендеро», «протамильские», «сторонники ООП»).

Внутренних критиков можно определить как вероломных, непатриотичных или безответственных. Или их добросовестный статус в области прав человека признается – у них благие наме-

рения, они не просто принимают политическую сторону, – но они являются «полезными идиотами», чьи отчеты будут коварно эксплуатироваться. Критики, которые публикуют свои обвинения за границей или общаются с международными СМИ, особенно уязвимы. Израильских правозащитников называют малшинимами (malshinim) – буквально «информаторами»; они играют на руку антисионистским или даже антисемитским силам. Внутренних критиков арабских режимов обвиняют в том, что они публично выносят сор из избы и укрепляют антиарабские или антиисламские силы<sup>88</sup>.

Обвинения в предательстве и отсутствии патриотизма не получается применить к международным критикам, но в остальном стратегия аналогична. Можно выделить отдельные организации («Amnesty International известна своей антииндийской репутацией») и обвинить их в игнорировании жертв терроризма. Эти организации не искренне заботятся о правах всех людей; они, по словам президента Перу Фухимори, являются «легальным оружием подрывной деятельности».

### Частичное признание

Как существуют разновидности отрицания, так существуют и градации признания. В определенных обстоятельствах правительства могут признать, по крайней мере, некоторые претензии и отнестись к ним серьезно. Это часто является реакцией правительств-наблюдателей либо вследствие изменившихся политических союзов, либо из-за того, что доказательства слишком смущают, чтобы их можно было объяснить. Они будут угрожать бросить своего союзника или клиента и требовать, чтобы он признал критику и действовал в соответствии с их указаниями. Признайте, что это было внесудебное убийство; это не может быть оправдано; это должно быть остановлено; никакой вам больше помощи, если не будет видно, что что-то делается.

Такое признание редко случается со стороны правительств-преступников, предоставленных самим себе. Но большинству стран,

---

<sup>88</sup> Kanan Makiya, *Cruelty and Silence: War, Tyranny, Uprising and the Arab World* (London: Jonathan Cape, 1993).

которым необходимо поддерживать демократический имидж, приходится действовать подобным образом. Они не могут бесконечно придерживаться стратегии полного игнорирования обвинений, грубого отрицания, идеологического оправдания или агрессивных контратак. Один из ответов звучит так: «Мы приветствуем конструктивную критику; по сути, мы единственная демократия в регионе и позволяем правозащитным организациям выполнять свою работу без ограничений. Мы встречались с вашей делегацией и встретимся с ней еще раз. Ситуация с правами человека не идеальна, но мы проявляем сдержанность и делаем все возможное, чтобы улучшить ситуацию. Ситуация трудная; вещи не могут быть изменены в одночасье; вы должны быть терпеливы».

Подобные высказывания вряд ли можно назвать полным признанием, в частности, потому, что они избегают конкретных деталей критикуемых нарушений. Если эти детали упомянуты, они относятся к трем категориям:

- *Пространственная изоляция*

Да, предполагаемое событие произошло, но это «лишь единичный инцидент». Событие не является системным или нормальным явлением; обстоятельства были особенными; жертва была нетипичной; любые нарушения возникли в результате «индивидуальных эксцессов» в рядах сил безопасности и не одобряются правительством.

- *Временное ограничение*

Да, именно это имело место в прошлом – до прихода к власти нового правительства, до того, как мы подписали это соглашение. Но этого больше не может случиться.

- *Самоисправление*

Да, мы знаем о проблеме и делаем все возможное, чтобы с ней справиться. Мы ратифицировали соответствующие документы по правам человека, приняли новые внутренние законы, встретились с наблюдателями за соблюдением прав человека, создали судебные комиссии по расследованию, назначили комиссара по правам человека, а также привлекли к дисциплинарной ответственности, наказали или отстранили от должности правонарушителей.

Подобный ответ часто бывает достаточно искренним. При частичном переходе к демократии правительство может оказаться

неспособным продвигаться ее дальше из-за ограниченных ресурсов, встроенной коррупции и неэффективности, хрупкости демократических структур, риска противодействия со стороны вооруженных сил. Даже искренний ответ может быть истолкован чиновниками среднего и низшего звена как обычный кивок и подмигивание (сообщение с двойным смыслом) с позволением продолжать делать то, что они делали всегда.

Официальный дискурс неизбежно представляет собой смесь откровенной лжи, полуправды, уверток, юридического пустословия, идеологических призывов и заслуживающих доверия фактических возражений. Успех правозащитного движения отражается в том факте, что его критические обращения редко подвергается публичному игнорированию. Но этот успех содержит и опасный аспект. Перевод морального и наглядного образа злодеяний на юридический, дипломатический, ООН-говорящий и явно незмоциональный язык «нарушений прав человека» переадресовывает ответственность за проблему профессиональному и бюрократическому картелю.

Какими бы эффектными ни были комментарии правозащитников к подобным текстам отрицания, они не имеют большого политического влияния. Даже самые разрушительные разоблачения, за которыми следуют еще более фальшивые отрицания, не нарушают порядок вещей. Могущественные правительства, особенно правительство Соединенных Штатов, по-прежнему защищают своих союзников и клиентов и отрицают свою собственную причастность. Пока их это устраивает, они будут придерживаться нарратива отрицания. Они знают, что могут рассчитывать – с очевидностью необдуманно, – что и на их собственные нарушения глаза будут закрыты. Все признают ложь, но никого это не волнует.

У правозащитников же имеется ограниченный запас ответов на официальные встречные претензии. Они могут лишь подтвердить перечень абсолютных принципов, универсальных стандартов и полных («не допускающих отступлений») запретов в области прав человека. Этот моральный абсолютизм легко игнорировать или снисходительно отвергать. «Будьте реалистами», – говорит правительство, объясняя обстоятельства, которые позволяют принципам быть скомпрометированными по очевидной необходимости. Критики предвидят точные детали этих стандартных методов

нейтрализации и заранее противодействуют им. Таким образом, отчеты о правах человека начинаются с пояснения: «Нет, мы не выделяли вас для особой критики. Мы регулярно публикуем столь же критические репортажи о других странах... Да, мы однозначно осуждаем террористические акты, совершаемые вооруженными оппозиционными группировками в вашей стране; мы последовательно занимаем эту позицию в других местах... Нет, мы не принимаем чью-либо сторону в конфликте и не настаиваем на каких-либо конкретных политических решениях... Да, мы помним о долгой истории вашего конфликта; мы знаем о зверствах против ваших граждан; мы серьезно относимся к угрозам вашей безопасности».

Излишне говорить, что нет никаких гарантий того, что эти активные действия предотвратят новый раунд отрицания со стороны правительства<sup>89</sup>. Они просто не вызовут активного общественного отклика. Причина в том, что официальные обоснования – это не просто выдумки или пустые риторические построения. Они глубоко укоренены в национальной и международной политической культуре. Даже хорошо информированные и благонамеренные люди думают: «Да, эти обвинения звучат правдоподобно, но чего еще вы ожидаете от правительства Фридонии?» Разоблачение и отрицание злодеяний стали привычными ритуалами в средствах массовой информации и общественной культуре. Это то, что обычно делают правительства; так обычно говорит Amnesty.

Внутри страны правительство, естественно, предпочитает надежное общественное безразличие принудительному подчинению. Независимо от того, насколько строго международные запреты настаивают на том, что никакая предполагаемая угроза общественной безопасности не может оправдать пытки, практически все граждане признают, что любой метод получения информации допустим для предотвращения террористического акта. Независимо от того, насколько сильна моральная критика таких утверждений,

---

<sup>89</sup> Действительно, наиболее вероятным результатом является еще более сложная схема ответов. Обмен обвинениями — ответ правительства, контрответ — могут продолжаться годами. Рост бюрократии по правам человека гарантирует, что цикл бумажной работы будет продлен. В Израиле не только есть государственные служащие, которые отвечают на обвинения, но и привлекаются добровольцы для ответа на письма волонтеров Amnesty. Крайне загруженная маленькая индустрия отрицания.

как «подчинение приказам», общественность будет сочувствовать солдатам, которые утверждают, что они «просто выполняли приказы». Эти обоснования насилия предлагались и принимались достаточно долго, чтобы стать частью моральной структуры. Существует культура отрицания – с эквивалентными закодированными сообщениями, областями уклонения и метаправилами, которые можно найти в «беспорядочных» системах семейного общения. Это то, что Гавел называет «жить во лжи».

Официальное отрицание означает именно отрицание только в прямом, обыденном смысле; в реальности же это просто ложь и обман, без каких-либо коварных построений ниже уровня сознания. А как насчет самообмана? По крайней мере, некоторые люди, занимающиеся отрицанием, от политических комиссаров до сотрудников прессы, искренни. Они могут начать как оппортунисты и карьеристы, а затем начать верить в произносимую неправду. Они меняют веру, но им редко удается обратиться в новую веру других. Но последовательность может быть и обратной. Чиновники могут начать с искренности (или самообмана), но затем стать заведомо циничными и лживыми. Эти обманы становятся беспредельными, почти пародией на официальное отрицание; правительство знает это и знает, что общественность знает.

Загадки отрицания и недобросовестности закодированы в языке, который мы используем, когда говорим сами с собой о злодеяниях и страданиях. Публичные тексты преступников и их апологетов вряд ли нуждаются в серьезной расшифровке: послушайте, как официальный представитель, политический лидер или чиновник выступают с обычной явной ложью, отчаянными отговорками, тонкой полуправдой, жалкими заверениями, удобными вымыслами, абсурдными аналогиями. Где находятся эти люди в этом когнитивном пространстве между знанием и незнанием того, что они выдают за истину? Возможно, они уже вошли в постмодернистскую версию эдипального состояния: знать и не знать одновременно, но в то же время не испытывать беспокойства по этому поводу.

## Вычеркивание Прошлого

### Личные Воспоминания, Публичные Истории

Прежде чем перейти от преступников к сторонним наблюдателям, в этой главе мы перемещаем временные рамки назад, рассматривая события как объекты памяти и истории. Во всех частях света общества, которые сейчас кажутся относительно спокойными, все еще имеют дело с ужасающими историями зверств и социальных страданий. Современная иконография отрицания и признания по-прежнему использует прошлое, связанное с именами Гитлера, Сталина и Мао. Теперь к ним добавилась группа событий, довольно обтекаемо названных «демократизацией» или «переходным правосудием»: распад и демонтаж бывшего Советского Союза и коммунистических режимов, правивших в Восточной Европе; в Латинской Америке (Бразилия, Аргентина, Чили, Уругвай, Сальвадор, Парагвай) переход от диктатур и военных хунт к формальным демократиям; крах апартеида и возникновение много-расового демократического общества в Южной Африке.

Не существует четкой границы между отрицанием прошлого и отрицанием настоящего. В какой момент общественное знание о зверствах и страданиях становится предметом забвения или памяти, страницами далекой истории или незаживающей раной? Если говорить о кровопролитии в Конго, Бангладеш или Биафре как о «неугасающей памяти» или «принадлежащем прошлому», то когда эти фразы начнут применяться к Чечне, Анголе и Косово? СМИ проводят четкую линию: события исчезают из «текущих новостей». Войны заканчиваются официальным миром; объявлено, что голод



закончился. Различие может быть банальным, но разговоры об отрицании того, что мы не замечаем настоящего, отличаются от разговоров о том, что мы не помним прошлого.

Различие между *личным* и *общественным* останется размытым. Существует область личных, частных или автобиографических воспоминаний – о нашей частной жизни (детство, семья, школа, влюбленность) или о нашей реакции на публичные события (то, что мы чувствовали во время кубинского ракетного кризиса). Общественная сфера – это общее, коллективное, иногда «официальное» прошлое; то, что произошло, зафиксировано (в музеях, учебниках, церемониях) в записанной истории. Индивидуальная память – это субъективный опыт общественного прошлого, вспоминаемый в настоящем.

Границу между *отрицанием* и *признанием* провести труднее всего. Выглядит это просто: противоположностью отрицания того, что что-то когда-то произошло, является признание того, что это действительно произошло. Пример: сразу же были прикрыты эксперименты над специально не подвергавшимися лечению от сифилиса заключенными-афроамериканцами; факты скрывались десятилетиями, несмотря на циркулировавшие слухи и обвинения; правда в конечном итоге была раскрыта и наконец признана. Однако, пересказывая такие истории, мы не всегда можем отделить наши знания об отрицаемом прошлом от способов признания (суды, комиссии по установлению истины, прямые признания), посредством которых это прошлое стало известно. В случае терапии подавленной памяти такое разделение невозможно. Но что касается общественных злодеяний и страданий, я оставляю вопросы признания до главы 9, за которой следует глава о признании настоящего.

Ускользающая суть всех этих различий является основной темой в трудах Гавела о частных воспоминаниях и общественной истории в Чехословакии и остальной коммунистической Восточной Европе. В начале семидесятых он предвидел то, что должно было произойти. Люди осознавали, что ценой ежедневного притворства, отрицания и внешнего конформизма является постоянное унижение и утрата достоинства. Торжественно совершая ритуальные действия, которые в частном порядке кажутся вам смешными, вы публично отказываетесь от самого себя. Но ничто из этого не

забывается; притворство остается похороненным в сознании, став частью эмоциональной памяти, но продолжающим действовать как токсичное вещество. Итак, «когда кора трескается, и лава жизни выплескивается», поиск общественного признания формируется частной горечью, мстительным гневом<sup>1</sup>.

После введения понятия вытеснения (подавления) я рассмотрю личное отрицание частного (автобиографического) прошлого на примере «синдрома вытесненной памяти». Однако моей главной темой является личное отрицание публично известных прошлых злодеяний.

## Прелюдия: вытеснение

Я следую традиции, используя слово «отрицание» для обозначения настоящего и слово «вытеснение» для обозначения прошлого. Однако первоначальное противопоставление Фрейда было совершенно иным: вытеснение относится к *внутренним состояниям*, таким как эмоции, тогда как отрицание относится к *внешним реальностям*. Вытеснение (подавление) – гораздо более значимое понятие в теории Фрейда, чем отрицание, и его значение еще более неуловимо. Часто подавление рассматривается как совершенно бессознательное; в других случаях оно мутирует в «подавление» – сознательное решение забыть. В конечном итоге Фрейд использовал вытеснение как общий термин для всех защитных механизмов и рассматривал его как основу всей своей теоретической конструкции. Одно из его определений вытеснения – прекрасное высказывание об отрицании: «не требующее моральных усилий регулярное избегание всего, что когда-то вызывало беспокойство... Общеизвестен тот факт, что большая часть избегания того, что причиняет беспокойство – эта страусиная политика – является тем, с чем еще предстоит столкнуться в нормальной психической жизни взрослых»<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Vaclav Havel, «Dear Dr. Husak», in *Open Letters: Selected Writings, 1965-1990* (New York: Vintage Books, 1992), 50-83.

<sup>2</sup> Sigmund Freud, *The Interpretation of Dreams* (1900), in *Standard Edition*, IV (London: Hogarth Press, 1953), 600.

Подавление стало архетипическим защитным механизмом: оно удерживает от осознания информации, вызывающей психические боли от травмы, вины и стыда. Такое общее употребление игнорирует различие между тревожащими внешними событиями и тревожными чувствами по поводу этих событий. Мы можем помнить, что произошло, но подавлять эмоциональный тон или же помнить, что нам было плохо, забывая при этом, из-за чего нам было плохо. В любом случае такая тактика обречена на провал. Подавленная боль «на самом деле не бывает забыта»: она остается где-то «там», вызывая искажения, патологию внутренних состояний и вообще нездоровое «символическое поведение». Терапевты пытаются освободить эти скрытые слои; пациенты, как правило, отказываются сотрудничать: они сопротивляются, протестуют, ноют и отрицают («Что, я?»). Чем глубже исследование сегодняшних неприемлемых сексуальных желаний, детских травм, детских воспоминаний, тем сильнее боль. Но, согласно метафоре, которую предпочитают Комиссии по установлению истины, чем глубже рана, тем решительнее ее следует вскрыть.

Фрейд пошел немного дальше: «Наиболее периферийные слои содержат воспоминания, которые легче всего запомнить и которые всегда четко осознаются». Чем глубже мы погружаемся в наше сознание, тем труднее становится распознать возникающие воспоминания, пока вблизи ядра мы не наталкиваемся на воспоминания, от которых пациент отказывается даже при их восстановлении»<sup>3</sup>. Мы входим в состояние двойного неосведомленности – как о первоначальных вытеснениях, так и о наших попытках скрыть их появление сейчас. Это действительно тройное забывание: мы забываем, мы забываем, что забыли, затем мы забываем то, что начинаем вспоминать.

За все эти развлечения и игры разума предусмотрены ужасные наказания. Первое – это повторение. Мы продолжаем совершать одни и те же глупые, разрушительные поступки<sup>4</sup>. Но мы не осознаём, что повторяемся. В этом и состоит проблема: отвлекающие когнитивные схемы, которые мы обычно используем, скрывают факт повторения от осознания. Мы забываем, что делали это рань-

<sup>3</sup> Freud, «Repression» (1915), in Standard Edition, XIV.

<sup>4</sup> Вернее, наш Ид продолжает их делать: David L. Weiner, *Battling the Inner Dummy: The Craziness of Apparently Normal People* (Amhurst, NY: Prometheus Books, 1999).

ше, и не признаем – даже отрицаем, – что делаем это снова. Это классический и тяжелый самообман: хранить даже от самих себя тайну, что это новое место, лицо или проблема вовсе не новы. Второе наказание – утечка. Пока мы отчаянно давим и подавляем, невозможно закрыть люки. В конце концов «правда выйдет наружу». Рано или поздно репрессированные нанесут вам нежелательный визит. Именно это имеет в виду архиепископ Туту, когда говорит о том, что прошлое возвращается, чтобы преследовать вас. Эту метафору используют даже светские защитники истины, справедливости и примирения. Клиническое и политическое становятся синонимом друг друга.

## Личные воспоминания, личное прошлое

Вероятно, самым ожесточенным спором в практике психотерапии, когда-либо дошедшим до широкой публики, является история синдрома подавленной памяти (RMS-СПП), синдрома ложной памяти (FMS-СЛП) и терапии восстановленной памяти (RMT-ТВП). Этот тревожный эпизод поднимает множество вопросов, касающихся психоаналитической теории, концепции подавления, психологии забывания и превратностей высказывания правды в личной жизни<sup>5</sup>. Рискуя стать жертвой эффекта туннельного видения, я использую эту историю только для того, чтобы поднять довольно простой вопрос: не все, что отрицается, должно оказаться правдой.

Основной идеей, объясняющей СПП, является вера в то, что очень многие женщины в детстве подвергаются сексуальному насилию (обычно со стороны отца). Если это происходит в очень раннем возрасте, событие немедленно вытесняется из сознания; это основная причина многих необъяснимых депрессий и других продолжающихся психических расстройств, часто называемых истерическими или невротическими симптомами. Вытеснение оказыва-

---

<sup>5</sup> Первоначальная критика остается лучшим руководством: Richard Ofshe and Ethan Waters, *Making Monsters: False Memories, Psychotherapy and Sexual Hysteria* (Berkeley: University of California Press, 1996), and Mark Prendergast, *Victims of Memory: Sex Abuse Accusations and Shattered Lives* (Hinesberg, Va.: Upper Access Books, 1996). Также см.: Frederick Crews, *The Memory Wars: Freud's Legacy in Dispute* (New York: New York Review of Books, 1995): прекрасное введение в полемику, несмотря на его чрезмерную язвительность и довольно жалкую защиту со стороны фрейдистов.

ется тотальным: буквально нет ни знаний, ни воспоминаний об этом опыте. Но скрытая травма остается в первозданном состоянии. Как записанное на видеокассету, событие прекрасно сохраняется, будучи запертым на десятилетия во вневременной зоне разума, все время и систематически нанося вред. Текущие симптомы представляют собой ассоциативные символы (часто выраженные соматически), отсылающие к бессознательным воспоминаниям об исходной травме. Забывание – невозможность получить доступ к конкретному событию – может быть вызвано только вытеснением. Но точно так же, как событие «теряется» в результате подавления, его можно «восстановить» или «вспомнить». Терапия Восстановления Памяти, представляет собой комбинацию техник классического психоанализа, гипнотерапии и всех мыслимых разговорных терапий или работы с телом в стиле Нью-Эйдж, призванных помочь пациентам вспомнить свои давно подавляемые воспоминания о сексуальном насилии в детстве.

Теория приписывает вытеснениям исключительную силу. Версия, известная как «сильные», «массовые» или «жесткие» вытеснения, утверждает, что «многие дети способны забыть о насилии, *даже когда оно с ними происходит*»<sup>6</sup>. Сознательный доступ к травматическим воспоминаниям тогда полностью блокируется. Эти пациенты поверят, что в течение многих лет, даже десятилетий, они «жили» воспоминаниями о двух разных вариантах детства. Живущая в их памяти история и воспоминания о нормальном (даже «счастливым») детстве оказывается фантазией, прикрытием, защищающим их от ужасной правды. Другой вариант, о котором они ничего не знали, – подсознательная запись жестокого обращения с ними и их страданий – реален. Сильное подавление – это не то же самое, что обычное мотивированное забывание (мы забываем то, что не хотим помнить), которое не происходит бессознательно или немедленно; и не воплощается в памяти в исходной безжалостной форме. Воспоминания, которых избегают, доступны до тех пор, пока они не исчезнут в ходе обычного процесса забывания<sup>7</sup>.

---

<sup>6</sup> Ellen Bass and Laura Davis, *The Courage to Heal: A Guide for Women Survivors of Child Sexual Abuse* (New York: Harper Perennial, 1988), 42. Наиболее влиятельным теоретизированием было Judith Herman's *Trauma and Recovery* (New York: Basic Books, 1992). Это основные (и легкие) цели всех критиков.

<sup>7</sup> Ofshe and Waters, *Making Monsters*, 33.

Два родственных понятия усиливают модель вытеснений с точки зрения ее сторонников, но еще больше ослабляют ее с точки зрения критиков. Первое (близкое к первоначальной фрейдистской идее «раздвоенного эго») – это *диссоциация*: одна часть самости может настолько отделиться и дистанцироваться от внешней или внутренней реальности, что это будет выглядеть так, будто «она» не видит, что случилось. Травма ребенка, подвергшегося сексуальному насилию, настолько невыносима, что она диссоциирует, и он больше не переживает страдания как часть своего ощущаемого «я». Таким образом, разум имеет дело с «воспоминаниями о травмирующем насилии в детстве, которые нельзя забыть обычным способом, потому что их вообще никогда не удавалось полноценно узнать»<sup>8</sup>.

Второе – это понятие *множественной идентичности* и конкретный диагноз Диссоциативного Расстройства Идентичности (MPD-ДРИ). Это еще больше расширяет тезис о диссоциации, что приводит к еще более радикальным последствиям для дебатов о восстановленной памяти<sup>9</sup>. Бессознательное человека, страдающего ДРИ, регистрирует настолько ужасные тайны, что «простое» подавление – массовое и мотивированное забывание – не может их сдерживать. Воспоминания даже не доходят до стадии вытеснения; насилие настолько ужасно, что ум не может пережить никакого осознания. Создаются части личности, которые функционируют как самостоятельные личности, каждая из которых достаточно автономна, чтобы изолировать запретные или травмирующие воспоминания от личности в целом. Каждый неинтегрированный фрагмент разделенного «я» – со временем к исходному первичному фрагменту могут присоединиться новые фрагменты – называется «альтер» (от латинского слова *alter* – другой). Эти альтеры ничего не знают ни о сути личности (то, что от нее осталось), ни друг о друге; основная часть, похоже, понятия не имеет об их существовании. К середине 1980-х люди, испытавшие такую диссоциацию («множества», как их называют в психотерапии), сообщали о подавленных воспоминаниях, производивших сенсации: не только об инцесте, но и изнасиловании во время сатанинских культовых ритуалов,

---

<sup>8</sup> Jody Davies, процитировано в Crews, *Memory Wars*, 25.

<sup>9</sup> Nicholas P. Spanos, *Multiple Identities and False Memories* (New York: American Psychological Association, 1996). Позже MPD было переименовано в DID-ДИР – диссоциативное расстройство идентичности.

человеческих жертвоприношениях, о похищениях инопланетянами и рождении от них детей<sup>10</sup>.

Идея о подавлении и восстановлении памяти вскоре вышла из терапевтического контекста и превратилась в смесь социального движения, городского фольклора и культа. Именно тогда она начала вызывать все более убийственную критику (называемую свидетельством дальнейшего отрицания):

- О многих актах насилия действительно не сообщается, но о большинстве из них не сообщается не потому, что о них забывают, вытесняют или отрицают: режим отрицания, навязанный патриархальной властью, является достаточным основанием для молчания.
- Тезис о жестоких репрессиях, представление о том, что люди могут полностью забыть, что подвергались неоднократному насилию в течение длительного периода времени, противоречит всему, что известно о памяти. Его работа по своей сути неравномерна и импровизационна, как и постепенное избегание, а затем атрофия болезненных воспоминаний. Таким образом забываются отдельные события, но продолжающееся насилие на протяжении многих лет оставляет после себя паутину навязчивых и нежелательных воспоминаний. Столь же маловероятно, что до сих пор подавленный опыт может быть «восстановлен» из хранилища мозга, а затем воспроизведен в ярких кинематографических деталях.
- В литературе по СПП представлены понятные контрольные идентификаторы человеческого поведения и чувств, которые используются для обозначения *симптомов* подавленного сексуального насилия в детстве и/или (с полной непоследовательностью) *механизмов* преодоления этих симптомов. Такие списки симптомов – чувство одиночества, страх добиться успеха, низкая самооценка, чувство отличия от других людей, мечты о пространствах или объектах, избегание зеркал, избыточный вес (или недостаточный вес),

---

<sup>10</sup> О связях между MPD, сексуальным насилием в детстве и движением «Восстановленная память», а также подробном описании социального конструирования этих категорий см.: Ian Hacking, *Rewriting the Soul: Multiple Personality and the Sciences of Memory* (Princeton: Princeton University Press, 1998).

беспорядочные половые связи (или полное отсутствие сексуального опыта), наличие амбивалентных отношений, – бесполезны, но не безвредны для миллионов, пытающихся оказать себе помощь самостоятельно и проверяющих свой статус жертвы. Еще более бесполезным является экспертный диагноз терапевта: ваше отрицание насилия является окончательным доказательством того, что оно действительно имело место<sup>11</sup>.

- Большинство людей, особенно тех, кто находится в состоянии психического потрясения, очень внушаемы. Методы и медикаменты, используемые для восстановления воспоминаний – гипноз, тиопентал натрия («лекарство правды»), перекартирование тела, повторное написание автобиографии, первобытный крик, возрастная регрессия и управляемые образы, оставляют пациентов открытыми для терапевтических внушений. Это уязвимые люди, отчаянно ищущие причинно-следственную связь, которая могла бы объяснить их страдания. Они готовы наполнить смутные воспоминания деталями, которые легко доступны в массовой культуре – через литературу самопомощи, ток-шоу и средства массовой информации. Эта творческая работа с памятью стимулируется и вознаграждается (хотя бы только ободряющим кивком) ревностными восстановителями памяти. Результатом часто становятся фантазии и вымышленные воспоминания. Внушаемый пациент присоединяется к терапевту (действующему скорее с благими намерениями, чем с целью обмана) по самореализующейся спирали. Будучи тщательно созданным, повествование о насилии вызывает доверие и упорно защищается.
- Если обвиняемый, его семья или другие терапевты заявляют, что здесь действует какой-то элемент воображения, внушае-

---

<sup>11</sup> Обвиняемые преступники получают теоретически симметричное, но политически противоположное обращение. Терапевт (которая позже отказалась от своей веры в РРС и сама стала «терапевтом-втягивателем») вспоминает, как работала с пациенткой возраста около тридцати лет, которая только что написала своему отцу, обвиняя его в incestе, когда ей было три года: «Он позвонил ей и категорически все отрицал, но мы восприняли это как доказательство того, что он находится в состоянии отрицания». (процитировано в Prendergast, *Victims of Memory*, 237).



мости или фантазии, это с негодованием отвергается как пациентом, так и терапевтом. Жертва, ценой болезненных психических затрат, проходит через «постепенное пробуждение»<sup>12</sup>. Обвиняемый подвергается стигматизации, отказывается от юридической презумпции невиновности и никогда никому не верит. От начала и до конца – первоначальные события, годы лжи, а теперь и драматическая конфронтация – он с очевидностью *отрицал* все это.

- Вытесненное сексуальное насилие в детстве вскоре было отнесено к категории посттравматического стрессового расстройства (ПТСР), свойственного также жертвам, пережившим Холокост, и ветеранам Вьетнама. Но эти сравнения еще больше ослабляют убедительный тезис о вытеснении. Клинические вытеснения не поражают тех, кто переживает повторяющиеся и продолжительные ужасы. Лангер предполагает, что для выживших и свидетелей Холокоста и подобных злодеяний время является как длящимся, так и последовательным<sup>13</sup>. Длительное время переживается непрерывно, а не в виде последовательности воспоминаний, от которых можно освободиться. Воспоминания – это не «симптомы», которые нужно раскрыть и рассказать, чтобы обрести психический покой и социальную интеграцию. Действительно, «Болезненные воспоминания не всегда выводят из строя, и рассказы о них ... редко «освобождают» свидетелей прошлого, от которого они не могут и не хотят убежать»<sup>14</sup>.

Таким образом, подлинными являются только первоначальные вытеснения жертвы. Предполагаемым преступникам невозможно поверить. В то же время психиатрические учреждения обвиняют в отказе признать, что детские воспоминания о сексуальном

---

<sup>12</sup> Эта фраза принадлежит Рене Фредриксон, одной из наиболее ярких Пробуждающих. Говоря о «ужасающем неверии» пациентов в свои недавно восстановленные воспоминания, Фредриксон отмечает, что «существование глубокого неверия является показателем того, что воспоминания реальны».

<sup>13</sup> Lawrence L. Langer, 'The Alarmed Vision: Social Suffering and Holocaust Atrocity', in Arthur Kleinman et al. (eds), *Social Suffering* (Berkeley: University of California Press, 1997), 47–65.

<sup>14</sup> *Ibid.*, 55.

насилии *всегда* реальны. Этот отказ можно отнести к Великому предательству самого Фрейда. Согласно этому повествованию, Фрейд в своих ранних работах (с 1893 года) утверждал, что рассказы его пациентов о сексуальном соблазнении в детстве были правдой. Более того, у девочек, подвергшихся такому насилию, весьма вероятно развитие во взрослом возрасте истерических симптомов. К 1897 году он отказался от этой теории (по мнению некоторых, подвергшейся критике и даже прибегавшей к фальсификации историй болезни пациентов), заявляя теперь, что воспоминания о детском соблазнении были ложными. Эти сообщаемые события на самом деле не произошли, а были основаны на фантазии. Триумфальный финал повествования – после полувека отрицания – это успех феминисток, психологов и Движения за восстановление памяти в отстаивании первоначальной позиции Фрейда.

Три аспекта этой дискуссии выходят далеко за рамки темы сексуального насилия в детстве. Во-первых, это путаница в отношении возможности установления объективной истины. Постепенное восстановление памяти пациента терапевтом призвано воспроизвести триумфальный нарратив культурного признания. И на личном, и на социальном уровне это эссенциалистская модель. Была и остается только одна истина: факты насилия и репрессий существуют и только и ждут, чтобы их раскрыли. Однако, столкнувшись с требованиями доказательств и свидетельств, движение провозглашает не просто скептицизм и тотальный эпистемологический релятивизм, но и без извинений заявляет: правдивы ли, ложны ли обвинения, *не имеет значения* – пациент и терапевт должны доверять своим «внутренним голосам». Цель терапии – подтвердить субъективный опыт пациентки: терапевт заботится о ее благополучии, а не о том, произошло событие или нет: «Вы можете слишком увлечься поиском внешних доказательств, а не внутреннего облегчения». Суть в том, чтобы «избежать ловушки правды»<sup>15</sup>.

Вторая путаница, сознательно распространяемая терапевтами, связана с отрицанием жестокого обращения с детьми на соци-

---

<sup>15</sup> «Avoiding the Truth Trap» («Как избежать ловушки правды»): заголовок тематического исследования 1994 года. Крюс делает интересное заявление о том, что сам фрейдизм отказался от своих более амбициозных претензий и отступил к «герменевтическому перспективизму», то есть «к отказу от притязаний на истину и переформулированию терапевтической цели как простого примирения клиента с менее карательным мифом о его или ее личности» (Memory wars, 20).

альном уровне и отрицанием на личном уровне. С трудом завоеванное культурное признание сексуального насилия в детстве как социальной проблемы не означает аксиоматически, что насилие имело место в каждом конкретном предполагаемом случае. Как отмечают Офше и Уотерс, советовать пациентам принять свои воспоминания, поскольку общество так долго отрицало их, – это полная путаница лозунга «Личное есть политическое»<sup>16</sup>.

Третье предположение заключается в том, что психическое здоровье требует изысканий, объяснения и даже *повторного переживания* болезненных переживаний; чем глубже мы копаем, тем суровее приходится противостоять истине, но тем лучше для нас будет. Это направление имеет глубокую мифическую привлекательность – героическое путешествие назад во времени, повторное переживание боли прошлого и, наконец, достижение исцеляющей истины. Увы, нет никаких доказательств того, что для выздоровления необходимо помнить или *честно* реконструировать прошлое, чтобы быть счастливым в будущем. Открытие болезненных истин и столкновение с ними может быть ценным само по себе, но не может считаться само собой разумеющимся способом «освободиться» от прошлого. Обещание освобождения и целостности еще труднее поддерживать, как мы увидим, когда речь идет о коллективной «проработке» открытых истин целых обществ.

## Личное отрицание, общественные истории

Что касается сексуального насилия, инцеста, жестокого обращения с детьми и изнасилования в обычной жизни, то противостояние между отрицанием и признанием происходит в частной сфере: в семье, в кабинете терапевта, и лишь изредка в ходе уголовного процесса или в материалах СМИ. Личные рассказы сильно отличаются от историй известных зверств. В тот момент, когда отчет появляется, хотя бы для того, чтобы отрицать знание прошлого, его сравнивают с публичными рассказами, либо разделяемыми («наш позорный сговор с оккупантами»), либо оспариваемыми. Без этих сравнений и несоответствий между личным и общественным коллективная память стала бы тем, чем она никогда

---

<sup>16</sup> Ofshe and Waters, *Making Monsters*, 110–11.

не может быть: арифметической суммой идентичных воспоминаний, истинность которых признается всеми выжившими, преступниками и свидетелями.

Преступник, который ничего не сделал, и наблюдатель, который ничего не видел, символизируют самое известное из этих несоответствий. Однако позвольте мне упомянуть гораздо более необычную историю отрицания: исследование Бар-Оном людей, которые были детьми крупных нацистских функционеров<sup>17</sup>. Практически все дети нацистских преступников были защищены своими семьями от знания правды как о личной роли их отцов, так и о процессе истребления в целом. При этом дети не задавали никаких вопросов – ни отцам тогда, ни матерям и другим членам семьи впоследствии. Бар-Он описывает взаимную заинтересованность родителя и ребенка в отрицании или избегании информации о том, что сделали преступники, как «двойную стену отрицания». Но более широкая культура воздвигла третью стену. Эти модели семейного сговора не были частными и изолированными: пятидесятые годы, когда росли эти дети, были периодом, когда немецкое общество в целом не вспоминало прошлого, не говоря уже о том, чтобы «признавать» его.

Демократические трансформации 1980-х годов достигли момента истины гораздо раньше. Каждый из них был отличен от другого – то, что произошло в Чили, отличается от того, что произошло в Чехословакии, – но был один судьбоносный общий вопрос: что делать со злодеяниями и страданиями прошлого? Поиск *истины или знаний* стал мощной формой ответственности, что означает, как показано в главе 9, не просто обнаружение фактических доказательств, но и «примирение» с прошлым. Риторика апеллирует к тем же целям, что и «Восстановленная память»: преодоление отрицаний, подрыв подавлений, раскрытие ужасных тайн, столкновение с реальностью, лицом к лицу с правдой. Но «сделать что-нибудь» с прошлым означает нечто большее, чем просто правильно изложить ход событий. Доминирующим значением таких изложений является справедливость. Как следует поступать с преступниками из старого режима – эскадронами смерти, палачами, инфор-

---

<sup>17</sup> Dan Bar-On, *Legacy of Silence: Encounters with Children of the Third Reich* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1989).

маторами, коллаборационистами и их политическими начальниками? Должны ли их дела быть расследованы, а их самих (как и виновников семейных драм о сексуальном насилии) выследить, разоблачить, привлечь к суду и наказать, заставить перенести боль и унижение или возместить ущерб? Или вообще следует ограничиться немногим: позволить залечиться старым ранам, добиться национального примирения, сохранить хрупкую демократию, чтобы мы могли «подвести черту под прошлым» и «перевернуть страницу истории»? Это может означать тайный сговор, подготовку к дальнейшему культурному отрицанию, но также может означать «сделать что-то совершенно иное: простить обидчиков, искать примирения между ними и их жертвами, интегрировать их в реформированный социальный порядок»<sup>18</sup>.

Здесь мы рассматриваем, как прошлое преступников (а также некоторых свидетелей и жертв) отрицается и блокируется. Я начну с личного уровня: с того, как люди забывают или «так сказать, забывают» неприятные воспоминания. Ставшие достоянием общества исторические сведения о событиях признаются, но собственная роль в них исключается. Есть два основных симптома того, что можно назвать «синдромом Курта Вальдхайма»: первый: «В то время я не знал, что происходит», и второй: «Может быть, я знал тогда, но потом забыл все это»<sup>19</sup>. Синдром этот был ярко продемонстрирован в 1994 году на Версальском процессе над французским военным коллаборационистом Полем Тувье, чиновником полиции, обвиненным в убийстве семи еврейских заключенных под Лионом в 1944 году. На вопрос, знал ли он об антиеврейских указах правительства Виши, он ответил: «Нет, я пропустил это». Знал ли он о массовых депортациях в Германию?

---

<sup>18</sup> Помимо признания истины, я более подробно рассматриваю вопросы справедливости, примирения и других вопросов: Stanley Cohen, «State Crimes of Previous Regimes: Knowledge, Accountability and the Policing of the Past», *Law and Social Inquiry*, 20 (1995), 7-50.

<sup>19</sup> Когда в 1988 году разразился скандал с Вальдхаймом, многие отмечали не только первоначальное буквальное отрицание бывшего генерального секретаря ООН («слабость памяти»), но и его неспособность понять его значение. Похоже, он думал, что намеренное сокрытие подробностей своей военной службы в Германии похоже на то, как если бы студент слегка подделал запись в резюме.

«Тогда у нас не было телевидения. Я не знал об этом»; или «Я не помню. Для меня все это было слишком сложно»<sup>20</sup>.

Меня интересуют в основном преступники. Но прототипическое отрицание «мы не знали» («тогда у нас не было телевидения») разделяется и сторонними наблюдателями. Есть три варианта: буквальная невиновность, незнание и забвение. Самая простая противоположность – это признание.

### *Однозначная невиновность*

Сегодня на общественной арене становится все труднее поддерживать буквальное отрицание прошлого. Это не значит, что обо всех массовых зверствах и страданиях известно. Но если о них рассказать, их труднее отрицать. Новые политические пространства и технологические методы проверки и записи не могут легко контролироваться и ограничиваться сильными мира сего: сообщения глобальных СМИ, электронная связь, репортажи с места событий, показания жертв, международные наблюдатели, открытие секретных досье.

Однако любой предполагаемый преступник – например, в трибуналах по военным преступлениям в Руанде или Боснии – все еще может заявлять о своей буквальной невиновности. Защита никогда не предложит идеологического обоснования, поэтому суд становится не политическим событием, а, как и было задумано, юридической игрой. Аргументом выдвигается ошибочная идентичность: «Вы взяли не того человека». Вопросы личности и виновности возникают в судебных процессах по делам о геноциде или военных преступлениях так же, как и в обычных уголовных судах. Ни одна международная система не может гарантировать, что буквальное отрицание не может защищаться до конца: хаотичные условия того времени, развал внутренних правовых систем, преднамеренные обвинения в мести, угасание интереса СМИ.

---

<sup>20</sup> Andrew Gumbel, «Touvier Retreats into Forgetfulness», Guardian, 3 Mar. 1994.

## Незнание

Состояние ума при «незнании», несмотря на всю его психическую сложность, более открыто для некоторых объективных сравнений. За исключением самых неясных случаев, мы можем реконструировать достаточно многое, чтобы определить, кто не мог знать, мог знать, должен был знать или что он должен был знать. Сегодня большинство обществ имеют «информированную общественность»; ни они, ни те, кто находится в низших звеньях государственной власти, не могут быть легко оставлены в полном невежестве путем обмана или наличия строго сегментированных структур ответственности. Лозунг шестидесятых годов *«Не говори, что ты не знал»* был призван бороться с недобросовестностью радикалов; теперь он применяется более широко. Незнание сегодня не является подходящим объяснением для Комиссии по установлению истины.

По мере того, как мы переходим от непосредственных преступников (тех, кто «в курсе») к периферийным свидетелям, воспоминания становится все труднее организовать. Спустя десять лет после событий аргентинские граждане говорили: «Я был там; Я видел это», но также: «Я ничего не мог знать»<sup>21</sup>. Фактически, большинство пропавших без вести были похищены из своих домов; соседи и наблюдатели точно знали, чему они были свидетелями. Но некоторые «видели и не видели, понимали и не знали» и, казалось, оставались в этом состоянии даже после публикации отчетов комиссии Сабато и судов над генералами. Это было нечто большее, чем простое отрицание – была захвачена часть ментального пространства аргентинских граждан: «Террору нужна была обстановка, которая была бы практически неизменной. Ведь если бы условия жизни радикально изменились, как можно было бы усвоить то, что там происходило? Если пропавшие без вести пугающе присутствовали в силу своего отсутствия, то в каком смысле те, кто присутствовал, действительно были здесь? Пространством мани-

---

<sup>21</sup> Marguerite Feitlowitz, *A Lexicon of Terror: Argentina and the Legacies of Torture* (New York: Oxford University Press, 1998), 151

пулировали, чтобы прояснить одну вещь: даже пытаться понять смысл происходящего было строго запрещено»<sup>22</sup>.

Всегда будут существовать обстоятельства, при которых некоторым людям, даже занимающим официальные должности, были известны лишь отдельные фрагменты всей картины. Но, как утверждала Арендт, речь идет о моральном, а не фактическом знании: «Эйхману достаточно было только вспомнить прошлое, чтобы быть уверенным, что он не лжет и не обманывает себя, ибо он и мир, в котором он жил, когда-то находились в полной гармонии. И все немецкое общество, насчитывающее восемьдесят миллионов человек, было защищено от реальности и фактов точно такими же средствами, тем же самообманом, ложью и глупостью, которые теперь укоренились в менталитете Эйхмана»<sup>23</sup>.

Сорок лет спустя Южноафриканская комиссия по установлению истины и примирению услышала несколько подобных историй. В октябре 1997 года комиссия и почти вся общественность, даже те, кто, казалось бы, привык к десятилетиям публичной лжи, были поражены последовательными отрицаниями печально известного бывшего министра полиции Адриана Влока. Не было ни малейшего сомнения в его членстве в Совете государственной безопасности, его общей ответственности за полицию и его конкретном контроле над организованными полицией эскадронами смерти. И все же он упорно придерживался двух методов отрицания. Первым было отрицание ответственности: его не только нельзя было обвинить в каких-либо нарушениях прав человека, но, будучи министром, он якобы изо всех сил старался дать указания полиции относиться к черным и белым одинаково. Любые злоупотребления, которые могли иметь место, не происходили в результате четко отданных приказов. «Мы наверху принимали определенные решения и использовали определенную терминологию, не задумываясь об этом. Они спускались в низовые структуры, где люди неправильно интерпретировали наши указания»<sup>24</sup>. Другие свидетели

---

<sup>22</sup> Ibid.

<sup>23</sup> Hannah Arendt, *Eichmann in Jerusalem: A Report on the Banality of Evil* (New York: Penguin USA, 1994; orig. edn 1965), 52.

<sup>24</sup> Все цитаты из David Beresford, «Vlok "Knew Nothing" of Police Abuses», *Guardian*, 16 Oct. 1997, и проверено по южноафриканским газетам.



также утверждали, что их намерения были «искажены» точно таким же образом: инструкции «уничтожить» конкретного активиста АНК подразумевали его удаление из района, а не убийство. Вторым методом было *отрицание знаний*. Влок утверждал, что его держали в неведении его собственные подчиненные - полицейские офицеры. Он никогда не знал о пытках и эскадронах смерти. Его язык теперь стал конкретным и абсурдно буквальным: «На моем столе никогда не было ни одного отчета, в котором говорилось бы: «Мы кого-то пытали или убили кого-то и закопали его тело». Я никогда не одобрял это, и на это никогда не обращали моего внимания». Один из самых высокопоставленных офицеров полиции Влока, генерал Йохан Кутзее, использовал те же самые выражения, чтобы отречься от каких-либо сведений об этих убийствах: «мне об этом никогда не сообщалось», «мне об этом не докладывали», «это было бы совершенно вне принятой процедуры». На вопрос адвоката, означает ли это, что он был некомпетентен, что закрывал глаза или что был соучастником убийств, Кутзее не колебался: он выбрал некомпетентность.

Некто несколько ниже в иерархии, чем Влок, дал Комиссии иную версию «знания» о той же реальности. Леон Весселс, бывший заместитель министра правопорядка, представил прекрасный анализ такого рода отрицаний:

*Я не верю, что политическая защита типа «я не знал» подходит мне, потому что во многих отношениях я считаю, что и не хотел знать... По-своему, у меня были подозрения о вещах, которые вызывали дискомфорт в официальных кругах, но так как у меня не было фактов, обосновывающих мои подозрения, или мне не хватило смелости кричать на площади, то, признаюсь, я только шептался в коридорах... Может быть, это и грубо, но я должен сказать это... Националистическая партия не проявляла пытливости в этих вопросах.*

*Не виден пытливый ум – совсем как у Эдипа. Но Весселс – источник более подходящий, чем греческие классики: это более ясное, более понятное и более точное описание, чем любой рассказ о слепых глазах, отведенных взглядах, о страусах и головах в песке. Многие учреждения – армия, полицейские силы, правительствен-*

ные ведомства, кабинеты министров, военная промышленность, учреждения опеки, где подвергаются жестокому обращению с детьми, производства, где притесняются женщины – полны людей, не обладающих пытливым умом. Эти люди и их душевное состояние фигурируют в каждом судебном процессе Комиссии по установлению истины и военных преступлений. Такие люди также участвуют в расследованиях незаконной торговли оружием, политической коррупции, дискриминации и злоупотреблений властью. Это не прямое отрицание каких-либо знаний того времени, а заявление о том, что мы либо не осознали значения события, либо не имели полной картины. Информация передавалась по принципу «необходимости знать»; задачи были разделены; все нас обманули; работа была сосредоточена на средствах, а не на целях; никто не понял всей истории.

Давайте сделаем маловероятное предположение, что это действительно так (обман Ле Карре), подобно сложности и непрозрачности. Но давайте также предположим, что изолированные ролевые игроки заметили (третьим глазом?), что происходит что-то плохое. На данный момент признание заместителя министра Весселя в недобросовестности – будь то из раскаяния или дальнейшего позерства – имеет решающее значение. Его приглушенное преуменьшение – даже ирония, если это возможно – передает суть незнания: «Националистическая партия не обладала пытливым умом в этих вопросах».

Одни и те же вопросы касаются всех исторических свидетелей, преступников и жертв: как много они *знали*, *могли* знать или *должны* были знать? В годы нацизма отрицание знаний миллионами немцев, несомненно, объяснялось недостаточной заботой о пытливом уме. Но еще миллионы – помимо тех, кто непосредственно проводил политику истребления – в правительстве и государственных учреждениях (и их сотрудники, от машинистов поездов до почтальонов) кое-что знали о массовых убийствах: не общую картину или все ее детали, но, безусловно, конкретные задачи, их цели и результаты. Хильберг заключает: «Необходимость каждой функции в процессе разрушения и взаимосвязь всех действий, совершаемых преступниками, не были темными, непрозрач-

ными явлениями. Природа этого процесса могла быть осознана и понята практикующими специалистами самого низкого ранга»<sup>25</sup>.

Это не тот контекст, в котором можно использовать такие термины, как «функция», «процесс», «феномен» и «действие». Воспоминания о зверствах и страданиях более конкретны. Представьте себе сцену на обычной пригородной вилле в Берлине в 1940 году, где располагался оперативный центр «Акции Т-4» – кодового названия программы «эвтаназии». Сидящие там мужчины и женщины заняты организацией и сокрытием убийств тысяч людей. Берли комментирует:

Бесполезно называть их «прикованными к рабочему месту убийцами», каким-то образом удаленными от убийства, поскольку даже в комнатах секретарей находились баночки с дурно пахнущими золотыми коронками, они слушали диктовку, в которой перечислялись «мост с тремя зубами», «один зуб» и так далее. Чтобы свести это описание к моральному уровню, на котором действовали эти люди, следует упомянуть, что все сотрудники Т-4 могли воспользоваться услугами стоматологов по сниженным ценам, в которых использовалось золото, извлеченное из рта их жертв<sup>26</sup>.

Способны ли эти сотрудники полностью подавить любые воспоминания о том, откуда взялись их золотые зубы?

### *Забывание*

Да, именно так говорят некоторые люди: «Это было так давно», «Я теперь уже старик»; «Весь этот период похоронен во времени». Они забыли, участвовали ли и в какой степени в подобных событиях.

Возможно, они там даже не были, а слышали об этих вещах только от других. Или более непрозрачное «интерпретативное

---

<sup>25</sup> Raul Hilberg, *Perpetrators Victims Bystanders: The Jewish Catastrophe, 1933—1945* (New York: Harper Collins, 1992), 26.

<sup>26</sup> Michael Burleigh, *Death and Deliverance: 'Euthanasia' in Germany, 1940–1945* (Cambridge: Cambridge University Press, 1994), 125.

забывание»: они помнят что-то, но не знают, что именно происходит. Если говорить о упрощении уже упрощённого, то существуют две крайние возможности. Одной из них является «подлинное», очень сильное подавление, потеря памяти или амнезия. То есть: кто-то, из тех, кто в то время был работоспособным взрослым, просто забывает, что находился в офисе «Аксьон Т-4» или в Руанде, наблюдая, как убили двадцать человек, зарубив их мачете. Поверить подобному утверждению невозможно – будь то описание мгновенного подавления посредством диссоциации (причудливое представление) или долгосрочной потери нормальной памяти. С другой стороны, забвение – это просто «прототип полноценной лжи». Вы помните, что вы сделали или что произошло – совершенно, частично или смутно – но по понятным причинам вы это отрицаете.

Существует целая непрерывная гамма возможных объяснений, заполняющих промежуток между этими крайними возможностями. Без них (как и нюансов отрицания) не существовало бы литературы двадцатого века: слабостей и неудач, белых и слепых пятен памяти, но также и ее способностей, сознательных и бессознательных, создавать, изобретать, воображать и переупорядочивать прошлое. Опыта «проскакивания» нашей памяти достаточно, чтобы доказать, что «восстановление» прошлого не всегда находится под нашим контролем. Память – это не столько картотека, которую мы открываем, чтобы просмотреть заранее выбранное досье (*моё детство, война*), сколько книга, которую мы пишем и редактируем. Чем более неоднозначно событие, тем больше места для этой «работы памяти». Гартон Эш прекрасно продемонстрировал, что даже сеть информаторов, агентов и сообщников, выявленная при открытии его собственных (или чьих-либо) файлов Штази, не дает четкого воспоминания о том, «что на самом деле происходило»<sup>27</sup>.

Политическая хитрость государственных чиновников в сочетании с информационными технологиями позволила создать новые способы забывания. Слушания по делу «Иран-контрас» в США и расследование по делу «Оружие для Ирака (Скотт)» в Великобритании выявили нечто большее, чем просто грубое уничтожение

---

<sup>27</sup> Timothy Carton Ash, *The File: A Personal History* (New York: Random House, 1997), and idem, «Bad Memories», *Prospect*, Sept. 1997, 20–3.

компрометирующих улики<sup>28</sup>. Нет необходимости массово сжигать или измельчать документы, а компьютерные данные просто стирать. Их можно перестроить в электронном виде, чтобы создать совершенно ложную хронологию событий (и список действовавших лиц), чтобы представить ее для последующих расследований, судебных процессов или исторического анализа. Более того, эти постмодернистские истории конструируются не только после события (или смены режима), но и в то время, когда что-то происходит. В идеале, отрицание должно быть запланировано таким образом, чтобы, когда участники будут давать показания позже, им не пришлось бы лгать. Как сказал Оливер Норт Специальному комитету: «Моя память была уничтожена». В этом странном мире (пародируемом сагой о Клинтоне и Левински) содержание памяти – это не то, что вы можете вспомнить, а то, что другим людям разрешено говорить вам о том, что вы знали. Министры сообщили в ходе расследования Скотта, что им часто приходилось спрашивать своих государственных служащих, какие документы они видели в прошлом и, следовательно, что они могли считать известным позже. Воспоминания о настоящем заранее фальсифицируются, чтобы гарантировать, что будущие утверждения о забвении и незнании верны.

Но что в современное, что в постмодернистское время, существуют некоторые злодеяния, некоторые образы страданий, которым просто не место в этих парадных зеркальных залах. Преступники и наблюдатели только делают вид, что забыли. С жертвами такое почти никогда не случается. У них могут быть фазы забывания или отрицания, но большинство из них большую часть времени – в отличие от модели вытесненной травмы – совершенно неспособны избавиться от своих воспоминаний. После недавних разоблачений о детях, подвергшихся сексуальному насилию в католических приютах, прошло около тридцати лет, прежде чем личные воспоминания стали достоянием общественности. Но за все это время эти личные воспоминания ни разу не были подавлены. Для самых бессильных жертв, таких как семьи в Южной Африке, кото-

---

<sup>28</sup> See Michael Lynch and David Brogen, *The Spectacle of History: Speech, Text and Memory at the Iran Contra Hearings* (Durham, NC: Duke University Press, 1996), and Richard Norton-Taylor et al., *Knee Deep in Dishonour: The Scott Report and its Aftermath* (London: Gollancz, 1996).

рые десятилетиями молчали, боль от рассказа повторяет первоначальное страдание: «Это внутри меня ... борется с моим языком. Оно разрушает ... слова. Прежде чем его взорвать, ему отрезали руки, чтобы невозможно было снять отпечатки пальцев... Так как мне это сказать? – это беда... Я хочу вернуть ему руки»<sup>29</sup>.

После первых волн разоблачений литература воспоминаний-свидетельств людей, переживших Холокост, стала больше ориентироваться на коллективное признание памяти. Проблема не в том, чтобы запомнить историю – большинство слушателей знают публичную историю, – а в том, что вам нужно найти и осмыслить воспоминания, в которые вы сами не можете полностью поверить. Невозможность заключается не в том, чтобы увидеть прошедшую реальность, а в восприятии ее как реальности: «восстановить посредством памяти то, что в силу невозможности своего содержания уже ... выпало из памяти»<sup>30</sup>. Некоторые выжившие вспоминают, как пытались убедить других поверить в то, во что они сами не могут до конца поверить.

Такие свидетельства требуют больше, чем обычных способностей вспомнить. Выжившим приходится бороться с разрушительной памятью, чтобы найти хоть какую-то связь между своими воспоминаниями и остальной жизнью. Ужасы происходили в «альтернативных реальности и времени». Обычная «общая память» пытается локализовать эти переживания в каком-то знакомом повествовании, чтобы «уменьшить» или даже нормализовать злодеяния. Но под поверхностью находится «глубокая память», которая разъедает моральный комфорт и выключает возникшую веру<sup>31</sup>. Пропасть между обычной и глубокой памятью возникает из-за реальности, которую было запрещено познать – в смысле ассимилировать – в свое время. Попытки зафиксировать, передать и сохранить доказательства во время реальных событий (тайные записи, спрятанные дневники, фотографии, сделанные тайком)

---

<sup>29</sup> Выдержка из свидетельских показаний перед South African Truth and Reconciliation Commission, цитируется в Antjie Krog, *Country of My Skull* (London. Jonathan Cape, 1998).

<sup>30</sup> Lawrence L. Langer, *Holocaust Testimonies: The Ruins of Memory* (New Haven: Yale University Press, 1991), 40.

<sup>31</sup> Ibid., 9. See ch. I: «Deep Memory: The Buried Self».

оказались недостаточными для того, чтобы «свидетельствовать», поскольку это было за пределами человеческих способностей и желания понять, что происходит<sup>32</sup>. Именно «обстоятельства *нахождения внутри события* сделали невозможной саму мысль о том, что свидетель может существовать»<sup>33</sup>.

### *Условное признание*

Преступников, конечно, тоже может посещать чувство невообразимости происходившего: «Как я мог сделать что-либо подобное?». Но это уже признание, если еще не свидетельство. В трибунале по военным преступлениям мало кто из обвиняемых способен «откровенно признаться» и сказать что-то вроде: «Да, я сделал все, что указано в обвинительном заключении». Делайте со мной, что хотите. Как и обычные обвиняемые по уголовным делам, они (и их высококвалифицированные адвокаты) защищают свое право на отрицание. Некоторые случаи прошлого были настолько ужасными, а ложь настолько вопиющей, что даже если признание сопровождается принятием ответственности и выражением раскаяния, это может быть (и часто интерпретируется так) тактической уловкой с целью добиться более мягкого приговора. Это более вероятно в таких образованиях, как Южноафриканская комиссия по установлению истины и примирению, где публичное высказывание правды («полное раскрытие») и выражение раскаяния помогают получить иммунитет от судебного преследования.

Многие считают, что такое признание дается слишком легко. Вид ранее нераскаявшихся расистов внезапно превращающихся в толерантных мультикультурных либералов неприятен. «Действи-

---

<sup>32</sup> Dori Laub, «An Event without a Witness: Truth, Testimony and Survival» in Shoshana Felman and Dori Laub, *Testimony: Crises of Witnessing in Literature, Psychoanalysis and History* (New York: Routledge, 1992). Эта книга, увы, является типичным (хотя и не самым ярким) примером того, как гуманистические идеи становятся модным академическим хламом. После некоторой доли здравого смысла в отношении трудностей свидетельствования нам говорят: «Можно сказать, что исторически не было свидетелей Холокоста ни снаружи, ни внутри события» (стр. 81). Действительно? И «этот крах свидетельства, на мой взгляд, является центральным в опыте Холокоста» (стр. 80). Действительно? Большинство из нас думает, что массовое убийство шести миллионов человек было «центральным моментом опыта Холокоста».

<sup>33</sup> Ibid., 81.

тельно» ли они изменились, или же их просто подхватила волна истории, вынудившая публично пересмотреть свои политически некорректные биографии? Оказывается, все на самом деле были более невинны, даже намного лучше, чем казалось в свое время. Нет, они не то, чтобы «не знали», но они всегда втайне были недовольны старой системой. Это то, что Арендт первоначально назвала «внутренней оппозицией» или «внутренней иммиграцией»<sup>34</sup>. После войны многие люди – даже те, кто был в руководстве Рейха – говорили себе и миру, что они всегда были «внутренними противниками режима». Лозунг «внутренней иммиграции» теперь стал плохим термином во многих частях мира. Южноафриканцы особенно цинично относятся к очевидной легкости, с которой некоторые из самых злостных преступников восприняли риторику «новой Южной Африки», как будто прошлого никогда не существовало. Теперь выясняется, что никто, даже государственные служащие и политики, никогда не верил в необходимость апартеида.

## Коллективные отрицания, публичные истории

Культурологические версии психологических концепций – коллективная память, культурные репрессии, коллективное отрицание, общее забывание, социальная амнезия – предполагают, что все общество может забывать, подавлять или отмежеваться от своего дискредитирующего прошлого. Это может произойти либо в результате официальной государственной политики (преднамеренного сокрытия, переписывания истории), либо в результате культурно-исторического отставания, при котором информация просто остается невостребованной. Личное отрицание исторических событий опирается на эти общие нарративы. Вам легче «ничего не знать», если ваше общество утверждает, что «у нас не могло произойти ничего подобного». Организованное отрицание работает успешнее всего, когда люди предпочитают «не иметь пытливого ума». Медленное культурное забвение работает лучше всего, когда могущественные силы заинтересованы в том, чтобы люди молчали.

---

<sup>34</sup> Arendt, Eichmann in Jerusalem, 126–7.



### *Классическое сокрытие*

Вот два ставших классическими примера сокрытия злодеяний. Первый: резня в Бабьем Яру в 1941 году. Немцы за два дня расстреляли 33000 евреев. Тела сначала хоронили в братских могилах, затем снова раскапывали, чтобы уничтожить все улики; месяц работали бульдозеры, тела облили бензином и сожгли; заключенные концентрационных лагерей, задействованные в этом проекте, позже сами были убиты. Вторая: тщательно продуманная мистификация, устроенная в 1943 году в Терезиенштадте для прибывшей делегации Красного Креста. Были посажены сады, одно из зданий переоборудовано под синагогу и установлен памятник в честь погибших евреев; оркестр играл вальсы Штрауса, показывали фильм, как хорошо живут заключенные, исполняли детскую оперу. (После этого большую часть актерского состава, включая почти всех детей, отправили в Освенцим.)

Вариации на тему Бабьего Яра (количество, обстоятельства, методы) можно найти в любом отчете по правам человека о политических убийствах. А всех политиков, журналистов и политических паломников направили в места, не столь крайне преобразованные как Терезиенштадт, продемонстрировав счастливых заключенных, улыбающихся крестьян, веселых рабочих. (Времена изменились: есть риск, что политические деятели и международные гуманитарные работники теперь столкнутся с еще большими страданиями, чем они могли вообразить.)

### *Организованное государством отрицание*

Приведенные два варианта сокрытия, не отстоящего далеко во времени от самих событий, объединяются в стандартный дискурс официального отрицания, рассмотренный в предыдущей главе. Чарни даже предложил набор «шаблонов для отрицания ставшего известным геноцида»<sup>35</sup>. К ним относятся:

- Не признавать факт геноцида.

---

<sup>35</sup> Israel W. Charny, 'The Psychology of Denial of Known Genocides', in Idem (ed.), *Genocide: A Critical Bibliographical Review*, vol. 2 (London: Mansell, 1992), 3–37.

- Прямые отрицания не должны исходить от правительства или высоких лидеров, а только от чиновников и анонимных представителей.
- Отрицать факты геноцида, описывая их как события иного рода.
- Представлять преступников как жертв, а жертв как преступников (или как меньших жертв, чем другие).
- Не только полностью отрицать факты геноцида, но и выдвигать встречные заявления о том, что с жертвами обращались хорошо.
- Настаивать как можно дольше на том, что все данные недоступны, что обвинения основаны на фальсификациях и мистификациях, и что необходимы дальнейшие исследования и/или что новые исследования опровергают утверждения о геноциде.
- Подвергать сомнению статистику, чтобы число погибших было меньше, чем обычно заявляется.
- Перейти от фактов геноцида к некоему относительному сравнению, смягчающему ужас этих событий.
- Отодвинуть событие во времени – все произошло так давно, сегодня появилось новое поколение людей (преступников), почему бы не дать ранам зажить?

Наиболее последовательная, резкая и тщательно организованная государством попытка скрыть историю прошлых зверств, соответствующая большинству этих шаблонов – восемьдесят лет отрицания сменявшими друг друга турецкими правительствами геноцида армян в 1915–1917 годах. По меньшей мере миллион армян были непосредственно убиты, погибли в результате голода или принудительной депортацией. Эти события задокументированы в османских источниках, а также в дипломатических отчетах того времени, свидетельствах выживших и более поздних исторических исследованиях<sup>36</sup>. Это не обычная история, когда

---

<sup>36</sup> Пример раннего описания того, как турецкий геноцид армян был отрицаем и забыт, см. Leo Kuper, *Genocide* (Harmondsworth: Penguin, 1981). Более поздние обзоры: Richard Hovannisian, *Remembrance and Denial: The Case of the Armenian Genocide* (Detroit: Wayne State University Press, 1999), and Vahakn Dadrian, *Warrant for*

первоначальные неподтвержденные слухи уступают место определенным истинам (как в недавней саге о бывшей Югославии). Скорее наоборот: истины, которые в то время были несомненными и являлись объектом международного внимания, превратились в спекуляции, слухи и неопределенности. Первоначальное отрицание вошло в коллективную культуру Турции и постепенно стало более распространенным за ее пределами: события не имели места; Турция не несет ответственности за гибель людей; гибель армян была непреднамеренным побочным продуктом плохих условий жизни; термин «геноцид» неприменим (по крайней мере, это предмет для дискуссий).

На международном уровне безразличие сменилось забвением. Турецкому правительству в качестве государства-сателлита удалось заставить американскую сверхдержаву отказаться от своего предыдущего признания того, что произошло. Со времен холодной войны и по сей день Турция использовала свою стратегическую ценность для НАТО, чтобы заставить США и другие правительства поддерживать отрицание. В 1980-х годах Конгресс отказался от первоначальной поддержки чествования памяти погибших, а администрация согласилась не упоминать армянский вопрос в Организации Объединенных Наций. Турецкое правительство использует агентства по связям с общественностью для производства неприкрытой пропаганды и дезинформации, инструктирует дипломатов по методам отрицания, пытается подвергнуть цензуре учебники, закрывает архивы и, предположительно, даже подделывает документы, а также платит ученым за дискредитацию критических научных исследований.

Одним из горьких эпизодов таких манипуляций стала попытка Турции отменить Международную конференцию по Холокосту и Геноциду, организованную в Тель-Авиве в июне 1982 года. На карту было поставлено будущее турецко-израильских отношений; начали циркулировать смутные намеки на риски для евреев в Турции. Израильское правительство вступило в позорное сотрудничество, оказывая давление на организаторов, чтобы те отменили либо всю конференцию или сессии, на которых упоминался армянский вопрос, либо отозвали приглашения армянским ученым. Правитель-

ство связалось с участниками и попросило их не приезжать, затем предложило перенести встречу в другую страну, а затем отозвало финансовую поддержку и официальное признание. Организаторы конференции выдержали все это давление, и мероприятие прошло по плану<sup>37</sup>.

Новые поколения армян – особенно после 1965 года, пятидесятой годовщины зверств – начали нарушать молчание и пытаться вернуть свою историю. Но армянские церкви и памятники в Турции были разрушены, а на международной арене турецкое правительство продолжает свои первоначальные отрицания и попытки стереть любые памятные даты – двойная угроза существованию армян.

Лишь немногие отрицания поддерживались с таким упорством в течение столь длительного периода. Типичные случаи в наше время соответствуют иной схеме: мероприятие происходит в закрытой обстановке; преступники создают внутреннюю систему отрицания, которую часто поддерживают их преемники; круги выживших и очевидцев знают правду, но слишком слабы, чтобы разорвать этот круг; в конце концов – из-за политических перемен или разоблачений – исследователи, историки, журналисты или Комиссия по установлению истины начинают раскрывать то, что было скрыто.

Расследование Даннера о том, как обстоят дела с правдой об убийстве в отдаленной сальвадорской деревне Эль-Мосоте в 1981 году, выявляет детальную микрополитику такого типа отрицания<sup>38</sup>. Члены формирований, прозванных в США бригадами Атлакатль, последовательно убили около 794 человек, многие из которых – маленькие дети. Основные детали резни стали известны и представлены практически сразу. *New York Times* опубликовала фотографии и заслуживающий доверия отчет. Без задержки в дело вступила официальная машина отрицания. Два сотрудника американского посольства подготовили отчеты для Госдепартамента, призванные

---

<sup>37</sup> Подробности изложены в материалах конференции, опубликованных Институтом Международной конференции «Холокост и геноцид», Иерусалим, 1983 год. Только президент конференции Эли Визель (после того, как к нему обратилось министерство иностранных дел Израиля) был готов пойти на сделку об отмене конференции, и сам на ней не присутствовал.

<sup>38</sup> Mark Danner, *The Massacre at El Mozote: A Parable of the Cold War* (New York: Vintage, 1994).

(по их собственным словам) «вызвать доверие среди людей, чьи приоритеты не заключались в том, чтобы выяснить, что именно произошло». Журналист *New York Times*, опубликовавший эту историю, был выдворен из Центральной Америки под давлением Госдепартамента. Правительственные чиновники США прибегали к изощренным лингвистическим уловкам и хитростям, чтобы опровергнуть всю эту историю: сообщения, даже если они основывались на рассказах очевидцев и фотографиях, считались «невозможными проверить и подтвердить» и, следовательно, ложными. Отрицание было явно создано для того, чтобы избежать противодействия возобновлению помощи репрессивному режиму Сальвадора, и в него с готовностью «верили» сговорившиеся политики. В 1992 году, через одиннадцать лет после резни, массовые захоронения были эксгумированы, и правда была раскрыта Комиссией ООН по установлению истины, созданной в соответствии с мирными соглашениями для расследования прошлых злоупотреблений со стороны правительства и оппозиции.

Для контраста рассмотрим два европейских государства всеобщего благоденствия. Во-первых, Швеция: с 1935 года, достигнув пика в 1946 году и остановившись только в 1976 году, шведское правительство насильственно стерилизовало около 60 000 женщин. Это было частью программы по избавлению Швеции от «низших» расовых типов и популяризации арийских черт. Среди жертв были женщины с трудностями в обучении, женщины из бедных семей или те, кто не принадлежал к «общей нордической крови». В школьных и исторических учебниках не было никаких упоминаний об этой сорокалетней программе. Во-вторых, Нидерланды: до конца 1960-х годов министерство финансов Нидерландов хранило большие запасы золота, серебра, ювелирных изделий и домашних ценностей, конфискованных нацистами у голландских евреев в 1940-х годах. Владельцы были умерщвлены в лагерях смерти, потому что собственность так и не была возвращена. Но вместо того, чтобы отследить возможных наследников и попытаться вернуть все это, Министерство финансов организовало в 1969 году не афишировавшийся внутренний аукцион среди своих сотрудников. Принять участие захотело так много людей (начальные цены предлагались по налоговой стоимости 1958 года), что чиновникам пришлось разыграть лоты для аукционных мест. Все эти государственные

служащие точно знали, что покупают: денежные средства и депозиты за ценности были тщательно зарегистрированы как «не востребованная евреями собственность». Голландская ежедневная газета *De Volkskrant* задавалась вопросом: «Каким должен был быть человек, способный подарить своей жене серьги, сорванные с еврейки, отравленной газом в Освенциме?»

### *Идеологическое отрицание*

Движение отрицания Холокоста не только самый известный, но и самый уникальный случай организованного отрицания: полностью идеологизированного, но организованного не государством-правонарушителем и не его преемниками. История движения и распространяемая им «ревизионистская» история уничтожения европейских евреев описаны достаточно подробно<sup>39</sup>. «Движение» состоит из крошечных, маргинальных и практически неизвестных групп – антисемитских, расистских и фашистских, – слабо связанных с сетью международных организаций, незначительно представленных публикациями и интернет-сайтами. Помимо периодических мероприятий в средствах массовой информации и возбуждаемых против них судебных дел, их основная активность развивалась в кампусах американских университетов. Студенческие газеты стали питательной средой «дебатов» отрицания при мощной совместной поддержке традиционных либеральных ценностей свободы слова, постмодернистской политики идентичности и бездумного мультикультурализма.

Смысл их «послания» заключается в том, что каждое мнение должно быть опубликовано, и все факты должны быть доступны для ознакомления. Отвержение историками-ревизионистами всего Холокоста как «мистификации» или «мифа» – это всего лишь еще одна точка зрения: евреи умерли по естественным причинам или от переутомления в трудовых лагерях; нет никаких доказательств существования газовых камер (газ был слишком слаб, чтобы убить людей, и использовался только для дезинсекции; на самом деле камеры были построены американцами и русскими после войны);

---

<sup>39</sup> Deborah Lipstadt, *Denying the Holocaust: The Growing Assault on Truth and Memory* (New York: Free Press, 1994).

«Окончательное решение» – это сионистский миф, созданный для усиления поддержки Израиля. Какой бы фанатичной и просто безумной ни была эта литература, она заслуживает внимания хотя бы потому, что логика всех отрицаний злодеяний схожа. Техники отрицания Холокоста опираются на стандартный репертуар, присутствующий во всех формах пропаганды<sup>40</sup>. Частичный успех «реви-зионистов» в провоцировании ответной реакции и придании хотя бы формальной респектабельности риторике отрицания<sup>41</sup> демонстрирует, насколько проще то же самое сделать, чтобы другие, гораздо более неясные случаи были забыты и отвергнуты. Или же отрицание Холокоста – это всего лишь одна из «странных вещей» (наряду с НЛО, телевизионными экстрасенсами, похищениями инопланетянами, тем, что Элвис Пресли все еще жив), в которые верят многие люди, особенно американцы<sup>42</sup>.

Другие случаи исторического отрицания являются идеологическими в том смысле, что они являются шаблонными, но не имеют за собой какого-либо движения. За годы до того, как массовые зверства 1994 года в Руанде привлекли внимание средств массовой информации, Лемаршан называл забвение Западом предыдущих геноцидных массовых убийств в Руанде и Бурунди «политической этнической амнезией»<sup>43</sup>. Забвение гомосексуалистов и цыган как жертв нацизма является особенно вопиющим случаем. Цыгане были

---

<sup>40</sup> Roger Fatwell, «The Holocaust Denial: A Study in Propaganda Technique», in Luciano Cheles et al. (eds), *Neo-Fascism in Europe* (London: Longman, 1991), 120–46.

<sup>41</sup> Большое внимание было уделено поразительному результату опроса Ропера, проведенного в апреле 1993 года – около 22 процентов опрошенных представителей общественного мнения США считают возможным, что Холокоста никогда не было. Позже выяснилось, что вопросы были плохо сформулированы и сильно переоценили степень фактического отрицания. Анализ двенадцати дополнительных опросов показывает, что около 2 процентов последовательно и решительно отрицают; еще 2 процента считают возможным или вероятным, что Холокоста не было; где-то от 1 до 8 процентов не уверены, но выражают скорее незнание, чем сомнение. Большая часть неуверенности и сомнений возникает из-за общего исторического невежества, а не из-за поглощения неонацистской идеологией. См.: Tom W. Smith, «Poll Review: The Holocaust Denial Controversy», *Public Opinion Quarterly*, 59 (1995), 269–95.

<sup>42</sup> Martin Shermer, *Why People Believe Weird Things: Pseudoscience, Superstitions and Other Confusions of Our Time* (New York: W. H. Freeman, 1998).

<sup>43</sup> Rene Lemarchand, «Burundi», in Helen Fein (ed.), *Genocide Watch* (New Haven: Yale University Press, 1992), 70–86.

явными объектами геноцида, определяемого теми же законами, что и евреи, и уничтожались они таким же образом (20000 из полумиллиона умерщвлённых цыган были убиты нацистами в Освенциме). Но Porraijmos («великое пожирание», цыганский эквивалент слова «Шоа») не получил ни культурного отражения, ни литературных традиций, ни влиятельного спонсора. Другие массовые убийства – в Уганде, Бенгалии, Аче в Парагвае – напроочь затерялись в официальной истории.

Существуют также стратегические и идеологические сдвиги, соответствующие разным временам. Во время худших ужасов режима Пиночета в Чили хорошо информированные люди среднего класса, которые, должно быть, знали об исчезновениях и пытках, просто отрицали происходящее. После перехода к демократии они открыто признали, что эти злоупотребления имели место, но перешли к оправданиям: нынешняя стабильность и экономический успех оправдали хунту – необходимо было спасти страну от хаоса, который устроил Альенде<sup>44</sup>.

### *Культурное отставание*

Наиболее укоренившиеся формы культурных вытеснений становятся частью общепризнанной реальности: слепые пятна, общие иллюзии и зоны молчаливо отрицаемой информации. Когда причины этих «слепых пятен» идеологические и принудительные – истории, которые государство предпочитает не раскрывать, – тогда фрейдистское понятие «репрессии» становится удивительно актуальным. Коллективная память принимает заданную форму путем подавления.

Однако неприятные знания можно забыть без прямых манипуляций со стороны государства. Целые общества обладают удивительной способностью отрицать прошлое – не забывая его на самом деле, а сохраняя общественную культуру, которая, кажется, все забыла. Слепой глаз – это глаз, обращенный в другую сторону. Когда обстоятельства меняются – возобновилось давление со сторо-

---

<sup>44</sup> Некоторые чилийцы, конечно, использовали обе стратегии сразу, ничего не произошло, и это было оправдано. Однако немногие осмелились бы добавить третью точку зрения, которую леди Тэтчер упомянула в 1999 году: мы должны быть благодарны генералу Пиночету за восстановление демократии в Чили.



ны жертв, случайное открытие архива – тогда передовицы газет (без иронии) напоминают нам, что это «то, что мы всегда знали». Драматические политические потрясения в Восточном Тиморе в 1999 году заставили немедленно признать молчание о зверствах прошлого. Но источники этого отрицания слишком глубоки, и тиморцы преданы забвению.

Такие формы познания оттеняются архетипическим *секретом Полишинеля*: известно всем, но сознательно не известно. Отрицания могут быть инициированы государствами, рассчитывающими на то, что их граждане помогут сохранить видимость. Или, как в представлении Фуко о стратегии без стратега, стена принятого умолчания возводится без какого-либо ответственного органа. Некоторые откровения слишком откровенны, чтобы их раскрывать. «Выносить сор из избы» – любопытная метафора, ибо она, вопреки намерению, признает, что есть что скрывать.

Катынская резня была организованным государством отрицанием, подпитываемым культурным отставанием, но всегда сохранявшимся в частной памяти. В марте 1943 года русские солдаты убили около 14 700 офицеров польской армии и 10 600 польских узников НКВД. Тела 4000 офицеров немецкая армия обнаружила в Катынском лесу под Смоленском. Лишь в 1990 году советские чиновники отказались от своих утверждений о том, что палачами были немцы. Это был классический сталинский секрет полишинеля: большинству польских детей, родившихся после войны, рассказали правду о Катыни и научили их отвергать советское и польское коммунистическое прикрытие. Власти настаивали на лжи, прекрасно понимая, что им никто не верит. Как утверждает Гавел, в ложь не обязательно верить, когда вы участвуете в публичных ритуалах, подтверждающих принятие лжи. В октябре 1992 года Ельцин передал польскому правительству оригинал соответствующего совершенно секретного решения о казнях, принятого непосредственно Политбюро.

Еще одним примером является недавнее разоблачение сионистских мифов о возникновении проблемы палестинских беженцев в 1948 году. Израильская история о том, что палестинцы покинули свои дома по указанию своих лидеров и в ожидании возвращения после победы над врагом, всегда вызывала споры. Арабская же пропаганда преувеличивала утверждения о том, что все

палестинцы были насильственно изгнаны из своих домов. Теперь группа израильских «новых историков» (к сожалению, когда-то названных «историками-ревизионистами» – термин, используемый для отрицателей Холокоста) тщательно задокументировала преднамеренную сионистскую политику насильственного изгнания и депортации палестинцев из их деревень. Около 400 деревень были опустошены во время войны или разрушены в течение следующих пяти лет и стали буквально поселениями-призраками. Израильский истеблишмент был возмущен тем, что «свои собственные» интеллектуалы так тщательно показали то, что все остальные хранили в личной памяти. Термин «этническая чистка» был бы анахронизмом, но вполне уместным.

Тем временем палестинцы тщательно составили «книги воспоминаний» о тех слоях отрицания, через которые прошла каждая деревня, прежде чем была окончательно стерта с карты. Арабская деревня Эйн-Худ, существовавшая до 1948 года, является символом всей трансформации: она стала еврейской Эйн-Ходом, деревней израильских художников, жители которой и ее космополитичные гости из других стран не «знали» ее историю и не «видели» окружавшие их остатки Эйн-Худ аль-Джадида, населенного арабо-израильскими «внутренними беженцами» и обозначенного как «незаконный»<sup>45</sup>.

Примеры можно было бы продолжить. Исторические скелеты складываются в шкафы вследствие политической необходимости быть невиновными в тревожном признании; они остаются скрытыми из-за политически мотивированного отсутствия пытливого ума.

---

<sup>45</sup> О хитросплетениях этой двойной истории Эйн-Хода, сионистской и палестинской истории, см. Susan Slyomovics, *The Object of Memory: Arab and Jew Narrate the Palestinian Village* (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1998). Она несколько переборщила с «противоречиями» между дадаистской идентичностью Марселя Янко, художника-основателя в 1953 году еврейского движения «Фин Ход», и его сионистским национализмом: «Дадаизм предоставил сионизму культурное и интеллектуальное алиби, своего рода абсурдистский цинизм и эстетическую оболочку, призванную скрыть непримиримое лишение избирательных прав всего, что было и есть арабским» (стр. 7). Вряд ли дада понадобилось для сионизма вообще или для превращения мечети Фин Худа в бар-ресторан.

## 6

## Государства-Наблюдатели

Я возвращаюсь к своей основной теме – реакции на знание о страданиях других. Я различаю *внутреннее наблюдение*, то есть наблюдение за событиями внутри своей страны – узнавание того, что происходит вокруг вас, в вашем собственном обществе, – и *внешнее наблюдение* – знание о событиях в других странах. В любом случае термин «пассивный наблюдатель» (или «эффект пассивного наблюдателя») относится, строго говоря, только к людям, которые уже видели, знали или слышали о ситуации, но еще не отреагировали на нее. До этого момента они всего лишь свидетели. Но в отличие от аналогичных терминов – «зрители», «прохожие», «аудитория», «наблюдатели» – слово «сторонний наблюдатель» приобрело уничижительные значения пассивности и безразличия.

### Пролог: «У нас этого не может случиться»

Если даже потенциальные и возможные жертвы, несмотря на явное нарастание напряженности и предупреждающие знаки, могут отрицать или преуменьшать собственные риски («здесь этого не может случиться... не с такими людьми, как мы»), не верят, что немыслимое уже происходит с ними, то, конечно, нельзя ожидать, что сторонние наблюдатели лучше поймут истинный смысл происходящего. Это может быть неискренним уклонением от ответственности за отказ от расследования или вмешательства. Но, как мы знаем на примере многих неполитических случаев, культура отрицания жертвами действительно существует.

Самообман в восприятии «Окончательного решения» европейскими евреями стало прототипом коллективного отрицания. В тридцатые годы мало кто воспринимал риторику Гитлера всерьез. Нацизм рассматривался как временное явление, недоразумение, которое нужно терпеть, пока оно само не пройдет. В Германии

каждая новая антиеврейская мера, каждая эскалация преследований рассматривались как последние. Даже когда начались массовые убийства, слухам, а затем подтвержденным сообщениям и рассказам выживших, не поверили. Лакер перечисляет известные отрицания: «Это похоже на традиционные погромы ... просто единичные случаи, дело рук местного командира... Хуже этого не может быть... Немцы культурные, это Европа, а не джунгли... это не может случиться с невинными людьми... здравый смысл подсказывает нам, что эти истории не могут быть правдой»<sup>1</sup>.

На всех этапах, вплоть до самого конца, царил массовый обман, секретность и дезинформация – поэтапная рассылка фальшивых открыток из лагерей, уверяющих семьи, что все в порядке; кодированный язык; тщательно продуманная мистификация душевых комнат. Самообман и жестокая версия «оптимистической предвзятости» позволили этой лжи сработать и избежать дурных предчувствий. Людей легко обмануть, но они также легко начинают подыгрывать лжецам. Природу и масштаб «Окончательного решения» невозможно было себе представить. Мы спрашиваем: «Почему они не видели, чем все закончится?» Но ожидания от будущего основаны на знании прошлого. Вряд ли можно было предвидеть тотальное истребление или газовые камеры, если о них никогда не слышали и не задумывались<sup>2</sup>. Вывод Арендта более суров: «самообман должен был быть развит до высокого искусства, чтобы позволить венгерским еврейским лидерам поверить в этот момент [после прибытия Эйхмана в Будапешт в марте 1944 года], что «здесь этого не может случиться» ... и продолжать верить в это, даже когда реальность каждый день противоречила этому убеждению»<sup>3</sup>.

Эти формы культурного отрицания были построены на прочном историческом фундаменте. Примо Леви предпринимал попытки объяснить, почему немецкие евреи в тридцатые годы, несмотря на наличие стольких предостерегающих сигналов, все еще

---

<sup>1</sup> Walter Laqueur, *The Terrible Secret: Suppression of the Truth about Hitler's Final Solution* (Boston: Little Brown, 1980), ch. 5. See also Raul Hilberg, *Perpetrators, Victims, Bystanders: The Jewish Catastrophe, 1933—1945* (New York: Harper Collins, 1995).

<sup>2</sup> Lawrence L. Langer, *Holocaust Testimonies: The Ruins of Memory* (New Haven: Yale University Press, 1991), 20—2.

<sup>3</sup> Hannah Arendt, *Eichmann in Jerusalem: A Report on the Banality of Evil* (New York: Penguin USA, 1994; orig. edn, 1965), 196.

находили способы отрицать очевидные опасности и выдумывать «удобные истины». Как и противостоявшие им арийцы, пишет он, «они не только не предвидели, но и были органически неспособны осознать террор, направляемый государством, даже когда он уже был вокруг них»<sup>4</sup>. Он цитирует старую немецкую мудрость: «Вещи, существование которых морально невозможно, не могут существовать».

В своем душераздирающем романе «Баденхайм 1939» Аппельфельд передает пугающее отсутствие немыслимых фактов<sup>5</sup>. На дворе весна 1939 года, и Баденхайм, курортный город недалеко от Вены, готовится к летнему сезону. Приезжают постоянные отдыхающие из еврейского среднего класса. Герои, погруженные в свою личную жизнь, умудряются неверно истолковывать каждый сигнал своей судьбы. Вскоре появляются люди, которые на являются обычными отдыхающими. Медленно, почти незаметно происходит осознание того, что мы, читатели, знаем с самого начала.

Евреи-ишув (в догосударственный, мандатный период в Палестине) также демонстрировали отрицание и пассивность в отношении разворачивающихся в Европе событий Холокоста<sup>6</sup>. Одна из экстраординарных стратегий состояла в том, чтобы вытеснить настоящее в прошлое. С самых первых дней войны, то есть с конца 1939 года, политическое руководство начало потихоньку говорить о Холокосте так, как будто он уже закончился. Сегев интерпретирует это как способ справиться с ужасными новостями из стран, из которых они приехали или о которых знали, – и с собственным бессилием. Таким образом, «вместо того, чтобы думать о Холокосте в терминах, требующих эффективных и немедленных действий, они изгнали его из реального времени в историю»<sup>7</sup>. Газеты сформулировали эту историю так, как будто она имела место давным-давно. В то время как массовые убийства еще продолжались, руководство уже начало обвинять друг друга в апатии и неспособности спасти людей – как будто событие давно закончилось. Некоторые

---

<sup>4</sup> Primo Levi, 'Beyond Judgement', New York Review of Books, 17 Dec. 1987, 14.

<sup>5</sup> Aharon Appelfeld, *Badenheim 1939* (Boston: David Goine, 1980).

<sup>6</sup> Подробно задокументировано в: Tom Segev, *The Seventh Million: The Israelis and the Holocaust* (New York: Hill and Wang, 1993).

<sup>7</sup> Ibid., 103.

даже начали задумываться о мемориалах. В сентябре 1942 года впервые прозвучало предложение установить мемориал жертвам. Для обсуждения этого вопроса была создана комиссия. Вскоре после этого задуманному мемориалу было присвоено имя, которое он впоследствии получил – *Яд Вашем*: «не было более ясного, более гротескного, даже жуткого выражения тенденции думать о Холокосте в прошедшем времени: ведь в то время как ишув обсуждал наиболее подходящий способ увековечить их память, большинство жертв были еще живы»<sup>8</sup>.

Выжившие остро осознают имевшее место отрицание. Они помнят *собственную* неспособность поверить в то, что происходящее – это на самом деле. Теперь, когда зверства снимаются в прямом эфире, а выжившие сразу же опрашиваются в режиме «реального времени», мы видим, что эти воспоминания о нереальности точны. Это не просто культурные предположения, собранные после мероприятия. Лица, голоса и жесты этнических албанок, изгнанных из Косово, мужчин которых забрали сербские ополченцы, демонстрируют страх и шок, но также и галлюцинаторную неспособность понять, что с ними произошло. Они выглядят как персонажи из их собственных снов. Это ощущение только усиливает их страх, что даже если они выживут и дадут показания, *другие* не поверят в случившееся.

## Внутренние свидетели

Термин «внутренние свидетели» относится к знанию о зверствах и страданиях внутри вашего собственного общества. Большинство объяснений пассивности – не замечать, ничего не делать, проходить мимо – основано на психологических моделях, вдохновленных случаем Китти Дженовезе. Эти последние выигрывают от того, что являются «ситуативными»: мы можем наблюдать и даже варьировать переменные в ситуации (количество свидетелей, личность жертвы, степень страдания), идентифицировать типичные ситуации, в которых находятся свидетели (хулиганы на детской площадке, нищие на улице, сосед нападение

---

<sup>8</sup> Ibid., 104.

на жену) и определить последствия (нет сочувствия к жертве, сочувствие ощущается, но нет действий, сочувствие и действие).

Однако эта концентрация на ситуации также является слабостью модели: отсутствует внешний социальный контекст. Мы используем те же концепции, чтобы перейти от наблюдателей за ребенком, унижаемым его отцом в супермаркете, к свидетелям того, как их друзья расстреливают своих соседей на деревенской площади; от отказа остановиться, чтобы помочь застрывшему на шоссе автомобилисту, до закрытия двери еврейской семье в Польше, ищущей убежища от нацистов. Я сам слишком легко совершил эти перескоки. Обобщив ситуационный подход, я рассмотрю некоторые более широкие политические культуры.

### *Ситуации*

Школьник наблюдает, как его одноклассники издеваются над другим мальчиком; соседи видят на улице кричащую и подвергающуюся нападению женщину: это прототипы пассивности как нежелания помочь, или попытаться узнать больше, или высказаться. И здесь снова знакомые ситуационные причины: *неправильное восприятие* – непонимание происходящего; *распыление ответственности* – когда присутствует слишком много других, каждый человек с меньшей вероятностью окажет помощь; *страх* – самому стать жертвой; *отрицание* – блокирование любого осознания значимости события; *отсутствие эмпатии*; *границы* – жертвы находятся за пределами вашего пространства моральных обязательств; *психическое онемение* – снижение способности чувствовать; *рутинизация и десенсибилизация* – каждый последующий элемент страдания становится предсказуемым, нормальным и без особого императива реагирования; *нет канала помощи* – вы не знаете, как поступить (что делать, кому сказать), чтобы изменить ситуацию; *идеологическая поддержка* – зрители, разделяющие мировоззрение преступников, явно не вмешиваются.

Но как эти умозрительные «переменные» переживаются субъективно? Чувствуют ли свидетели вину за то, что их пассивность способствовала совершению злодеяний? Большинство из нас могут вспомнить детский стыд, когда мы молча наблюдали, как школьные хулиганы избивали друга. Теперь нам предлагается

представить, что бы мы сделали, если бы мы были одной из соседок Китти Дженовезе. Когда я рассматриваю знаменитые фотографии венских улиц через несколько дней после аншлюса, я вижу лица в толпе, смотрю на еврейских женщин, которых заставляют мыть тротуар, всматриваюсь в мальчика, рисующего слово «Еврей» на магазине своего отца, в униженных пожилых религиозных мужчин, у которых нацистские солдаты безжалостно обрезают бороды. Что же могло происходить в головах наблюдателей этих сцен? Некоторые из них издеваются, некоторые ухмыляются, одна группа похожа на публику уличного театра, у других лица выглядят совершенно пустыми, глаза едва сфокусированы.

Даже в этих застывших действиях, где время остановилось в единственном визуальном кадре, существуют бесконечные градации моральной ответственности. Прохожие могут хотя бы на мгновение стать активными участниками. Аплодируя, они становятся пособниками или соучастниками. Но что, если они просто будут наблюдать в полной тишине? Является ли это такой же, достойной порицания, формой сговора или поощрения? Слишком много самодовольной риторики о виновности свидетелей. Большинство жертв и преступников воспринимают пассивность как свидетельство поддержки и поощрения. Но, как хорошо знают преступники (и именно это они используют), пассивность может быть результатом страха. Как наглядно показали лабораторные исследования Милгрэма, внешняя уступчивость не означает отсутствия внутреннего беспокойства или озабоченности. Пассивность свидетеля – это не то же самое, что безразличие свидетеля.

Эти снимки улиц Вены показывают реакцию зрителей только в тот момент времени. В наше время мы можем адекватно интерпретировать образы только потому, что мы уже знаем политический нарратив и то, где он заканчивается. Как наблюдающие за наблюдателями, мы можем раздвинуть когнитивной рамки фотографий. Мы расширим их: что означал аншлюс? Что происходило в то время в Австрии и других странах Европы? И мы захватим прошлое, историю: что предшествовало событиям 1938 года? Какова была история антисемитизма в Австрии? (Взгляд на неполитические случаи также можно расширить: почему вспоминаемые нами школьные хулиганы преимущественно мальчики, а не



девочки? Мешает ли этос мужественности мальчикам в толпе оказать помощь жертве?)

В политических конфликтах наблюдатели могут разделять единую с преступниками идеологию и идентифицировать себя с ними; или они могут бояться и ненавидеть преступников и идентифицировать себя с жертвой или принадлежать к группе потенциальных жертв. Любая из этих возможностей может привести к безмолвному наблюдению. Обычные сербские семьи в Боснии мало что сделали для поощрения первоначального насилия, но затем молча переселились в дома своих соседей, которые накануне подверглись этнической чистке. Моральные цепи наблюдения чрезвычайно непрозрачны – будь то предшествующие состояния знания и незнания или последующий выбор между молчанием и вмешательством. Когда-то имело смысл думать, что чем дальше очевидец от самого действия, тем меньше он виноват. Свидетельница политического убийства рассказывает мужу о том, что видела; он рассказывает своему коллеге по работе, он рассказывает своей жене. На каждом этапе, согласно одной моральной точке зрения, цепь ответственности ослабевает. Но зверства позднего модерна – это другое дело. Ученые проектируют оружие, а инженеры его производят; международные бизнес-картели управляют торговлей; банкиры отмывают деньги от сделок с наркотиками (в которых могут участвовать «освободительные» группы); правительственные чиновники закрывают глаза на законы об экспорте; коррумпированные сотрудники правоохранительных органов берут взятки ... и так далее. Все эти люди физически очень далеки от убийства, но морально ближе к преступникам, чем случайный прохожий, оказавшийся на месте преступления.

Лозунги о том, что мы «все» соучастники и все виновны, слишком поверхностны. «Неспособность идентифицировать себя с жертвой» – стандартный пункт ситуационного списка, но от этого не менее сложный. В клише о пассивности свидетеля, городской анонимности, отчуждении и имеющей место безымянности жертва всегда считается чужаком. Вы не знаете, кто он; вы не можете «отождествить себя» с его тяжелым положением. Но внутренние свидетели реальных злодеяний зачастую вовсе не являются безликими незнакомцами – они живут в «ситуациях», где знают жертв и могут стать жертвами; они знают преступников или могут

стать преступниками. В таких разных условиях, как Руанда и бывшая Югославия, люди стояли рядом, даже когда их соседей, школьных друзей и коллег по работе насильно выгоняли из собственных домов, забивали до смерти на их глазах или увозили в автобусах на расстрел.

Глава 10 снижает мрачность и безысходность этих образов. Не существует «ситуации» тотальной пассивности. Даже страх, идеология, религия или этническая лояльность не могут принудить всех к постоянному молчаливому согласию. Обязательства и отношения со временем меняются. Воспоминания о предыдущем молчании и сговоре теперь кажутся постыдными. Чувство человеческой порядочности или внезапное желание помочь могут в одно мгновение преодолеть самое сильное политическое давление, заставляющее хранить молчание.

### *Политические культуры*

«Свидетель» – достаточно удобный термин для описания людей, которые не являются ни жертвами, ни преступниками. Однако он вводит в заблуждение, когда применяется к культуре отрицания, которая пронизывает все общество и переживается каждым. Менее сложные термины – «простые люди», «граждане», «общественность», «общественное мнение» – вполне адекватны.

Тоталитарное государство в романе Оруэлла «1984» стремилось к тотальному контролю над информацией о прошлом и настоящем. Вы не знаете, и вы не знаете, что не знаете; вы платите ужасную цену за слишком глубокие знания или даже за попытки узнать больше. Но ни одно общество никогда не существовало в столь чистой форме. Вы не можете буквально игнорировать все неприятное, что происходит вокруг вас. Даже самый репрессивный и закрытый режим не может добиться полной секретности или контроля над информацией. Обычные граждане узнают некоторую правду, но их запугивают, заставляя лгать себе, а также посторонним. Преступники и чиновники «разыгрывают» свою повседневную жизнь, делая вид, что ничего необычного не происходит. Даже внутри одного и того же общества молчание и фальшивая нормализация (свидетели, которые ничего не видят) могут иметь разные

причины: прямое государственное принуждение, тонкое поощрение или добровольное беспокойство по поводу имиджа вашей страны.

Но как можно поддерживать впечатление, что все в порядке, если это явно не так? Представьте, что вас окружают видимые доказательства и знаки; вы знаете правду из местных СМИ, из распространяющихся слухов и вследствие общей культуры; вы знаете то, что знают все, и они знают, что вы знаете. Сказать иностранному гостю, что вы не знаете, что происходит, легко, разрешено и поощряется. Это простая ложь, а не самообман. Однако растущая прозрачность всех обществ для глобального контроля (одно лишь изобретение электронной почты тому порука) сделала буквальную ложь практически невозможной. Кадры CNN, на которых солдаты расстреливают мирных демонстрантов, можно увидеть по всему миру.

Буквальное отрицание перед лицом своих сограждан, которые знают, что вы знаете, требует дальнейшего тактического сговора. Вы перешли от созерцания к пониманию, но ваше метаозарение подсказывает вам, что было бы разумно (на данный момент, пока все не изменится, пока общественность не проснется, пока все не пройдет) притвориться немного глупым на публике. Герас прекрасно уловил нюансы незнания, даже о массовых убийствах: «Есть люди, которые делают вид, что не знают, или которые не хотят знать и поэтому не узнают; или кто знает, или все равно не беспокоится, кто безразличен; или которые боятся за себя или за других, или которые чувствуют себя бессильными; или кто отягощен, отвлечен или просто занят (как большинство из нас) достижением целей своих собственных жизней»<sup>9</sup>.

Чем более открыты общества, тем более свободную культуру избирательного и добровольного отрицания они порождают. Солдат, который лжет иностранному журналисту, опирается на общепринятые культурные послы: не доноси, не распускай слухов, не утешай врага и не выноси сор из избы. Существует не выраженный публично общественный договор, о каких предметах «лучше не говорить». Целые общества построены вокруг того, что Гавел называл «жизнью во лжи». Сущность белого сознания при апартеиде в

---

<sup>9</sup> Norman Geras, *The Contract of Mutual Indifference: Political Philosophy after the Holocaust* (London: Verso, 1998), 96.

Южной Африке заключалась в постоянном умолчании о том, что казалось «очевидным» любому постороннему.

В еще большей степени это относится к интерпретативному отрицанию. Людям, которые с готовностью признаются себе, своим согражданам и даже посторонним, что происходит что-то плохое, трудно использовать язык геноцида, эскадронов смерти или пыток. Некоторые способы обозначения реальности в таких случаях недопустимы.

Во многих обществах, которые ведут себя жестоко по отношению к своим гражданам, этническим меньшинствам, оккупированному или колонизированному населению, существует небольшая разница между рассказами преступников и рассказами наблюдателей. Некоторые режимы предпочитают активную позицию; другие довольствуются молчанием, которое можно воспринимать как подтверждение. В любом случае, зрителям можно смело предлагать официальные оправдания, а не извиняющиеся нейтрализации. Они не зомби: они знают, что происходит, но их это не тревожит ни эмоционально, ни морально. Им нечего «отрицать», потому что им все равно.

Треугольник злодеяний (преступник-жертва-свидетель) меняется, когда наблюдатели находятся ближе к жертвам. По мере расширения масштабов насилия в отношении первоначальной целевой группы наблюдатели становятся более уязвимыми. Но личный интерес может быть уравновешен неправильным пониманием общего («здесь этого не может случиться») и личного риска («со мной этого не может случиться»).

Два типа поведения государств-наблюдателей кажутся универсальными. Первый – это *пассивная поддержка* (или внутреннее сотрудничество): большинство белых южноафриканцев поддерживали апартеид, просто «соглашаясь» с политикой своего правительства. Второе состояние – *пассивная оппозиция* (или внутренняя эмиграция). И в Израиле, и в Южной Африке группы наблюдателей с либеральными ценностями пережили события и сопровождавшие их идеологические установки, уйдя в частную жизнь. Если общество изменится, то еще большее количество людей заявит, что всегда были против режима, хотя предпочитали не выражать этого открыто или были слишком запуганы. Внешне они соответствовали, но во внутреннем психическом пространстве их оппозиционные

мысли остались нетронутыми («то, что я делаю, не то, что я думаю»). Способ сохранить этот внутренний/внешний раскол состоит в том, чтобы отгородить себя от неприятных аспектов повседневной реальности: не смотреть телевизионные новости и не читать газеты, не говорить о политике с друзьями, а также интенсивно, почти карикатурно погружаться в частные развлечения (концерты, кино, праздники, пикники, спорт). В Бразилии в семидесятые годы был придуман специальный термин «иннеризм» для обозначения психологии городского среднего класса, который замкнулся в себе и отрекся от политики. В бывших государственных коммунистических обществах внутренняя ссылка была определяющей чертой целых субкультур.

Для граждан, идентифицирующих себя как либералов, это больше, чем просто познавательное убежище, позволяющее не расстраиваться из-за тревожных новостей. Они придерживаются универсальных ценностей, их беспокоит то, что, как они знают, происходит, но они не хотят быть слишком откровенными или «ввязываться». Если конфликт затянулся, этот иннеризм может быть скорее признаком выгорания и деморализации. Но даже если большинство людей «просто не хотят знать, что происходит», это не объясняет, почему другие люди в той же культуре, разделяющие те же ценности, реагируют иначе. И эта адаптивная стратегия не всегда благотворна. Она может вызвать патологическое отчуждение от самого себя и от общества или формирование реакции в форме преувеличенной защиты в отношении достижений своей страны или даже буквальной, а не симулированной слепоты к происходящему.

В качестве примера можно сослаться на многие общества, имеющие множественные градации между двумя крайностями – диктатурой и либеральной демократией: традиционные авторитарные режимы на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Азии; «развалившиеся государства» Западной Африки, где государственная власть уступила место хаосу, перманентному насилию и этническим конфликтам; жестокие колебания между демократиями и военными хунтами в Латинской Америке; общества с относительно демократическими внутренними институтами, но с репрессивным правлением в своих колониях, государствах-сателлитах или внутренних анкла-

вах. Я выделяю четыре хорошо задокументированных случая, находящихся на грани между вынужденным и добровольным молчанием.

### Простые немцы

Мы должны повторить вопрос о том, как много знали рядовые немцы в годы нацизма. Самый простой ответ – на раннем этапе большинство знало общие идеи политики истребления, но не все детали. До сих пор существуют разногласия относительно того, в каком объеме, когда, каким образом и кому стала известна эта информация. Но не может быть сомнения, что значительная часть населения либо знала, либо подозревала, что происходит на Востоке<sup>10</sup>. О массовых убийствах на Украине, в Литве, странах Балтии и Восточной Галиции почти сразу стало известно миллионам немцев. Лакер заключает, что в течении этого раннего периода – с июня 1941 года (программа эвтаназии почти завершилась, полмиллиона евреев уже убиты айнзацгруппами) до конца 1942 года (отправка в концентрационные лагеря и убийства в газовых камерах уже в самом разгаре) – лишь горстка немцев знала все, но при этом и очень немногие не знали совсем ничего.

Слухи о лагерях смерти исходили от солдат, приезжавших в отпуск, и уже распространились достаточно широко; к 1943 году применение газа обсуждалось немцами и даже иностранцами; в январе 1944 года солдаты частей СС присылали в письмах свои фотографии на фоне крематориев Освенцима и печей с трупами. Десятки тысяч немцев и многие другие покоренные народы Восточной Европы были реальными свидетелями: они встречались на деревенских площадях, в полях, в долинах и на берегах рек, чтобы наблюдать как сотни евреев уничтожались в ходе каждой операции. Круги осведомленных расширились и стали включать семьи солдат, а также государственных служащих, местных политиков, специалистов и людей, живущих вокруг лагерей. Несмотря на секретность и дезинформацию, «Окончательное решение» не было секретом. Это простой вывод, хотя концепция «секрета полишинеля» ни в коем случае не проста. Что означают «знать» и «верить» в таких ситуа-

---

<sup>10</sup> David Bankier, *The Germans and the Final Solution: Public Opinion under Nazism* (Oxford: Blackwell, 1996), ch. 6: «Awareness of the Holocaust».

циях? И знать или верить *чему*? Было достаточно публичных намеков, чтобы миллионы немцев, знавших об исчезновении евреев, поняли, что это нечто большее, чем «переселение». Однако мало кто знал подробности. «На самом деле вполне вероятно, что, хотя многие немцы думали, что евреев больше нет в живых, они не обязательно верили, что они мертвы»<sup>11</sup>. Таков тип логической непоследовательности, принятой в военное время и отражающий распад рациональности.

Альтернативами не являются активное участие или отстранение от реальности, поддержка или несогласие. Есть состояния, ментальные и политические, где отрицание означает *невнимательное отношение к информации*: «Массовое уничтожение сопровождалось не бурей эмоций, а мертвым молчанием беззаботности»<sup>12</sup>. Было ли это молчание осознанным поощрением, потому что большинство жертв были евреями, или общей (менее идеологической) готовностью согласиться с государственной властью? В любом случае, граждане были приучены к разворачивающейся программе истребления. Они не особо об этом думали и не заботились; это была неудобная и неважная тема по сравнению со многими другими проблемами повседневной жизни. Руководство постоянно разочаровывалось регулярными оценками общественных настроений, которые проводили чиновники. Они показывали повсеместное безразличие ко всем событиям, не затрагивавшим непосредственно личную жизнь. Безразличие было доминирующей чертой. Описание Банкером этого прототипического способа отрицания перекликается со многими другими временами и местами: «они знали достаточно, чтобы понять, что лучше не знать больше»<sup>13</sup>.

Люди смутно знали, что происходит, но столь же смутно им было все безразлично. Эта комбинация не оборачивается невинностью и слепым невежеством. Как отмечает Хилберг: «Даже если кто-то отводил взгляд, не задавал вопросов и воздерживался от разговоров на публике, у него оставалось притупленное осозна-

---

<sup>11</sup> Laqueur, *Terrible Secret*, 201.

<sup>12</sup> Zygmunt Bauman, *Modernity and the Holocaust* (Cambridge: Polity Press, 1989), 74.

<sup>13</sup> Bankier, *Germans and the Final Solution*, 115.

ние»<sup>14</sup>. Подобно выражению «не иметь пытливого ума», выделяются фразы «лучше не знать большего» и «притупленное осознание». Они вызывают самые резонансные образы из всего разнообразия очевидцев: люди, живущие рядом с концентрационным лагерем и сосредоточенные на своей повседневной жизни. Что они знали? Они пытались это узнать? Что они говорили своим детям? А если бы они знали, что бы они почувствовали?

Хорвиц в своем прекрасном исследовании людей, живших и живущих вокруг Маутхаузена, описывает последний этап существования лагеря с осени 1944 года до освобождения в мае 1945 года. Трупов было слишком много для уничтожения в имевшихся в лагере печах. Около 11 800 трупов было похоронено в двух братских могилах недалеко от города. Еще сколько-то заключенных были расстреляны и захоронены по пути эвакуационного маршрута, и все это на глазах у гражданского населения. Затем, весной 1945 года, «свидетели ужасов концентрационных лагерей незаметно исчезли из поля зрения. С тех пор для внешнего мира они остаются невидимыми»<sup>15</sup>. После того, как пострадавшие и их освободители ушли, свидетели вернулись, чтобы продолжить свою жизнь. Они никогда не говорили о том, что знали о лагерях. Выжившие заключенные, остро чувствовавшие присутствие этих людей, могли бы позже спросить их: «Что вы видели? Если вы знали, то почему не реагировали?»

Хорвиц описывает топографию – планировку лагеря, контуры местности, каменоломни, в которых работали (и были убиты) заключенные, расположение домов, из которых можно было наблюдать убийц. Это передает именно то, что, *не могли не видеть* жители Маутхаузена – «добрые австрийцы». Но как они интерпретировали увиденное? Совокупное насилие (первые заключенные прибыли в лагерь в августе 1938 года) обеспокоило некоторых жителей близкорасположенных домов. Одна женщина подала жалобу в 1941 году: поскольку ее дом находился на возвышении, она стала невольной свидетельницей таких «безобразий», как расстрелы заключенных в карьерах. Тяжелораненые оставались

---

<sup>14</sup> Hilberg, *Perpetrators*, 195.

<sup>15</sup> Gordon J. Horwitz, *In the Shadow of Death: Living Outside the Gates of Mauthausen*, (London: I. B. Tauris, 1991), 2.



лежать рядом с мертвыми по полдня. «Я прошу, чтобы были прекращены подобные бесчеловечные действия или совершались там, где никто этого не видит»<sup>16</sup>.

СС предупредили жителей, чтобы те не обращали внимания на то, что иначе они не могли бы не заметить. «Граждане узнали, что если осознание того, что происходит в лагере и вокруг него, неизбежно, можно все равно отвести взгляд. Осознавая существование террора в лагере, они научились ходить по узкой грани между неизбежным осознанием и благоразумным пренебрежением<sup>17</sup>. Без такой линии поведения – «неизбежное осознание» с одной стороны и «игнорирование» с другой – концепция отрицания бесполезна. Добавление слова «благоразумный» передает политическую культуру страха, секретности и неуверенности, в которой жили эти конкретные свидетели.

В замке Хартман, в котором первоначально планировались отравления газом умственно отсталых жертв программы эвтаназии (предположительно, остановленной), медицинский персонал также «работал» с больными заключенными, доставленными из Маутхаузена, расположенного в восемнадцати милях от него. Несмотря на значительные усилия скрыть улики, запах горелого мяса разносился по окрестностям; жители запечатывали окна на ночь, чтобы не ощущать этого запаха. Иногда над замком висели густые клубы дыма, а клочья волос вылетали на улицу. Закрытый фургон, известный как «фургон для пепла», почти ежедневно ездил на Дунай, чтобы сбросить в реку человеческий прах. СС быстро отреагировало на распространение точного «слуха» о том, что людей убивают. Комендант замка капитан СС Кристиан Ворт созвал собрание горожан в местной таверне. Он дал им официальное объяснение дыма: сжигались различные «церковные предметы» (обувь, изображения святых, облачения). Любой, кто продолжит

---

<sup>16</sup> Ibid., 35. В 1941 году прибыла группа из 348 голландских евреев, переведенных из Бухенвальда. Все погибли в карьере, большинство было застрелено или охранники раздробили им черепа. Другие покончили с собой, прыгнув в яму. Гражданские служащие карьера, видевшие все это, просили власти препятствовать этим самоубийствам, «поскольку куски плоти и мозгов, прилипшие к камням, представляли собой слишком ужасное зрелище» (стр. 53).

<sup>17</sup> Ibid.

распространять абсурдные слухи о сжигании тел, будет строго наказан.

В апреле 1944 года еще один концентрационный лагерь был создан в Мельке, примерно в сорока восьми милях от Маутхаузена. За год существования лагеря от побоев, расстрелов и несчастных случаев на производстве умерло 5000 из 14000 заключенных лагеря. Каждый день заключенных открыто конвоировали по городу и отправляли поездами на работу: прокладку туннелей подземных оружейных заводов. Горожане считали, как им сказали, что заключенные были закоренелыми преступниками; запах дыма лагерного крематория не оставлял сомнений в том, что их сжигали.

Какой была реакция на эти знания? Ниже приведены свидетельства трех женщин о том, что они видели, делали и ощущали<sup>18</sup>:

- *Фрау Г.С.* вспоминает о дыме: «Чувствовался запах кожи, помню, как он раздражал. У горелой кожи такой специфический запах. И волосы, их запах». Смысл ее восприятия, как отмечает Хорвиц, был «прозаичным». Заключенные были преступниками; они умерли от истощения и голода, а не от преднамеренного жестокого обращения; их исчезновение именно таким образом было обычным делом. Прогуливаясь, она легко могла объяснить запахи: «Я сказала: Ага, кого-то снова сжигают».
- *Фрау Мария Р.* была более внимательной. Она начала помогать заключенным, тайком разбрасывая фрукты или картофель по пути их марша по городу. Это требовало от нее немалых душевных сил. Она начала молиться: «Дорогой Боже, пошли избавление. Пожалуйста, положи всему этому конец, потому что я никогда не должна на это смотреть». Хорвиц, возможно, приписывает ей слишком слабую моральную чувствительность: «бремя свидетельствования само по себе было формой страдания. На такие вещи просто не хотелось ни смотреть, ни думать о них. «Никогда нельзя смотреть» именно потому, что видеть означало задаваться нежелательными вопросами о выборе и действии».

---

<sup>18</sup> Ibid., 110-14.

- *Фрау С.* все время хранила молчание. Она никогда не говорила о лагере и не стремилась осмотреть его, даже когда об этом спрашивали. Лучше всего было сделать вид, что ничего не произошло. «Я счастлива, когда ничего не слышу и ничего не вижу», – сказала она. «Насколько я понимаю, их не интернируют. Вот и все. Вопрос закрыт. Меня это совершенно не интересует». Она сделала выбор: она видела, но отводила взгляд и не обращала внимания на то, что сообщали ей глаза.

Результаты изучения случая Маутхаузена показывают его близким политическим аналогом психологии отрицания:

- Осведомленность сторонних наблюдателей произвольна: горожане не могут оказать помощь, но видят, ощущают запах, чувствуют и знают.
- Но некоторые из них до сих пор утверждают, что они *на самом деле* не видели. Другие сознательно отворачиваются, делая вид, что ничего не происходит.
- Это выражает абсолютное желание не знать. Однако вы не можете усилием воли полностью отключить все свои чувства: «никто действительно ничего не видел. Присутствовало только чувство дискомфорта».
- Горожане узнают запах горящих тел. Но мысль о том, что людей убивают намеренно, отвергается. Органы чувств работают отлично, в мозг поступают все необходимые сигналы: дым, кремация в лагерьях. «Но осмысленного вывода не делается, он не может быть сделан: людей убивают тысячами, глаза видят, уши слышат, нос обоняет»<sup>19</sup>.
- У жителей не было недостатка в каких-либо специальных когнитивных способностях. Чего им не хватало, так это морального признания, чувства беспокойства, которое мотивирует человека в желании узнать больше. Вместо этого взгляд был направлен прямо перед собой, шоры поставлены, шея напряжена, угол зрения не допускает ужас.
- Казалось бы, идентичное внешнее безразличие может иметь разные причины. Господин Б. был молчаливым, но

---

<sup>19</sup> Ibid., 120.

внимательным наблюдателем; ему было противно то, что он увидел, но он «придержал язык и действовал вслепую» из-за преобладающей атмосферы страха. Напротив, фрау Э. относилась к тому типу наблюдателей, которые, «хотя и не могли не видеть, что происходит в лагере по соседству, но предпочитали не смотреть и не спрашивать».

- Выбор позиции не был полностью добровольным. У власти был неписанный договор с общественностью. «Администрация лагеря делает все возможное, чтобы избавить жителей от прямой информации о зверствах, происходящих внутри лагеря. В свою очередь, жители не приложат ни малейших усилий, чтобы узнать ... Чтобы избежать неприятных моральных вопросов, лучше быть неосведомленным. Режим помогал людям оставаться таковыми, предостерегая их от чрезмерного любопытства»<sup>20</sup>.

Жизнь вблизи концентрационных лагерей сопровождалась пассивным и длительным наблюдением, в отличие от ситуации в первые годы существования айнзацгрупп в странах Балтии. Происходящее там вызывало любопытство и снабжало знаниями. Местные жители могли видеть и слышать этапы каждой операции: сборы жертв, загон их на деревенскую площадь, раздевание, крики страха, стрельба, сбрасывание тел в братские могилы. Термин «свидетель» в данном случае слишком условен. Некоторые зрители были явно равнодушны; это не их дело – «пожимать плечами» – это естественный образ. Чаще всего они глазели, подстрекали, присоединялись или предлагали помощь. В Ковно (Каунасе), Литва, евреев забили до смерти ломами, а наблюдавшая за этим толпа аплодировала и смеялась. Матери держали своих детей, чтобы посмотреть на происходящее. Немецкие солдаты фотографировались и стояли вокруг, как зрители на футбольном матче<sup>21</sup>.

---

<sup>20</sup> Ibid., 175.

<sup>21</sup> Эти и подобные сцены незабываемо зафиксированы в фотографиях, дневниках и письмах, о которых идет речь в Ernst Klee et al., «Those Were the Days». The Holocaust through the Eyes of the Perpetrators and Bystanders (London: Hamish Hamilton, 1991). *Schöne Zeiten* («Были времена») так озаглавлена страница памятного фотоальбома Курта Франца, последнего коменданта Трешлинка.

Люди приходили, чтобы увидеть все своими глазами; они не были случайными прохожими. Браунинг описывает место казни, которое «посещали десятки немецких зрителей – служащих военно-морского флота и рейхсбана (железной дороги)»<sup>22</sup>. Многие преодолевали большие расстояния, чтобы занять лучшие места на «стрелковых фестивалях». Клее описывает это как «туризм исполнения». В Житомире (Украина) 7 августа 1941 года около 150 местных жителей собрались на рыночной площади, чтобы посмотреть казнь; приезжим немецким солдатам, сидящим на крышах, было лучше видно. Сначала на виселице были повешены два еврея. Еще пятьдесят посадили в грузовик. По громкоговорителю прозвучало объявление о том, что зрители должны следовать за грузовиком до места расстрела, находящегося примерно в 150 метрах. Евреев заставили одного за другим перепрыгнуть через ров. Большинство из них упало. Затем их выстроили в ряд лицом к штабелю бревен и выстрелили в шею. Некоторые солдаты, по случаю наблюдавшие за происходящим, были одеты лишь в плавки.

В отличие от обычных приезжих, местные жители активно вступали в сговор и помогали. Еще до убийств они охотно выявляли, изолировали и помогали транспортировать жертв к местам убийств. Они заняли рабочие места выданных ими, въехали в их дома и присвоили их имущество. За две ночи 25 и 26 июня 1940 года около 3800 евреев были убиты в Ковно местными литовскими ополченцами. Посетивший его немецкий офицер пишет, что на следующий день он «стал свидетелем» «вероятно, самого ужасного события», которое он видел за две мировые войны: блондин, стоящий на заправочной станции с деревянной дубинкой в руке; у его ног пятнадцать-двадцать мертвых или умирающих людей, их кровь смывают из шланга. Затем мужчина «бегло машет рукой» следующему в очереди мужчине, охраняемому гражданскими лицами; он забивает человека до смерти, «каждый удар сопровождается восторженными криками публики»<sup>23</sup>. Немецкий фотограф попадает в ту же сцену: молодой литовец уже закончил убивать от сорока пяти до пятидесяти человек; он откладывает лом, достает гармонику и, стоя

---

<sup>22</sup> Christopher R. Browning, *Ordinary Men: Reserve Battalion 101 and the Final Solution in Poland* (New York: Harper Collins, 1992), 112

<sup>23</sup> Klee et al., «Those Were the Days», 28.

на куче трупов, играет гимн Литвы; местные жители (включая женщин и детей) присоединяются к пению и аплодисментам. Почти все свидетели – немецкие солдаты.

Клее комментирует некоторые фотографии подобной сцены: «Согласно их собственным заявлениям, местные жители, немецкие административные чиновники и полицейские ничего не видели. Существуют только фотографии»<sup>24</sup>.

### Культуры страха

Десятилетия спустя несколько публичных сцен в латиноамериканских «культурах страха» превратились в совсем другие<sup>25</sup>. Реальные зверства были направлены против избранных жертв и должны были быть тайными. Но общественности нужно было предоставить достаточно информации, чтобы убедить ее в оправданности репрессий. Аргентинская хунта создала богатую вербально и изощренную в интерпретациях версию «двойного дискурса»; баланс между признанием государственного террора и сокрытием или отрицанием его подробностей. Режим будет отрицать (по определению) существование исчезновений людей и одновременно заявлять, что жертвы получили по заслугам. Все нормально, но в то же время противники демонизированы, репрессии оправданы, а террор усиливается неопределенностью. Шквал коммюнике хунты оставил аргентинцев, живущих в «эхо-камере», «слыша, как режим использует язык, чтобы скрыть свои истинные намерения, говорить противоположное тому, что он имел в виду, внушать доверие, внушать родителям чувство вины, чтобы скрыть собственное соучастие и распространить парализующий террор»<sup>26</sup>.

В постоянном словесном шуме события разворачивались с преувеличенной театральностью: двенадцать вооруженных людей на трех машинах похищают на улице безоружную жертву. Это были

---

<sup>24</sup> Ibid., 6.

<sup>25</sup> Первоначально этот термин применялся к хунтам конца шестидесятых – начала восьмидесятых годов: см. Juan E. Corradi et al. (eds), *Fear at the Edge: State Terror and Resistance in Latin America* (Berkeley: University of California Press, 1992).

<sup>26</sup> Marguerite Feitlowitz, *A Lexicon of Terror: Argentina and the Legacies of Torture* (New York: Oxford University Press, 1998), 20.

«публичные» спектакли, но в то же время тайные, а позже полностью отрицаемые. Подробности пыток, убийств, захоронения тел оставались официально секретными. Государственное насилие применялось за закрытыми дверями, но абстрактный террор постоянно проецировался на общественность. Представление было закодировано, но намеренно позволяло расшифровать программу хунты: «Жуткое, обескураживающее молчание жертв – замученных, но отсутствующих – сопровождалось молчанием зрителей, напуганных тем, что они стали «свидетелями» абстрактного зрелища, спектаклей, которые хунта поставила, а затем запретила»<sup>27</sup>. Жизнь в двух мирах, публичном и тайном, каждый со своим собственным закодированным дискурсом, была истинным отрицанием: свидетели признавали то, что видели, но избегали признания этого события; знали общие факты, но не верили им.

Политическое расхождение закрытого и открытого создало состояние ума – подобное раздвоению эго по Фрейду, – которое впоследствии выразилось в общем рефрене «мы знали, но мы не знали». И даже если бы вы «действительно» знали, цена за обнародование знаний была слишком высока. Страх породил состояние самоцензуры – вы избегали общения на публике или даже с друзьями, следили за внутренними мыслями и диалогами. Застенчивый идеологический режим, такой как аргентинская хунта, хотел большего. Сообщения СМИ были адресованы всем – даже родственникам и друзьям жертв, которым было приказано хранить молчание об исчезнувшем человеке, поскольку подобные новости только опозорят их. Родители должны задуматься о своей ответственности за поведение своих детей. Возможно, отсутствие должного внимания с их стороны стало причиной этой проблемы? Знали ли они, чем сейчас занимаются их старшие дети? Родственники и друзья должны принять коллективное решение забыть этого человека или считать его умершим. Они могли даже внушить другим, что он добровольно бросил их и что из-за такого безответственного отношения он должен быть наказан коллективным безразличием.

---

<sup>27</sup> Frank Graziano, *Divine Violence: Spectacle, Psychosexuality and Radical Christianity in the Argentine Dirty War* (Boulder, CO: Westview Press, 1992), 73. См. также главу «The Strategic Theatrics of Atrocity», 61–106.

«Исчезновение», несомненно, было доказательством вины. Из окна вы видите, как по соседству подъезжает «Форд Фалькон»; из машины выходят четверо мужчин в штатском; через несколько минут они появляются с дочерью вашего соседа, запикивают ее в машину и уезжают. По мнению властей, подобных вещей не бывает, и они, конечно, невероятны. Но должно быть объяснение. Здесь режим использует вашу жуткую неуверенность: ваши замалчиваемые знания не могут быть правдивыми; только власти знают настоящую правду; они должны иметь тайное знание о вине жертвы. Отсюда и рефрены: *Por algo sera* («Это должно быть для чего-то») и *Algo habra[n] hecho* («Он/она/они, должно быть, что-то сделали»). Это заклинания подчинения: «Повторяемые фразы были неформальным обрядом поклонения; они подчинялись военным; они недобросовестно признали, что военные знали «что-то», чего не знала общественность, «что-то», что делало злодеяния справедливыми и необходимыми»<sup>28</sup>.

Еще одним распространенным рефреном того времени был *el silencio es salud* («молчание – это здоровье»)<sup>29</sup>. Эта фраза была фактически придумана в 1975 году муниципалитетом Буэнос-Айреса в рамках кампании по снижению дорожного шума путем ограничения использования автомобильных гудков. Только после *переворота* эта фраза приобрела иной смысл – не навязывание публике, а рефлексорное «понимание с ее стороны» того, что от нее требуется.

Время идет, и государству нужно нечто большее, чем просто молчаливые наблюдатели. Отчужденные и находящиеся под наблюдением, их уход в тишину и личное пространство превращает свидетелей в жертв. Или же, оправдывая репрессии, они становятся сторонниками, сначала сомневающимися, затем более доверчивыми. В этих политических культурах формы отрицания реализуются в магических комбинациях.

Маоистский Китай представляет собой исключительный случай, когда свидетели заставили замолчать культуру страха, не подкрепленную насилием или даже не организованную каким-либо

---

<sup>28</sup> Ibid., 77.

<sup>29</sup> Feitlowitz, *Lexicon of Terror*, 34.



скоординированным государственным дисциплинарным органом. Искусство замалчивания родилось из крайне децентрализованного принуждения и «психологического тоталитаризма», отмеченного тем, что Ту Вэй-мин называет «всепроникающим волюнтаризмом как жертв, так и мучителей»<sup>30</sup>. Пассивность и попустительство легко можно осудить как политическую слепоту или откровенную трусость. Но глубокие слои самокритики и дух жертвенности не позволили ненависти и чувству несправедливости выйти на поверхность. Террор, которому подверглись миллионы интеллектуалов, был, по терминологии Лу Синя, вызван невидимым «мягким ножом», который ранит так глубоко, что кровью истекает общество в целом, а не какой-либо отдельный человек.

### Жизнь во лжи

Я лишь перескажу работы Гавела о восточноевропейском коммунизме за десятилетия до краха системы. Его рассказы о повседневном отрицании в этих обществах, как ни странно, применимы и к местам, совсем не похожим на них.

Это были уродливые, репрессивные режимы. Однако общественная культура была сосредоточена не на страхе перед острыми ножами жестокого полицейского государства, а на всепроникающей притупленной тревоге по поводу того, что может случиться, если вы хотя бы не сделаете вид, что согласны с официальными декларациями о реальности. Вы должны поддерживать имидж единого общества, поддерживающего свое правительство: «Из страха потерять работу школьный учитель учит вещам, в которые он не верит; опасаясь за свое будущее, ученик повторяет их за ним; опасаясь, что не сможет продолжить учебу, молодой человек вступает в Союз молодежи»<sup>31</sup>. Политические действия – выборы без

---

<sup>30</sup> Tu Wei-ming, «Destructive Will and Ideological Holocaust: Maoism as a Source of Social Suffering in China», in Arthur Kleinman et al. (eds), *Social Suffering* (Berkeley: University of California Press, 1997), 162.

<sup>31</sup> Vaclav Havel, *Open Letters: Selected Writings, 1965–1990* (New York: Vintage Books, 1992), 52. Относительно Чехословакии и других коммунистических стран цитируются статьи 1975-го года: «Dear Dr. Husak» (pp. 50–83); 1965-го «On Evasive Thinking» (pp. 10–24) и публикация 1978-го «The Power of the Powerless» (pp. 125–214).

выбора, постановочные собрания, организованные демонстрации – требовали от людей отрицать свое истинное мнение, выглядеть уверенными и довольными всем происходящим гражданами. Каждый был уязвим, потому что ему было что терять (работу, статус, образование для детей). Все знали о невидимой сети контроля, секретных сотрудников и информаторов, даже если ее нельзя было увидеть или потрогать. Всех публично подкупили; никто не верил в офици-альную идеологию. Такое лицемерие не только не осуждалось, но и поощрялось. Единственными способами выжить были эгоизм и карьеризм. Это был моральный климат, в котором безразличие – игнорирование всего, что выходило за рамки рутинных повседневных забот – стало «активной социальной силой»<sup>32</sup>. Этот «иннеризм» – бегство из публичной сферы в частную жизнь и потребительские интересы – приветствовался властями, которые продолжали выдвигать напыщенные лозунги о революции и свобо-де. Их истинным посланием было: избегайте политики, оставьте это нам, храните молчание.

Концепция Гавела об «уклончивом мышлении» была коммунистической версией культурного отрицания и действующей партийной идеологией. Фразы и лозунги отделяют мысль от реальности. Язык становится ритуализированной целью сам по себе, приобретая «своего рода оккультную силу для преобразования одной реальности в другую»<sup>33</sup>. Клише официального дискурса воспроизводятся в более широкой политической культуре: «соразмерять вещи», «в контексте», «изолированный инцидент», «общественный интерес». Контекстуализация становится еще одной формой уклончивого мышления: «То, что выглядит как попытка увидеть что-то в усложненном виде, на самом деле приводит к сложной форме слепоты. Ибо если мы не можем видеть отдельные, конкретные вещи, мы не можем видеть вообще ничего»<sup>34</sup>.

Идеология не усваивается обычными людьми. Наоборот – официальная идеология поощряет коллективный обман, о котором всем известно, что он есть обман. Принятый Гавелом образ среднего

---

<sup>32</sup> Ibid., 58.

<sup>33</sup> Ibid., 12.

<sup>34</sup> Ibid., 13.

человека, которого должно было бы поставить в соответствие официанту Сартра, – это бакалейщик, который вывешивает в витрине своего магазина лозунг: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!». Он делает это не из-за какого-то энтузиазма или даже не с какой-то целью, а просто потому, что он всегда так делал, все так делают, так и должно быть, нечего возмущаться. Важное значение имеет подсознательное послание лозунга: «Я знаю, что я должен делать, я послушен». Ему было бы стыдно (как жестоко замечает Гавел) выставить унижительный знак: «Я боюсь и поэтому беспрекословно послушен». Гораздо лучше демонстрировать свою бескорыстную убежденность и поддерживать иллюзию, что система, основанная на лицемерии и отрицании, находится в гармонии с человеческой природой. Система работает, потому что люди способны и хотят жить во лжи.

Поскольку режим находится в плену собственной лжи, он вынужден фальсифицировать всё. Он фальсифицировал прошлое. Он фальсифицирует настоящее и будет фальсифицировать будущее. Он фальсифицирует статистику. Он уверяет в отсутствии всемогущего и беспринципного полицейского аппарата. Он делает вид, что уважает права человека. Он делает вид, что никого не преследует. Он делает вид, что ничего не боится. Он делает вид, что ничего не делает. Людям не обязательно верить во все эти мистификации, но они должны вести себя так, как если бы они верили, или, по крайней мере, молча терпеть их или хорошо ладить с теми, кто с ними работает. Однако по этой причине они должны жить во лжи. Им не нужно принимать ложь. Им достаточно просто принять свою жизнь с этим и в нем<sup>35</sup>.

Жизнь во лжи универсальна. Но это была особая версия. В старом советском анекдоте товарищ объясняет, почему ему нужно посещать и офтальмолога, и отоларинголога: «Что вижу, о том не слышу; о чем слышу – того не вижу».

### Израиль: особый случай?

Израильская культура отрицания не происходит от государственного коммунизма или военной диктатуры: еврейским и даже

---

<sup>35</sup> Ibid., 136.

арабским гражданам Израиля доступно большинство преимуществ демократии: верховенство закона и наличие пространства для инакомыслия. Но отрицание несправедливости и травм, причиненных палестинцам, встроено в социальную ткань. Согласие еврейской общественности с официальной пропагандой, мифами и абсолютная уверенность в собственной правоте является результатом добровольной идентификации, а не боязни незаконного тюремного заключения, комиссаров или тайной полиции. Многие темы известны и неизвестны одновременно. Израиль – страна, полная «общеизвестных секретов». Даже те, о которых знает весь мир, такие как существование ядерного потенциала Израиля, защищаются с причудливым упорством. Официальная лож произносится с невозмутимым выражением лица и принимается с понимающим подмигиванием.

В течение десятилетия *интифады*, начиная с 1987 года, никто не верил официальным опровержениям конкретных обвинений, таких как пытки, тайные отряды смерти и убийства безоружных демонстрантов. Но они продолжали жить «во лжи», именно в смысле Гавела. Большинство из них не были идеологическими фанатиками, так же, как и его коммунисты не были коммунистическими фанатиками. Но у них есть неосознанная привязанность к благочестивому китчу сионизма и его мифам, таким как «чистота оружия». Здесь мало лицемерия и притворства, нет иронии, характерной для притворных «коммунистов» Гавела. В отличие от пражского бакалейщика, израильские евреи вывешивают флаги на своих машинах и балконах при каждом публичном мероприятии без каких-либо обязательств.

Конечно, есть веские исторические причины, по которым израильские евреи должны верить в защитную самооценку и иметь защитный слой у характера, состоящий из неуверенности и постоянной жертвенности. Результатом является ксенофобия, которую где-либо еще называли бы «расизмом», исключение палестинцев из общей моральной вселенной и навязчивый эгоцентризм: то, что мы делаем с ними, менее важно, чем то, что они делают с нами. Тесное взаимопроникновение гражданской и военной жизни (армия, состоящая в основном из призывников и резервистов) означает, что общественность является не столько «аудиторией», сколько надежным источником подтверждения общих нейтралитетов.

заций. Преступники всегда могут рассчитывать на популистское оправдание. Однако институты демократической подотчетности посылают более двусмысленный сигнал: злоупотребления разрешены (иначе они бы не происходили), но осуждаются и отвергаются, если они становятся слишком заметными или грубыми. Лица, выбранные для обозначения моральных границ, справедливо считают себя жертвами послания, имеющего двойной смысл: вперед, мы одобряем, но помните, что мы можем публично отречься от вас.

Два примера из первых месяцев интифады: 19 и 21 января 1988 года израильские солдаты вошли в две деревни на Западном берегу – Хавару и Бейту. Приказы, которые они выполняли, были совершенно ясными, хотя, поскольку их источником служили инструкции министра обороны Рабина «ломать кости» подозреваемым в беспорядках, они передавались двусмысленно и с возможностью отрицания вышестоящими. Солдаты (используя список службы безопасности) вытащили двадцать молодых палестинцев из домов, отвезли их на близлежащие поля, заткнули им рты, связали ноги и руки, а затем бросили на землю. Затем они выполнили приказ Рабина: дубинками, камнями и вручную они систематически ломали руки и ноги каждому палестинцу, за исключением одного, которого они оставили способным ходить в поисках помощи. На заднем плане продолжал работать двигатель военного автобуса, водитель которого постоянно увеличивал обороты, чтобы заглушить крики.

Реакция общественности и средств массовой информации не утихала на протяжении двух лет, сосредоточившись на возможном военном трибунале старшего офицера, отдавшего непосредственные приказы. Он, однако, получил широкую поддержку со стороны своей семьи, друзей и мнения «свидетелей», которые все приняли его заявление о том, что высшие эшелоны армии «бросили его на съедение собакам». Много внимания уделялось кошмарам и травмам солдат; жертвы больше никогда не упоминались.

Пятого февраля, через несколько недель после этого инцидента, группа израильских солдат вошла в деревню Кафр-Салем, арестовала четырех палестинских молодых людей, избивала их дубинками, а затем приказала армейскому водителю переехать их своим бульдозером. Он отказался, а вместо этого засыпал их землей и мусором, пока они не были почти полностью покрыты землей и, таким образом, похоронены заживо. Когда солдаты ушли, молодые

люди были выкопаны жителями деревни, без сознания, но живыми. Подавляющей реакцией общественности было сочувствие четырем арестованным солдатам. Их семьи, выступая от имени других, более отстраненных свидетелей, нашли соответствующие опровержения («Еврейское сердце не может этого сделать»), но также и точное социологическое объяснение: «Наш брат – это козел отпущения, которого выбрали, чтобы доказать, что существует справедливость и демократия в Израиле ... Сейчас устроят показательный процесс». Один из солдат первые дни заключения провел в слезах; он чувствовал, что все должны быть против него. Затем он начал понимать, что за него стоят другие заключенные, полиция и вся страна: «Вы можете почувствовать, как разрываются их сердца, когда они видят, как я плачу. Поймите, мне не стыдно за то, что я сделал, но то, что со мной делают, меня ранит».

Не все, конечно, сочувствовали ему. У израильских либералов существует диссонанс между провозглашаемыми ими универсальными ценностями и подобными событиями. Одно из решений – разорвать ряды и выйти из роли свидетеля, перейти к инакомыслию и активным действиям. Другой вариант – вернуться в надежные объятия консенсуса. Вы публично отрицаете то, что знаете конфиденциально, и проводите внутренние нейтрализации. Вы притворяетесь, что верите – грязную работу делают другие; ваш собственный народ – сыновья, мужья, соседи, друзья, коллеги – наверняка не вели бы себя так, как солдаты Бейты.

Мы видели и третье решение, «внутреннюю эмиграцию»: замкнуться в собственных мыслях, избегая дополнительной информации или конфронтации. У некоторых позиция именно такова: под ней действительно скрывается безразличие. У других существует настоящая внутренняя оппозиция: стыд за свое правительство, беспокойство за будущее и глубокое чувство бессилия и фатализма, которые побуждают уйти в частную жизнь. Когда наблюдатели за соблюдением прав человека разоблачали очередную ужасную историю, либералы говорили: «Слава богу, есть кто-то там, кто раскапывает эту ерунду»; но также: «Хватит историй. Оставьте нас в покое, мы уже знаем, какие ужасные дела творятся».

Без какой-либо серьезной эрозии самооценки политическая культура пришла к нормализации пыток, длительного административного задержания, эскадронов смерти, захвата гражданских

заложников и коллективных наказаний, таких как комендантский час, депортации и снос домов. Широко признано, что сообщения об этих недавних злоупотреблениях правдивы. Но «разоблачения» прошлого, особенно изгнание палестинцев в 1948 году (и его анахроничный намек на этнические чистки), являются гораздо более угрожающими и сразу же помещаются в двойной дискурс частного и публичного знания. Время от времени какой-нибудь общественный деятель забывается и перестает говорить шифровано. Во время избирательных кампаний Ицхак Рабин (никогда не признававший обвинений) отвечал критикам правого толка, требующим изгнания («перемещения») арабов: «Не говорите мне об изгнании. Никто здесь не изгнал больше арабов, чем я».

У внутреннего отрицания есть еще одна особенность: различие между тем, что можно сказать внутри и за пределами страны. В Израиле информация довольно свободно распространяется внутри, но существуют добровольные запреты на слишком откровенные высказывания вне страны. Правозащитников и политических активистов, которые выходят за рамки консенсуса в критике Израиля за рубежом, называют малшиним (*malshinim*), что на иврите означает «информаторы», то есть буквально те, кто предает свой народ врагу.

## Внешняя аудитория

Отрицание и безразличие со стороны внешней аудитории объяснить гораздо проще. Совершенно ненормально знать или слишком сильно заботиться о проблемах отдаленных мест. Вас может глубоко тронуть четырехминутный телевизионный репортаж, показывающий еще один исход беженцев в Косово – несчастных, растерянных, голодных и больных. Но каналы информации, такие как телевизионные новости или листовки, распространяемые Amnesty, можно легко удалить или изолировать. Выключаем телевизор, выбрасываем листовку и возвращаемся к повседневной жизни. Никакой сложной конструкции рационализаций не требуется. Некоторые уклончивые версии («Слишком сложно понять, что происходит») можно выдвигать вполне добросовестно. Но внешнее восприятие заранее структурировано. Прежде чем начнется драма, нам дают понять, что мы должны признать надежного союзника,

который не может сделать ничего плохого, или поверить в «сумасшедшее государство», которое может делать только плохо. Такая политическая структура усиливает простое мнение, что это не имеет к нам никакого отношения.

Используя экстремальный случай геноцида в качестве фона, я перечислю четыре различных значения, в которых применяется концепция «внешнего наблюдения».

### *Знание извне*

Концепция культурного отрицания предполагает, что мы можем оценить то, что *на самом деле знают* миллионы людей, несмотря на их отрицания. Мы просто принимаем как должное или делаем выводы о том, что люди «должны» знать или знать о зверствах в других местах. Риторическая фраза «то, что знает весь мир», возможно, почти справедлива для Боснии и Косово, но не для любого места в дотелевизионные времена и не для большинства мест сейчас. Утверждения о коллективном знании обычно относятся к политическим лидерам, элитным группам и самим средствам массовой информации.

Опять же, нацистский период изучен наиболее подробно. Помимо «внутренних свидетелей» – простых немцев и их союзников – информация вскоре достигла ключевой внешней аудитории: руководства союзников, британских и американских СМИ, Ватикана, Красного Креста, мировых еврейских организаций, сионистского руководства в Палестине. Была ли эта информация не принята во внимание, ей искренне не поверили – или ей поверили, но ее значение отрицали? Разрыв между «знать» и «верить» проявляется в истории Яна Карского, польского тайного агента, который в 1942 году предоставил подробную информацию о разворачивающемся геноциде ряду западных лидеров. Факты редко оспаривались. Однако судья Феликс Франкфуртер заявил Карски: «Я не могу вам поверить». Убедившись, что Карский говорит правду, Франкфуртер сказал: «Я не говорил, что этот молодой человек лжет. Я сказал, что не могу ему поверить. Это не одно и то же».

Различие повторяется в этом и подобных повествованиях об отрицании. Влиятельные люди получали информацию, значимость которой ими обесценивалась. Общая истина в конечном итоге была



принята, но эта аудитория либо, казалось, была неспособна осознать ее масштаб, детали и последствия, либо, по различным политическим причинам, не хотела делать какое-либо публичное признание. Их двойственное отношение было хорошо иллюстрировано тем, как другие газеты подхватили сообщение лондонской *Daily Telegraph* в июне 1942 года о том, что 700 000 (тогда это число превратилось в миллион) польских евреев были убиты немцами «в ходе величайшей резни в мировой истории». *The New York Times* запрятала свое сообщение в середине газеты. Но «если бы правдой было то, что убит миллион человек, это явно должно было бы быть новостью на первых полосах; в конце концов, такое происходит не каждый день. Если же это не было правдой, сообщение вообще не должно было бы быть опубликовано»<sup>36</sup>. Публикация не на первых полосах была компромиссом между признанием и неверием.

Случаи Карского и «Нью-Йорк Таймс» – это иллюстрации различия между информацией и знанием, между знанием и верой. Такие случаи не могли бы произойти сегодня. В постмодернистском восприятии знание и убеждение легче воспринимаются как относительные; оба отделены от действия.

### *Государства-наблюдатели*

Термин «страны-наблюдатели» первоначально использовался для описания кажущегося безразличия западных лидеров к судьбе евреев во время Холокоста. По этому поводу существует множество споров<sup>37</sup>, но очевидно, что союзники знали *раньше и больше* о политике истребления, чем они признали официально. Даже когда факты стали однозначно известны, им поверили и признали, правительства союзников либо заявляли, либо что не могут, либо что не желают помочь.

Реакция Запада на зверства в Боснии и Руанде является (частично риторическим) современным эквивалентом. Но нюансы знания и незнания на международном уровне теперь совершенно другие: они проявляются в глобальных медиадрамах, с живой

---

<sup>36</sup> Lacqueur, *Terrible Secret*, 74.

<sup>37</sup> Обсуждалось в Richard Breitman, *Official Secrets: What the Nazis Planned, What the British and Americans Knew* (Harmondsworth: Penguin, 1999).

информацией, пресс-конференциями, аудиовизуальными гаджетами. По сравнению со всем, что было в прошлой войне, объем информации просто невероятный. Как, имея разведывательные спутники, находящиеся в пространстве над Боснией, и беспилотные самолеты, передающие видеоизображения в реальном времени, США могли настаивать на том, что информация о Сребренице была «двусмысленной»<sup>38</sup>?

Официальное признание массы доступной информации имеет своеобразное постмодернистское сочетание мгновенной прозрачности и яркости вместе с мгновенным отрицанием и исчезновением. Вот прямо сейчас ты это видишь, а теперь нет. Возьмите последовательность реакции Америки на разоблачения 1992 года о лагерях, управляемых сербами, сопровождаемые яркими телевизионными изображениями истощенных боснийских мусульман. «Увидев по телевидению лица за колючей проволокой, представители администрации Буша отреагировали инстинктивно: они отрицали, что что-либо знают о лагерях. Вернее, они сначала сказали, что знают, а на следующий день сказали, что не знают. Но вскоре первоначальные отрицания были стёрты из памяти; Государственный департамент признал, что они знали об этом с самого начала. Это называлось «перемещением мяча на один шаг вперед» – что означало, как объясняет Даннер, достижение этапа знания, но – поскольку официальная политика заключалась в том, чтобы ничего не делать – остановку задолго до второго шага – сделать что-то. Но если об ужасах Омарской было известно, почему правительство не раскрыло это?»<sup>39</sup>

Роль стран-наблюдателей особенно важна на ранних стадиях познания, когда можно четко идентифицировать предупреждающие знаки. Но если государства-наблюдатели откажутся предпринимать ранние превентивные шаги<sup>40</sup>, то правительства-нарушители могут смело идти дальше, полагаясь на то, что их союзники, покровители и спонсоры будут сдерживаться. В недавнем случае в Руанде

---

<sup>38</sup> См. состоящую из семи частей серию: Mark Danner', New York Review of Books, особенно «America and the Bosnian Genocide», Dec. 1997.

<sup>39</sup> Ibid., 57.

<sup>40</sup> Helen Fein (ed.), The Prevention of Genocide: Rwanda and Yugoslavia Reconsidered, Working Paper (New York: Institute for the Study of Genocide, 1994).

нагнетание обстановки было четко признано: местное радио транслировало призывы к уничтожению тутси в соответствии с подготовленными списками; дипломатическое сообщество и сотрудники гуманитарных организаций были полностью проинформированы. Хотя юридическое применение термина «геноцид» не гарантирует вмешательства, отказ от использования этого термина облегчает невмешательство. В мае 1994 года, когда в Руанде было убито не менее 200 000 человек (в основном тутси), правительство США дало инструкции своему представителю «не называть эти смерти геноцидом, хотя некоторые высокопоставленные чиновники считают, что именно это они и представляют»<sup>41</sup>. Политика Госдепартамента заключалась в использовании термина «инциденты геноцида» или «события».

Почему правительства закрывают глаза или отказываются вмешиваться в отдаленные конфликты, за которые они часто несут косвенную ответственность? Причин много: национальные интересы; мнение, что собственное государство не является моральным агентом с моральными обязательствами; прямое участие и сговор (оружие, подготовка, оборудование); нежелание нарушать доктрину национального суверенитета наряду с популярным мнением, что это действительно проблемы других людей. Есть еще разновидности релятивизма: правая версия («Эти люди всегда себя так ведут»); либеральная версия («Уважайте местную культуру, не навязывайте свои ценности; кто мы такие, чтобы осуждать?»); и бессмысленная версия («Нет ничего абсолютного, невозможно узнать, что происходит, правда имеется в аргументах обеих сторон»). Право государства оставаться нейтральным и не вмешиваться – даже не замечать – является политическим аналогом «права личности быть страусом»<sup>42</sup>.

Подобно двусмысленному дискурсу аргентинской хунты, государства-покровители посылают закодированные двусмысленные сообщения. На общественных форумах, таких как Ассамблеи ООН, они предупреждают, осуждают и даже угрожают проголосовать за санкции. В частном порядке (и с максимальным отрицанием)

<sup>41</sup> «Officials Told to Avoid Rwanda Killings Genocide», New York Times, 10 June 1994.

<sup>42</sup> Michael Stohl, «Outside of a Small Circle of Friends: States, Genocide, Mass Killing and the Role of Bystanders», Journal of Peace Research, 24 (1987), 151-66.

они продолжают военную помощь и обучение, инструктируют своего клиента, что говорить публично, нанимают фирмы-консультанты по связям с общественностью и дают добро на вторжение, устраивают *переворот*, уничтожают оппозицию – но не слишком открыто и так, чтобы ограничить потери. Эти все действия более активны, чем просто «закрывать глаза». 5 декабря 1975 года, за два дня до того, как генерал Сухарто вторгся в Восточный Тимор и начал резню, приведшую к гибели около 60 000 тиморцев, Генри Киссинджер и президент Форд прибыли в Джакарту с визитом, который позже представитель Госдепартамента назвал «большим подмигиванием».

В политической экономии отрицания Хомского психологические нюансы познания излишни. Наглая ложь, двойные послания и отведенный взгляд являются сознательными, преднамеренными и обусловлены исключительно геополитическими интересами. Избирательное слепое зрение всегда политически рассчитано. Те страны или этнические группы, которые обозначены как достойные или удовлетворяющие определенным условиям жертвы, получают сочувствие, но судьба недостойных или жертв, не соответствующих критериям, не интересует; есть «гнусные кровавые бани» и «милосердные и конструктивные кровавые бани». Результат идентичен выводам Оруэлла о национализме: «зверства официальных врагов вызывают огромную боль и негодование, широкое освещение и часто бесстыдную ложь, чтобы представить их еще хуже, чем они есть на самом деле; обращение противоположное во всех отношениях, когда ответственность лежит ближе к дому. Зверства, которые не затрагивают интересы внутренней власти, обычно игнорируются»<sup>43</sup>.

### *Метафорическая аудитория*

Главы 8 и 10 посвящены аудиториям, которые меня больше всего интересуют: с одной стороны, случайным потребителям изображений страданий в СМИ и, с другой стороны, более целенаправленной аудитории получателей призывов *Amnesty* и *Oxfam*.

---

<sup>43</sup> Noam Chomsky, «Human Rights: The Pragmatic Criterion», in *Year 501: The Conquest Continues* (Boston: South End Press, 1993), 120.

Будь то фактическое представление или зрелище, основанное на фактах, хвастовство средств массовой информации о том, что «мир наблюдает», превращает нас всех в метафорических свидетелей. Нам не хватает мгновенной и физической непосредственности реальных свидетелей. Но на смену этому приходит разнообразие и интенсивность требований в течении обычного дня, появляющихся в СМИ, большее, чем добрый самаритянин мог бы увидеть за всю свою жизнь.

### *Делегаты, наблюдатели и контролеры*

За последние два десятилетия значительно выросло число международных наблюдателей, чья работа или идеологические обязательства мотивируют их на посещение точек мира, население которых пострадало от насилия. Во времена Второй мировой войны Международный комитет Красного Креста был единственным (и ограниченным в своих возможностях) нейтральным наблюдателем. Сейчас существует обширная сеть наблюдателей и контролеров по линии ООН, наднациональных органов и гуманитарных НПО – даже в самых отдаленных и пугающих уголках мира. Заметная приверженность правозащитной риторике, рост числа международных гуманитарных организаций, демократизация авиаперевозок и доступность новых коммуникационных технологий создали глобальную элиту, выступающую против отрицания. Активисты и профессионалы отслеживают нарушения прав человека, организуют программы помощи при стихийных бедствиях, консультируют правительства по всем вопросам, от финансовой политики до профилактики СПИДа, снимают документальные фильмы и путешествуют в составе делегаций по установлению фактов или выражению солидарности. Это новая космополитическая субкультура – хорошо информированная, красноречивая и идеально позиционированная для наблюдения за зверствами и страданиями, которые еще не так давно были вне поля зрения.

Многие из этих людей являются «наблюдателями» в новом, особом значении этого слова. Они распространяют сострадание; они узнают о страданиях незнакомцев не как случайные свидетели, а как представители «неосязаемого современного идеала: проблемы других людей, какими бы отдаленными они ни были, должны

касаться всех нас»<sup>44</sup>. Они живут с ярко выраженным чувством признания страданий других. Не ускользающая от общественного внимания тема глобальных страданий во многом является продуктом именно их морального дискурса. Они отбирают и обрабатывают информацию, которая входит в отчеты по правам человека, готовят документацию для трибуналов по военным преступлениям, обращаются с благотворительными призывами и организуют политические брифинги.

Жители тех мест, где совершаются злодеяния, иногда несколько цинично относятся к этим международным наблюдателям. Жертвы, подчиненные и угнетенные группы считают этих иностранцев не совсем искренне преданными *своему делу*, считая, что те всего лишь перемещаются из одного проблемного места в другое. Правительства считают их предвзятыми по своей сути, поскольку они стоят на стороне слабых и исповедуют либеральные космополитические ценности. Обе стороны обвиняют их в слепоте, не позволяющей понять всю сложность местной проблемы: «Они видят то, что хотят видеть, а затем следующим самолетом возвращаются домой». Некоторые категории визитеров действительно приезжают с политическими предубеждениями, которые вызывают избирательное замалчивание и отрицание ошибок, совершенных не теми, кого хотелось бы считать виновными. Интеллектуалы имеют особенно постыдную историю политического запрета выступать против своих собственных дружественных или идеализированных обществ на том основании, что это может нанести ущерб доброму делу. Вот что значит «не выносить сор из избы». Этот народный запрет становится еще более грозным, когда он подкреплён завуалированными или реальными угрозами со стороны государства за выражение сочувствия или предоставление оружия врагу.

История левых политических делегатов раскрывает множество постыдных эпизодов добровольного избирательного восприятия, самоцензуры и отрицания. Существует целый словарь для описания обманщиков, марионеток, полезных идиотов и попутчиков. Первыми и наиболее печально известными были иностранные гости (уничижительный термин «попутчики», безусловно,

---

<sup>44</sup> Michael Ignatieff, *The Warrior's Honour: Ethnic War and the Modern Conscience* (London: Chatto & Windus, 1998), 5.

оправдан), которые посещали Советский Союз с «ознакомительными» целями или для выражения «солидарности», в то время как Сталин и его подручные занимались целенаправленными арестами и проведением срежиссированных показательных процессов, сделали массовыми пытки и тюремные заключения, создали систему ГУЛАГа и осуществляли массовые убийства путем организации голода<sup>45</sup>. Визитеры не замечали зла или, скорее, они его видели, но отрекались от смысла увиденного. В худшем случае они лгали сознательно (во имя благородного дела и более высокой лояльности). В лучшем случае они использовали логику отрицания, которую определил Примо Леви: если моральной основой коммунизма было искоренение неравенства, несправедливости и угнетения, то как могли существовать такие явления? Очевидно, что они могли быть лишь продуктом капиталистической пропаганды. Более поздние романтические посетители маоистского Китая были еще более подвержены слепоте или способствовали слепоте других к репрессиям и массовым страданиям вокруг них.

Израильско-палестинский конфликт не является симметричным по сути, но при этом являет яркий пример отрицания наблюдателей с обеих сторон в равной степени. Два автобуса с категорически настроенными политическими визитерами могут проехать друг мимо друга на одном и том же туристическом объекте (одном из трех «аутентичных» мест Тайной вечери?). В одном автобусе будет находиться группа еврейских туристов и делегатов солидарности от американских еврейских организаций, которые ежегодно приезжают десятками тысяч. Их гид излагает им все клише, описанные в путеводителе: осушение болот, равенство женщин в армии, Израиль никогда не убивал военнопленных. «Палестинская проблема» намеренно запутывается – начиная со лжи о том, что арабские лидеры в 1948 году по радио передавали приказы местным палестинцам покинуть свои дома. Путеводитель рассказывает о «бесплодных холмах», когда автобус проезжает мимо места, где находилась палестинская деревня, которую вместе с оливковыми деревьями и виноградными лозами полностью стерли с лица земли и из памяти бульдозерами. (Жители, используя идеальную идиому

---

<sup>45</sup>Обоснованную, хотя и слишком предвзятую критику см. в Paul Hollander, *Political Pilgrims: Travels of Western Intellectuals to the Soviet Union, China and Cuba, 1928—1978* (New York: Oxford University Press, 1981).

отрицания, официально описываются как «отсутствующие».) Те же американские евреи, которые открыто критикуют нарушения прав человека повсюду, от Сальвадора до Тибета, теперь превращаются из искушенных наблюдателей в ошарашенных коллективных жертв. Их собратьев-евреев, которые слишком резко или открыто критикуют отношение Израиля к палестинцам, объявляют «ненавидящими себя евреями» или обладателями «менталитета диаспоры».

Тем временем палестинский автобус направляется на «тур по поселениям» под руководством палестинского эксперта-географа. Путешественников возят из одного еврейского поселения в другое, сверяясь с картами, показывающими точное местоположение и размер конфискованной сионистами земли. Каждый дунам и оливковая роща тщательно отмечены. Пассажиры (большинство из них одеты в обязательную красную кеффию) – это разные типы сторонников палестинцев: знающие и преданные своему делу радикальные студенты из групп палестинской солидарности в Европе; свободно плавающие (и плохо информированные) активисты «мира и разрешения конфликтов», прыгающие от одной плохой сцены к другой; несколько романтических арабистов (с привкусом старомодного антисемитизма); докторанты работают над диссертациями на тему «Феминизм, ислам и постколониальный иной». Эти известны (израильтянам и палестинцам, которые работают вместе) как «политические поклонницы». Они ищут только информацию, которая подкрепляет политически корректный взгляд, с которым они приходят; многие отказываются даже посещать израильскую сторону невидимой границы. Они так же слепы в отношении израильской политической культуры, как сионистские туристы из Майами – в отношении палестинской истории.

Модельным описанием этих форм идеологического отрицания является противоречивое исследование Макии о молчании арабских интеллектуалов относительно зверств, совершаемых в Ираке при Саддаме Хусейне: «Молчание – это синоним смерти сострадания в арабском мире; это политика сокрытия «грязного белья» от публики, в то время как вокруг вас разворачиваются ужасающая жестокость и целые миры болезней. Молчание – это выбор, как у страуса, не знать, что арабы делают с другими арабами,



и все это во имя рефлекторного антизападничества, которое превратилось в болезнь ... молчание в арабском мире – это молчание, покрывающее жестокость»<sup>46</sup>.

Если в период нацизма была создана концепция «нации-наблюдателя», то Сербия, Босния и Косово превратили ее в целый дискурс о пассивном созерцании, бездействии и сговоре. Журналисты в Боснии сообщали о зверствах, наблюдатели за которыми казались такими же важными, как жертвы и преступники. Хроника падения Сребреницы, написанная Роде, например, целиком посвящена наблюдателям: голландским миротворческим силам, выполнявшим свою миссию по мандату ООН, голландскому правительству, аппарату ООН, правительствам Великобритании, США и Франции<sup>47</sup>. С самого начала, утверждает он, каждый, от рядового голландского солдата до международных лидеров, мог предвидеть грядущие массовые убийства. Официальные наблюдатели и миротворцы были свидетелями отдельных убийств и загрузки в автобусы мужчин; им ясно сказали, что должно было произойти, и они слышали звуки выстрелов; они вступили в сговор при составлении списков и отделении мужчин от женщин и детей. Однако они не предприняли никаких попыток вмешаться, протестовать или сообщить об этом. Даже после этого они пытались отрицать и скрывать доказательства своей осведомленности. «Сребреница была не просто случаем, когда международное сообщество стояло в стороне, наблюдая за совершением далекого злодеяния. Действия международного сообщества воодушевляли, помогали и придавали смелости палачам»<sup>48</sup>.

Это суждение может выглядеть слишком суровым. Эти люди не являются сторонними наблюдателями в традиционном смысле этого слова, они – оплачиваемые профессиональные представители так называемого международного сообщества. Активный мониторинг, поддержание мира, разрешение конфликтов и вооруженное

---

<sup>46</sup> Kanan Makiya, *Cruelty and Silence: War, Tyranny, Uprising and the Arab World* (London: Jonathan Cape, 1993), 325.

<sup>47</sup> David Rohde, *Endgame: The Betrayal and Fall of Srebrenica, Europe's Worst Massacre since World War II* (New York: Farrar, Straus and Giroux, 1998).

<sup>48</sup> *Ibid.*, 350.

вмешательство являются частью их должностных обязанностей, а вовсе не каким-то сентиментальным, альтруистическим порывом.

Они должны олицетворять новую эпоху гуманитарного вмешательства, глобальной полиции и международной юрисдикции. Треугольник злодеяния «жертва, преступник и свидетель» – становится квадратом; в четвертом углу – агент «международного сообщества» в голубой каске.

Будучи вдвойне отстраненными наблюдателями, мы смотрим на визуальные образы или письменные тексты, которые объясняют, как другие смотрят на страдания других. Но непосредственное знание стало демократизированным и глобализованным. Десятисекундный вид албанских детей, набитых в грузовик, выезжающий из Косово, делает всех нас очевидцами-свидетелями.

Моральный урок рассказов о социальных страданиях не становится яснее. Нынешнее культурное поклонение конфессиональному режиму – пересказывание историй о страданиях своей особой группы идентичности – не поощряет идентификацию с другими конкретными жертвами и не создает универсального чувства родства. Легко вызвать немедленное осознание присутствия. Конечно, нужно совсем немного воображения, чтобы увидеть себя соседями Китти Дженовезе. Но как сделать следующий шаг? Обугленные тела в яме на размытой черно-белой фотографии, сделанной шестьдесят лет назад, невозможно увидеть в реальности. Сегодняшние новости в прайм-тайм показывают нам тела в яме, вырытой вчера. Проблема, однако, не в том, что один образ более яркий, более запоминающийся или более «реальный», чем другой. Построение моста к страданиям далеких людей – это моральный, а не технический вопрос.

В Мемориальном музее Холокоста в Вашингтоне посетителям «концептуального музея» предлагается сыграть в игру, в которой можно идентифицировать себя либо с жертвой (евреем в Варшавском гетто), либо с преступником (немецким солдатом, которому было приказано убивать невинных женщин и дети), либо с наблюдателем. Директор музея комментирует: «Понимание непреднамеренной вины пассивного наблюдателя, вероятно, является самым важным и наиболее действенным моральным уроком, который музей может преподавать своим посетителям. Его

важность заключается в широкой применимости такого понимания к современным историческим и социальным явлениям, а также к явлениям в повседневной жизни каждого человека»<sup>49</sup>.

Да, создатели музея, безусловно, правы, сосредоточив внимание на наблюдателях – ведь именно они являются посетителями. Но что такое «непреднамеренная вина»? И как американские подростки-учащиеся средней школы, посещавшие Вашингтонский музей в 2000 году, «отождествляют себя» с жителями литовской деревни 1941-го года, которые наблюдали и приветствовали действия немецкой специальной полиции, убившей сотни их соседей-евреев? Более того, что значит «применять» эту самоидентификацию в повседневной жизни в Нью-Джерси?

---

<sup>49</sup> Jeshajahu Weinberg, «From the Director», in Michael Berenbaum, *The World Must Know: The History of the Holocaust as Told in the United States Holocaust Museum* (Boston: Little, Brown & Co., 1993), xv.

## Образы Страданий

Любой из читателей этой книги сталкивался в своей жизни с болезнями, болью, беспокойством или несчастьем. Кто-то пострадал от дискриминации по признаку пола, сексуальной ориентации, внешности, этнической принадлежности или религии. Многие стали жертвами преступлений, стихийных бедствий или дорожно-транспортных происшествий. Все они, конечно же, были наблюдателями и свидетелями страданий других – знакомых (членов семьи, друзей или коллег) и незнакомых (нищих на тротуаре, возбужденных людей, бормочущих в автобусе, детей, подвергшихся насилию со стороны родителей на публике). Они также могли быть «виновниками», причинившими вольно или невольно страдания своим семьям и друзьям.

Однако после Второй Мировой войны большинство людей в большинстве западных демократий избежали жизни в мире массовых страданий и общественных злодеяний. Мы познаем эти миры только через опосредованное знание. Информация проходит через многочисленные уровни фильтрации, репрезентации и интерпретации – средствами массовой информации, гуманитарными организациями, политическим дискурсом, высоким искусством и массовой культурой, историей и социальными науками – прежде чем она достигает заинтересованного взгляда. В этой главе рассматриваются два наиболее влиятельных института, сделавших социальные страдания темой или предметом своей озабоченности<sup>1</sup> – средства массовой информации и гуманитарные организации – и

---

<sup>1</sup> Arthur Kleinman and Joan Kleinman, «The Appeal of Experience, The Dismay of Images: Cultural Appropriations of Suffering in Our Times» in A. Kleinman et al. (eds), *Social Suffering* (Berkeley: University of California Press, 1997), 1–24.

их общие связи с отрицанием, особенно через тезис об «усталости от сострадания».

## Умиротворение медиа-зверя

Средства массовой информации обладают практически полной монополией в создании культурных образов страданий и злодеяний. Телевидение является основным каналом, через который агония далеких людей достигает внимания и совести более привилегированно, безопасно и комфортно расположенных наблюдателей. Сюжет этой книги можно представить только в рамках изображений, созданных средствами массовой информации. Эти образы принадлежат гиперреальности, непрерывному набору парадоксов относительно взгляда наблюдателя на то, что происходит «на самом деле». В невыносимо живом лице руандийской матери, которая ищет в лагере беженцев своих пропавших детей, чувствуется настоящая, неподдельная реальность. Но есть и неизмеримая дистанция, не просто географическая удаленность от события, а невозможность представить, что такое произойдет с вами или вашими близкими. Игнатьев предполагает, что эти эффекты телевидения, близость и удаленность, нейтрализуют друг друга. С одной стороны, непосредственность разрушает старые барьеры на пути к знаниям и состраданию, телевизионные новости становятся «обнадеживающим примером интернационализации сознания»<sup>2</sup>. Но, с другой стороны, их избирательность, беспорядочность и слишком короткий промежуток времени, в течении которого привлекается внимание, делают зрителей «наблюдателями чужих страданий, туристами среди пейзажей страданий»<sup>3</sup>.

Мы не знаем ничего достоверного о кумулятивном эффекте медиа-образов. Исследования касаются главным образом более ранних этапов: того, как события исходно отбираются и представляются. Средства массовой информации сканируют события и места, решают, что считать «новостями», фильтруют и формулируют проблемы, представляют каждую проблему в определенном

---

<sup>2</sup> Michael Ignatieff, 'Is Nothing Sacred? The Ethics of Television', in *The Warrior's Honour: Ethnic War and the Modern Conscience* (London: Chatto & Windus, 1998), 11.

<sup>3</sup> Ibid., 10.

контексте и определяют политическую повестку дня. Подборка новостей о страданиях и зверствах укладывается в классическую формулу: СМИ не говорят нам, что думать, но они подсказывают нам, о чем думать. По мере того, как новости и популярная культура становятся все более глобализованными, формат этого «что-то» (вплоть до словесных интонаций репортера CNN) становится более однородным. Человеческие страдания – это товар, над которым нужно работать и которому нужно придавать надлежащую форму.

Права человека, гуманитарная помощь, развитие или темы «третьего мира» обычно неопределенно классифицируются как «зарубежные» или «международные» новости: события, которые происходят где-то в других местах. Гуманитарные организации, использующие знания для стимулирования сострадания, вынуждены корректировать свои программы с учетом все более мощного и глобального влияния СМИ. Возникает вопрос: «Как ... душераздирающие подробности человеческих страданий ... преломляются современными маркетинговыми методами, политикой телерадиовещания, культурными стилями национальных гуманитарных движений, визуальными образами и повествовательными формулами, с помощью которых представляются бедствия и поддержка пострадавших, а также какой особой силой и очарованием обладает телевидение?»<sup>4</sup>.

Освещение настолько избирательно, что средства массовой информации, по сути, создают катастрофу, когда признают это: «они дают институциональное одобрение или подтверждение плохих событий, реальность которых в противном случае ограничивалась бы местным кругом жертв»<sup>5</sup>. Эти «плохие события» включают не только реальные события, такие как стихийное бедствие или политически инспирированная резня, но и разворачивающиеся события, ухудшающую статистику детской смертности, длительное преследование групп меньшинств и деградация положения женщин.

Контекст, в котором отбираются и представляются «плохие события», представляет собой устойчивую тенденцию, сложившуюся за последнее десятилетие среди СМИ в США, Западной Европе и

---

<sup>4</sup> Jonathan Benthall, *Disasters, Relief and the Media* (London: I. B. Tauris, 1993), 3–4.

<sup>5</sup> Ibid., 11.

даже Великобритании (некогда самой глобальной в своем освещении новостей) уделять гораздо меньше внимания зарубежным новостям. В категории зарубежных новостей (включая документальные фильмы) особенно снизилось освещение плохих событий в отдаленных местах. Количество упоминаний – это не то же самое, что количество *внимания*. Даже хорошо освещаемые и драматичные зарубежные конфликты не привлекают широкой общественности, особенно в США. Каждый месяц *Times Mirror News Interest Index* подтверждает очевидное в удивительных деталях: отечественным новостям в США уделяется больше внимания, чем зарубежным, если только там не присутствуют американцы (обычно в качестве солдат или туристов)<sup>6</sup>.

Если освещение не означает внимания, то и внимание не означает понимания. В одном опросе американских студентов изучалось влияние регулярного просмотра телевизора на осведомленность о политических и социальных проблемах<sup>7</sup>. Выборка была разделена на «внимательных», «средних» и «поверхностных» телезрителей. Итог: всем не хватало базовых знаний, особенно по иностранным вопросам. Большинство студентов считали, что правительство США осудило диктатуры, которые оно на самом деле поддерживало. Они считали, что реакция администрации Буша на политические убийства в Сальвадоре была направлена в защиту прав человека (прекращение помощи). Противоположный и правильный ответ (продолжение помощи правительству Сальвадора) выбрали лишь 24 процента. На вопрос: «Какая страна в 1975 году жестоко вторглась в Восточный Тимор и с тех пор оккупирует его?» четыре из пяти предложенных альтернатив были известными коммунистическими «плохими парнями» (Китай, Северная Корея, Вьетнам и Советский Союз). Каждый из этих «плохих» был предпочтен правильному ответу: Индонезия, единственный «хороший парень» и союзник США в списке, поставленный на последнее место, правильно указанный всего 12,5 процентами опрошенных. Постоянные телезрители часто были менее информированы, чем

---

<sup>6</sup> См.: Studies of Public Awareness: Times Mirror News Interest Index (Washington, DC: Times Mirror Center for the People and the Press). В декабре 1993 года за историей Ленор Боббит, отрезавшей пенис своему мужу, следили более внимательно, чем за боснийской войной.

<sup>7</sup> См.: Justin Lewis, «What Do We Learn from the News?» Extra, sept. 1992, 16-17.

смотрящие телевизор от случая к случаю. Это не подтверждает старый лозунг «Чем больше смотришь, тем меньше знаешь», но и не является хорошей новостью для проекта преодоления культурного отрицания.

### Фильтрация изображений

«Где-то там» происходят плохие события; кое-какие события становятся историями о злодеяниях, и лишь некоторые из них становятся событиями в средствах массовой информации. Но почему, имея так много альтернатив, национальная газета или телеканал должны выбирать именно этот репортаж, тему, историю или событие? Чтобы понять культурное отрицание, мы должны сначала знать, *что* воспринимает, обрабатывает и затем представляет медиазверь. Это тонкая операция именно потому, что медиафильтр очень похож на само культурное отрицание.

Существует три модели медиафильтрации: соответствие, произвол и шаблонность. В *корреспондентной* модели отбор рационален и объективен. Он обеспечивает точное и достоверное отражение действительности, отбирая события только по их серьезности. В крайних случаях происходит нечто подобное: о политической резне с 200 жертвами сообщают с большей вероятностью, чем о политической резне с 20 жертвами. Но, как правило, ничего подобного не происходит вообще. Если 20 человек будут убиты во Франции, им будет предоставлено больше пространства в западных СМИ, чем 200 в Алжире. Нет нужды рассуждать об очевидном. В сегодняшнем саморефлексивном мире никто не думает, что «Час мировых новостей» является репрезентативным и точным образцом того, что происходит в мире.

В модели *произвольности* отбор совершенно иррационален и непредсказуем. Конечный результат определяется случаем и непредвиденными обстоятельствами. Ничто иное не может объяснить несправедливость того, каким образом некоторым незначительным плохим событиям уделяется сенсационное освещение, а некоторые ужасно разрушительные события практически игнорируются. Нет ни соответствия, ни какой-либо заметной закономерности. Ставшие уже историческими случаи массового голода, поли-



тических убийств или исхода беженцев выбираются только из-за случайности присутствия журналиста на месте событий.

Однако в целом случайность объясняет даже меньше, чем соответствие. Критерии отбора – информативность, этноцентризм, человеческий интерес, политическая приемлемость – вовсе не случайны. В шаблонных моделях отбор структурируется по критериям, не связанным с серьезностью события: например, этнической группой жертв, личностью преступников или нашей социальной дистанцией от события. Смыслы могут быть политическими (отбор служит интересам власть имущих, поддерживает доминирующую идеологию, отражает политические угрозы), культурными (общие когнитивные схемы для конструирования социальной реальности) или организационными (структура ньюсмейкинга, ритмы редакции, субкультура журналистики и профессиональные соображения о том, что делает историю хорошей).

Эти закономерности вытекают из контекста (геополитический интерес, культурное сходство, идеологическая принадлежность, социальная и географическая дистанция) и события («внутренний» потенциал того, что предмет может стать событием, а событие стать новостью). Подобно когнитивным процессам «сверху вниз» и «снизу вверх», эти два критерия работают вместе. Общие правила, такие как *порог* (сколько смертей, сколько страданий) и *однозначность* (кто выстрелил первым), зависят как от событий, так и от контекста. Четкая матрица предсказывает, что пункты, которые будут выбраны с большей вероятностью, будут касаться интересов Запада и особенно Америки; иметь дело с негативными вопросами (насилие, кризисы и катастрофы); состоят из драматических, сенсационных событий, а не исторических и разворачивающихся проблем (например, *переворот*, а не продолжающаяся партизанская война). Но если рассматривать только потенциальную «ценность» зверств и страданий как новостей, ни одна матрица не сможет вместить всю массу событий, политических случайностей и капризов моды.

Некоторые условия исключены, даже если речь идет о больших количествах. Это невидимые зверства, тихие страдания, которые пытаются разоблачить гуманитарные организации или социально сознательные журналисты. Условия, которые являются эндемичными, широко распространенными и предположительно

непреодолимыми – голод, болезни, нищета, голод, детская смертность и дискриминация – сами по себе не заслуживают внимания. Нормализация блокирует воздействие до тех пор, пока противоположные социальные силы не станут сильнее. Коллективное изнасилование во время войн или политических массовых убийств когда-то воспринималось как военная добыча, подобно грабежам. В культурном отношении женщин заставляли молчать – они были слишком стыдливы и слабы, чтобы говорить публично – и становились двойными жертвами как насилия, так и унижения, связанного с молчанием. Сообщения СМИ о массовых изнасилованиях в Боснии разрушили эту стену идеологической нормализации.

При прочих равных условиях наиболее важным фактором, определяющим выбор, является то, стала ли история уже историей. Новостная повестка СМИ носит самоссылающийся характер. Ранние репортажи о правах человека в Ираке, Боснии, Сомали и Руанде не привлекали особого внимания до того, как названия этих стран попали в заголовки газет. В семидесятые годы истории об эскадронах смерти в Сальвадоре встречали отрицание официального правительства США и безразличие средств массовой информации. Это не было новостью – всего-то еще больше латиноамериканцев убивали друг друга. Когда политическое внимание переместилось, средства массовой информации начали перерабатывать старые истории и фотографии, чтобы они соответствовали новому фрейму «резни».

Еще одним важным критерием является то, соответствует ли событие политическим интересам общества. Такой термин, как «американские интересы», имеет два разных значения. Более мягкий вариант, подразумеваемый фразой «американский ракурс», относится к тому, что может заинтересовать американскую аудиторию: есть ли у нас какая-то связь со страной? Есть ли у нас там войска, гражданские лица или заложники? Менее мягкий смысл заключается в том, что будут выбраны только те новости, которые служат американским геополитическим и идеологическим интересам. О нарушениях со стороны друзей и союзников не будет сообщено, а о нарушениях со стороны наших врагов будет сообщено иначе. «Интерес» означает внешнюю политику правительства США. Хомский очень подробно задокументировал образцы этого глав-

ного принципа отбора<sup>8</sup>. Под внешним обликом средств массовой информации скрываются слои всех мыслимых форм отрицания: буквальное сокрытие, двусмысленность («тихая дипломатия», «особые отношения»), бессмысленные лозунги и преднамеренные отвлечения внимания. Чтобы во всем этом разобраться, не нужен никакой эзотерический код. Деконструкция – это детская игра.

Но освещение постмодернистских новостей становится слишком произвольным для приложения таких критериев. Новый мировой порядок с его меняющимися альянсами и внезапными вспышками политического насилия затрудняет прогнозирование первой полосы *New York Times* или первого сообщения новостей CNN. Следование новостной программе Госдепартамента по-прежнему помогает, но не полностью. Некоторые события дезавуируются или никогда не доходят до лиц, определяющих повестку дня. Гуманитарные организации должны решить, как продвигать сложные случаи. Даже визуально драматичный вопрос о противопехотных минах не привлекал особого внимания средств массовой информации, пока не стал ассоциироваться с принцессой Дианой.

Какая страна будет выбрана? Лучше всего выбирать их тех, которые уже есть в новостях, или тех, которые представляют очевидный национальный интерес, или и то, и другое. В некоторых странах нет ни того, ни другого. Они сталкиваются с «правилом Чада»: никто не хочет слышать о Чаде. Целые зоны мира, как и части Африки, имеют шанс на американское или глобальное освещение только в том случае, если сам масштаб событий, как в Руанде, станет заслуживающим освещения в печати. Есть печально известные случаи: Турция, несмотря на регулярное, постоянное и хорошо задокументированное применение пыток, почти не появляется на карте международных новостей. Турецкое правительство, обладающее полномочиями и опытом в своей восьмидесятилетней практике отрицания армянской резни, усовершенствовало сочетание буквального отрицания с заверениями, что ситуация постоянно улучшается. Причины сговора СМИ в этом отрицании прозрачны: Турция является третьим по величине получателем

---

<sup>8</sup> Noam Chomsky, *Necessary Illusions: Thought Control in Democratic Societies* (Boston: South End Press, 1989); idem, *Year 501: The Conquest Continues* (Boston: South End Press, 1993); idem, *Secrets, Lies and Democracy* (Tucson, AZ: Odonia Press, 1994), and idem, *Media Control* (New York: Seven Stories Press, 1997).

помощи США; это стратегически важно для США и НАТО; и Запад противопоставляет его Ирану как модель для исламских стран.

Иные события увидеть сложно, потому что страна слишком выдающаяся. Интерес к Израилю есть всегда: информацию легко собрать; Иерусалим – комфортный и культурно знакомый город для журналистов; есть энергичные местные средства массовой информации и сильные голоса со всех сторон. Проблема, однако, в том, что слишком много шума в СМИ. Сравните это с Сирией: закрытое общество, отсутствие доступа к информации, отсутствие лобби в США. Страны отбираются в соответствии с метаправилom «подходящих жертв». Лучшие жертвы – это те, кто знаком, с кем относительно легко идентифицироваться, и кто не слишком ответствен за свои страдания. Преступникам желательно слыть известными злодеями, а не считаться союзниками.

Другие критерии новостной привлекательности носят менее политический характер. Истории должны быть представлены в яркой, наглядной и драматичной форме. Визуальные образы особенно сильны: студенты на площади Тяньаньмэнь, судмедэксперты, эксгумирующие массовые могилы в Эфиопии. Плохие события необходимо персонализировать: этническая албанка в грузовике, выезжающая из Косово, рыдая, рассказывает о том, что произошло в ее деревне; палестинская семья, оцепенело глядящая на руины своего дома, только что разрушенного израильским бульдозером; малыш с раздувшимся животом смотрит в камеру ввалившимися глазами.

### Разглядывая изображения

Некоторые из изображений оказали драматическое воздействие на свое время и остались незабываемыми символами страданий: напуганный ребенок в Вене после аншлюса с поднятыми руками, нацистский солдат, направляющий на него пистолет; фотография Дона Маккаллина, сделанная в 1969 году, изображающая голодающего мальчика-альбиноса во время войны в Биафре; фотография AP 1972 года, на которой изображена обнаженная вьетнамская девушка, обожжённая американским напалмом; фильм ITIN 1992 года об истощенных боснийских заключенных за колючей проволокой лагеря в Омарска. У некоторых людей такие образы

вызывают раздражение и упрек («Я не могу выкинуть эти картинки из головы»), которые так же трудно стереть, как рекламный звон, гуляющий в голове. Но и они уходят из нашего сознания, и режим СМИ не приспособлен напоминать нам о них.

Эта культурная амнезия, вызванная средствами массовой информации, менее фатальна, чем отрицание будущих рисков. Повествования в СМИ не создаются для предотвращения. Социологи создали правдоподобные «системы раннего предупреждения геноцида», но политическое нагнетание и его признаки (дегуманизация, сегрегация, изоляция) трудно изобразить и легко свести к минимуму. Истории о голоде, как правило, представляют собой «ползучие катастрофы» (в отличие от «быстрых катастроф»), компоненты которых (нехватка продовольствия, неурожай и т. д.) всегда известны заранее. Тем не менее, во всех крупных современных голодоморах даже эти ранние предсказания и предупреждения были отвергнуты. Сообщения об экологических рисках являются лучшими кандидатами для отбора, и их труднее блокировать: они имеют определенную нечеткую ценность, а жертвы всегда подходящие. Им может быть любой из нас – а если не мы, то наши дети или внуки. Признаки (загрязнение озер, гибель птиц) и профилактические действия (переработка бумаги, отказ от использования аэрозольных баллончиков) легко находят свой образ. Гуманитарные организации пытались использовать резкие (а иногда и преувеличенные) предупреждения о будущем, чтобы преодолеть нынешнее отрицание: «Тридцать миллионов человек умрут от голода в Африке в следующем году, если...». Но эта стратегия, однако, может заложить основу для дальнейшего отрицания разновидности крокодиловых слез: «Они всегда манипулируют подобными цифрами».

Проблема «вбрасывания цифр» в том, что пороги внимания не фиксированы. Повышенная восприимчивость к гуманитарному посланию означает, что эта тема регулярно включается во всевозможные другие обрамления – войну, зарубежные новости, национальный конфликт, беженцев, катастрофы. Борьба за внимание усиливается: глобализация источников новостей и увеличение количества ужасных историй из большого количества мест и в течение столь длительного времени затрудняют выбор какого-либо конкретного события. В вихре борьбы против нормализации ситуа-

ции не все сообщения доходят до нас. Жертвы, группы давления и правительства вынуждены заявлять, что их социальные страдания уникальны. Истории о правах человека должны не только преодолевать те же барьеры, что и болезни или стихийные бедствия; им также приходится бороться с резкими политическими опровержениями со стороны официальных источников, сторон конфликта и их международных спонсоров. У историй о голоде нет видимой обратной стороны: голод можно скрыть, но нельзя защитить; пытки всегда скрываются и их оправданность всегда защищаются.

Истории социальных страданий превратились в истории гуманитарной интервенции. Появление на месте сотрудников известных международных агентств сигнализирует о том, что происходит что-то серьезное.

Освещение в новостях трагедий в Сомали или Руанде было бы немыслимо без изображений разгружаемых грузовиков Oxfam, медсестры-волонтера, держащей голодающего ребенка, врача из организации «Врачи без границ», перевязывающего раны. В историях о правах человека мало подобных образов. Без специальных разъяснений непонятно, чем на самом деле занимаются правозащитники. Слышится множество высказываний – от самих журналистов, международных наблюдателей, представителей правительства, потерпевших, вооруженных оппозиционных группировок, свидетелей и политических антагонистов. «Иерархия доверия» (термин Беккера, обозначающий неравное моральное распределение права верить) определяет, какой голос будет услышан.

Содержание новостей самореферентно. Освещение в СМИ пятилетней засухи в Сахеле, начиная с 1972 года, проходило через знакомую последовательность отрицаний/признаний<sup>9</sup>. Основная информация о засухе и ее определенных опасностях была хорошо известна международным организациям, правительствам стран-доноров и специализированным средствам массовой информации – и легко доступна обычным средствам массовой информации. Когда после случайного репортажа в *Le Monde* произошел прорыв, реакция

---

<sup>9</sup> James W. Morentz, «Communication in the Sahel Drought: Comparing the Mass Media with Other Channels of International Communication» in Committee on Disasters and the Mass Media, Disasters and the Mass Media (Washington, DC: National Academy of Science, 1980), 158-83.

средств массовой информации активизировалась. Эта история оказалась связана с визуальными образами страданий и (тогда) заслуживающим внимания ракурсом вмешательства ООН. Только когда знания становятся новостью в престижных международных средствах массовой информации, можно будет мобилизовать серьезную помощь.

Голод в Эфиопии 1984 года – это классическая история невидимого знания: два года фактов и предупреждений со стороны агентств по оказанию помощи и международных организаций, получивших драматическое признание<sup>10</sup>. События, приведшие к оригинальному выпуску новостей ВВС, были и случайными, и не совсем случайными: нужный человек на месте оказался случайно, коммерческая же конкуренция между телеканалами, решительные репортеры, вялые телевизионные новости выдвинули этот материал на передний план. Никто не думал, что эта история будет привлекать какое-либо длительное внимание. Репортеры и редакторы предполагали, что публике скоро станет скучно, она потеряет интерес и скатится к отрицанию. Единый повествовательный или визуальный образ преодолевает барьеры в СМИ и в общественном мнении: внезапно, хотя и ненадолго, возникает глубокая обеспокоенность по поводу отдаленных жертв<sup>11</sup>.

Формула может обернуться и в другую сторону: история выбрана, но неожиданно утрачивает общественный интерес. В 1993 году произошли впечатляющие разоблачения иракской кампании Анфаль<sup>12</sup>. Все требования для большой истории злодеяний были налицо: четкий политический сценарий, Саддам Хусейн – недвусмысленный злодей, отсутствие сочувствия к Ираку, химическое оружие, беспомощные жертвы. Но время было выбрано неудачно. Попытки искоренить курдов уже имели место в 1987–1989 годах, в далеком прошлом американской медиакультуры. Рынок был насы-

---

<sup>10</sup> Paul Harrison and Robin Palmer, *News out of Africa: Biafra to Band Aid* (London: Hilary Shipman, 1986). Об опровержениях СМИ, навязанных государством, см. исследования Алекса Де Ваала о голоде 1980-х годов в Эфиопии и Судане, а также историю массовой лжи китайского правительства о голоде 1959–1961 годов в *Starving in Silence: A Report on Famine and Censorship* (London: Article 19, April 1990).

<sup>11</sup> Benthall, *Disasters, Relief and the Media*, 8.

<sup>12</sup> *Genocide in Iraq: The Anfal Campaign against the Turks* (New York: Human Rights Watch, July 1993).

щен историями о зверствах в Ираке, и это «разоблачение» не казалось достаточно новым – несмотря на яркие персонализированные детали и новый драматический ракурс, когда судмедэксперты-патологоанатомы эксгумируют могилы (с фотографиями черепов на месте). Порог ужаса был поднят благодаря использованию термина «геноцид», а политические ставки были подняты разговорами об обвинениях Саддама в геноциде.

Качество и количество делают информацию о социальных страданиях заслуживающей внимания. Меллер приводит подробные тематические исследования того, как тщательно составлялись повествования о недавнем голоде (Эфиопия, Сомали и Судан) и зверствах (Босния и Руанда), чтобы факты страданий дошли до «уставшей от имиджа» американской общественности<sup>13</sup>. Чтобы соответствовать требуемому шаблону отчетности о голоде, люди уже должны умирать от голода; причины и решения должны быть упрощены; и необходимо использовать язык моральной драмы. Матери и дети – идеальные жертвы; мужчины ассоциируются с жестокими «фракциями» или «военачальниками» и редко кажутся голодными (они слишком заняты, когда их фотографируют, размахивающими оружием). И так далее. Помимо шаблонов, значки и формулы – мы знаем о них по определению – представляют собой неотрепетированные сцены, моменты, когда популярный репортер находит (или создает) момент настолько выходящим за рамки, что его невозможно отрицать. В 1992 году в Сомали Боб Скотт, корреспондент «Голоса Америки» в Восточной Африке, заметил, как съемочная группа в центре питания подносила микрофон прямо ко рту ребенка, который полз умирать. Боб: «Когда один из сотрудников гуманитарной организации потребовал объяснить, что они делают, звукооператор сказал: «Мой редактор хочет, чтобы мы услышали звуки смерти»<sup>14</sup>.

Даже если история намеренно создана для того, чтобы накормить зверя СМИ, ее окончательное воздействие может не быть ни мгновенным, ни продолжительным. Культура отрицания слишком сильна для использования руководства Браумана «Как попасть

---

<sup>13</sup> Susan D. Moeller, *Compassion Fatigue: How the Media Sell Disease, Famine, War and Death* (London: Routledge, 1999).

<sup>14</sup> *Ibid.*, 102.



на телевидение со своей катастрофой»<sup>15</sup>. (1) Картинки, а не слова, превращают происшествие в событие; они должны быть доступны в виде непрерывного потока, который можно использовать несколько раз в день для достижения кумулятивного эффекта. (2) Переворот должен быть изолированным, чтобы его не вытеснил другой параллельный конфликт. (3) Должен быть посредник – личность или волонтер из гуманитарной организации – для «аутентификации» жертвы, придания нужного направления возникающим эмоциям и обеспечения как дистанции, так и связи между зрителем и жертвой. (4) Жертвы должны быть интуитивно приемлемыми для западных зрителей. Различные этнические группы имеют разные шансы пройти это испытание, независимо от того, какие трудности они переживают. Они также должны быть «100%» жертвами, а не активными участниками. (5) В идеале должен быть гуманитарный волонтер – например, оказавшийся на месте французский врач – работающий и/или дающий интервью. Эта достойная освещения фигура – не дипломат, не партизан, наполовину любитель, наполовину эксперт, одновременно герой и рассказчик – может затмить любую другую драму, спасая жизнь в прямом эфире на камеру.

Попытки сделать событие достойным освещения в печати должны дважды угадать тип истории, которую оно создаст. Реакция на отдаленные страдания будет зависеть от того, в какой форме будут представлены составляющие их образы. *Проблема* может явиться общественному вниманию как зарубежные новости, катастрофа, этническая напряженность или права человека; это можно назвать «массовым убийством» или «геноцидом»; его можно «натурализовать» (то, что происходит естественным образом и регулярно) или рассматривать как новое и особенно злое. Причинами могут быть названы трайбализм и традиционные конфликты, наследие колониализма или коррумпированные диктатуры третьего мира. Преступники могут быть изображены как злые, жестокие и безжалостные, или как обычные люди, попавшие в цикл политического конфликта, или как ответственные правительства,

---

<sup>15</sup> Rony Brauman (then head of Médecins Sans Frontières), «When Suffering Makes a Good Story», in Francis Jean (ed.), *Life, Death and Aid* (London: Routledge and Hachette, 1993), 149-58.

защищающие своих граждан от угроз их повседневной безопасности. Жертвами могут быть беспомощные, невиновные и пассивные или, напротив, безжалостные террористы, не заслуживающие сочувствия, или нечто среднее, то есть частично ответственные за их страдания. Спасателей можно ранжировать по авторитетности. Можем ли мы поверить этому серьезному швейцарскому чиновнику МККК или молодой ирландской медсестре, делающей прививки? Являются ли они эффективными профессионалами или вмешивающимися в дела добровольцами? Наконец, существуют метапредставления о *решениях*. Является ли это «проблемой без решения» или можно хотя бы представить себе какие-то решения: внутривнутриполитические изменения, внешнее вмешательство, международные санкции, систему раннего предупреждения?

Если средства массовой информации представляют насилие в стране как еще один эпизод многовековой дарвиновской борьбы за власть, поворот в бесконечном цикле возмездия, который находится за пределами любого мыслимого решения, то «пассивность» свидетеля вряд ли удивительна. Если жертвы – будь то интервью в больнице или трупы во вскрытых могилах – не изображаются полностью невиновными, тогда понимание и сочувствие подрываются. Похоже, что у всех главных героев многих недавних конфликтов были тонкие (хотя и совершенно безумные) причины убивать друг друга. Как отмечает Игнатьев, образ обеих сторон, сумасшедших, фанатичных и вышедших из-под контроля, противопоставляется мрачному ландшафту хаоса и отчаяния, с которым ничего нельзя поделать. Совесть утешается (а словарный запас отрицания увеличивается) «поверхностной мизантропией» и моральным отвращением<sup>16</sup>. То, что выглядит как личное обоснование, явно является отражением того, что пишут средства массовой информации.

Правда в том, что масштабы массовых страданий трудно осознать, и еще труднее вызвать и сохранить внимание к нему. Масштаб виктимизации превышает первоначальный порог, но интерес не может быть устойчивым; «одна и та же» история не может повторяться снова и снова. Перестал удерживать внимание – это культурная форма синдрома дефицита внимания. Мгновенно

---

<sup>16</sup> Ignatieff, «Is Nothing Sacred?» 25.

возникшие новости мгновенно же становятся историей. Медиа-зверя нужно постоянно кормить, и он никогда не будет благодарен за ваши усилия. Новости в прайм-тайм настолько голливудские, что пятиминутная встреча в Овальном кабинете в Международный день прав человека между президентом Клинтоном и наблюдателями за соблюдением прав человека из Руанды (встреча, на организацию которой потребовался час офисной работы) получила значительно больше освещения в СМИ, чем подробные отчеты о самих зверствах (отчеты, на составление которых уходят месяцы времени, экспертизы и тщательной проверки).

## Голодающий африканский ребенок – образ и реальность

В международном гуманитарном сообществе дебаты о политике и этике представления страданий более сдержанны, чем в мире средств массовой информации<sup>17</sup>. К середине шестидесятых годов, после ужасов Конго и Биафры, пронзительный образ голодающего африканского ребенка с призрачными глазами и скелетообразными конечностями стал универсальным символом человеческих страданий. Лозунг «Голодный ребенок выше политики» предполагает, что можно вызвать интуитивные эмоции, не загрязненные расстоянием или этнической принадлежностью. «Как символ общей человечности, ребенок может быть носителем страданий, не неся никакой ответственности за их причины»<sup>18</sup>. Для большинства из нас этот образ был и остается неотразимым.

В середине семидесятых годов радикальные критики, вооружённые теориями распространения влияния и неоколониализма, начали критиковать традиционные призывы к помощи «голодающим детям», используемые Oxfam и аналогичными благо-творительными организациями. Приверженность долгосрочным струк-

---

<sup>17</sup> Я признателен Генриетте Лидчи за большую помощь по этому вопросу. Дальнейшее основано на ее обзоре дебатов и ее тщательных наблюдениях за двумя кампаниями. (Action Aid and Save the Children): «All in the Choosing Eye»: Charity, Representation and the Developing World (Ph.D. thesis, School of Education, Open University, Oct. 1993).

<sup>18</sup> Patricia Holland, What is a Child? Popular Images of Childhood (London: Pandora Press, 1992), 157.

турным изменениям требует активного просвещения доноров, а не просто сентиментального соблазнения их самокритичным жестом благотворительности. Вызывающие сочувствие образы голодающих детей, беспомощных и зависимых, увековечили покровительственный, оскорбительный и вводящий в заблуждение взгляд на развивающийся мир как на зрелище трагедий, катастроф, болезней и жестокости. Фотография середины шестидесятых годов, на которой обращала на себя внимание крошечная рука голодающего ребенка из Биафры, которого держал на руках директор Oxfam, была осуждена как метафора «слабого, похожего на ребенка третьего мира, заботливо окутанного большим высокомерным западным человеком, наклоняющимся, чтобы встретить его вследствие доброты своего сердца»<sup>19</sup>. Могущественный Север хочет познать покорный Юг и завладеть им. На фотографии изображен объект, а не информированный субъект<sup>20</sup> – это не просто аллегория колониализма, а аналогия с порнографией: «Публичная демонстрация в рекламе африканского ребенка с раздутым животом является порнографической, потому что она обнажает что-то в человеческая жизнь столь же тонкое и глубоко личное, как и сексуальность, то есть страдание. Демонстрируются тела людей, их страдания, их горе и их страхи со всеми подробностями и со всей неосмотрительностью, которую позволяет телескопический объектив»<sup>21</sup>. Сам вид ребенка, не стыдящегося просить милостыню, ставит фотографа и зрителей в положение превосходства. «Страдания стран третьего мира укрепляют наше чувство комфорта в странах первого мира, уверяя нас, что мы в силах помочь ... Их смиренный и покорный призыв защищает наше сострадание и дает нам возможность жертвовать»<sup>22</sup>.

Целью критики было дать право голоса изображаемым. Сбор средств принадлежал старому благотворительному дискурсу «прагматичной аморальности» – покровительственному, этноцентрическому, фаталистическому (бедность просто случается, как стихий-

<sup>19</sup> New Internationalist, 228 (1992), cited in Lidchi, «All in the Choosing Eye» 4.

<sup>20</sup> См.: Bill Nichols, Representing Reality: Issues and Concepts in Documentary (Bloomington: Indiana University Press, 1991).

<sup>21</sup> Jorgen Lissner, «Merchants of Misery», New Internationalist, 100 (1981), 23.

<sup>22</sup> Holland, What is a Child?, 150.

ные бедствия). Они были «торговцами страданиями», которые использовали любые изображения, чтобы привлечь внимание и заставить аудиторию давать деньги. Напротив, педагоги говорили о расширении прав и возможностей, структурной причинно-следственной связи, политических изменениях и социальной справедливости. Идеологический и интеллектуальный вес переместился в сторону педагогов; сбор средств был просто необходим для выживания.

Голод 1984–1985 годов в Эфиопии очень сильно повлиял на эти дебаты<sup>23</sup>. То была история отрицания (игнорирование первоначальных предупреждающих сигналов, попытка сокрытия со стороны эфиопского правительства), уступившего место драматическому признанию (легендарные изображения в вечерних новостях BBC 23 октября 1984 г., массовый общественный резонанс, концерт Боба Гелдофа и Band Aid, июль 1985 г.). Просветители были одновременно впечатлены и подавлены популистской силой средств массовой информации и молодежной культуры. Другие катастрофы прошли практически незамеченными, однако это повысило осведомленность и мобилизовало сострадание в глобальном масштабе. И все это из-за визуального воздействия «негативных образов» и мощных комментариев Майкла Бьюрка, которые были совсем не «образовательными»<sup>24</sup>.

Публичное излияние эмоций, концерты, зрелища – даже собранные деньги – усилили опасения критиков. Для них Live Aid свела на нет образовательные победы семидесятых; теперь они атаковали то, что Лидчи называет «помощью потребителям»<sup>25</sup>. Африканские темы этих кампаний были объективированы, а затем превращены в потребительские товары. Сострадание через потребление: «Люди могли покупать атрибуты, которые свидетельствовали о их заботе ... и рассмотреть фотографии себя самих или миллионов таких же, как они, заботливых». Это предоставило возможности гедонизму с самообманом, в то время как глобальное телевидение позволило им стать свидетелями и, следовательно, «поглотить» страдания и смерть бедных – и распространять посла-

<sup>23</sup> Harrison and Palmer, *News out of Africa*, and Peter Burnell, *Charity, Politics and the Third World* (Hemel Hempstead: Harvester Wheatsheaf, 1992).

<sup>24</sup> Harrison and Palmer, *News out of Africa*, 122.

<sup>25</sup> Lidchi, "All in the Choosing Eye" 119–20.

ние самопоздравления по поводу их щедрости<sup>26</sup>. Постмодернистский альтруизм: реальность голода превратилась в зрелище, основанное на имидже и самореференции.

Новые концепции, но знакомые разговоры. С одной стороны: благотворительность и помощь – раздача предметов первой необходимости и первая помощь, которые поощряют зависимость и освобождают доноров от причинной ответственности; взгляды, которых остаются расистскими, колониалистскими и евроцентристскими; *простота* – образы спасения, игнорирующие сложные причины бедности третьего мира; *негативные образы* – лишенные контекста страдания, постоянные жертвы, бесконечные страдания, беспомощность, образы, призванные вызвать слезоточивое сострадание. С другой стороны: социальная справедливость и *сложность* – структурные причины, цены на сырье, гражданские войны, долг третьего мира, Всемирный банк, стабилизация МВФ, геополитика, глобальная смена власти, комплексное развитие, программы урегулирования долга, устойчивое здравоохранение, мировые модели питания; *расширение прав* и возможностей и *позитивные образы* – сообщество, участие, самодостаточность, продуктивность, права, диалог, консультации с партнерами по проекту.

К 1990-м годам критика стала практически ортодоксальной. Требование заключалось в том, чтобы сбор средств изменился и не шел отдельно от просвещения. Были разработаны кодексы практики для новой «этики представительства». Известная версия Фонда «Спасите детей» (SCF) направлена на «изображения или слова, которые не наносят ущерба достоинству детей/взрослых, с которыми работает SCF»<sup>27</sup>. Людей не следует рассматривать как «беспомощных получателей подачек». «Бедность и зависимость не характерны для сообществ». Фотография четырех женщин (одна широко улыбается) и двух детей, ожидающих раздачи еды в Эфиопии, получила высокую оценку: «Страдания и покорность судьбе – не единственные реакции на условия голода. Бедные сообщества часто обладают значительными сильными сторонами и достоинством». Не должно быть стереотипов и клише: «Следует

<sup>26</sup> Jon Bennett, *The Hunger Machine: The Politics of Food* (Cambridge: Polity Press, 1987).

<sup>27</sup> Save the Children Fund, *Focus on Images* (London: IMG, Sept. 1991).

избегать покровительственных, слащаво-сентиментальных или унижительных слов и фраз».

Спор идет о реальности, которая стоит «за» образом. Участникам кампании было поручено не изображать людей страдающими и зависимыми. Но разве они не такие «на самом деле»? А если нет, то в чем смысл кампании? Конечно, зависеть от помощи других – это не зазорное состояние. И если люди изображаются *не* просящими вашей помощи, почему тогда вы должны предлагать эту помощь? На самом деле между получившимися текстами идеологические различия невелики. Глубинная структура обращения – это послание против отрицания. Различия заключаются в эмоциональном тоне и интеллектуальной сложности.

Неделя христианской помощи 1991 года («Мы верим в жизнь перед смертью») объединила крайне эмоционально заряженные образы с посланием: «Если вы не чувствуете вины по этому поводу, значит, с вами что-то не так». Если вы чувствуете вину, но не действуете, ваше осознание вины не может быть искренним». Телевизионная реклама демонстрировала медленный видеоряд настоящего плода в утробе матери; голос за кадром и письменный текст гласили: «Для миллионов людей в странах третьего мира это будут лучшие месяцы в их жизни». В печатной рекламе показывалось, как люди собирают еду на свалке. Над фотографией был лозунг «Верите ли вы в жизнь перед смертью?» Ниже были восемь риторических вопросов, в том числе: «Считаете ли вы, что никто не должен копаться в мусоре, чтобы выжить?» «Верите ли вы, что 40 000 детских смертей в день – это на 40 000 больше, чем слишком много?» и «Считаете ли вы, что семь лет – это слишком рано для работы в шахте?» Наконец: «Вы достаточно верите в эти вещи, чтобы помочь нам как-то это изменить?» Это послание разрушительно: если вы чего-то не делаете, вы, должно быть, «отрицаете»; если вы отрицаете, есть только две возможности: вы нам не верите или вы обманули себя, думая, что верите нам.

Успешная кампания SCF 1991 года «Пропусти обед, спаси жизнь» была совершенно иной. Эмоций практически нет, а послание когнитивно простое и основано на прямой связи между проблемой и решением. Еда – это непосредственная ассоциация с «голодом», что позволяет совершенно просто «делать что-то» без моральных проповедей или психологических техник, вызывающих «идентифи-

кацию». Лозунг «Пропусти обед, спаси жизнь» показывал, как простой жест (даже не изменение) в вашей жизни может спасти жизнь другого: «Откажитесь от чизбургера, и мы сможем прокормить одного человека более чем неделю». Эти две кампании имеют разную направленность – не «просветительскую», но по разным причинам их трудно игнорировать. Но что подобные изображения делают с вами? И сделаешь ли ты что-нибудь? Представьте себе автора-текстовика рекламного агентства, которому было поручено подготовить газетное объявление о гуманитарном призыве. Формат – стандартное пространство одиннадцать на семь дюймов, содержащее одну (только одну) черно-белую фотографию плюс письменный текст. Его информируют о проблеме (травмы от мин в Анголе, бедность в Бангладеш) и просят изучить 300 рекламных объявлений такого рода. Он отмечает:

- Почти всегда существует единственный невообразимый факт: *каждую минуту в Африке умирает один ребенок*. Этот факт – в случае, если его значение неясно – сравнивают с «воображаемой нормальностью» (низкая детская смертность в Западной Европе) или «невообразимой нормальностью» (каждую минуту продаются три куклы Барби). Текст сообщает вам, что проблема серьезна и неразрешима.
- Несмотря на невообразимый масштаб проблемы, она состоит из множества малых, решение которых вам по силам. Есть даже единственный мыслимый человек, которому вы действительно можете помочь. Более того, такое незначительное для вас действие, как отказ от покупки гамбургера, будет иметь огромное значение для этого человека – даже спасет ему или ей жизнь. Вместе с другими вы можете помочь целому сообществу. В одной рассылке SCF содержался пакетик со средством пероральной регидратации. Этого пакетика стоимостью 10 пенсов «достаточно, чтобы спасти Ширин от смерти, которая в этом году унесет жизни 5 миллионов детей». Ежедневно от обезвоживания умирают более 8000 детей; они не могут знать, насколько малы 10 пенсов «для нас с вами по сравнению с той ценностью, которую они имеют, спасая жизнь ребенка».



- Лучше, чем одноразовый жест, направленный на помощь неизвестному человеку в течение короткого времени, вы можете помочь действительно известному человеку в долгосрочной перспективе. Регулярные ежемесячные спонсорские выплаты обеспечат «вашего» ребенка едой, кровом, одеждой, медицинским обслуживанием и образованием. Это не противоречит общей и долгосрочной профилактике: «Если вы спонсируете Шомиту, никому не придется спонсировать ее детей». Политически некорректный образ – зависимый ребенок/родитель-защитник – переосмысливается как приемлемое содействие социальным изменениям: проекты на уровне деревни (грамотность, здравоохранение, сельское хозяйство), преемственность, уверенность в своих силах, сообщество и устойчивость.
- В некоторых призывах об хотя бы удаленной опеке и спонсорстве (особенно тех, которые используются американскими агентствами) вам говорят, что это действие также может повлиять на вашу жизнь: «Опекуны и спонсоры обнаруживают, что письмо своему ребенку – это полезный опыт, который углубляет их отношения». Вы получаете фотографии, рисунки, письма и школьные отчеты. Христианский детский фонд предлагает вам «возможность сотворить чудо в жизни [определенного ребенка] – и начать новую прекрасную дружбу». Children International предлагает спонсорский набор с рамкой, «чтобы хранить и показывать фотографию опекаемого вами ребенка». (Британские агентства, такие как Action Aid, не используют этот притягательный тон или сентиментальные стимулы, чтобы чувствовать себя лучше. Контакты между ребенком и спонсором также ограничены.)

Наш начинающий автор теперь консультирует сотрудников агентства по поводу кампании. Они не находят согласия по четырем конкретным вопросам, и автор находится в затруднении относительно них: чувство вины, персонализация, уязвимость и идентификация.

### *Чувство вины*

Призывы в стиле «Пропусти обед, спаси ребенка» выглядят просто, прагматично и лишены эмоций. Но не такой уж и скрытый их подтекст в том, что если вы не выполните эту незатейливую просьбу, вы почувствуете вину. Как еще можно жить, зная, что эта символическая сумма денег позволяет вам выбирать между жизнью и смертью? Чем более фактурен и лишен эмоций тон, тем более нежелательна точная информация об этом гротескном несоответствии между вашим бесплатным жестом и буквально спасением человеческой жизни. Чем навязчивее сообщение, тем более высока вероятность, что вы проецируете свое негодование на его отправителей. Они, в свою очередь, обвиняют вас в вашем эгоистичном отказе принести жертву ради других. Ваш отказ еще более предосудителен, когда вообще не требуется никаких жертв. Действительно, чем легче это сделать (подписать петицию, покупать только кофе, выращенный с соблюдением этических норм), чем меньше сумма за единицу (1 фунт стерлингов, цена чашки чая), тем больше вы чувствуете вину за то, что не сделали этого. «Есть кое-что, о чем мы хотели бы, чтобы вы задумались сегодня вечером, когда удобно сидите дома. Программа помощи Oxfam голодным и бездомным Дакки». Это, конечно, обрекает вас на то, чтобы испытывать дискомфорт: чувствуете себя виноватым, если вы слишком бессердечны, чтобы даже подумать о голодных людях в Дакке; почувствуете себя еще более виноватым, если продолжите читать об описанной деградации.

### *Персонализация*

Да, тема слишком сложна, чтобы ее можно было свести к изображению лишь одного ребенка. Но какая фотография могла бы передать сложные причины бедности в Бангладеш – заседание правления МВФ? А если в рекламе предлагается спонсорство одного ребенка (успешный способ сбора средств), то, конечно, весь смысл в персонализации? Да, на этих фотографиях отсутствует контекст – только лицо, шея и плечи плачущего «этнического» ребенка. Но какой «контекст» следует показать? Да, эти изображения страданий «полны эмоций» – они «играют» на эмоциях аудитории, не предлагая никакого рационального объяснения или решения. Но, несомненно, в этом есть рациональное послание: вы и другие,

подобные вам, помогаете сообществу, помогая каждому индивидууму; вы тот, кто поможет именно этому человеку; никто не дает и не может дать всем.

### *Уязвимость*

Критика справедлива – дети показаны беспомощными, слабыми и уязвимыми. Сотни фотографий были рассмотрены, чтобы найти лица восьмидесяти детей, которые не улыбаются. И каждый из них совершенно одинок. Но фотография лжет – эти восемьдесят детей, совершенно одинокие, никогда не улыбающиеся, увы, не представляют всех бедных детей в этой стране. Но зачем требовать, чтобы они представляли собой точную статистическую выборку? Конечно, цель состоит в том, чтобы представить проблему в худшем виде. Конечно, это следует делать с достоинством – но зачем скрывать тот факт, что затруднительное положение этих миллионов людей полностью вызвано их уязвимостью? Без моделей уязвимости и зависимости нет необходимости в политическом альтруизме или социальной справедливости. Действительно, слишком большая уязвимость может привести к тому, что мы ощутим безнадежность или слишком обострим чувство собственной уязвимости: как страх, который мы так остро испытываем после посещения тяжелобольного друга в больнице.

### *Идентификация*

Да, нельзя ожидать, что среднестатистический западный наблюдатель «идентифицирует себя» с голодающим африканским ребенком в том смысле, что он способен представить себя на месте другого. Текст пытается предложить следующий воображаемый скачок: «Позволили бы вы этому ребенку умереть от голода перед вашим домом?» Он вне поля зрения, за тысячи миль в Африке. Но он такой же реальный, как ваш собственный ребенок, шныряющий по вашему дому» (SCF). Но действительно ли он «такой же настоящий»? Позитивные образы вряд ли облегчают задачу. Можете ли вы представить себя «трудолюбивой и выносливой заирской женщиной, которая учится строить канализационную систему»? И вообще, почему идентификация должна быть так важна? Принцип социальной справедливости зависит не от вашего нравственного сознания таких же, как вы, – а от вашей готовности расширить круг при-

нения неизвестными (и даже неприятными) людьми, совсем не похожими на вас.

Увязнув в этих дебатах, наш автор задается вопросами о неопровержимых фактах: какие призывы на самом деле приносят больше всего денег? Ему предположительно сообщают, что фактически нет никаких доказательств (или даже исследований) по этому вопросу. Неудивительно, что изображения «активных партнеров проекта» приносят меньше денег, чем изображения голодающего ребенка<sup>28</sup>. Исследование различных изображений умственной отсталости сравнило воздействие двух наборов плакатов благотворительной организации MENCAP<sup>29</sup>. Традиционные «негативные» изображения беспомощности, пафоса и страдания, призванные вызвать чувство вины, сочувствия и жалости, вызывали больше желания пожертвовать деньги, чем «позитивные» плакаты, на которых люди с умственными недостатками изображались как ценные люди с такими же правами, идеалами и способностями, как неинвалиды. «Мы не можем иметь и то, и другое», – мрачно заключают исследователи. «Если люди с умственными недостатками воспринимаются как имеющие те же права, ценность и возможности, что и все остальные, существует тенденция не поддерживать их благотворительными финансовыми пожертвованиями»<sup>30</sup>.

Это упрощает выбор: либо сбор средств, либо повышение осведомленности. Все агентства стараются делать и то, и другое. Но люди могут противиться получению большей информации, как положительной, так и отрицательной. Возможно, мы подобны лицам из когнитивной теории, без мотивации и интереса, прини-

---

<sup>28</sup> Некоторые из этих доказательств цитируются в обзоре наиболее интересных общих вопросов: Maggie Black, *A Cause for our Times*: Oxfam, the First Fifty Years (Oxford: Oxfam, 1992).

<sup>29</sup> Caroline B. Eayrs and Nick Ellis, «Charity Advertising: For or Against People with a Mental Handicap?», *British Journal of Social Psychology*, 29 (1990), 349-66.

<sup>30</sup> *Ibid.*, 362. Существуют несколько контрдоказательств. В одном исследовании потенциальные доноры, которым были отправлены призывы о сборе средств с позитивными изображениями (например, фотографией улыбающегося ребенка), пожертвовали больше, чем потенциальные доноры, получившие ту же литературу, иллюстрированную негативными фотографиями. См.: Evelyne Dyck and Gary Coldevin, «Using Positive and Negative Photographs for Third World Fund Raising», *Journalism Quarterly*, 69 (Fall 1992), 572-9.

мающим решения. Мы знаем, что бедность в странах третьего мира – это сложная проблема. Но какими бы мы ни были когнитивными скупцами, мы отключаемся, когда люди начинают говорить о долговом кризисе, МВФ и ценах на кофейные зерна. Важно не сложное образование и даже не аккуратное затрагивание сердечных струн. В периферийных или бездумных состояниях, которые эти психологи несентиментально приписывают нам, мы уделяем меньше внимания сообщению и больше побочным репликам («Какой застенчивый молодой человек ходит и стучится в двери»). При условии, что причина не та, которую вы в принципе не поддерживаете (для меня это все, что связано с религией, животными или дикой природой) и она не вторгается в ваше время и пространство (вы не принимаете душ, когда звонит звонок), вы, наверное, отзоветесь.

Очевидно, что эта эвристика слишком аморальна для формирования социальной политики. И изображение страдания – это не просто герменевтическая проблема, не проблема толкования. Политические цели и этические возражения будут иметь значение, если голодающий ребенок и трупы, текущие по реке, станут символами «Африки». Но, конечно, эти образы невозможно скрыть. Ненужные страдания, болезни и насилие, миллионы людей теряют свои жизни ... вот в чем проблема, вся проблема и ничего кроме проблемы. Без сомнения, должен быть способ показать, что злодеяний и страданий не существует и что они случайно попали в объектив камеры. Возможно, визуальные изображения следует допускать только с текстовыми пояснениями: типичный голод затрагивает только 5 процентов населения; что типичного ребенка кормят его или ее собственные родители, а вовсе не Джоан Коллинз перед командой фотографов ЮНИСЕФ; и что почти все племенные, этнические, религиозные и политические конфликты разрешаются методами, отличными от геноцида. Гуманитарные организации не должны использовать те же фильтры, что и СМИ – то есть выбирать худший (но наиболее доступный) случай в худшей деревне в худшем районе. С другой стороны, это не просто «информационные события»: это наиболее достойные случаи, требующие срочной помощи. Если бы агентству приходилось каждый раз думать о репрезентативности, а не о представительстве, это подорвало бы – если не сказать упустило бы весь ее смысл – их работу.

И поэтому дискуссия продолжается. Я считаю, что до тех пор, пока «негативные образы» не будут говорить сами за себя, универсальность страдания никогда не будет признана. Выбор состоит не в том, чтобы отказываться от роли «торговцев нищетой» и становиться «продавцами солидарности»<sup>31</sup>. Почему бы просто не проявить солидарность с несчастными?

## Усталость от просвещения

Упомянутая нами пара тридцати с чем-то лет пьет капучино, просматривая утреннюю газету. На пятой странице – обращение о детях-солдатах в Сьерра-Леоне. На фотографии изображен двенадцатилетний мальчик, которого перебросили через границу, повстанцы ампутировали ему обе руки. В тексте объясняется, что произошло, и содержится просьба помочь оплатить лечение.

Наш первый вопрос касается истинного статуса этого образа: находится ли сам образ вне отрицания, а факты и их более очевидные значения не подлежат ли основательному обсуждению? Смысл нашего второго утверждения выражается в смутном, но интригующем понятии «утомления от сострадания»: можете ли вы так часто подвергаться воздействию таких изображений, что воздействие каждого последующего притупляется и вы становитесь слишком изнурены, чтобы реагировать?

## Утверждение истины

Сложные технологии могут распространить изображения происходящих зверств по всему миру за считанные минуты. Но даже очевидная истина не будет принята самоочевидно. Какими бы информативными, надежными и убедительными они ни были, рассказы о зверствах и страданиях мало что делают для того, чтобы разрушить явные формы отрицания. Гуманитарные организации являются живыми реликтами веры эпохи Просвещения в силу знаний: *если бы люди только узнали, они бы наверняка действовали*. Парадоксально, но эти же организации лучше, чем кто-либо другой,

---

<sup>31</sup> Lissner, «Merchants of Misery», 24.

знают, насколько неуместна вера, которую, по их мнению, подрывает их повседневная работа.

В эпоху электронных технологий, в которой доминирует визуальное, а не письменное общение, технологии наблюдения, записи и представления информации открывают новые необычайные возможности. Электронная почта может обойти большую часть государственного контроля; камеры CNN и репортеры находятся на месте; простые домашние видеоролики могут предоставить яркие, драматичные и неоспоримые доказательства, которым аудитория «должна» поверить. Информация актуальна и достоверна. Визуальные изображения оказывают такое глубокое общественное воздействие, которого не может оказать ни одно другое средство массовой информации. Ленивая, анахроничная вера в письменную информацию («если бы они только знали») может стать излишней, уступив место «теперь они могут видеть». В этом последнем раунде действия «рассказать правду власти» технологии, безусловно, на нашей стороне.

В таком духе базирующийся в Нью-Йорке Комитет юристов по правам человека запустил в 1992 году свою программу «Свидетели». В рамках этой программы наблюдателям за соблюдением прав человека по всему миру были розданы видеокамеры и их обучили фиксировать нарушения по мере их возникновения – например, расстрел мирных демонстрантов. Полученные изображения должны сделать факты неоспоримыми: если у нас есть подлинные фотографии, у нас есть истина. Рок-певец Питер Гэбриэл процитировал формулу, использовавшуюся правительствами Сальвадора и США для сокрытия резни в Эль-Мосоте в 1981 году: «Одних слов недостаточно. Нет ни фотографий, ни видеозаписи. Доказательства отсутствуют». Прошло десять лет, прежде чем были найдены замученные и изуродованные тела. Он продолжал:

Теперь у нас есть фотографии. У нас есть правда.... Камера в правильных руках в нужное время в нужном месте может быть мощнее танков и пушек. Сила правды опасна. В романе Оруэлла «1984» власть предрежащие контролировали людей, наблюдая за каждым их движением. Теперь люди могут наблюдать, быть свидетелями и сообщать о тех, кто находится у власти. С помощью Witness мы доставляем уведомления правительствам.

Мы наблюдаем, чтобы они больше не могли скрывать свои дела, мы наблюдаем<sup>32</sup>.

Но жизнь не так проста, когда убеждения Просвещения сталкиваются с реальностью позднего модерна. Рассмотрим «эффект Родни Кинга».

В 1991 году на улице Лос-Анджелеса прохожий достал видеокамеру и записал – в любительском стиле, но совершенно четко – яркие, продолжительные кадры, на которых четверо полицейских вытаскивают из машины не сопротивляющегося чернокожего подозреваемого Родни Кинга и жестоко избивают его на улице. Любой просмотр неотредактированного видео – по крайней мере, так казалось – приведет к одним и тем же интерпретациям: «нападение», «злоупотребление властью», «нарушение гражданских свобод», «полицейское насилие» или «расизм»<sup>33</sup>. Но исходный материал события (включая видеозапись) еще не был обработан и интерпретирован. Это событие было немедленно включено в давнюю политическую дискуссию о предполагаемом расизме в полицейском управлении Лос-Анджелеса. Организационные и идеологические интересы прочно укоренились, когда специально выбранное жюри – белые и разгневанные граждане из пригорода – услышало доказательства и посмотрело видео. Они отреклись от того, что видели (именно так, как Фрейд понимал «отречение»). Закон позволил очевидную интерпретацию обсуждать, реконструировать и в конечном итоге отрицать. Полицейские были оправданы. Свидетель ошибся: мистер Кинг был преступником, а не жертвой.

Последствия выходят далеко за рамки этого конкретного юридического вердикта. Ценности таких действий как свидетельствовать и говорить правду принадлежат более простой эпохе. Они внедряются в моральную культуру, слишком скомпрометированную, чтобы ее можно было спасти с помощью достоверной информации, передаваемой «электронными свидетелями». Программа Witness утверждала, что видеоматериалы (массовая эксгумация могил в Вуковаре, уличные демонстрации в Гватемале и

---

<sup>32</sup> Peter Gabriel, launching the Witness programme at the Reebok Human Rights Awards Ceremony, 10 Dec. 1992 (press release).

<sup>33</sup> Но не «нарушение прав человека» – очевидный ярлык, если бы это событие произошло в Заире, а не в Северной Америке или Западной Европе.



свидетельства пыток в сельской местности Гаити) могут быть использованы для «повышения уважения к основным правам человека путем привлечения внимания общественности к изображениям жестокости». Но говорить правду, как обнаружил Ян Карский, – это не то же самое, что верить. А изображения, как обнаружил Родни Кинг, можно дезавуировать так же, как и слова. Более того, превращение одного явления (образов жестокости) в другое (уважение прав человека) вряд ли можно считать чем-то само собой разумеющимся, так же как изображение голодающего африканского ребенка все еще не может служить символом социальной несправедливости.

Растущая осведомленность международного сообщества о зверствах и страданиях, распространение новых информационных технологий и глобализация средств массовой информации действительно означают, что за суверенными государствами (или за некоторыми из них) «следят» как никогда раньше. Но и представить эту информацию сложнее, чем когда-либо ранее. Подобных изображений множество; грань между вымыслом и фактом размыта (реконструкции, фактоиды и документальные драмы); «реальность» всегда заключена в кавычки, а мультикультурализм способствует расцвету многих истин. Рок-звезды больше, чем большинство людей, должны что-то знать об изображениях.

Проблема даже более размыта. За исключением нескольких тысяч ученых, которые воспринимают постмодернистскую эпистемологию буквально, ни один здравомыслящий человек всерьез не подвергает сомнению правдивые утверждения о, скажем, детской смертности в Бангладеш. Буквального отрицания не существует. Наоборот, препятствием к действию является то, что вы слишком часто слышали эту информацию и каждый раз ей верили. Вы устали от того, что вам говорят правду.

### Усталость от правды

Свидетельствование и воспроизведение истины – это когнитивные проекты: как передать реальность, которую невозможно отрицать. Но что, если продолжающееся воздействие этой реальности в конечном итоге приглушит нашу моральную и эмоциональную восприимчивость к дальнейшим образам страданий? Тезис

популистской психологии об «усталости от сострадания» построен на трех пересекающихся концепциях: *информационная перегрузка, нормализация и уплотнение.*

### Информационная перегрузка, входная перегрузка, насыщение

Понятие информационной перегрузки первоначально использовалось психологами для обозначения количества и интенсивности стимулов, которые превышают нашу умственную способность концентрировать внимание<sup>34</sup>. Когнитивные требования повседневной жизни подавляют способность ума справляться с каждым объектом. Столкнувшись с этим наплывом стимулов, люди впадают в то, что Зиммель назвал «городским трансом»: состояние эгоцентризма, характеризующееся отсутствием реакции. Такие термины, как «выключение» или «отключение», применимы как к вашему разуму, так и к пульту дистанционного управления телевизором.

Однако отключение не означает «выключение». Теория отрицания и здравый смысл признают, что очевидным решением проблемы перегрузки возбуждениями является выборочное забвение. Если вы настроитесь на сообщения на конкретную тему – статистику крикета или сюжеты фильмов – объем информации, которую вы можете получить, не ограничен. Отключиться, чтобы избежать тревожной или нерелевантной информации, сложнее. Мы действительно можем «приучить» себя проходить мимо бездомных нищих, как будто их там нет. Но это означает (даже логика и грамматика сложны), что нам однажды пришлось узнать то, что мы больше не хотим знать. Сильный тезис предполагает, что на самом деле мы вообще не замечаем присутствия нищих. В более слабой версии, подразумеваемой понятием «как если бы», мы очевидно осознаем их присутствие – но этой мгновенной регистрации «не позволено» воздействовать, не говоря уже о том, чтобы полностью занимать наше сознание. Изображение не меняет общий когнитивный каркас. Оно передается на огромный склад вещей,

---

<sup>34</sup> См.: Daniel Goleman, *Vital Lies, Simple Truths: The Psychology of SelfDeception* (New York: Simon and Schuster, 1985), 216.

обозначенных как неуместные или слишком тревожные, чтобы о них думать или помнить.

Модель перегрузки/выключения применяется к медиатекстам и изображениям, а также к уличным сценкам и образам. Родственная идея насыщения аудитории широко используется, особенно профессионалами СМИ. Зрители смотрят телевизионный документальный фильм, в котором показаны дети, которым оторвало ноги на минах; к шестому ребенку они чувствуют, что у них заканчивается психическое пространство на «диске»; разум больше не может справляться; они переключаются на другой канал. Но если перейти от информационных технологий к более беспощадной фрейдистской логике, им никогда не удастся полностью стереть то, что они когда-то узнали.

В чисто количественном смысле тезис о перегрузке нелеп. Это означает, что у отдельных людей и целых обществ есть регуляторы, которые отключаются, когда поступает слишком много информации. Это противоречит всем теориям познания и памяти. Это даже не лучшая метафора: ванны наполняются и переливаются; умы и культуры этого не делают.

### Нормализация и рутинизация

Нормализация – гораздо более богатая концепция, чем перегрузка. Она предполагает, что факты и образы, которые когда-то считались необычными, неприятными или даже невыносимыми, в конечном итоге становятся нормой. Явное нарастание количества и содержательности образов приводит не к срабатыванию затворного механизма, а к изменению убеждений, эмоций и восприятия. То, что когда-то считалось тревожным и аномальным – ощущение, что все не так, как должно быть – теперь становится нормальным и даже терпимым. Это тревожная и далеко идущая идея, выходящая далеко за рамки «городского безразличия», особенно если ее распространить на экстремальные образы – голодающий ребенок, трупы в канаве. Потенциальное воздействие теряется из-за привычности: «мы все это видели раньше». Нормализация превращается в нейтрализацию, а затем в безразличие: никакой реакции не требуется после активации следа памяти о том, что «это просто такие вещи, которые всегда происходят в таких местах».

Некоторая форма нормализации является неотъемлемой частью повествований о страданиях и зверствах. Но не следует использовать этот термин слишком буквально. Преступники, жертвы и свидетели действительно могут «нормализоваться» в смысле «привыкнуть» к самым невообразимым ужасам. Такое постепенное приспособление может даже оказаться необходимым для того, чтобы злодеяния вообще имели место. Но даже самые активные преступники и самые пассивные наблюдатели, какими бы моральными и эмоциональными оцепеневшими они ни были, не теряют понимания общепринятых определений «нормального». И даже если постоянное воздействие ужастиков оставляет телезрителей в состоянии психической инерции, это происходит скорее от чувства беспомощности, чем от восприятия (отправителя или получателя сообщения), что все именно так, как должно быть (в этом лучшем из всех возможных мировых порядков).

Тезисы о перегрузке и рутинизации упускают один и тот же момент: наблюдатели склонны не к информационной перегрузке, а к перегрузке моральных требований. Мы можем получать любое количество информации, если оно не предъявляет моральных или психологических требований, особенно назойливого требования «сделать что-нибудь». Как отмечает Кларксон, наиболее часто упоминаемой причиной пассивного «наблюдения» является полная невозможность быть вовлеченным во все, что происходит в мире не так: «Требований слишком много»<sup>35</sup>. Но какие вещи закрываются и как именно это происходит? Когда потребность огромна и хаотична, когда отдаленные события и статистика буквально за гранью понимания, одним из очевидных решений является «сохранение» внимания, то есть активное внимание к потенциально решаемым проблемам поблизости. Даже – скорее, особенно – альтруисты продолжают идти вперед, игнорируя требования, которые они не могут удовлетворить.

Однако известен смысл, в котором сами цифры имеют значение. Существует невидимый порог, за которым статистика (и то, как она представлена) приводит не к оцепенению, а к странной моральной дисфункции. Что если текст сообщит нам, что именно

---

<sup>35</sup> Petruska Clarkson, *The Bystander (An End to Innocence In Human Relationships?)* (London: Whurr Publications, 1996), 11.

эти десятки тысяч детей умирали не каждые две минуты, а каждые десять секунд. Повлияет ли это огромное статистическое изменение на чью-либо реакцию? Конечно, нет. Возьмите эти оценки: 50 процентов населения мира не имеет доступа к чистой воде; к концу десятилетия 10 миллионов детей в Африке станут сиротами из-за СПИДа; сегодня в мире насчитывается более 18 миллионов беженцев. Более надежные оценки (на самом деле) составляют соответственно 46 процентов, 8,5 миллионов и 16 миллионов. Но это совершенно не изменит нашу эмоциональную или моральную реакцию. Ужасающая мысль: неужели мы все такие аморальные скоты, такие псевдоглупые, что эти миллион или два человеческих жизней не имеют никакого значения?

Это «мир непогрешимой логики», который высмеивал Брукнер: статистика настолько чудовищна, количество страданий настолько огромно, что наша жизнь может быть только непристойной, слишком бесчувственной, чтобы ее можно было оправдать: «Когда я съедаю полфунтовый стейк, я мог бы накормить 30 человек белками, которые использовались для кормления животного»<sup>36</sup>. Невозможно «признать» – не говоря уже о том, чтобы что-то сделать в соответствии с ними – эти гротескные перечни. Чтобы утверждать, что эти численные сравнения верны, нужны изощренные отрицательные разговоры, но они бессмысленны.

Десенсибилизация, психическое оцепенение, брутализация.

Статистика злодеяний и рейтинговые таблицы страданий собираются и представляются для того, чтобы подчеркнуть моральный аспект событий. Когда вы слишком часто начинаете видеть моральный смысл – вы должны реагировать на каждый крик боли, даже тот, который вы не слышите – вы сталкиваетесь с перегрузкой спроса. Однако возможно, что послание будет отклонено еще до того, как будут вовлечены моральные соображения. Психологические нервные окончания, передающие новости, атрофируются культурой бесконечных и безжалостных ужасных изображений: документальный фильм о СПИДе в Замбии, новые жертвы наводне-

---

<sup>36</sup> Pascal Bruckner, *The Tears of the White Man: Compassion as Contempt* (New York: Free Press, 1986), 63–6.

ния в Индии – конца не видно. Образы становятся слишком знакомыми, чтобы сохранять какую-либо интуитивную силу воздействия. Это тезис о «десенсбилизации» или «психическом оцепенении».

Эти термины слишком мелодраматичны. Несомненно, некоторым мучителям и террористам придется стать эмоционально десенсбилизированными. Отрицание посредством рутинизации имеет важное значение для преступлений послушания. Стажеры-палачи сначала учатся испытывать боль как симулированные жертвы; затем в качестве охранников или наблюдателей они наблюдают, как жертву пытаются другие; затем они переходят к активному участию<sup>37</sup>. Как только первоначальный барьер или запрет преодолен, на каждом последующем этапе становится легче вести переговоры и труднее отказаться. Но это не совсем тот эпизод, который приписывают измученному потребителю изображений зверств: «Раньше я впадал в депрессию и меня сводили с ума эти фотографии; теперь я почти ничего не чувствую». Это воображаемое психическое состояние воспринимается создателями имиджа – журналистами, художниками, фотографами, гуманитарными организациями – как порог, который они должны преодолеть, чтобы вновь вызвать «старые» эмоции.

Тем не менее, даже люди, для которых смерть является их повседневной работой – детективы по расследованию убийств, гробовщики, работники боен, волонтеры в хосписе для больных СПИДом, охранники в камерах смертников – не проходят через единую и прогрессирующую десенсбилизацию<sup>38</sup>. А от чего люди десенсбилизуются? Сострадание рассматривается как нечто, чему нужно учить и учиться – прежде чем оно якобы перестанет учиться. Однако это может быть естественной реакцией на страдания других, реакцией, которая подавляется определенными социальными условиями, такими как тэтчеровский индивидуализм. «Нормальное» ощущение – это чувствовать что-то. Без каких-либо

---

<sup>37</sup> Этот метод обучения был разработан во время правления греческой хунты с 1967 по 1974 годы. См.: Mika Haritos-Fatouros, «The Official Torturer: A Learning Model for Obedience to the Authority of Violence», in R. D. Crelinsten and A. P. Schmid (eds), *The Politics of Pain: Torturers and Their Masters* (Boulder, CO: Westview Press, 1995), 129–46.

<sup>38</sup> Michael Lesy, *The Forbidden Zone* (New York: Anchor Books, 1989), обсуждаются каждая из этих групп.

инструкций большинство людей могут сочувствовать плачу ребенка или его страданиям. У взрослых эта эмпатия может вызывать (или возникать из) интуитивных воспоминаний о наших собственных страданиях – мы возвращаемся к детской боли. Такое косвенное страдание, безусловно, нормально. Но независимо от того, является ли эмпатия врожденной или приобретенной, тезис о брутализации остается тем же. Мгновенное, непрерывное сообщение о таком большом количестве страданий в конечном итоге приводит к моральной тупости, повышению нашего порога возмущения<sup>39</sup>.

Взятые по отдельности, элементы тезиса о десенсибилизации имеют некоторый смысл. Но весь тезис – городской миф. Ни малейшего подтверждения ему нет ни в личной биографии (чувствительные души затвердевают с каждой неделей просмотра телевидения) или в истории культуры (где можно было бы утверждать прямо противоположное: повышенную эмоциональную чувствительность к страданиям далеких других). Отрицание не может быть результатом простого ознакомления и повторения. Тезис не задает никаких временных рамок для десенсибилизации, не дает представления о том, с кем так жестоко обращаются, или о том, как можно заставить первоначальную реакцию сострадания волшебным образом появиться вновь.

Десенсибилизация – это метод лечения, используемый в поведенческой терапии, чтобы постепенно побудить пациентов отказаться от неприятных фобий. По сути, он работает с грубой психологией реакции на внешнее возмущение, которая игнорирует ментальное отражение, символическое значение и культурный контекст. Это дает основание предположить, что создание образа страдания, более крайнего и болезненного, повысит чувствительность людей или целых культур, и они обретут утраченное сострадание. Но не существует стандартного, универсального ответа даже на самые крайние образы страданий. Сильные эмоции с такой же легкостью могут быть вызваны знакомыми изображениями, вырванными из контекста, например плакатами печально известной рекламной кампании Benetton: ребенок с неперевязанной пуповиной; умирающая (или мертвая)

---

<sup>39</sup> Clarkson, Bystander, 31.

жертва СПИДа, поразительно похожая на стандартный западный образ Иисуса Христа. В общественной дискуссии действительно упоминалось «отступление границ шока». Но реакция была не столько на сами изображения, сколько на их (загадочное) использование, чтобы убедить вас купить васильковый свитер.

### Усталость от сострадания, истощение доноров

Усталость от сострадания – более известная из этих концепций, охватывающая все коннотации перегрузки, нормализации и оцепенения. Ею, пожалуй, также злоупотребляют – расплывчато в качестве описания и еще более расплывчато в качестве объяснения. Иногда это означает привыкание к плохим новостям, иногда – нежелание или неспособность реагировать на просьбы о помощи. При этом факты не отрицаются, они слишком хорошо известны, и их значение признано. Под «усталостью» подразумевается выгорание, которое может быть эмоциональным (снижение способности что-либо чувствовать) или моральным (снижение моральной чувствительности).

Предполагается также, что существует интеллектуальная усталость, возникающая вследствие слишком большого знания о человеческих страданиях. Но это всего лишь утомительная изощренность, которую издавна культивировали определенные классы и субкультуры. Даже серьезные люди проявляют ее в переработанных клише: «Посмотрите, что произошло, когда мы отправили деньги в Эфиопию ... в Бурунди и Чечне убивали тех самых добровольцев, которые пытались им помочь ... мы не можем продолжать бесконечное повторение того же цикла». За этими банальностями может скрываться нечто более тревожное, а именно, подлинное поглощение метаобраза хаоса: ситуация выходит из-под контроля; мы не можем даже понять – не говоря уже о том, чтобы решить – эти проблемы.

Тезис об усталости от сострадания имеет некоторый смысл. Но, как и его составные части, оно неуловимо. Говорим ли мы о реакции на конкретный кризис или о более общем снижении нравственной чувствительности? Более того, существует путаница между психологическим языком десенсibilизации или отрицания и политическими причинами сокращения бюджетов государств



венной помощи, ужесточения международных условий, большей осторожности и избирательности доноров. Одно из различий – *усталость от оказания помощи* – состоит из «усталости доноров» (объективное снижение обязательств правительства по оказанию иностранной помощи) плюс «усталость от сострадания» (отсутствие энтузиазма у общественности поддерживать государственную помощь или добровольно и самостоятельно жертвовать деньги)<sup>40</sup>.

Между ними – заметное различие. Но хотя многие люди, особенно в средствах массовой информации, связях с общественностью и среди политиков, верят, что усталость от сострадания – это реальная «вещь», ни одна гуманитарная организация с этим всерьез не согласна. Они видят не усталость аудитории от сострадания, а *усталость СМИ*, видят уверенность СМИ и циничной элиты о том, что это никому не интересно. Именно это может заставить гуманитарных работников искать более будоражающие способы привлечь внимание. Сами же они редко бывают циничными и пораженческими. Они не отвергают идею усталости от сострадания только для того, чтобы поднять свой моральный дух или из-за своей профессиональной заинтересованности в том, чтобы не создавать самоисполняющихся пророчеств. Они справедливо утверждают, что политическая проблема заключается в системе освещения событий средствами массовой информации, а не в способности общества продолжать воспринимать происходящее.

Однако агентства и средства массовой информации разделяют некоторые предположения, в том числе снисходительную идею о том, что аудитория не может уделять внимание более чем одному крупному событию одновременно. Представитель CARE объясняет, что сбор средств для Сомали был трудным, потому что боснийские убийства и ураган Эндрю «оттягивали» деньги и внимание: «Мы предполагаем, что это психологическое вмешательство других катастроф»<sup>41</sup>. Видимо, даже люди, близкие к страданию, не могут справиться со слишком большим количеством реальности. Поскольку Южноафриканская комиссия по установлению истины и примирению продолжала производить – или,

---

<sup>40</sup> Peter Burnell, «Aid Fatigue: Concept and Methodology», Working Paper no. 51, Department of Politics and International Studies, University of Warwick, 1991.

<sup>41</sup> «Crisis after Crisis Tiring Aid Donors», AP, cited by Moeller, Compassion Fatigue, 141.

скорее, подтверждать – регулярный поток ужасов, некоторые люди начали говорить об «усталости от откровений». Но это не значит, что публика настолько приучилась к ужасу, что не хотела слышать большего. Средства массовой информации посчитали, что «обычные» разоблачения больше не заслуживают освещения в печати, и решили, что только необычные разоблачения привлекут внимание общественности.

Эта причинно-следственная связь между СМИ и общественностью срабатывает в обоих направлениях. Таким образом, исследование Сюзан Мёллер посвящено не столько причинам «Усталости от сострадания» (данное ею название), сколько ее влиянию на то, «Как СМИ продают болезни, голод, войну и смерть» (ее подзаголовок). Она утверждает, что американское общество впало в ступор усталости от сострадания. Новости, которые вряд ли привлекут внимание аудитории, всегда отфильтровывались. Но порог внимания растет настолько быстро, что средства массовой информации еще более отчаянно пытаются «уточнить» критерии «важности» освещаемых историй. Тематические исследования Мёллер – такие как эпидемия вируса Эбола, голод в Судане и Сомали в 1991–1993 годах, геноцид режима Саддама иракских курдов (получивший название Анфал), лагеря смерти в Боснии, геноцид в Руанде – все показывают удручающе шаблонный способ, которым удаленные массовые страдания представлены: успокаивающие и повторяющиеся хронологии, сенсационный язык, американизированные метафоры. Что вызывает что? Мёллер обычно воспринимает усталость от сострадания как фиксированную «вещь», к которой СМИ должны приспосабливаться. Они позволяют усталости от сострадания установить иерархию историй, которые нужно осветить. Но она также утверждает, что усталость от сострадания не является неизбежным последствием освещения новостей, а «неизбежным последствием того, как новости сейчас освещаются»<sup>42</sup>. Усталость от сострадания может быть продуктом средств массовой информации, который возвращается в словарь мотивов публики. Тот факт, что мы не можем откликнуться на каждое обращение, ошибочно интерпретируется как признак того, что мы слишком устали, чтобы вообще озаботиться: «У нас усталость от сострадания,

---

<sup>42</sup> Ibid., 2.

говорим мы, как будто мы невольно заразились какой-то болезнью, от которой мы не можем избавиться, что бы мы ни делали»<sup>43</sup>.

Анализ Мёллер методов освещения боснийских и руандийских трагедий действительно показывает, что средства массовой информации борются с возникновением явного отрицания у аудитории. Истории о зверствах затихают под влиянием общественного настроения; образы Холокоста (лагеря смерти, истребление) явно используются для привлечения внимания; журналисты разочарованы тем, что освещают историю, от которой публика устала. Освещение геноцида в Руанде позволяет Мёллер модифицировать формулировку концепции, и это изменение имеет решающее значение: то, что произошло, было не столько усталостью от сострадания, сколько *избеганием* сострадания: «Общественность вздрогнула, столкнувшись с изображениями разлагающихся трупов или опухших тел, покачивающихся у берегов рек. Они отводили взгляд – даже тогда, когда считали, что эта история важна»<sup>44</sup>. Она цитирует (из репортажа *Washington Post*) как раз правильную метафору: «Что делать с этими фотографиями, с этими ужасами? Где в нашей памяти мы храним образ раздутых тел, плывущих по реке в Африке?». Мы привыкаем к этому или пытаемся реагировать, «постоянно заключая с собой сделку о том, сколько мы впустим...»<sup>45</sup>.

Часто «усталость» более уместна, чем «избегание», но без оттенка фиксированных *состояний* усталости, «в которые» впадают наши тела, а наши умственные способности начинают неметь. Эти образы слишком конкретны, чтобы описать культурные колебания: меняющиеся пороги внимания, сбивающие с толку способы подъема и ослабления сострадания, размытые границы того, что считается нормальным. Простое повторение образов страдания, их легкая доступность или даже навязчивость не обязательно должны вызывать состояние истощения. В конце концов, такой вещи, как любовная усталость, не существует. И большинство родителей не оцепенеют и не забудут о боли и страданиях своего ребенка, как бы часто он ни ударялся головой или плакал. Проблема с многочисленными изображениями отдаленных страданий заключается не в их

---

<sup>43</sup> Ibid., 9.

<sup>44</sup> Ibid., 306.

<sup>45</sup> Ibid., 283.

множественности, а в их психологической и моральной *дистанции*. Повторение лишь усиливает ощущение своей отдаленности от нашей жизни. Это не наши дети; у нас нет с ними никакой связи; мы никогда не сможем ощутить их присутствие; все, что мы знаем о них, это то, что они существуют в течение тех вывихнутых тридцати секунд, в течение которых на них сфокусирована камера. Разница между страданием и отсутствием страданий наших собственных детей гораздо более заметна, чем разница (*миллион жизней*) между знанием того, что 12 миллионов, а не 11 миллионов детей в возрасте до пяти лет умирают каждый год от болезней, которые можно было бы предотвратить.

Но мы знаем эту статистику. Мы не «принимаем» все цифры, но и они не проходят мимо нас. Мы можем даже представить (это необычайная возможность только потому, что мы так много смотрели телевизор) что-то из того, через что проходят их матери и отцы. Эта исконно присущая людям привязанность к своим близким не превращает людей в морально отталкивающих «свидетелей». Интуитивные реакции на образы страданий все еще могут быть такими же сильными, как и в дни до возникновения усталости от сострадания – и гораздо более интенсивными, чем могли бы предсказать уставшие от событий в мире журналисты или социологи. Возьмем еще раз историю голода в Эфиопии 1984 года. Репортер, фотограф, редакторы и сотрудники редакции открыто плакали, наблюдая, как люди буквально умирают на экране цветного монитора. Они считали маловероятным, что публика отреагирует так же: людям скоро станет скучно и они потеряют интерес к этой теме.

В 1993 году *New York Times* напечатала ставшую знаменитой фотографию Кевина Картера: пустынный пейзаж Судана со стервятником, сидящим рядом с маленькой девочкой, потерявшей сознание от голода. Ребенок, скорее младенец, обнажен, сломлен слабостью, совершенно брошен и беззащитен, пока стервятник ждет, как мы представляем, последней добычи. Фотография получила Пулитцеровскую премию, была названа классикой фотожурналистики и использовалась во многих кампаниях. Утверждалось, что это необычное изображение «вызывает» желание узнать больше. Далее:

«Нельзя смотреть на эту картину, не желая что-то сделать, чтобы защитить ребенка и отогнать стервятника»<sup>46</sup>.

Я считаю, что это «желание что-то сделать» является универсальной человеческой реакцией. По причинам, которые социологи еще не выяснили – они даже не искали их – у некоторых людей эта реакция слабее, чем у других. Но если реакция *каждого* станет более тусклой, мы знаем, где начать искать причины. Они не имеют ничего общего с усталостью или повторением изображений. Причина в том, что любое притупление сострадания, любое снижение заботы о далеких других – это именно то, что хочет поощрять индивидуалистический дух глобального рынка. Послание таково: будьте реальными, мудрыми и жесткими; урок заключается в том, что ничего, увы, ничего нельзя поделать с такими проблемами или с такими людьми.

---

<sup>46</sup> Arthur Kleinman and Joan Kleinman, «Appeal of Experience», 4. Но см. их рассказ о моральных отношениях фотографа с умирающим ребенком, стр. 3–7. Картер покончил с собой через несколько месяцев после объявления Пулитцеровской премии.

## Призывы

### Возмущение в Действии

В этой главе мы продолжим анализ того, как образы далеких страданий превращаются в призывы к их признанию. Большинство цитируемых текстов взяты из публикаций британского и американского отделений Amnesty International за период 1992–1998 г.г.<sup>1</sup> Я также учитываю около девяноста прямых почтовых рассылок, полученных друзьями в США с призывами уделить внимание либеральным темам: правам человека, гражданским свободам, социальной справедливости и окружающей среде: (Адреса упомянутых друзей фигурируют в большинстве соответствующих списков, и они получают в среднем около 250 обращений каждый год)<sup>2</sup>.

Призывы к вовлечению новых членов, сторонников или доноров редко адресованы всей общественности. Даже самые популярнейшие организации охватывают лишь ограниченный сектор населения: хорошо образованных, с высоким социально-экономи-

---

<sup>1</sup> Подробные источники и цитаты см. Stanley Cohen, *The Impact of Information about Human Rights Violations: Denial and Acknowledgment* (Jerusalem: Centre for Human Rights, Hebrew University, 1995). Если не указано иное, все цитаты, выделенные курсивом, взяты из текстов Amnesty International, Британской секции (AmB) или Секции США (AmU). Я называю фокус-группы Бруны Сеу (студенты лондонского университета) «студенческими группами».

<sup>2</sup> Между этими текстами существуют интересные культурные различия. Американский стиль и тон насмешливо-личные, сентиментальные, приторные и в некоторой степени китчевые. Британские тексты конфронтационны и агрессивны, более политически откровенны и словесно сложны, в них используются образы иронии, сарказма, цинизма и намеренного преуменьшения.

ческим статусом, либеральных в своих политических взглядах, уже принадлежащих к «сознательному электорату». Прямые почтовые рассылки направляются адресатам, определенным в ходе исследований рынка и полученным от организаций-единомышленников, таких как, например, экологические группы. Рекламные объявления помещаются в серьезных газетах, которые читают эти группы – в Великобритании – в *Observer*, *Guardian* и *Independent*. В плохие годы затраты на такие призывы едва окупаются. Например, для покрытия расходов на прямую почтовую рассылку требуется по крайней мере 2-процентное превышение суммы пожертвований. В 1993 году Amnesty USA разослала по почте около двенадцати миллионов писем с призывами привлечения новых членов, в результате чего на них отозвались лишь 0,5 процента.

Успехом считается «донести идею», «разбудить людей» или «дойти до них»; но также и «заставить их что-то сделать»: пожертвовать деньги, стать активными и усвоить новую информацию. Текст представляет собой призыв к признанию: «Посмотрите на это! Послушайте, что мы вам говорим. Если вы еще не знали об этом, то теперь у вас нет оправдания незнанию. Если вас это не волнует, вам следует это сделать. Что-то можно сделать. Вы можете и должны что-то сделать». Обращение проходит через практически идентичное повествование, состоящее из шести частей. Американская прямая почтовая рассылка хорошо иллюстрирует эту последовательность.

## Рассказ о призывах

### *Кто вы?*

К активным или давним сторонникам обращаются лично и напоминают об их прежних обязательствах и щедрости. В прошлом вы приняли решение, которое показало, какой вы человек; конечно, вы не изменились; сейчас эта проблема еще более актуальна. «Вы были замечательным другом сальвадорского народа на протяжении ужасных лет страданий, войны, «исчезновений» и репрессий со стороны вооруженных сил США» (SHARE – Salvadorean Humanitarian Aid, Research and Education). Потенциальные новые сторонники идентифицируются как часть группы единомышленников, опреде-

ляемой этнической принадлежностью, религией или общими ценностями; но, как «люди вроде нас», они также принадлежат к более широкому моральному сообществу. Такие термины, как «социальная справедливость» и угнетение, объяснять не нужно. Читатель считается принадлежащим к тому же просвещенному сообществу, что и писатель. После событий с Родни Кингом Еврейский фонд справедливости обращается к общей истории и чувству справедливости: «Мы делаем это как американские евреи, ... как потомки иммигрантов, искавших в этой стране убежища от несправедливости и фанатизма. ... Мы помним, что крупные города были нашими первыми домами ... и поэтому укрепляем партнерство с теми, для кого город стал смертельной ловушкой, а не возможностью».

### *В чем проблема?*

Основная часть текста описывает проблему – будь то городская бедность, расовая напряженность, нарушения прав человека, беженцы, голод или бездомность. История болезни драматизирует тяжелое положение некоего человека. Например, письмо Сезара Чавеса в пользу Объединения сельскохозяйственных рабочих Америки полностью построено вокруг одной девушки, умершей от лейкемии после воздействия пестицидов, которыми обрабатывали виноградные лозы. Он описывает поездку в 5.30 утра по калифорнийскому шоссе мимо полей, на которых работали сельскохозяйственные рабочие: *«Внезапно я кое-что понял. В тусклом свете я смотрел на шеренги детей, тихо работающих рядом со своими родителями. Представляя их в конце дня, уставших и грязных, я задавался вопросом: что их ждет в будущем? ... А потом я подумал о Мириан Роблес ... Мириан – маленькая девочка, которая не дает забыть себя. Как только вы увидите ее лицо, вы не сможете стереть его из памяти»*. Затем мы читаем историю Мириан, увиденную глазами ее семьи: диагноз, ее десятилетнюю борьбу и ее смерть.

Помимо конкретной проблемы, появляются подробности и контекстуальные разъяснения вопросов прав человека. Почему мы не можем ослабить бдительность, даже учитывая крах коммунизма, военных хунт в Латинской Америке и апартеида? Затем представля-



ется список ужасов, чтобы убедить читателей в том, что ничего не изменилось или что изменения были к худшему («новые зловещие силы»). «Несмотря на то, что холодная война закончилась, мир остается таким же ужасающим, жестоким и смертоносным, как и прежде. И права человека соблюдаются и защищаются большинством правительств не в большей степени, чем раньше... А в некоторых местах это становится гораздо более угрожающим – *характер правительственных угроз правам человека слишком часто меняется даже к худшему*».

### *Кто мы? Что мы делаем?*

В рассылаемом тексте теперь описывается организация, ее программы и то, что она могла бы сделать, имея больше денег. Получатели посланий уверены в ответственности: деньги будут потрачены только там, где это необходимо, и не будут направлены ни на подкуп коррумпированных лидеров третьего мира, ни на пополнение счетов бюрократов международных агентств. Не существует эквивалента голодающему африканскому ребенку в ближайшей клинике; текст стремится объяснить, как организация может «изменить ситуацию». У Amnesty есть свои образы: «голоса, поднятые в защиту тех, у кого нет голоса»; «внесение света в тени»; «свеча надежды в кольце из колючей проволоки»; «предоставление свободы людям, преданным правительством забвению, ... брошенным умирать в камере, невидимым и забытым внешним миром». Описываются методы работы (мобилизована сеть срочных действий, написаны тысячи писем), а затем приводятся заявления об успехе. Этого заключенного больше не подвергают пыткам, его перевели из одиночной камеры, и теперь он посещает врача или адвоката. Драматическое заявление: «Бывший мучитель из Сальвадора говорит, что от этого зависит жизнь и смерть: «Если поступит призыв от иностранного правительства или Amnesty International, они будут жить. В противном случае их можно считать мертвыми».

В тексте объясняется, как можно изменить общую политику правительства, а также помочь отдельным людям. Например, предотвратить дальнейшие исчезновения, выявляя людей, находящихся в группе риска («Мы пытаемся найти их до того, как правительство их

убьет»); подвергнуть правительства международному осуждению и изоляции; привлечь конкретных виновных к ответственности, положить конец официальным опровержениям. Amnesty может спасти людей, но не может остановить гражданские войны, сменить правительство или установить демократию. Предполагается, что читатели настроены пессимистично, но не цинично: их нужно убедить, что что-то можно сделать, даже если общая ситуация безрадостна.

### *Что ты можешь сделать?*

Затем приходит сообщение о возможности расширения помощи: «Вы можете что-то сделать». Существующие обязательства, возможно, нуждаются в развитии: «Конечно, вы также помогли сделать возможным драматическое возвращение тысяч сальвадорских беженцев в их разбомбленную и заброшенную деревню. После того как они переселились, вы продолжали их поддерживать... Вы были верным партнером сальвадорского народа... Какой трагедией было бы, если бы мы прекратили нашу поддержку сальвадорского народа как раз тогда, когда у него появился реальный шанс оправиться от ужасных ран десятилетия войны» (SHARE).

Для новой аудитории авторы текста пытаются найти тонкий баланс: проблема огромна, но отдельные действия могут иметь некоторый эффект. На одно действие (прививка от кори в этом селе) необходима определенная сумма (15 долларов США). Проблема неотложная; ужасные трагедии ждут нас впереди, если не принять меры сейчас. В тексте говорится не столько об общих принципах (справедливости и правах человека), сколько о личности: у вас есть определенные ценности, вы знаете масштаб проблемы, вы видели, что мы можем сделать. Вот несколько простых действий, которые вам следует предпринять.

### *Зачем вам что-то делать?*

Предполагается, что читатели избирательно распределяют свои ограниченные ресурсы. Их бомбардируют бесконечными призывами такого типа, и они склонны к усталости от сострадания. Недостаточно убедить их обратить внимание и что-то сделать – они

должны выбрать именно это обращение. Обращение теперь сталкивается с отрицанием. Негативный импульс необходимо преодолеть (еще одно письмо в мусорное ведро), а позитивный – подкрепить (какой вы человек, ваши ценности, ваша способность к сочувствию – и удовлетворение, которое вы получите от соответствующих действий). Текст предвосхищает распространенные отрицания и оправдания бездействия, а затем пытается им противодействовать. Нет, это неправда, что проблема настолько огромна, что несколько долларов не изменят ситуацию. Нет, деньги не пойдут на поддержку коррумпированного режима. Нет, мы не относимся враждебно к этой конкретной стране.

«Проблема» – не только сами нарушения прав человека (читатель знает о них все), но и общественная апатия, молчание и равнодушие. *«В 1993 году постоянный поток ужаса из Боснии был настолько травматичным, что бросил вызов нашей способности признать боль и выдержать моральное возмущение. Продолжающаяся история настолько позорна, что большинство из нас даже не хотят о ней думать. Но это часть задачи Amnesty – преодолеть психическое оцепенение перед лицом такой трагедии».*

Целое четырехстраничное письмо, рассылаемое в США по почте, было построено вокруг знаменитого текста преподобного Мартина Нимоллера. Текст воспроизведен дословно («В Германии сначала пришли за коммунистами, а я промолчал, потому что я не был коммунистом...»), а затем следует моральный урок из истории нацизма: *«Сегодня, как это было в самых мрачных глубинах 1930-х и 1940-х годов, миллионы людей ждут, чтобы увидеть, возвысит ли голос мир – такие люди, как вы и я – или им тоже придется заплатить высшую цену за наше молчание».* Темы отрицания и забвения встречаются во многих текстах. Один из докладов представляет собой «мощное обвинение в забвении и смирении». Есть упоминания о «мировом фатализме», о том, что «мы просто не можем молчать и ничего не делать». Обычные люди должны проявить свою позицию. Текст противостоит чувству беспомощности и гнева читателей: *«Но сегодня вы можете что-то с этим сделать. Я хочу, чтобы вы присоединились ко мне и тысячам других и сказали: «Хватит, пора миру стать лучше».*

### Финальный аргумент

Рассылаемые письма обычно заканчиваются нагнетанием важности и срочности сообщения, иногда возвращаясь к какому-нибудь персонифицированному случаю: *«Для Мирианы Роблес уже слишком поздно, но тысячи других жизней можно спасти» ... Без вашей поддержки мы никогда не сможем победить могущественных и жадных производителей, которые оскверняют тела наших детей своими токсичными пестицидами ... Пожалуйста, помогите в гарантии, что смерть Мириан не была напрасной*». Финальный аргумент напоминает людям, кем они являются («принципиальные люди»), и подчеркивает безотлагательность реакции на призыв. В «хаотичном новом мире, раздираемом жестокими и растущими чрезвычайными ситуациями в области прав человека», это «критический момент, чтобы помочь».

Регулярные газетные рекламные объявления Amnesty Britain на всю страницу – узнаваемые с 1990-го года товарные знаки – представляют собой концентрированные варианты одной и той же последовательности из шести частей. Они вызвали ожесточенные нападки со стороны правительств, подвергаемых критике, и постоянную похвалу со стороны рекламных агентств за их исключительное влияние<sup>3</sup>. По содержанию и стилю они выглядят как точное применение теорий отрицания и признания<sup>4</sup>. Выделяются четыре характерные особенности:

#### *Незамедлительность*

Самая поразительная черта – это внушаемое чувство безотлагательности и то, что директор одного рекламного агентства назвал «неизменно надоедливым, навязчивым, мучительным качеством».

---

<sup>3</sup> См. обзоры рекламы в еженедельном отраслевом журнале Campaign (16 Nov. 90; 14 Dec. 90; 14 Dec. 94).

<sup>4</sup> Самым влиятельным создателем этого стиля является Индра Синха, копирайтер агентства для большинства рекламных объявлений. См.: Diana Allard, «A Quiet Rage». Campaign, 3 May 1991.

Они буквально захватывают ваше внимание и не дают ускользнуть. Для достижения непосредственности и придания эмоционального приоритета «тому, что важно» используются три метода: визуальное воздействие эмоциональной или интригующей *фотографии*; шокирующий *слоган*, заголовок или подпись; текст, который удерживает внимание читателя вплоть до последнего призыва к действию.

Заголовки особенно проникновенны и запоминаются – в них используются сложные вариации иронии, сарказма и горькой недосказанности. Такой эффект часто достигается путем сопоставления банального и шокирующего:

- *Испанской полиции не понравился цвет его кожи. Поэтому они изменили его.*
- *Бразилия решила проблему, как уберечь детей от улицы. Просто убить их.*
- *Вас вполне могут подвергнуть пыткам или убить, когда вы вернетесь в Шри-Ланку. Но это не повод чувствовать себя преследуемым.*

#### *Возмущение в действие*

Главным эмоциональным посланием является «тихая ярость». Рекламное агентство описало свое задание как превращение «возмущения в действие». Сотрудник Amnesty, ответственный за рекламу, отметил, что составители посланий на тему Ирака «постоянно бьют по нервам – они используют чувство ярости, но это контролируемая и направленная ярость». Существует постоянное чувство гнева, негодования и отчаяния по поводу молчания общественности и лицемерия политических лидеров. После нейтрального начала рассказа о путешествиях образ Ирака становится ужасным; тон переходит в возмущение: *«Теперь вам придется превратить возмущение в действие: если вы знаете об этих ужасах и безнадежном безразличии правительств, то вы должны помочь нам. Единственный способ сделать жест в сторону признания этого очевидного безумия – это присоединиться к Amnesty»*. Синха резюмирует послание: «У вас есть выбор. Обижайтесь или вмешивайтесь»<sup>5</sup>.

---

<sup>5</sup> Ibid., 29.

### *Разум*

Помимо эмоционального послания возмущения, обращение призывает к размышлению и разуму. Рассылка «Ирак/Курды» от ноября 1990 года представляет читателю насыщенную информацию – коллаж из свидетельств очевидцев, сообщений прессы, официальных документов, прямых цитат, заимствованных заголовков. Как комментирует специализированный журнал: «Вы ни разу не почувствовали, что человек, незаметно завоевавший вас, – это кто-то другой, это был голос разума». Однако литературный стиль сложен, грамотен и ненавязчив. Читателю приписывают то, что он слишком умен и слишком рассудителен, чтобы его можно было убедить грубыми эмоциональными призывами. Текст полон осознанных постмодернистских намеков на собственные неудачи в репрезентации:

- *Прекрасные слова, которые мы чтим, не помогают нам. Фактически они искажают наше послание. Они становятся слишком философичными, когда речь идет о настоящей боли.*
- *Слова подводят нас. Как сказал Т. С. Элиот, они скользят и скользят по поверхности, помогая избежать стресса.*
- *Несмотря на благие намерения, реклама, подобная этой, никогда не сможет добиться успеха.*

### *Натиск отрицания*

«Проблема» заключается не только в том, что что-то происходит, но и в публичном отрицании, апатии и моральной слабости перед лицом «того, что все знают» – отсюда заголовок боснийской рекламы:

*«Посмотрите внимательно. Никогда впредь не говорите: «Я не знал, что это имеет место»». В сообщениях есть ноющая, настойчивая черта:*

- *Год за годом мы кричим и кричим – а люди отворачиваются. (Восточный Тимор)*
- *В течение многих лет мы разоблачали зверства, совершенные иракским правительством ... Почему вы теперь должны удивляться? ... Именно это мы вам говорили. В 80, 81, 82, 83,*

*84, 85, 86, 87, 88 и 89 годах. А вы не сделали ничего, чтобы помочь.*

На этот раз вы должны преобразовать свое подтверждение в действие:

- *Когда наша жалость и гнев ничего не могут изменить; когда мы видим боль, которую мы не можем исцелить, горе, которому мы не можем противостоять; когда наша щедрость так же бесполезна, как и равнодушие, – что нам тогда делать? Стоит ли нам отчаиваться и ничего не делать? (Мьянма)*
- *Если новости вас расстроили, не плачьте просто так. Ради Бога, рассердитесь. Если достаточное количество из нас во всем мире заявит о своем возмущении, оно будет услышано и ошущено, правительствам придется прислушаться. (Югославия)*

Текст направлен не только на молчание простых людей, но и на лицемерие, безразличие и сговор («официальное отрицание») политиков, правительств и международного сообщества. Вместе с самоотносящимися напоминаниями о предыдущих знаниях и незнаниях парадокс отрицания даже используется как трюк: плакат UNHCR, выставленный в лондонском метро, гласил просто: «НЕ СМОТРИТЕ ... НЕ ЧИТАЙТЕ, УХОДИТЕ».

## Проблемы

Студенты, изучающие способы убеждения, маркетинг, рекламу, политический дискурс и изменение отношения, до сих пор используют классическую формулу коммуникации Лассуэлла, состоящую из четырех частей: *кто, что и кому говорит, и с каким эффектом*. Стандартные требования к убедительному общению остаются неизменными: *источник* должен быть заслуживающим доверия; *сообщение* должно следовать определенным правилам

логики и привлекать внимание; чувства *аудитории* необходимо понимать<sup>6</sup>.

Психодинамические модели убеждения апеллируют к бессознательной мотивации (отрицанию в эмоциональном смысле). Теории обучения и рационального выбора имеют дело со стимулами принятия сообщения. Когнитивные модели рассматривают аудиторию как активных мыслителей, которые интерпретируют сообщения и делают выводы, но являются «когнитивными скрягами»: их способность обрабатывать информацию ограничена, поэтому когнитивная энергия сохраняется за счет исключения определенных элементов и чрезмерного упрощения сообщений. Двадцать прямых почтовых рассылок в неделю, все с просьбой о помощи по делам, которые кажутся заслуживающими внимания, не могут быть обработаны рационально.

### *Внимание*

Обращение должно привлечь, а затем удержать внимание аудитории. Мы видим много похожих образов ужаса и страданий. Почему стоит обратить особое внимание именно на эту рекламу, брошюру или письмо? И почему мы должны продолжать это читать? Есть три родственных метода фиксации внимания: *драма, шок и яркость*.

Апелляции к драме основаны на серии фиксированных драматических повествований. На заднем плане – мировая сцена хаоса, ужаса и страданий. На переднем плане именно эта конкретная драма – скажем, убийства «эскадроном смерти» в Колумбии. Есть агенты зла, невинные жертвы и равнодушные прохожие. Мы – способные принести спасение, разорвав этот треугольник злодеяний, – представляем силы добра, присоединиться к которым вам предлагается. *«Наиболее известные массовые убийцы нашего времени несут ответственность за смерть не более нескольких сотен жертв. Напротив, государства, которые решили убивать*

---

<sup>6</sup> О социальной психологии убеждения см.: Anthony Pratkanis and Eliot Aronson, *Age of Propaganda: The Everyday Use and Abuse of Persuasion* (New York: W. H. Freeman and Co., 1992). Об использовании рекламных технологий для преодоления сопротивления сообщениям о правах человека см.: Israel W. Charney, «Innovating Communication Initiatives for Human Rights» (Amnesty International Conference on Extra-Judicial Executions, Amsterdam, 1982).



*своих граждан, обычно могут насчитывать свои жертвы тысячами. Что касается мотива, то государству не нужно особых оправданий, поскольку оно убьет своих жертв за неосторожное слово, другую точку зрения или даже стихотворение» (AmB, 1993 г.).*

Трагические сообщения часто обсуждаются с точки зрения их «шоковой ценности» или использования «шоковой тактики». Понятие шока сложно определить: оно может быть нейтральным (чувство удивления неожиданностью) или нести негативные, тревожные или неприятные эмоции. Оба вида применимы ко многим обращениям. Шок может быть достигнут резкими и неожиданными сопоставлениями. И передаваемая информация призвана в буквальном смысле «шокировать». Спорным примером стала программа AmB 1993 года «Праздничные Образы». Это использовало шок в обоих смыслах: неожиданного и тревожного. Прямая рассылка была отправлена в желтом конверте с надписью *«Памятные фотографии ваших каникул»*. Читатель, открыв конверт, обнаружил шесть черно-белых фотографий жертв размером с открытку, каждая из которых была сделана в разных странах. Три фотографии были «обычными»: исламский боевик, арестованный полицией в Египте, дети, гуляющие по улице в Бразилии, и лицо марокканской женщины. Трое из них были «ужасными»: мертвый индеец, лежащий на улице с огнестрельными и пыточными ранами на теле, турецкий юноша, лежащий на животе так, что видны раны или ожоги на спине, и семь или восемь трупов китайских студентов, лежащих рядом с их искалеченными велоси-педами на площади Тяньаньмэнь. Текст на обороте пяти фотографий был простым и бесстрастным. На турецкой фотографии были красочные описания пыток: мальчика «заставляли лежать на углях костра, пока он не начал гореть»; «Они изнасиловали меня дубинкой – беременную медсестру». Сопроводительное письмо начинается так:

*Дорогой ...*

*У вас уже были летние каникулы? Или вы все еще ждете возможности отдохнуть? Это одно из преимуществ жизни в свободном обществе. Пока мы можем себе это позволить, у большинства из нас есть возможность восстановить силы под ласковым солнцем. Но для тысяч жертв бесчеловечного отношения нет солнечного света. Их идея праздника состоит в том, чтобы*

*охранники хотя бы на один день прекратили их пытаться... Я действительно не хочу, чтобы такие мысли испортили ваше представление об отпуске. Но я прошу вас подумать об узниках совести и жертвах нарушений прав человека, которые страдают по всему миру. Взгляните на прилагаемые фотографии. Если вы недавно посетили или собираетесь посетить какую-либо из этих стран, найдите время подумать о людях, которых они показывают...*

### *Яркость*

Яркая информация привлекает внимание, выделяясь в насыщенной сообщениями среде: она эмоционально увлекательна, позволяет использовать графические изображения и передает непосредственность<sup>7</sup>. Визуальный персонализированный образ гораздо легче закодировать и сохранить. Позже вы ловите себя на мысли об этом: «Я не могу выбросить из головы эти изображения голодающих детей в Сомали». Это не нейтральная яркость, а «негативные образы, призванные вызывать беспокойство».

На лицевой стороне листовки AmB «Дети и репрессии» изображен мужчина в форме, направляющий пистолет на одного из трех напуганных детей; подпись гласит: «Уличная сцена в Сан-Паулу, декабрь 1990 года». В самой листовке мы читаем: *«Детей облили бензином и подожгли. Людей окунали в бочки с человеческими экскрементами. Женщины, изнасилованные в заключении похитителями. В Иране родителей заставляли смотреть, как стреляли в их детей, а затем требовали заплатить за пули. В Бангладеш заключенного били по ступням ног и гениталиям, хлестали электрическим кабелем и пинали ногами»*. Тексты могут быть яркими и привлекающими внимание, но не явно шокирующими или ужасными. На обложке другого вкладыша изображена фотография единственной детской туфельки. Подпись гласит: *«Однажды в сентябре трехлетняя Мариана Заффаран загадочным образом «исчезла». Помогите нам сохранить не только память о ней»*.

Яркая/ужасная тема основана на общей дискуссии о репрезентации злодеяний и страданий. Критики обеспокоены

---

<sup>7</sup> Richard Nisbet and Lee Ross, *Human Inference* (Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1980), 44. Об исследовании эффекта живости см.: Pratkanis and Aronson, *Age of Propaganda*, ch. 18.

эксплуатацией, вуайеризмом или «порнографией насилия». Но какие изображения оказываются слишком шокирующими, наглядными или тревожными? Нарушения прав человека, такие как цензура, несправедливые судебные разбирательства, административные задержания или религиозное принуждение, действительно можно описать обычными терминами. Но другие нарушения вызывают внутреннюю тревогу. Возьмите широко распространенные новости о том, что бизнес-мены в Боготе и других частях Колумбии нанимают убийц для избавления от беспризорных детей, которые считаются помехой. Трудно представить, как эта история может звучать иначе, чем «ярко»: плата в размере 5000 долларов за уборку района, уведомления о смерти, приглашающие местное сообщество присутствовать на похоронах беспризорных детей, образы «социальной чистки».

Это обращает внимание на три аспекта: *эффективность, контрпродуктивность и этические ограничения*. Мы просто не знаем, являются ли призывы о зверствах и страданиях более эффективными, если в них используется шоковая/яркая тактика. Заявления о значительном успехе, такие как впечатляющие рекламные трюки активистов по защите прав животных, которые выходят далеко за этические рамки агентств по оказанию помощи и защите прав человека, невозможно доказать. В 1993 году AmV провело одну адресную оценку. Оно разослало 98 000 писем по спискам, полученным из двух баз данных рыночных исследований: Oxfam и Friends of the Earth. Две случайные рассылки состояли из новой версии «типового» письма-обращения по амнистии и (в качестве контрольного) более старой версии этого письма. Третье письмо включало в себя не только новое письмо, но и конверт с пакетом под названием «Досье дел Amnesty International». На обложке было предупреждение: «В этом конверте собрана небольшая подборка дел, с которыми Amnesty сталкивается каждый день. Многие из наших досье включают душераздирающие подробности человеческих страданий и мучений. Пожалуйста, не открывайте, если вас могут расстроить такие подробности». Четыре фотографии действительно были душераздирающими, показывая наглядные примеры пыток, этнических чисток, беспризорных детей и исчезновений. Добавление карточек вызвало больший отклик и доход, чем две другие рассылки. Средний процент откликов на

рассылку открыток составил 4,34 процента; только на новый текст – 3,28 процента и на старый текст – 3,05 процента. Учитывая, что безубыточность для новых рассылок принимается за 2 процента ответивших, эффект от карточек в получении дополнительного количества ответов в 1 процент (и дохода в 17 500 фунтов стерлингов по сравнению с 12 000 фунтов стерлингов) весьма заметен. Однако эти результаты слишком разрозненны, чтобы их можно было обобщать.

Тезис о контрпродуктивности заключается в том, что люди с отвращением отключаются, если изображения сделаны слишком яркими: «правило отрубленной головы» заключается в том, что не следует показывать отрубленные головы. Информация может стать настолько тревожной, что фактически облегчает отрицание. Большинство из нас испытывали чувство буквальной неспособности продолжать обрабатывать дальнейшие порции информации. Однако, как и «усталость от сострадания», корректность теории контрпродуктивности трудно доказать. Кроме того, многие люди перестают читать текст и выбрасывают письмо в мусорное ведро, но все же предпринимают какие-то действия: «Я продлеваю свое членство каждый год, но я не могу читать то, что мне присылают».

Эффект отключения может быть сильнее среди людей, которые уже приняли общее послание и возражают против дальнейшего манипулирования их эмоциями. Действующие члены Amnesty иногда жалуются на тревожные изображения, используемые для привлечения новых членов. Ссылаясь на рассылку «Holiday Snaps», один из участников написал: «Я уже озабочен соблюдением прав человека. Поэтому нет необходимости выводить меня из состояния апатии или незнания, что, как я полагаю, и было целью формирования такого пакета». Глубокое сочувствие может быть слишком неприятным: например, видеть жертву того же возраста, что и ваш собственный ребенок. Однако исследование фокус-группы среди членов «US Amnesty» показало, что ужасающие изображения воспринимаются скорее как слишком повторяющиеся, чем как слишком агрессивные и шокирующие<sup>8</sup>. Людям, которые еще

---

<sup>8</sup> «Findings from Focus Groups Conducted among Current Regular and Lapsed High Dollar Donors for Amnesty International» (Washington, DC: Peter D. Hart Research Associates, June 1992), 10–11.

не приняли на себя обязательств, эта тактика может показаться неприятной, в то время как активные сторонники к ней привыкли. «Правило отрубленной головы» относится не только к прагматичным соображениям относительно того, что работает – некоторые изображения слишком ужасны, чтобы их использовать, – но и к этическим ограничениям: добровольным или вытекающим из внешних рекламных и маркетинговых кодексов. Гуманитарным организациям следует задать вопрос: «Как далеко вы можете зайти?»

### *Негативные или позитивные образы*

Правозащитному сообществу не пришлось пережить кризис представительства. Не произошло никакого перехода от негативных образов к позитивным или от пассивной, униженной жертвы к обладающему силой и достойному выжившему. Фактически, понятие «расширение прав и возможностей» имеет в этом контексте совершенно иной смысл. Вместо ссылки на «объекты» призывов речь идет о том, чтобы дать «субъектам» (западной общественности) ощущение своей способности действовать. Цель – преодолеть пассивность и беспомощность *аудитории*. Жертвы в большинстве случаев изображаются невинными и пассивными, произвольными объектами жестокой государственной власти, но многие подвергаются нападениям именно потому, что они являются активными действующими лицами, борцами за социальную справедливость и политические перемены. Оба типа жертв нуждаются в достойном представительстве. Недавняя кампания Amnesty в отношении положения женщин подчеркнула это противостояние между позитивным/сильным/активным и негативным/слабым/пассивным. В одной брошюре приводится фотография женщины с двумя детьми (ее муж был общественным активистом, пропавшим без вести в Колумбии). Общий заголовок гласит: «Женщины на переднем крае нарушений прав человека». После примеров государственного насилия по отношению к женщинам, есть две параллельные колонки, посвященные этим историям беспомощности и пассивности. Левая сторона имеет заголовок «**СИЛЬНЫЕ**»:

*Многие женщины подвергаются нападкам, потому что они сильны, потому что они являются политическими активистками, общественными организаторами или потому, что они упорно требуют уважения их прав и прав их родных. По мере того, как все больше женщин стремятся к равенству и участию в управлении своим обществом, они становятся более заметными в этом обществе и, следовательно, более уязвимыми.*

Правый столбец озаглавлен «**СЛАБЫЕ**»:

*Многие женщины становятся жертвами еще и потому, что они слабы: гендерные различия приводят к тому, что женщин воспринимают как легкую мишень для физического и психологического насилия; молодые женщины, которые легко могут подвергнуться сексуальному насилию; напуганные матери, отчаянно пытающиеся защитить своих детей; беременные женщины, опасющиеся за своих будущих детей; женщины, которых можно использовать, чтобы добраться до родственников-мужчин; женщины-беженки, изолированные в чужой среде по милости властей, наделенных полномочиями предоставить им необходимое питание или документы.*

Однако нет никаких доказательств того, что такое противопоставление вызывает большее признание. Проблемой, которую здесь предстоит преодолеть, является отсутствие ярких образов *облегчения* страданий. Образ, недавно запечатленный в общественном сознании, – тела, выкапываемые из массовых могил, – не позволяет проводить большого различия между пассивной жертвой и активным борцом. И это вряд ли можно назвать успехом.

### *Простота против сложности*

Простота в данном контексте – это яркое описание злодеяний, за которым следует призыв о немедленной помощи. Сложность относится к более широким просветительским и политическим целям, которых требует характер проблемы. Прагматичный подход заключается в том, что коммуникация должна быть максимально простой, чтобы преодолеть безразличие аудитории. Сообщение должно создавать связь между тем, «что вам нужно знать» и «что

вам следует делать». Чтобы установить эту связь, людям не нужно знать очень много. Слишком много информации размывает сообщение. Чем больше сложностей вы представляете – исторический контекст, что жертвы не всегда пассивны, что правительство сталкивается с угрозой безопасности, нюансы международного права – тем труднее становится заручиться поддержкой. Сложность может подарить оправдание для пассивного наблюдения: «Все выглядит так сложно ... Кто может сказать, действительно ли это происходит? ... Кто хорошие, а кто плохие парни в этой истории? Никто не способен вынести обоснованное суждение о том, что происходит».

Стандартные тексты по правам человека – их особый стиль, цитирование всех источников, юридический диалект международных конвенций – явно не подходят для широкой общественной аудитории. Первоначальный отчет обычно проходит четыре или пять редакций, прежде чем доходит до публикации в виде односторонней листовки. На каждом этапе информация избавляется от агрессии и упрощается. Международная кампания против исчезновений и политических убийств в конечном итоге фокусируется на одной стране. К тому времени, когда информация доводится до детской группы, она сводится к минимуму – цитате на обложке детского журнала: *«Тем, кто похитил моего папу: я прошу Бога сказать этим людям, чтобы они позволили нашим родным вернуться домой»*. (двенадцатилетняя девочка).

Доходчивость влечет за собой издержки и компромиссы: детали (имена, даты, статистика и источники информации) исчезают; нет никаких нюансов «якобы», «по сообщениям» или «согласно большинству источников»; контекстная информация теряется. Но это можно заметить только тогда, когда страна знакома. Кампания Amnesty против расизма в Европе – с яркими материалами о жестоком обращении со стороны полиции с этническими меньшинствами и рабочими-мигрантами – подверглась критике со стороны европейских активистов: Почему основное внимание уделяется полиции, а не расизму в целом? Для них материал был недостаточно сложным. Южные регионы, однако, были полны энтузиазма – для них было достаточно простоты (той самой «простоты», с которой Север рассматривает их проблемы).

Не так уж много важной информации теряется при важнейшей связи между тем, *что вам нужно знать* (недавняя политическая история) и тем, *что вам нужно сделать* (написать письмо властям). Типичный упрощенный текст – плакат об Индии. Около 40 процентов площади страницы занимает мирная фотография крестьян и волов в поле под названием «Сельская сцена, Гуджарат, Индия». Заголовок: «Индия – пытки, изнасилования и смерти в заключении». Полный текст гласит:

*Пытки во время содержания под стражей – повседневное явление в каждом индийском штате. За последнее десятилетие в результате пыток погибли многие сотни, если не тысячи людей, а с 1985 года Amnesty International зарегистрировала 415 таких смертей.*

*Судьи, журналисты, адвокаты, борцы за гражданские права, политики и сами полицейские открыто выражают обеспокоенность по поводу широкого распространения пыток, включая изнасилования и смерти в заключении. Многие индийцы, особенно борцы за гражданские права, на протяжении многих лет призывали правительство прекратить насилие со стороны полиции в отношении задержанных. Основная причина сохранения широкого распространения пыток в Индии заключается в том, что сменявшие друг друга индийские правительства не смогли признать факт существования пыток вообще, не говоря уже о том, что с ними необходимо решительно бороться...*

*Отрицая факт применения пыток, не осуждая их, не привлекая мучителей к ответственности и не обеспечивая гарантий прав человека, сменявшие друг друга правительства Индии должны взять на себя ответственность за продолжение пыток и смерть людей в заключении.*

Такие тексты могут быть недостаточно сложными. Но достаточно ли проста информация, чтобы вызвать активную и заинтересованную реакцию? Комик из Comic Relief (группы британских артистов, которые собирают деньги на помощь жертвам нарушений прав человека) предложил прагматичный принцип: «Вы должны дать людям достаточно информации о сложности проблемы, чтобы



у них были все причины избегать своей склонности не жертвовать – даже несмотря на то, что пять минут спустя они не вспомнят ни информации, ни причин».

Практически во всех обращениях, будь они от старомодных благотворительных организаций или от продвинутых гуманитарных организаций, для представления сложной информации используется индивидуальный случай. Смотрите, как ситуация затрагивает жизнь отдельных людей. Это «жизни за ложью»: истории (от первого или третьего лица) узника совести, жертвы пыток, приговоренного к смертной казни или членов семьи, ставших свидетелями похищения их близкого человека. Персонализация имеет два преимущества. Во-первых, драматичность и понятность: сложная информация может быть выражена в ясных, ярких формах, привлекающих и удерживающих внимание. Во-вторых, идентификация: какой бы отдаленной и сложной ни была ситуация, вы находите личную связь, осознавая затруднительное положение другого человека. Это усиливается оригинальным фирменным стилем Amnesty в работе с узниками совести. Активисты организации пишут письма напрямую отдельным заключенным (и/или их семьям и властям) и получают ответные письма. Это создает ощущение личной причастности. Не только вы знаете об этом человеке, но и он или она узнает о вас.

Но хотя в исходном отчете случаи приводятся для иллюстрации более широких аспектов истории, краткий формат требует от них нести бремя фактического *изложения* широкой истории. Соблазн состоит в том, чтобы использовать драматические, яркие или сенсационные случаи, а не репрезентативные. Трагические истории отдельных жертв могут затмить общие сложности и отвлечь от политических проблем. Если у организации уже есть заслуживающая доверия репутация и общественность имеет некоторое представление о том, чем она занимается, то в подробной информации нет необходимости. Печальных случаев и историй успеха достаточно.

### *Страны или проблемы?*

Должны ли обращения концентрироваться на конкретной стране или касаться общей проблемы, такой как безнаказанность,

пытки или политические убийства? По общему мнению, ориентация на страну лучше подходит для набора новых членов. Страна, которая видна в новостях и в «событии настоящего момента», представляет стратегические возможности, которых не хватает даже самой драматичной проблеме. Проблемы или темы, особенно сложные, больше подходят для уже вовлеченных членов или для повышения общей осведомленности. Проблемы – пытки, права детей и права женщин – привлекают людей, которые хотят решать проблемы, а не думать о Шри-Ланке или поддерживать курдов.

Чтобы ответить на вопрос «Какие страны?», нам необходимо разместить личные и культурные карты рядом с картами распространения средств массовой информации и реальным геополитическим атласом злодеяний. Ничего подобного этой информации не существует. Американская организация, как мы знаем, практически не получит ответа на обращения по поводу стран, находящихся за пределами карты общественных интересов, неизвестных и неинтересных: Шри-Ланки, Чада, Того или Уганды. Часто – как Восточный Тимор и Заир – их намеренно «удаляли» с карты мира из-за американских интересов. Геополитические интересы выбирают подходящих жертв и подходящих врагов. Они также влияют на непостоянную зависимость от международной новостной повестки дня.

Какие темы? Пытки, вероятно, являются единственным лучшим средством, которое можно использовать как для вербовки новых сторонников, так и для удержания существующих членов. Никто не одобряет и не высказывается «за» пытки; практику можно легко описать; есть персонифицированная жертва, с которой следует себя идентифицировать; вмешательство (например, кампания по написанию писем) может произвести некоторый эффект. Опрос AmV 1993 года назвал пытки проблемой, которая больше всего беспокоит членов организации. Расизм в Европе и политическое убежище для беженцев, две проблемы, наиболее близкие к дому, оказались в числе наименее вызывающих беспокойство. Аналогичное исследование AmU показало обратное: из пяти общих вопросов еще два внутренних вопроса – связь политики помощи США с ситуацией в области прав человека в стране и помощь политическим беженцам из репрессивных режимов – были признаны наиболее важными.

Последним, далеко отстающим по интересу, был самый непопулярный вопрос: отмена смертной казни. Кампаний в странах, не отменяющих смертную казнь, таких как США, где она пользуется сильной поддержкой, избегают, чтобы не оттолкнуть приверженцев. Рекламные материалы должны быть более яркими (эмоциональные описания последних часов приговоренных к смертной казни, графические подробности воздействия электрошока на организм) и более «интеллектуальными», предвосхищая и опровергая распространенные мнения. Кампания против смертной казни в отношении другой страны (например, Саудовской Аравии) проще, чем всеобщий запрет, распространяющийся на вашу собственную страну. По другим вопросам все наоборот. Кампании в поддержку коренных народов имеют больше смысла в Канаде и США, где эта проблема актуальна для коренных американцев.

Масштаб зверств в современном мире, таких как геноцид в Руанде, например, очевидно, превосходит любые различия в странах и проблемах. Но различия в фактической или предполагаемой тяжести менее важны на нижних уровнях шкалы. В одном исследовании, проведенном вопреки ожиданиям здравого смысла, американским и австралийским студентам бакалавриата был представлен список из трех сценариев, каждый с двумя вариантами, изображающих различные нарушения прав человека. Использовались воображаемые названия стран, но описания основывались на событиях, которые действительно произошли (таких как Холокост, Уганда в 1976–1978 годах или Аргентина в 1970-х годах). Варьируемые различия заключались в (1) типе нарушения прав человека, (2) количестве жертв и (3) категории жертв (этнические, религиозные, расовые или политические группы, или пол). Респондентам было предложено оценить тяжесть случаев по шкале от «самого ужасающего» до «наименее ужасающего». Яркий сценарий пыток до смерти «десятков» политических оппонентов каждую неделю, как правило, оценивается большинством респондентов как более жестокий, чем массовый расстрел «тысяч» представителей религиозных меньшинств. Само количество смертей казалось менее важным и вызывало не большее сочувствие, чем смерть гораздо меньшего числа людей от более кровавых методов. (Не имело

большого значения, были ли жертвы «невиновными» или политическими диссидентами, идущими на продуманный риск)<sup>9</sup>.

### *Интеллектуальное отрицание*

Импликативное отрицание состоит из аргументов, причин или обоснований отсутствия сочувственной реакции на тревожную информацию. В частности, для обращений по правам человека может потребоваться письменный текст, в котором будут сжато изложены аргументы, которые предвосхищают и затем пытаются противодействовать стандартным формам интеллектуального отрицания. Это могут быть сложные аргументы. В отличие от причин, связанных со здоровьем или окружающей средой, здесь не может быть апелляции к личным интересам. В отличие от помощи голодающим или стихийных бедствий, здесь не существует простого гуманитарного призыва или какого-либо очевидного символического эквивалента голодающего ребенка. Необходимо тщательно объяснить природу и контекст страданий. Мнения, ценности, убеждения и политические идеологии имеют более важное значение. Основные принципы универсальных прав и международных правовых стандартов вовсе не являются самоочевидными. Все это оставляет «серые зоны», о которых рекламное агентство AmV сообщило в ходе своего исследования рынка: «Жестокость по отношению к детям, бедность, смерть людей от рака или рассеянного склероза не могут быть оспорены». Свобода выбора для сторонника коммунистов выступать против правительства своей страны или святость жизни массового убийцы, приговоренного к смертной казни, требуют большего размышления, чтобы люди могли с этим согласиться».

Обращения пытаются противодействовать как *официальному отрицанию*, так и *пассивности свидетелей*.

---

<sup>9</sup> Barbara Harff, «Empathy for Victims of Massive Human Rights Violations and Support for Government Intervention: A Comparative Study of American and Australian Attitudes», *Political Psychology*, 8/1 (1987), 1–20.

## Противодействие официальному отрицанию

Обоснования быстро распространяются на мировом рынке. Призывы должны касаться публичных версий практически всех официальных опровержений, перечисленных в главе 4.

*Беспартийность*: мы нейтральны и аполитичны; мы не принимаем чью-либо сторону в конфликте и не предпочитаем какое-либо конкретное политическое решение. *Насилие с противоположной стороны*: мы осуждаем насилие и нарушения (пытки, захват заложников, убийства заключенных или подозреваемых в пособничестве), совершаемые вооруженными оппозиционными группами (освободительными или националистическими движениями, террористами, партизанами и т. д.). *Смертная казнь*: в длинных текстах должны быть изложены стандартные аргументы аболиционистов: нет, смертная казнь не является сдерживающим фактором; да, временами казнят невиновных людей и т. д. Информация должна выходить за рамки общепринятых рамок: «За исключением Ирана и Ирака, в США за последнее десятилетие казнено больше несовершеннолетних правонарушителей, чем в любой другой стране». Выбраны привлекательные случаи: семнадцатилетний умственно отсталый чернокожий преступник. Вопрос прав человека (нарушение права на жизнь) требует аргументации и драматических образов: «Если подвешивание женщины за руки до тех пор, пока она не почувствует мучительную боль, справедливо осуждается как пытка, как можно описать подвешивание ее за шею до смерти?». *Лицемерие и внешняя политика*: еще одним неоднозначным аргументом является связь между внешней политикой Запада и нарушениями прав человека в целевой стране. Это означает решение таких вопросов, как продажа оружия, торговая политика, альянсы, геополитические интересы и т. д. Все обращения строятся вокруг обвинений в двойных стандартах и лицемерии («права человека», используемые для нападения на врагов, игнорируются при защите союзников). *Новый мировой порядок*: почему, несмотря на окончание холодной войны и крах пресловутых диктатур, более мягкий мировой порядок не материализовался. Текст должен передать некоторое представление о хаотических силах националистического конфликта, этнической напряженности, религиозной нетерпимости, распада правительств, апатии, беспомощности, растерян-

ности в отношении международного вмешательства – и, следовательно, о еще большей необходимости откликнуться на этот призыв.

Эти и другие аргументы (наша организация независима и не получает государственных средств; наши исследования точны; мы не ранжируем и не сравниваем правительства; мы не выделяем конкретные правительства) являются частью стандартного репертуара ответных реакций на ожидаемые возражения. Они перечислены в разделе «Часто задаваемые вопросы» в «Справочнике по Amnesty». Агентства по оказанию помощи разрабатывают рекомендации по противодействию популярным методам отрицания. В организации «Спасите детей» есть список «мифов о голоде», таких как «Голод вызван перенаселением», «Вы ничего не можете сделать, чтобы избежать голод. Он неизбежен», «Нет смысла давать деньги, потому что ничего не делается для устранения фундаментальных причин»<sup>10</sup>.

### Противодействие пассивности свидетеля

Обращение должно вовлечь аудиторию в единое моральное сообщество («инклюзивность»), имеющее хотя бы некоторые общие ценности и обязательства. Даже в отношении пыток, геноцида и других варварских злодеяний это не всегда можно считать само собой разумеющимся. Еще труднее (и в каком-то смысле совершенно неразумно) требовать беспокойства по поводу административных задержаний, политических приговоров, прав женщин, смертной казни, цензуры, происходящих в далеких местах. Несколько строк газетного текста вряд ли смогут убедить людей расширить границы своей моральной ответственности.

Призыв «сделать что-нибудь» с «удаленными» и «большими» проблемами визуально представленного страдания достаточно проблематичен с точки зрения его эффективности, но тем более труден, если он основан на абстрактных универсальных ценностях. Я понимаю, почему правда, справедливость и ответственность должны быть важны для меня в моем обществе, но почему я должен заботиться о них в Заире или Перу? Использование логических

---

<sup>10</sup> Famine Myths: Setting the Record Straight (London: Save the Children, first pub. 1991).

рассуждений и веских доказательств для того, чтобы убедить людей изменить свои твердые позиции, не является гарантией изменения отношения. Исследования не очень-то утешают тех, кто верит в силу рационального аргумента. Противостоящие группы сторонников той или иной точек зрения склонны реагировать на одни и те же неоднозначные и неубедительные доказательства, увеличивая силу и поляризацию своих первоначальных убеждений.

Например, сторонникам и противникам смертной казни был показан один и тот же набор смешанных доказательств и аргументов; каждая группа вышла со своими традиционными взглядами не только нетронутыми, но и укрепившимися<sup>11</sup>. В ходе исследования «враждебного эффекта СМИ» двум группам респондентов, одной израильской, другой проарабской, были показаны идентичные телевизионные репортажи о резне палестинцев в 1982 году в лагерях ливанских беженцев Сабра-Шатилла союзниками Израиля – фалангистами<sup>12</sup>. Каждая группа была убеждена, что средства массовой информации отдавали предпочтение другой стороне, а с их стороны обращались несправедливо, и что эти различия отражали интересы и идеологию средств массовой информации. Они совершенно разошлись не только в интерпретации, но и в восприятии фактов увиденного.

Люди придерживаются своих явно предвзятых убеждений, несмотря на доказательства и аргументы, которые рационально должны их ослабить или даже обратить вспять. Чем больше люди привержены определенному мнению или действию, тем больше они сопротивляются информации, которая угрожает их обязательствам. При определенных условиях, конечно, мнения меняются, идеологические преобразования происходят. Следует ли вам представить аргументы в их самой радикальной форме или смягчить послание, представив его так, чтобы оно не слишком отличалось от собственной позиции аудитории? Когда коммуникатор пользуется высоким

---

<sup>11</sup> R. Lord et al., «Biased Assimilation and Attitude Polarization: The Effect of Prior Theories on Subsequently Considered Evidence», *Journal of Personality and Social Psychology*, 37 (1979), 2098-109.

<sup>12</sup> R. P. Vallone et al., «The Hostile Media Phenomenon: Biased Perception and Perceptions of Media Bias in Coverage of the Beirut Massacre», *Journal of Personality and Social Psychology*, 49 (1985), 577-85.

доверием, большее несоответствие будет более убедительным; когда достоверность источника сомнительна, лучше работают умеренные расхождения. Является ли двустороннее общение – перечисление аргументов оппонентов, а затем попытка их опровергнуть – более эффективным, чем одностороннее общение, игнорирующее аргументы оппонентов? Чем более информирована аудитория, тем меньше вероятность, что ее удастся убедить односторонними аргументами. Таким образом, призывы, касающиеся вашего собственного общества, нуждаются в двустороннем общении больше, чем апелляции к примерам внешних стран.

### *Эмоциональное отрицание*

Если, по словам Артура Миллера, информация о правах человека – это обычная атака на «отрицание», то каков эмоциональный стимул, стоящий за таким нападением? Если ни сама информация, ни связанные с ней интеллектуальные аргументы не убедительны, какие эмоции следует вызывать?

Информация должна быть достаточно весомой, чтобы говорить сама за себя: это настолько возмутительно, что вы не можете оставаться равнодушным. Но эта эмоциональная цепочка выстраивается нелегко. Призывы, подобные призыву Amnesty, носят явно «психоаналитический» характер. Они предвидят защитные механизмы и осознают глубокие и понятные причины отрицания в смысле либо блокирования информации, либо последующего молчания. Аудиторию надо успокоить: да, мы знаем об этих причинах; да, ваши ответы вполне нормальны; необходимо мощное эмоциональное усилие, чтобы преодолеть барьеры отрицания. Призывы в той форме, в которой они обычно формулируются, не могут предполагать, что информация говорит сама за себя. Они продолжают повторять: «вы, должно быть, устали от одних и тех же старых вещей», «вы все видели эти изображения раньше», «вы, должно быть, хотите отвести взгляд», – но мы вынуждены продолжать говорить вам ужасную правду. Есть три эмоциональных созвездия: гнев, вина и сочувствие.



## Гнев, ярость, возмущение

Гнев, который испытывают создатели сообщения, должен быть эмоцией, которую вы явно разделяете, чувством настолько сильным, что вы почувствуете необходимость что-то сделать. «Возмущение в действии» было фирменной стратегией Amnesty Britain. Одна листовка озаглавлена: «Угнетение – это запертая дверь, ваше возмущение – ключ»; отчет 1991 года на тему «Что делает Amnesty International» имел подзаголовок «Тридцать лет возмущения». Но действительно ли эта информация вызывает гнев? И гнев по поводу чего: что такое случилось? Что людям это сходит с рук? Что правительства вступают в сговор, а простые люди молчат?

Мы не можем рассчитывать на прямую связь между гневом и желаемой реакцией альтруистического действия. Действительно, гнев может быть направлен на организацию, которая бомбардирует вас материалами, которая только и заставляет вас чувствовать себя несчастными и виноватыми.

## Чувства вины, ответственности, стыда

В обращениях по вопросам прав человека фигурируют три разновидности вины. Во-первых, это смутное ощущение, что информация и визуальные образы вызывают у вас «плохое самочувствие». Это чувство вызвано неявным контрастом между вашей легкой, комфортной жизнью и ужасами вокруг. Некоторые агентства по оказанию помощи открыто и регулярно манипулируют этим контрастом: «Пока вы завтракаете, десять детей в Сомали умирают от голода». Даже если контраст не выражен явно, изображения зверств вызывают зачаточное чувство дискомфорта и беспокойства, близкое к вине.

Во-вторых, это четко выраженное чувство вины за то, что вы продолжаете жить так, как будто вы не знаете того, что с очевидностью знаете. В тексте письма Amnesty из серии «Holiday Snaps» утверждается: «Я действительно не хочу, чтобы такие мысли испортили ваше представление об отпуске». Но именно для этого и предназначен подтекст. Вы *должны* чувствовать вину, если не измените свое поведение. Иначе как можно поехать в Турцию?

В-третьих, это принципиальное моральное обращение к совести и чувству ответственности. Вам предлагается присоединиться к сети, которую AmU называет «Партнеры совести». На карту поставлено ваше чувство долга и внутренние моральные императивы. Вас просят сделать моральное заявление о том, где вы находитесь, какой вы человек. *«Мы – вы и я – должны выяснить, что случилось с теми, кто «исчез», и освободить этих узников совести и тысячи подобных им по всему миру, а также заставить прекратить пытки и казни»*. Сделать что-то меньшее означало бы подвести себя, изменить своим внутренним убеждениям и, следовательно, почувствовать себя виноватым.

Слабым звеном в цепи, призванной вызвать чувство вины, является вменение личной ответственности. С точки зрения *первопричины* или *непосредственной причины*, можете ли вы быть виновными в том, что в Бразилии убивают беспризорных детей? На вас могут возложить личную ответственность за вмешательство, даже если вы не причиняли страдания. Но если у вас нет текущей причинной роли, у вас все равно есть моральная ответственность. Эти два последних чувства часто путают. Призыв Нимёллера может означать, что к тому времени, когда он выступил, было уже слишком поздно; если ты сейчас не заговоришь, ты будешь нести ответственность за продолжающиеся ужасы. Это не совсем то же самое, что сказать, что присоединение к Amnesty «морально необходимо для каждого, кто тронут словами Мартина Нимёллера ... и признает то, что они говорят о личной ответственности».

Большинство участников студенческих групп сообщают, что реклама действительно вызывала у них чувство вины и угрозы из-за того, что они ничего не делали. Поэтому они просто пропустили эту часть текста. Зачем им продолжать читать о том, что, как они уже знают, является правдой? Их возмущает утверждение об их собственной вине. Один из участников сообщает, что сначала он почувствовал сострадание, прочитав текст листовки, а затем почувствовал раздражение, «потому что вам почти сказали, что если вы ничего не делаете, уходите... Это ваша вина, что так произошло». Тогда гнев направляется на Amnesty, а не на источник страданий.

Политическое клише о том, что молчание делает вас «сообщником», сомнительно и подразумевает, что вы так же морально виновны, как и преступники. Письмо AmU, в котором представлены

лица пятнадцати жертв пыток по всему миру, несомненно, преувеличивает моральную симметрию между свидетелем и преступником: *«Так что взглянитесь еще раз в лица на этих страницах. И при этом помните следующее: знать об их страданиях и ничего не делать для их прекращения – это преступление, которое отличается только по степени, а не по сути, от неправды самого мучителя».*

Во многих обращениях тема «чувства вины» конкретизируется. Вы можете преодолеть эмоциональное отрицание, потому что «вам следует заботиться, вы заботливый человек, у вас есть понимание того, что справедливо, а что несправедливо» и «мы знаем, что у вас есть эмоциональная потребность показать, что вам не все равно». Это не вменяет вину на всю жизнь (детей убивают, пока вы едите круассан), которую можно лишь немного облегчить, заполнив членский купон. Посыл скорее такой: чувство вины придет только в том случае, если вы не заполните купон. Мы обращаемся к вашей эмоциональной потребности что-то сделать для прекращения жестокости и страдания.

Апелляция к стыду используется гораздо реже. Стыд – это скорее социальная эмоция, чем чувство вины: он апеллирует к чувству общности и моральной взаимозависимости, а не к личной ответственности. Стыдиться – это тоже постыдное состояние; вы не можете гордиться тем, что вам стыдно. Просить либеральную западную аудиторию почувствовать вину за беспризорных детей в Боготе, убитых «эскадронами смерти», не имеет смысла. Более интеллектуально убедительная, морально выполнимая и более простая задача – попросить их почувствовать стыд – за пассивное принятие мира, в котором происходят такие вещи. Как писал Маркс, «стыд – это революционная эмоция».

Однако, будь то вина или стыд, существует особый смысл: чем больше вы усваиваете всю эту тревожную информацию, тем более ответственным и «плохим» вы себя чувствуете из-за того, что ничего не делаете, и тем меньше у вас мотивации получать больше информации, то есть тем больше вероятность, что вы отключитесь и замкнетесь. Джейн, одна из студенток, увидела впереди растущую спираль вины: «Мы все чувствуем себя некомфортно, читая это. И поэтому, если мы отправим больше денег, нам придется читать больше, чувствовать себя более виноватыми и проходить через все

это снова и снова ... пятнадцать фунтов не избавят вас от чувства вины, когда вы в следующий раз прочтете это».

### Симпатия, сопереживание, идентификация

Эмоциональное созвездие симпатии, сопереживания и идентификации занимает центральное место во всех дискуссиях об эффекте наблюдателя и альтруизме. Проще говоря, *сочувствие* означает чувство жалости к жертвам; *сопереживание* означает ощущение того, какими должны быть для них их страдания; *идентификация* означает представление себя на их месте. Каждое эмоциональное состояние предполагает видение «другого» как части вашей общей моральной вселенной.

Все гуманитарные послания основаны на пробуждении этих чувств. Что непросто. Географическая и социальная дистанция, стереотипы в СМИ, недостаток знаний и сам масштаб многих ужасов создают ощущение, что эти события принадлежат другому миру. Могу ли я представить, что бы я почувствовал, если бы однажды днем к моему дому подъехала машина, двое мужчин вошли в дом, и моя дочь «исчезла» бы вместе с ними в пустоте? Две одинаково трудные стратегии пытаются преодолеть такие препятствия: во-первых, моралистический призыв расширить границы вашей вселенной ответственности; во-вторых, личный призыв идентифицировать себя с конкретными жертвами.

Морализаторский призыв обращен к вашей принадлежности к глобальному сообществу, не ограниченному рамками национальности, этнической принадлежности, религии или политики. Пассивность в Германии тридцатых годов по той причине, что вы не были коммунистом или евреем, становится тем же, что и отказ от помощи сегодня, потому что вы не тутси в Руанде или курд в Ираке. В более сентиментальном плане призыв заключается в «надежде и любви, которыми нуждающиеся люди делятся с равнодушными людьми. Мы и есть эти люди, а они – это мы». Позабывшим о своем членстве напоминают: «Когда вы впервые откликнулись на призыв и стали членом *Amnesty International*, вы ясно осознали неразрывную связь между вами и теми людьми, которые страдают от безжалостного угнетения, физических пыток или политического

*насилия. Вы знали, что когда нарушаются права человека одного человека, страдает и ваше человеческое достоинство».*

Более личный призыв к идентификации с отдельными конкретными жертвами выглядит по-иному. В одном сообщении AmU о пытках приведены пятнадцать фотографий жертв, названных по именам. Затем: *«Оглянитесь вокруг. Лица на этих страницах – жертвы пыток, тюремного заключения или «исчезновения». И несмотря на то, что у них разные имена и они родом из далеких стран, они такие же люди из плоти и крови, как и мы с вами. У них есть семьи. У них есть дети. Они чувствуют боль. И они страдают».*

Жертвы изображены как обычные люди. Обращение также пытается нормализовать то, как происходят нарушения: возможно, этого не может случиться с вами, но это может случиться с такими людьми, как вы, и по причинам, которые вы вполне можете себе представить. Рассылка AmB о расизме в Европе пытается отвлечь читателя от привычных идентификаций к более невероятным: большинство из вас сталкивались с той или иной формой дискриминации (даже по акценту или внешнему виду); у вас разные этнические, религиозные и сексуальные идентичности. Многие из вас знают, что значит быть другим. *«Но можете ли вы представить свои первые мысли каждое утро, когда вы просыпаетесь и задаетесь вопросом, будете ли вы и ваша семья еще живы в конце дня?».* На этом этапе вас просят представить себя боснийским мусульманином или этническим албанцем.

Обращения к определенной аудитории могут быть более целенаправленными: женщинам (представьте себя потенциальной жертвой изнасилования) или журналистам (представьте, что вас арестовали за написание статьи). На лицевой стороне листовки «Молодежные действия» написано: *«Вас посадили бы в тюрьму, если бы вы пожаловались на свою школу?».* В тексте рассказывается о девушке в Албании, арестованной за создание «Общества свободы» в знак протеста против решения отменить уроки албанского языка. Далее следует случай с двенадцатилетним иракским мальчиком: *«Будете ли вы подвергаться пыткам из-за взглядов ваших родителей? Али был».* В конкурсе рассказов подросткам предлагалось *«попытаться выразить словами, каково было бы, если бы у вас отняли свободу, заключили в тюрьму за ваши убеждения... Представьте себя узником совести: одиночество, страх и страдания*

*от заключения в тюрьму, хотя вы не совершили ни одного преступления».*

Мы очень мало знаем о влиянии таких обращений. Гипотетические сценарии злодеяний могут вызвать сочувствие к жертвам, поддержку вмешательства и готовность пойти на личные жертвы для защиты прав других людей<sup>13</sup>. Тревога и сочувствие коррелировали с силой средств, которые они одобрили. Но изображения, призванные вызвать сочувствие, могут показаться слишком удручающими и отпугивать доноров. В одном исследовании было достаточно простого логотипа названия благотворительной организации; ситуативное давление (имидж, социальное давление) действовало независимо от того, было ли фото или сообщение, выражающее эмпатию<sup>14</sup>.

Вызвать сочувствие – сложная задача. Обращения, *ориентированные на жертву*, подчеркивающие неотложные личные потребности жертв, отличаются от обращений, *ориентированных на цель*, которые подчеркивают ответственность человека, которого просят о помощи. Обращения потерпевших приносят больше пользы, но только если потребность кажется реальной. *Альтруизм, вызываемый эмпатией*, и желание отстаивать *моральный принцип справедливости* – это независимые социальные мотивы, которые могут совпадать, но иногда и конфликтовать. В одном из исследований участники, которых не побуждали испытывать сочувствие, действовали в большей степени в соответствии с принципом справедливости; те, кто был вынужден испытывать сочувствие, с большей вероятностью нарушали этот принцип и поступали несправедливо. Предпочитая помочь человеку, которому соперничали, они осознавали свою несправедливость<sup>15</sup>. Нам вряд ли требуются социальные психологи, чтобы сказать, что люди или дела, по поводу которых мы испытываем особую эмоциональную озабоченность, часто не являются теми, кто или что больше всего в

---

<sup>13</sup> Harff, «Empathy for Victims».

<sup>14</sup> Bill Thornton et al., «Influence of a Photograph on a Charitable Appeal», Journal of Applied Social Psychology, 21 (1991), 433–45.

<sup>15</sup> C. Daniel Batson et al., «Immorality from Empathy-Induced Altruism: When Compassion and Justice Conflict», Journal of Personality and Social Psychology, 68 (1995), 1042–54.

них нуждается. Но нам нужно напомнить о близорукости альтруизма, вызванного эмпатией, случайном сострадании, возникающем в результате того, что одна страна более фотогенична, чем другая.

Точно так же, как не существует убедительных интеллектуальных аргументов, так и нет эмоциональной смеси – столько гнева, столько вины, столько сочувствия – которая гарантированно вызовет желаемую реакцию. Исследования альтруизма показывают, что доминирующая причина, по которой люди помогают себе почувствовать, что они просто «должны» что-то сделать, слишком неуловима, чтобы ее можно было свести к таким формулам. Ответ одного из членов Amnesty достаточно типичен: «Допустим, вы получили письмо, в котором говорится о правах человека. Я интуитивно чувствую, что именно мне нужно делать».

### *Действие, расширение возможностей и изменение ситуации*

Не только эффект, производимый обращением, но и предвительно существующие интуитивные «интуитивные чувства» могут способствовать ответу на него. Сложные эмоции, такие как вина и сочувствие, могут быть столь же эффективными, как и сложные интеллектуальные аргументы. Большая часть пассивности возникает не из-за отсутствия правильных чувств, а из-за понимания того, что обычный человек, такой как я, ничего не может поделать со столь чудовищной проблемой.

Успешность призывов зависит от вдохновляющей уверенности в том, что вы действительно можете сделать что-то простое, чтобы помочь – отсюда успех программы «Пропусти обед, спаси жизнь». В одном исследовании сравнивались различные почтовые кампании Красного Креста по сбору денег для жертв голода, вызванного войной в Судане<sup>16</sup>. Эмпатия, вызванная «когнитивным взглядом на перспективу» (вы можете представить себя в той же ситуации, что и нуждающийся человек), привела к более низкому уровню отклика, чем «воспринимаемая эффективность помощи», вызванная восприятием потребности как заслуживающей и поддающейся краткосрочной помощи... (Однако тот факт, что общая

---

<sup>16</sup> Peter E. Warren and Iain Walker, «Empathy, Effectiveness and Donations to Charity», British Journal of Social Psychology, 30 (1991), 325–37.

сумма пожертвований от 2648 респондентов составила всего 390 долларов, не считая даже почтовых расходов, не слишком убедительно говорит об общем успехе обращения).

Но фраза типа «Пропусти обед, спаси жизнь» вряд ли применима к миру зверств. Как продемонстрировать цепочку расширения возможностей? Как отмечает Чарни, психологический принцип, согласно которому направление людей на действия в соответствии с информацией приводит к лучшему усвоению знаний, чем пассивное восприятие, становится еще более актуальным, когда сама информация является напоминанием о бессилии аудитории<sup>17</sup>.

В цепочке расширения возможностей есть три звена: (1) *Что-то можно сделать*; (2) *Мы можем это сделать*; (3) *Вы можете изменить ситуацию* – вот что вы можете для этого сделать.

Следующие примеры из деятельности AmU показывают первый и третий этапы:

*«оружие, выкованное не из закаленной стали, а из совести обычных мужчин и женщин, таких как вы, в виде писем, открыток и внимательного непреклонного взгляда, который не оставляет репрессивному правительству места, где можно спрятаться...»*

*«поистине необычайная сила, которой обладают обычные люди, когда они вместе выполняют миссию совести, используя яркий свет истины и мирового мнения в качестве своего единственного оружия. Могучий голос справедливости, перед которым неоднократно уступали даже самые безжалостные тираны, не желавшие нести ущерб своему имиджу и ощущавшие угрозу своим международным интересам».*

Смысл послания таков: «Присоединяясь к Amnesty International и осуждая жестокое обращение с такими людьми, вы можете помочь разоблачить коррумпированное правительство, тайную полицию, мучителей и убийц». Вы присоединяетесь, осуждаете, помогаете разоблачать, демонстрируете свою приверженность – но что делает организация? «Ваше письмо может спасти жизни», но как? Этот недостающий второй этап должен проявиться

---

<sup>17</sup> Charny, «Innovating Communications Initiatives», 21.



на двух уровнях: *малой силы* (как помогают отдельным людям) и *глобальной силы* (общие достижения организации).

### Малая сила

Иконография первоначального призыва Amnesty – освободить отдельного узника совести – остается сильной формой расширения возможностей. В одной из листовок задается вопрос: «Каков наилучший способ освободить невинную жертву жестокой несправедливости?». Предлагаемый метод описан с драматизмом и эмоциональным накалом. «Ежедневное обозрение (Daily monitors)» снабжает из разных точек мира Amnesty International информацией о тяжелом положении конкретной жертвы несправедливости; факты проверяются опытными исследователями в сложном нервном центре организации. Подразделение Urgent Action Network получает «тревожный звонок» и начинает действовать в течение двадцати четырех часов после ареста человека; тысячи писем, факсов, открыток отправляются со всего мира. Результат: многие из тысяч заключенных, освобожденных по амнистии каждый год, не были бы освобождены, если бы не (организация и) вы: *«Помните и дорожите этим достижением, когда слышите, как циники говорят, что отдельный человек не может изменить ситуацию в этом мире. Ты можешь. Ты уже это сделал!»*.

«Изменить ситуацию» относится к двум утверждениям. Один сентиментальный – заключенный в темной камере ждет вашей помощи; она знает, что вы где-то рядом, она не одна, тогда как другая обещает конкретные результаты: «Ваше письмо может спасти жизни».

### Глобальная сила

Может ли организация помимо помощи одному заключенному добиться долгосрочных изменений в конкретной стране или по конкретному вопросу? Каков общий опыт организации в области защиты прав человека? Эти достижения важны, но не настолько наглядны, чтобы контрастировать с довольно мрачной картиной, которую организация представила (и информированная общественность знает) о состоянии прав человека. Невысказанным посланием

может быть только следующее: «Без нас все могло бы быть намного хуже: поэтому мы должны помочь». Парадокс в том, что организации нужно вызвать беспокойство, заявив, что проблема глубока и неразрешима («дела идут хуже»), и одновременно заручиться поддержкой, заявив, что их работа привела к некоторому улучшению («мы сделали ситуацию лучше»).

Признание *«Мы знаем, что Amnesty работает, но ее работа еще не окончена»* разрешает парадокс. Но текстовый баланс сложен: «Если ничего не улучшается, зачем давать? Если все лучше, то и не надо. Где-то посередине нужно ощущение, что есть основания для надежды, но еще есть над чем работать»<sup>18</sup>.

### *Вливаясь в ряды*

Однако большинству активистов – в отличие от необращенных – возможно, не нужны какие-либо утилитарные полномочия, чтобы поддерживать их мотивацию. Их меньше интересуют последствия, цели, успехи или результаты – достаточно знать, что они действуют в соответствии с тем, кем они являются. Расширение прав и возможностей человека путем подчеркивания совокупного, кумулятивного эффекта всех его крошечных вкладов может рассматриваться как потворство нежелательной привязанности к результатам: «Если они не могут получить нарциссическое удовлетворение от участия в успехе, они не желают участвовать в борьбе»<sup>19</sup>.

Представление об альтруизме как таковом привлекает многих обычных людей, у которых нет времени, ресурсов или возможностей быть преданными активистами. Член Amnesty пишет о том, почему она вмешалась: «Для меня правозащитная работа – это не вопрос «эффективна ли она?», а скорее «могу ли я жить по-другому?». Письмо о возобновлении членства людям, покинувшим организацию, напоминает им, что следует вспомнить причины, по которым они присоединились: «Что бы это ни было, вы внезапно поняли, что не можете сидеть сложа руки и просто наблюдать».

---

<sup>18</sup> Неназванный член Amnesty, цитируется в «Findings from Focus Groups», 26.

<sup>19</sup> Petruska Clarkson, *The Bystander (An End to Innocence in Human Relationships?)* (London: Whurr Publications, 1996), 74.

Это глубоко укорененное чувство невозможности жить по-другому не следует путать с другим психологическим призывом: «принимать участие» как способ удовлетворения вашей потребности в личном удовлетворении, самореализации, смысле, самооценке, целостности, росте или чем-то подобном. Это в гораздо большей степени, чем утилитарный успех, и есть «нарциссическое удовлетворение», о котором следует предупреждать. Призыв облегчить страдания других людей, чтобы стать эмоционально «целостным» и раскрыть свою истинную сущность, отталкивает. «Зачем работать волонтером в Канадском центре для жертв пыток?» – спрашивает листовка Центра. Последние два из пяти ответов относятся к поддержке вновь прибывших в их переходе от «беженца к канадцу». Но вот первые три: «Получайте личное удовлетворение, помогая вновь прибывшим адаптироваться к жизни в Канаде... Получите личностный рост в мультикультурной осведомленности и опыте... Заведите новые и прочные дружеские отношения».

Участие – это вопрос честности, добросовестности и умения посмотреть на себя в зеркало. Если бы их мотивировали только результаты, большинство правозащитников давно бы сдались. И если их мотивирует только стремление к самореализации, они в конце концов сдаются.

Но хотя в исходном отчете случаи приводятся для иллюстрации более широкой истории, более краткий формат требует от них нести бремя фактического изложения более широкой истории. Соблазн состоит в том, чтобы использовать драматические, яркие или сенсационные случаи, а не репрезентативные. Трагические рассказы отдельных жертв могут затмить сложности и отвлечь от политических проблем. Если у организации уже есть заслуживающая доверия репутация, если она известна и общественность имеет некоторое представление о том, чем она занимается, то в подробной информации нет необходимости. Печальных же случаев и историй успеха достаточно.

## Раскапывая Могилы, Вскрывая Раны

### Признание Прошлого

Глава 10 вернет нас к вопросу о том, как признаются образы и вызывают реакцию призывы обратить внимание на нынешние страдания. Но перед этим я совершу путешествие назад во времени, чтобы рассмотреть формы признания прошлых злодеяний.

Для сообщества, как и для индивида, «примириться с прошлым» означает узнать (и признать, что знает) именно то, что произошло. Преодоление подавления – сознательного сокрытия или постепенного соскальзывания – должно быть травматичным (вскрывая могилы и раны), прежде чем оно станет освобождающим. Публичный и политический дискурс о признании (как и об отрицании) во многом опирается на метафоры из личной жизни. Практически все цели комиссий по установлению истины – преодоление отрицания, признание правды и примирение с прошлым – могут быть выражены как на психологическом, так и на политическом языке. В немецком языке фрейдистское происхождение и значение этих политических концепций совершенно ясны. Термины *Aufarbeitung der Vergangenheit* и *Vergangenheitsbewältigung* означают что-то вроде «проработки», «примирения», «учета» или «преодоления» прошлого. Они также имеют оттенок терапии и катарсиса. Термины *Bewältigung* и *Aufarbeitung der Vergangenheit* относились в Западной Германии к нацистскому прошлому. Вскоре после 1989 года их также стали использовать для описания (гораздо более

строного) полицейского контроля в коммунистическом прошлом Восточной Германии.

Состоится ли признание и какие формы оно примет, зависит от характера предыдущего режима, его остаточной власти, того, как произошел переход, и характера нового общества. У нового правительства могут быть собственные причины скрывать прошлое и поощрять культурную амнезию; или, наоборот, оно может быть сильно заинтересовано в том, чтобы порвать с прошлым и воспользоваться некоторыми преимуществами раскрытия правды как способа повышения своей легитимности. В некоторых случаях события легко восстановить, поскольку они были тщательно записаны в то время. В других случаях, даже при наличии решительной политической воли, прошлые события невозможно восстановить, поскольку их следы в свое время были стерты. Иногда предыдущий режим знал, что его правление лишь временно и что позже вся представляемая им информация будет проверена. В других, слишком хорошо известных эпизодах, сильные мира сего – Сталин, Мао или Пол Пот – никогда не предполагали, что наступит «потом», когда их действия можно будет оценивать с точки зрения, отличной от их собственной.

В истории нет случаев тотальной смены режима, полного замещения каждого элемента власти и влияния. Поэтому поиск знаний всегда подвергается риску из-за того факта, что многие влиятельные люди в переходном или новом руководстве были замешаны в прошлых злодеяниях или (что чаще) были в сговоре с ними, объясняющем их молчание. Разоблачения могут оказаться политически невыгодными для тех, кому есть что скрывать, и прошлое слишком опасно, чтобы признавать его сегодня.

Опираясь на долгие дискуссии о нацистском прошлом, дискурс уже давно перешел к метавопросам репрезентации: не что стало известно, а в какой форме знать, помнить и изображать; какие создавать романы, стихи и фильмы; как создавать мемориалы, слагать устные истории, преподносить свидетельства и снимать документальные фильмы. Борьба с отрицанием сама по себе может быть забыта, если рассматривать только те символические случаи, которые запечатлены в западном сознании. В мире есть места, где прошлое не только кажется окончательно ушедшим или не поддающимся восстановлению, но и где настоящее немедленно провали-

ваются в черную дыру. Кто помнит политические массовые убийства в Либерии? Даже международные проекты по раскрытию прошлых злодеяний оставляют некоторые случаи забытыми. В 1994 году группа аргентинских судебно-медицинских экспертов прибыла в Эфиопию, чтобы эксгумировать захоронения массовых жертв бывшего коммунистического режима Менгисту, который был свергнут в мае 1991 года. За семнадцатилетнюю диктатуру было казнено около 50 000 человек, но ни первоначальные злодеяния, ни их раскрытие не привлекли никакого внимания.

Существуют также препятствия со стороны сил старого режима, которые остаются близкими к действующей власти. Это становится очевидным, когда перемены не драматичны, неожиданны или революционны, а являются результатом медленного размораживания: новый политический климат, диссиденты освобождены из тюрем, цензура СМИ ослаблена, архивы открыты. Это соответствует медленному ослаблению, а затем внезапному окончательному краху государственных коммунистических режимов. В бывшем Советском Союзе ужасное наследие прошлого почти не исследовалось или исследовалось неторопливо и неохотно. Имели место признания официальной лжи об отдельных инцидентах (таких как Катынская резня), но не было никаких общегосударственных расследований или разоблачений. Ни одна политическая сила не имеет никакого интереса. Прошло много времени с момента самых ужасных событий, и текущие проблемы стали куда более актуальными.

В Восточной Германии, бывших Чехословакии и Румынии знания первоначально были больше связаны с требованиями индивидуального наказания или очистительной политикой люстрации. Раскрытие правды приняло драматическую форму «открытия досье». В Восточной Германии в начале 1990 года разгневанные толпы штурмовали штаб-квартиру Штази (бывшей коммунистической тайной полиции). Дела были конфискованы, раскрыты и преданы гласности; бывший офис Министерства безопасности был открыт как «Музей Штази». Закон от января 1992 года предоставил всем гражданам доступ к досье. Продолжались контролируемые разоблачения в отношении одного из самых надзираемых обществ за всю историю: около 100 000 штатных агентов; около 300 000 неофициальных информаторов; предательство со стороны друзей,

коллег, близких родственников (жены и мужа шпионят друг за другом); миллионы отдельных досье.

Большинство случаев в Латинской Америке, когда военные хунты сменялись гражданским правлением, приводили к более организованному, показательному поиску знаний. Начинались официальные и получившие широкую огласку расследования, получившие такие названия, как «Комиссия истины». У каждого из них своя увлекательная история:

- В Бразилии реализовывался чрезвычайный негласный проект, который в течение пяти лет держался в полной тайне и был направлен на документирование каждого отдельного нарушения военного режима в период с 1964 по 1979 год<sup>1</sup>. Этот проект был осуществлен группой добровольцев под руководством церковных организаций и завершился публикация «Бразилия: Nunca Mäs (Никогда больше)» в 1985 году. Вся информация была получена из официальных отчетов самого режима, дословных стенограмм военных процессов, которые никогда не предназначались для донесения до общественности.
- Огромное количество документов – истории 17 000 жертв, подробности 1800 эпизодов пыток, собранные на миллионе страниц, поднимает проблему, ставшей достоянием общественности в конце жестокого тридцатичетырехлетнего режима президента Стресснера в Парагвае. Когда правозащитные группы и адвокаты ворвались в центральное управление полиции в 1992 году, они обнаружили записи о всех пытках и всех похищениях. «Общество досье», как оказалось, имеет свое положительное применение: без этого навязчивого бюрократического стремления фиксировать каждую деталь, какой бы отвратительной она ни была, полное знание никогда не было бы возможным.
- В Аргентине, сразу после вступления в должность в 1983 году после падения режима военной хунты, президент Руль Альфонсин учредил гражданскую комиссию (КОНАДЕП,

---

<sup>1</sup> Драматическая история рассказана Lawrence Weschler in *A Miracle, a Universe: Settling Accounts with Torturers* (New York: Penguin USA, 1990).

Национальную комиссию по делам лиц, пропавших без вести) для расследования «исчезновений» в течение предшествующих восьми лет, когда более 20 000 человек были похищены, подвергнуты пыткам, убиты, а их тела тайно захоронены. В докладе комиссии (впоследствии опубликованном в виде бестселлера «Nunca Más», названного в честь бразильского дела) описывается машина террора хунты, похищения, пытки, тайные тюремные заключения и убийства.

- В Чили Национальная комиссия по установлению истины и примирению была создана новым демократическим правительством президента Алвина в апреле 1990 года. В ее отчете расследовано 4000 случаев и подробно описано каждое из 2000 убийств и исчезновений, организованных предыдущим правительством. Были названы имена всех жертв, но не преступников. В докладе также описывается точный политический контекст и методы репрессий, используемые военным режимом. Результаты получили широкую огласку и были представлены индивидуально семьям всех жертв<sup>2</sup>.

Почему такое коллективное объявление правды считается настолько важным? Что движет столь настойчивыми поисками, что уже более двадцати лет «Матери Пласа-де-Майо» приходят на эту площадь Буэнос-Айреса, требуя информацию о судьбе своих близких, «исчезнувших» во время грязной войны? Тому три основные причины.

Во-первых, для переживших старый режим ценность истины несомненна сама по себе – как бы старомодно это ни звучало. После поколений отрицания, лжи, сокрытия и уклонений возникает жгучее, почти навязчивое желание точно знать, что произошло. Для жертв пыток требование истины может ощущаться более остро, чем требование справедливости. Люди не обязательно хотят, чтобы их бывшие мучители попали в тюрьму, но они хотят, чтобы правда была признана. Это, пишет Вешлер, «таинственное, мощное, почти

---

<sup>2</sup> См. перевод на англ.: Report of the Chilean National Commission on Truth and Reconciliation (South Bend, IN: University of Notre Dame Press, 1993), особенно вступительное слово Хосе Залакетта, члена комиссии и центральной фигуры в дебатах о правосудии в переходный период.



магическое понятие, потому что часто все уже знают правду – все знают, кем были мучители и что они сделали, мучители знают, что все знают, и все знают, что они знают. Почему же тогда нужно рисковать всем, чтобы сделать это знание явным?»<sup>3</sup>.

Ответ на этот вопрос, приписываемый философу Томасу Нагелю<sup>4</sup>, заключается в различии между *знанием* и *признанием*. Признание – это то, что происходит со знанием, когда оно официально санкционируется и входит в общественный дискурс. В бывших коммунистических государствах Восточной Европы не было особой необходимости в «новых» исторических открытиях. Большинство людей знали, что произошло в прошлом, и сохранили эту информацию нетронутой в личной памяти; никто на самом деле не верил официальной лжи. Но теперь эту информацию нужно было превратить в официальную правду.

Во-вторых, особая чувствительность жертв. Это особенно остро ощущается у семей и друзей «пропавших без вести» людей. Даже если вы потеряли надежду найти своих близких живыми, вы отчаянно хотите узнать, что с ними случилось. Неизвестные тела в безымянных могилах нуждаются в символическом захоронении. Как утверждает архиепископ Туту: «Я очень хорошо помню, как на одном из наших слушаний мать жалобно вскрикнула: «Пожалуйста, не могли бы вы вернуть хотя бы косточку моего ребенка, чтобы я мог его похоронить?» Это то, что мы смогли сделать для некоторых семей»<sup>5</sup>. Для жертв пыток необходимость столь же остра. Им предстоит преодолеть двойное отрицание: доказать реальность того, что произошло, и опровергнуть, что это было необходимо, потому что власти совершали ужасные вещи.

Окончательное оправдание восстановления истины лежит в чувстве «никогда больше»: вечной надежде на то, что разоблачения

---

<sup>3</sup> Weschler, A Miracle, 4.

<sup>4</sup> State Crimes: Punishment or Pardon? Papers and Report of Conference organized by Justice and Society Program (Queenstown, Md.: Wye Centre, Aspen Institute, 1989).

<sup>5</sup> Archbishop Desmond Tutu, «Chairperson's Foreword», Truth and Reconciliation Commission of South Africa Report, vol. 1 (London: Macmillan, 1999), 8. (Туту, к сожалению, решает продолжить: «и тем самым позволил им пережить завершение». Эта психическая болтовня не только ничего не добавляет к его совершенно ясному изложению, но и ошибочна. Для родителей, чей ребенок убит, не существует такого понятия, как «закрытие».)

прошлого будет достаточно, чтобы предотвратить его повторение в будущем. Конечно, прошлые и будущие потенциальные злоумышленники с большей вероятностью поверят в безнаказанность, если никто даже не потрудится выяснить и зафиксировать то, что они сделали, не говоря уже о том, чтобы привлечь их к ответственности. Но принципы сдерживания не могут стать стратегией «извлечения из истории». Может показаться правдоподобным, что цикл политического насилия никогда не будет разорван при режиме безнаказанности. Но сдерживающая ценность знания о том, что другие были наказаны где-то еще, сомнительна. То же самое, конечно, можно сказать и о презумпции, что помилование и амнистия способствуют примирению.

Оставляя в стороне сегодняшний скептицизм по поводу веры Просвещения в то, что уроки прошлого усваиваются, существует жестокая политическая реальность, заключающаяся в том, что, несмотря на все эти знания, те же самые репрессивные институты продолжают возрождаться. Некоторые отрицания прошлых злодеяний невозможно отменить; они могут даже предложить методы, которые будут использоваться позже. Однако эта мрачная возможность должна восстановить, а не ослабить нашу веру в превентивный потенциал объявления правды. «Кто же, в конце концов, – спросил Гитлер в августе 1939 года, – вспоминает сегодня об уничтожении армян?»

Итак, существуют комиссии по установлению истины, правительственные расследования, отчеты о правах человека, академические исследования и группы судебно-медицинских экспертов, которые сейчас путешествуют по миру, раскрывая темные тайны массовых захоронений. Эти действия сталкиваются с серьезными препятствиями: техническими проблемами с памятью, политической оппозицией со стороны тех, кому есть что скрывать, а также – иногда искренними, но чаще неискренними – мнениями о том, что старые могилы должны оставаться нетронутыми и что не следует бередить раны, чтобы позволить времени залечить их.

Ниже приведены десять методов, используемых во многих различных комбинациях, для преобразования открытой информации о прошлом в способы ее подтверждения в настоящем.

## Формы признания

### *Комиссии по установлению истины*

Комиссия по установлению истины, институт, созданный только в последние два десятилетия, является наиболее резонансным символом раскрытия и признания прошлых злодеяний. Уже существует обширная литература, в которой сравниваются его возможности и решения непростой проблемы связи между истиной и справедливостью. Теоретически возможны три таких связи. Во-первых, комиссия уполномочена только искать истину; это самостоятельное мероприятие, не связанное с назначением юридически признаваемого наказания. Во-вторых, установление истины напрямую связано с привлечением к ответственности – путем выявления подозреваемых преступников или прямой передачи судебного преследования в другой орган. В-третьих, комиссия уполномочена реализовывать или рекомендовать такие процедуры, как примирение, компенсация, посредничество и, что наиболее противоречиво, амнистия и возмещение ущерба. Южноафриканская комиссия по установлению истины и примирению (Truth and Reconciliation Commission, TRC) может способствовать амнистии тех, кто «полностью раскрывает информацию», доказывает, что их преступления были политически мотивированными, и демонстрирует раскаяние.

Отчет TRC является одним из величайших моральных документов нашего времени из-за его приверженности истине как моральной ценности самой по себе. В качестве «исторического моста» к новому обществу комиссия видела свою роль в создании «насколько возможно полной картины» прошлых несправедливостей в сочетании с публичным, официальным признанием невыразимых (Untold) страданий, ставших результатом этой несправедливости<sup>6</sup>. «Untold» означает «огромные», но также буквально «неисчислимые». Публичные слушания (и подробное освещение в СМИ) предоставили людям возможность поделиться историями, которые никогда раньше не рассказывались. Комиссия знала, что ей

---

<sup>6</sup> Truth and Reconciliation Commission, 104.

необходимо прийти к такой версии прошлого, которая позволила бы достичь некоторого общего согласия: «Мы считаем, что представили достаточно правды о нашем прошлом, чтобы существовал консенсус по этому поводу»<sup>7</sup>. Но чьей правды? В докладе рассматривается версия правды гораздо более сложная, чем версия «правды, принятой консенсусом». «Деятельность Комиссии» раскрыла четыре понятия: истина фактическая или криминалистическая; истина личная или установленная из свидетельств; истина социальная или результат «диалога»; истина исцеляющая и восстанавливающая<sup>8</sup>.

- *Фактическая или судебно-медицинская истина*: юридическая или научная информация, которая является фиксирующей факты, точной и объективной и получена посредством беспристрастных процедур. На индивидуальном уровне это означает информацию о конкретных событиях и конкретных людях: что именно и с кем произошло, где, когда и как. На уровне общества это означает регистрацию контекста, причин и закономерностей нарушений: интерпретацию фактов, которая должна, по крайней мере, размыть любые отрицания прошлого. Дезинформация, однажды принятая за истину, должна быть лишена доверия.
- *Личная и повествовательная правда*: истории, рассказанные преступниками и (в более широком смысле) жертвами. Это дает возможность реализовать исцеляющий потенциал свидетельств, дополнить коллективную истину и добиться примирения путем подтверждения субъективного опыта людей, которых раньше заставляли молчать или которые потеряли право голоса.
- *Социальная истина*: истина, порожденная взаимодействием, дискуссиями и дебатами. Слушания обеспечивают прозрачность и поощряют участие. Противоречивые взгляды на прошлое можно рассмотреть и сравнить. Важен процесс, а не конечный результат.

---

<sup>7</sup> Tutu, «Chairperson's Foreword», 18.

<sup>8</sup> См.: Truth and Reconciliation Commission, ch. 5: «Concepts and Principles», 103-34.

- *Исцеляющая и восстанавливающая истина*: повествования, которые смотрят в прошлое, чтобы идти вперед. Истины как фактической записи недостаточно: интерпретация должна быть направлена на цели самоисцеления, примирения и возмещения ущерба. Это требует признания того, что страдания каждого были реальными и достойными внимания.

В докладе навязчиво повторяются движущие метафоры шрамов и ран, открытий и исцелений. Прошлое оставило «неизгладимые шрамы» в коллективном сознании; эти шрамы часто скрывали «гнойные раны»; эти раны должны быть «вскрыты» для «очищения и возможного исцеления» политического организма; однако недостаточно просто «открыть старые раны, а затем расслабиться и дожидаться, когда свет очистит их»<sup>9</sup>.

В этом вся суть развиваемой мной темы: почему недостаточно просто сидеть и ждать, пока световая засветка подействует?

### *Уголовные процессы*

От Нюрнбергского процесса пятьдесят лет назад до нынешних Международных уголовных трибуналов (по Руанде и бывшей Югославии) и будущего Международного уголовного суда стандартные вопросы правосудия и возмездия остаются одними и теми же. Здесь актуальны два подвопроса.

Во-первых, должно ли коллективное признание правды всегда вести к справедливости только потому, что индивидуальная моральная ответственность важна с точки зрения этой истины? Основная политика в области прав человека ясна: мы исследуем прошлое, чтобы выявить виновных и привлечь их к ответственности. Но также знаем, что это случается редко. В истории не было случая, когда бы случалось что-то отдаленно напоминающее полную реализацию политики уголовной ответственности. Амнистии объявляются (тайно или открыто) как условие смены режима. Говорить правду – это не начало примирения с прошлым, а всего лишь принимать все как есть. Политической воли идти дальше нет; расследование тянется бесконечно; доказательства

---

<sup>9</sup> Ibid., 115.

уничтожены; свидетели почему-то теряют память; следователи оказываются коррумпированными, запуганными или связанными с силами безопасности; система уголовного правосудия безнадежно слаба и неэффективна. И над этим парит остаточная власть старого режима, риск того, что судебные преследования поставят под угрозу хрупкие демократические завоевания.

Есть и второй, менее известный вопрос: не о том, «должно» ли восстановление прошлого привести к юридической ответственности, а о том, помогает ли уголовное право вообще в этом восстановлении. Нужны ли ритуалы обвинения, доказательства, возложения вины и наказания, чтобы превратить частное знание в публичное признание? В конце концов, это центральные ритуалы политических процессов, будь то явно инсценированные сталинские показательные процессы или другие знаменитые суды, ставшие, по мнению Эрика Дюркгейма, символами мировой истории – над Иисусом, Сократом, Дрейфусом, Сакко и Ванцетти, Розенбергами, Нюрнбергом, Эйхманом.

Суды (и комиссии по установлению истины) недавних переходов власти столкнулись с знакомыми проблемами:

- *Время.* Как далеко назад им следует углубляться? Для военной хунты, просуществовавшей пять лет после захвата власти у предыдущей демократии, это не проблема. Но для Южной Африки, посткоммунистических обществ, израильско-палестинского конфликта или гипотетических будущих демократий (Китай? Ирак?) не существует согласованного нулевого года, с которого можно было бы начать нести ответственность за злодеяния.
- *Власть и подчинение.* Кто кому какие приказы отдавал, и кто подчинялся? Условия, в которых происходят преступления повиновения, и характер административных расправ являются огромными препятствиями для признания. Столкнувшись с традиционными проблемами индивидуальной моральной ответственности, двусмысленными приказами, размытыми и многочисленными командными структурами, ни

судебное правосудие, ни повествовательная истина не могут быть обеспечены в должной мере<sup>10</sup>.

- *Степени вовлеченности.* Как мы определяем различные способы участия в сохранении старого режима? Оккупированная Европа является стандартным историческим прецедентом, подчеркивающим разницу между совершением преступления и сговором, между сговором активным и пассивным, между преднамеренным умолчанием (внутренним изгнанием) и умышленным незнанием (закрытием глаз), а также морально отталкивающей, но исторически точной идеей коллективной ответственности. Существует широкий диапазон от военной элиты, образующей латино-американскую хунту, до нюансов участия, сговора и молчания, которые характеризовали – по-разному – Южную Африку и бывшие коммунистические режимы<sup>11</sup>. Все понимают разницу в Южной Африке между полицейскими, исполняющими казни, и государственными служащими низшего звена, подписывающими «пропуска», которые ограничивают свободу передвижения чернокожих. Но что заключено между этими крайностями, совершенно не ясно.

Эти три способа «подвести черту» – моральная история, биография и география – создают очевидные проблемы при использовании закона с целью достижения истины. Осиел успешно определяет дальнейшие проблемы<sup>12</sup>. Правами обвиняемых можно пожертвовать ради социальной солидарности. Историческая перспектива может быть утеряна. Ссылка на ошибочные прецеденты или ложные аналогии между прошлыми и будущими спорами может способствовать возникновению иллюзий чистоты и величия. Требу-

---

<sup>10</sup> Исчерпывающий обзор см.: Mark Osiel, *Obedying Orders: Atrocity, Military Discipline and the Law of War* (New Brunswick, NJ: Transaction Publishers, 1997).

<sup>11</sup> Сатирическая версия процесса над «Стойо Петкановым» Джулиана Барнса (в качестве прототипа – Тодор Живков, бывший правитель Болгарии) представляет собой прекрасное описание двусмысленности «правды», выявленной судебными процессами в бывших коммунистических государствах: Julian Barnes, *The Porcupine* (London: Picador, 1992).

<sup>12</sup> Mark Osiel, *Mass Atrocity, Collective Memory and the Law* (New Brunswick, NJ: Transaction Publishers, 1997).

емые признания вины и покаяния могут быть слишком обширными: требуется больше людей, чтобы признать большую ответственность и решительно порвать с прошлым. Юридические процессы плохо подходят для пробуждения и построения коллективной памяти. Даже если коллективная память может быть сознательно создана законом, это может быть сделано нечестно.

Два недавних процесса во Франции иллюстрируют эти проблемы. Суд 1987 года над Клаусом Барбье (бывшим офицером СС, «лионским мясником») был явно оправдан с педагогической точки зрения: возможность самосовершенствования, урок истории для нового поколения. Его неудача как метода создания соответствующих знаний вряд ли подлежит сомнению<sup>13</sup>. Финкелькраут утверждает, что багаж далекого прошлого оказался слишком тяжелым. Стратегия защиты заключалась в том, чтобы использовать этот временной разрыв, объединив слишком много исторических вопросов: значение нацизма, антисемитизма и расизма; уникальность Холокоста; характер оккупации Франции; сотрудничество и сопротивление; последствия правления Франции в Алжире и Вьетнаме; даже природа сионизма. Результатом стал постмодернистский процесс – текст, из которого никто не мог извлечь многого.

Суд над Морисом Папоном в 1997–1998 годах привел к еще большему разочарованию в восстановлении истины<sup>14</sup>. Папон, бывший высокопоставленный государственный служащий (в разные периоды префект парижской полиции и министр, близкий к Миттерану), был приговорен к десяти годам лишения свободы за соучастие в преступлениях против человечности. После 1940 года он помог организовать депортацию 1500 евреев (около половины всех евреев города) из Бордо в концентрационный лагерь Дранси под Парижем для отправки в газовые камеры. Суд был тесно связан со всем послевоенным отрицанием сотрудничества с оккупантами. С тех пор, как после 1968 года мифам о сопротивлении был брошен вызов, Франция пережила приступы лихорадочного самоанализа

---

<sup>13</sup> Alain Finkelkraut, *Remembering in Vain: The Klaus Barbie Trial and Crimes against Humanity* (New York: Columbia University Press, 1992).

<sup>14</sup> Об имевших место во Франции дебатах см.: Robert O. Paxton, 'The Trial of Maurice Papon', *New York Review of Books*, 16 Dec. 1999, 32–8.



всей структуры оккупационной власти, сотрудничества и сопротивления<sup>15</sup>. Суд вряд ли смог бы выработать согласованную версию этой истории. В любом случае, чтобы быть признанным виновным, было ли достаточно того, что Папон должен был понять цель депортаций, даже если он «не был согласен с ней идеологически»? Почему обвинение взвалило всю вину на одного человека, который в то время был всего лишь чиновником среднего звена?

Суд не раскрыл ни аморального характера Папона, ни того, были ли (молодые) присяжные более согласны с новой историографией (которая признает коллаборационизм чиновников Виши) или застряли в старом прочтении: те неохотно поддавались нацистскому принуждению, чтобы защитить своих братьев-французов от чего-то худшего. Пытаясь одновременно служить правосудию, истории, педагогике и памяти, суд в конечном итоге не принес пользы никому<sup>16</sup>.

Сомнения, порожденные процессом в Нюрнберге относительно справедливости и истины, остаются точно такими же, хотя сегодня они имеют меньшее значение просто потому, что существует так много альтернативных способов признания.

### *Массовая дисквалификация*

Люстрация – это способ привлечения к ответственности в обход уголовного закона путем устранения или понижения целых категорий людей на государственных должностях. (Термин происходит от латинского *lustratio*: очищение посредством ритуального жертвоприношения.) Прецедентом этой массовой чистки была политика денацификации, проводимая (очень частично) союзниками, и чистка коллаборационистов в оккупированной Европе. В недавние переходные периоды его использовали почти исключительно некоторые посткоммунистические государства Восточной Европы, особенно Чехословакия и бывшая ГДР (где декоммунизация

---

<sup>15</sup> См.: Henry Rousso, *The Vichy Syndrome: History and Memory in France since 1944* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1991).

<sup>16</sup> Paxton, «Trial of Maurice Papon», 7, citing Eric Conan's detailed *Le Procès Papon: un journal d'audience*.

была значительно более тщательной, чем первоначальная денацификация).

На первый взгляд, это выглядит подходящим способом справиться с градациями массового сговора, молчания, доносительства и сотрудничества. Нюансы сотрудничества при государственном коммунизме, конечно, были слишком изощренными, сложными и двусмысленными, чтобы их можно было отнести к какой-либо известной версии индивидуальной юридической ответственности. И, по крайней мере какое-то время, это выглядело как попытка противостоять знаниям о прошлом.

Несправедливое проведение этой политики подверглось широкой критике по соображениям гражданских свобод. Но сам принцип действительно декларирует ответственность, которая в противном случае осталась бы без внимания. Тем не менее, помимо своих юридических недостатков, люстрация является плохим методом установления истины. Истина заключается в накоплении отдельных деталей – кто, что, с кем, когда, где и как – а не в тотальной дисквалификации кого-либо, запятнанного связью со старой системой. Даже сам факт сговора никогда не был должным образом признан. Как писал чешский оппозиционный журналист Ян Урбан: «Важно было молчание, а не какие-то отдельные ублюдки... И весь нынешний шум вокруг люстрации – это просто способ замолчать факт молчания... Мы не факты ищем, а охотимся за призраками»<sup>17</sup>.

### *Компенсация*

Формы массовой компенсации и реституции, наиболее известной из которых является немецкая политика возмещения ущерба жертвам нацизма, не получили большого внимания в последние переходные периоды. Акты индивидуального возмещения, финансовой компенсации семьям пропавших без вести, выплаты при реабилитации жертв пыток, безусловно, более важны для многих выживших, чем громоздкие и избирательные процедуры уголовного правосудия. Других может отталкивать мысль о том, что

---

<sup>17</sup> Цитируется в Lawrence Weschler, «The Velvet Purge: The Trials of Jan Kavan», New Yorker, 19 Oct. 1992, 82.

их страдания можно «компенсировать», и они могут рассматривать это как плату за молчание. Однако нет никаких доказательств того, что это когда-либо происходило. Удовлетворяя потребность жертв в признании, организованное государством возмещение ущерба может стать символической связью между индивидуальными страданиями и ответственностью государства. Ничто из этого не может исправить более глубокие повреждения прошлого. Но направление правильное: жертвы и выжившие видят баланс не (или не только) за счет унижения преступника, но за счет замены собственной физической боли и потерь некоторым политическим достоинством.

### *Называть и стыдить*

В последние годы лозунг «Назвать и пристыдить» стал популярным и популистским лозунгом, отсылающим к расплывчатому понятию ответственности посредством публичного разоблачения названных правонарушителей всех видов: нерадивых врачей, коррумпированных государственных чиновников, расистской полиции или небрежных социальных работников. В случае прошлых злодеяний ритуальные церемонии публичного именования, позора и осуждения требуют официального признания со стороны преступников и их политических хозяев того, что они сделали, было противозаконно. Перспектива стыда – это форма ответственности с низким уровнем риска, которая частично удовлетворяет потребность в правде. Публичная идентификация преступников, если проводится честно, ставит на них клеймо, которое само по себе является наказанием, а также способом сказать правду.

Большинство из нас может посочувствовать реакции Надежды Мандельштам на встречу с женщиной, которая была оплачиваемым информатором в сталинские годы. Люди, на которых она донесла, теперь пришли, чтобы отомстить, но, увидев ее жалкую реакцию на конфронтацию, жертвы потеряли интерес к мести. Тем не менее, рассуждает Мандельштам, необходимо что-то сделать, чтобы в будущем затруднить набор людей на такие работы: «Их не

нужно сажать в тюрьму или убивать, но нужно указать на них пальцем и назвать их имена»<sup>18</sup>.

### *Криминализация отрицания прошлого*

Движение отрицания Холокоста подняло вопрос (к которому я вернусь в главе 10), должно ли и может ли общество юридически требовать от людей признания определенного прошлого? Большинство либералов считают эту стратегию некорректной, своего рода формой цензуры, которая порождает призрак контроля над мыслями. В ответ на преднамеренную попытку «ревизионистских историков» Холокоста отрицать и стереть прошлое, некоторые страны объявили отрицание Холокоста и других случаев геноцида наказуемым уголовным преступлением.

Защита гражданских свобод и свободы слова уравнивается символическими функциями права по разъяснению моральных границ, особых чувств жертв и возможности сдерживания. Возрождение фашистских, расистских и неонацистских группировок в Европе придало этим дебатам новую политическую актуальность. Могло ли это предотвратить более строгие (и даже юридически закрепленные) попытки узнать больше о прошлом?

### *Память и увековечение памяти*

Самый древний способ признания прошлых страданий – почтить память жертв, воздвигая статуи, называя их именами улицы и городские площади, посвятить им поэмы и молитвы, бдения и марши. По многим причинам переход от репрессивных режимов, расширение прав и возможностей маргинальных и забытых меньшинств, политическое давление, требующее помнить, привело к экспоненциальному увеличению структур (мемориалов, музеев, архивов) и ритуалов (церемоний, дней памяти, стояния в молчании) памяти. За индустрией памяти стоит метапамять, культурная индустрия, занимающаяся иконографией, коллективной памятью, увековечиванием и репрезентацией прошлого.

---

<sup>18</sup> Nadezhda Mandelstam, *Hope Abandoned* (New York: Athenaeum, 1972), 572.

Исследование Янга иконографии памятников направлено на то, чтобы установить, как мы помним прошлое, по каким-то причинам делаем это, для каких-то целей и во имя кого<sup>19</sup>. Образы прошлого, подобие обычных «воспоминаний туриста», европейские «ландшафты памяти» незабываемы. Однако большая часть работ по этой теме застряла в гностическом дискурсе репрезентаций, текстов и гиперреальности. Эти проблемы повышают ставки, как, например, масштабы ожесточенных дебатов вокруг Музея Холокоста в Вашингтоне. Музей этот пытается создать живой мемориал. Интерактивные технологии и персонализация истории позволяют посетителям с помощью компьютера идентифицировать себя с личностью реального человека того же возраста и пола, жившего в тот период, а затем узнать, выживет ли «двойник» или погибнет.

Эти и подобные популистские методы вызывают много модной критики по поводу эксплуатации, сентиментальности, тупости, лагерного шика и т. д. Опасения, лежащие в основе такой критики, справедливы, когда они связаны с более широкой критикой таких тем, как китч<sup>20</sup> и место Холокоста в американской общественной жизни<sup>21</sup>. Но опасения по поводу использования уловок для привлечения внимания и содействия просвещению менее важны, чем отдание должного оспариваемому политическому значению самого события. Например, в случае с музеями Холокоста основные споры ведутся вокруг историографии «уникальности». Крайняя позиция заключается в том, что попытка уничтожения евреев сильно отличалась от судьбы других жертв нацизма (таких как цыгане и гомосексуалы), а также от других попыток геноцида где-либо до или после него, она настолько уникальна, что была «вне истории», включая и другие случаи, противоположная же позиция это «отрицание особенности». Сторонников этой позиции в свою очередь обвиняют в отрицании, изолированности и расистском безразличии к страданиям других. Многие сторонники «уникальности» не заинтересованы в каких-либо серьезных сравнениях. Они

---

<sup>19</sup> См.: James F. Young, *The Texture of Memory: Holocaust Memorials and Meanings* (New Haven: Yale University Press, 1993).

<sup>20</sup> Серьезный анализ китча см. в: Saul Friedlander, *Reflections of Nazism: A Essay on Kitsch and Death* (New York: Harper and Row, 1984).

<sup>21</sup> See Peter Novick, *The Holocaust in American Life* (Boston: Houghton Mifflin, 1999).

апеллируют к мистическому представлению об особой еврейской судьбе, не имеющей концептуального пространства (не говоря уже о физическом музейном пространстве), для скромного утверждения, что документирование уникальных особенностей каждого случая (Камбоджа и Руанда также были «уникальными») совместимо со сбором данных о случаях достаточно схожих, чтобы их можно было поместить рядом с ними в такую общую категорию, как геноцид.

Однако концептуальная архитектура музея менее важна, чем использование его исторического нарратива для поддержки нынешней ксенофобии и националистической исключительности. В «Музее потенциального Холокоста» в Иерусалиме выставлены современные антисемитские фотографии и тексты с предупреждениями о том, к чему это может привести без сопротивления общества («Не позволяйте этому повториться»)<sup>22</sup>.

Во всем мире чествования жертв зверств превратились в войны памяти – силы отрицания и признания буквально сражаются за территорию. При каждом политическом колебании сносят статуи, меняют названия улиц и отменяют государственные праздники. Некоторые запущенные кладбища в отдаленных деревнях Литвы и Латвии за последнее десятилетие трижды меняли свое название. На одном из таких кладбищ, до краха коммунизма, на безымянных могилах была поставлена небольшая табличка с надписью «Жертвы фашизма»; тот факт, что почти все погибшие были евреями из села, не упоминался. Во время первой волны воспоминаний знаки были изменены для обозначения «еврейских жертв». Возрождение национализма тогда дало семиотический приоритет «литовским жертвам», храбрым борцам против нацистов и сталинистов. Пока не существует буквального отрицания исторических свидетельств страданий какой-либо группы, споры об интерпретации могут стать полезным просвещением. Как предлагает Янг, мы должны не просто чтить память, но и выполнять «работу памяти», не просто строить памятники, но и спорить о них, изменять их и по-новому интерпретировать.

Это проще, когда мы чествуем живших людей, а не мемориальные доски или статуи, установленные в память о них. В апреле

---

<sup>22</sup> Музей (о чем некоторые наивные туристы так и не узнают) управляется организацией «Фашист Ках» покойного Мейера Кахане и ее американским партнером, Лигой защиты евреев.

1977 года организация *Madres de Plaza de Mayo* («Матери пропавших без вести») начала свое первое молчаливое шествие на Пласа-де-Майо, главной площади Буэнос-Айреса. Они потребовали сообщить точную судьбу своих близких, пропавших без вести во время грязной войны, развязанной хунтой в Аргентине между 1976 и 1983 годами. Двадцать три года спустя они все еще гуляют по площади, к ним присоединяются Бабушки, а теперь и Дети Плазы. С самого начала, во время правления хунты, они уловили правильный способ противостоять мгновенному историческому отрицанию, подразумеваемому термином «исчезновение». Они называли имена и держали в руках фотографии, делая таким образом личным и общедоступным то, чего не мог допустить официальный дискурс. Но, вынеся свое послание на общественную площадь, самое открытое пространство в городе, они переместили тайные практики и личные страхи в ту сферу, где их следовало бы скрывать и отрицать.

Поскольку режим был очень идеологизирован, это не было «простым» нарушением молчания, восстановлением и реконструкцией разрушенной памяти. Как отмечает Тауссиг, убийство и похищение людей, а затем отрицание этого и окутывание его облаками замешательства преследуют не цель уничтожить память, а стремление переместить коллективную память в другое пространство<sup>23</sup>. Интерес государства заключался в том, чтобы закрепить воспоминания о жестокости репрессий, но при этом полностью удалить конкретную информацию о них из публичной сферы (то есть никогда официально не признавать истину) и направлять ее в личные и семейные воспоминания. Там, в домашней тишине, должны оставаться страхи и кошмары, подавляющие любое сопротивление. Это то, чему Матери до сих пор бросают вызов: «они создают новый публичный ритуал, цель которого – позволить огромным моральным и магическим силам беспокойных жертв проникать в публичную сферу»<sup>24</sup>.

---

<sup>23</sup> Michael Taussig, «Violence and Resistance in the Americas: The Legacy of Conquest», in *The Nervous System* (London: Routledge, 1992), esp. 48–51.

<sup>24</sup> *Ibid.*, 48.

### *Искупление, извинение и экзорцизм*

Для многих людей самый глубокий способ признать прошлое лежит за пределами правды или даже справедливости. Существует зачаточное ощущение, что чудовищность того, что произошло при старом режиме, требует чего-то более радикального, чем назначение комиссии по расследованию, наказание нескольких избранных правонарушителей или понижение их в должности. Необходимо какое-то ритуальное очищение, чтобы удалить нечистые элементы или образ мышления, чтобы они утратили свою силу. На обыденном уровне это просто требование извинений, признания вины или «покаяния». Но эти светские термины возведены в явно религиозное мировоззрение и язык: *искупление* – возмещение ущерба за предыдущие грехи; *экзорцизм* – изгнание злых сил призывом добра; *очищение* – очищение путем удаления нежелательных веществ; и множество вариантов *раскаяния, исповедания, искупления и покаяния*. Этот религиозный словарь нелегко вписывается в современный дискурс о «правах» – единственный эквивалентный светский словарь происходит от психоаналитических идей, таких как катарсис. Тем не менее, светские участники, похоже, принимают религиозную риторику. В Южной Африке существовало некоторое беспокойство по поводу перспективы иммунитета для правонарушителей, публично выразивших раскаяние. Но желательность покаяния считалась само собой разумеющейся: единственный вопрос заключался в том, были ли эти публичные исповеди о раскаянии «искренними». Архиепископ Туту постоянно говорил об очищающей силе истины и предупреждал, что, если истина не проявится, она вернется, чтобы «преследовать» общество.

Истины о моральной ответственности не нуждаются в сверхъестественном благословении; они должны быть направлены на реабилитацию жертв: светские ритуалы по очищению личности и репутации жертв, ревизия полицейских дел в поисках ложно обвиненных, произвольно арестованных, подвергшихся пыткам – а затем публичное напоминание людям о том, что с ними сделали. Таким образом, «лиофилизированные» стигматы можно «оживить»: возместить ущерб живым жертвам, а также семьям и друзьям погибших. Эта светская версия искупления направлена на других, а не внутрь себя. Она должно признать, что бывшие жертвы и враги



были героями. Эта политика оправдания может или не может облегчить боль выживших или достичь внутренних демонов преступников<sup>25</sup>. Южноафриканцы потребовали от старого режима сделать два трудных признания<sup>26</sup>. Во-первых, признать, что апартеид был не просто «ошибкой», «нерелевантным», «зашедшим в тупик», «закрытым томом книги истории» или тем, что бывший президент де Клерк назвал (еще в марте 1992 года) чем-то, что «началось с идеализма в поисках справедливости». Это совершенно неадекватное выражение сожаления по поводу преднамеренно причиненных страданий. Во-вторых, признать, что дело оппозиции было оправданным: то есть люди стали жертвами не потому, что они были неправы или плохи, а потому, что они были правы и хороши.

Можно было ожидать, что немногие из тех, кто отошел от власти, сделают такое признание или выразят искреннее сожаление. Они, скорее всего, почувствуют, что любое «правосудие переходного периода» – это просто месть. Они также могут обвинить новый режим в том, что они стали козлами отпущения: это логическое продолжение прежнего отрицания ответственности (и оправданного, когда выбор преступников является тенденциозным или случайным). Большинство лидеров считают, что обстоятельства («история») вынуждают их приспособливаться к изменениям. Другие, менее влиятельные участники, добровольно предоставляют свидетельства, которые больше похожи на попытки изгнания нечистой силы или катарсиса: измученный персонаж в стиле Грэма Грина рассказывает ужасную правду, чтобы избавиться себя от бремени слишком долгой жизни со слишком большим количеством плохих секретов. В марте 1995 года – намного позже Комиссии по установлению истины и судебных процессов над генералами аргентинской хунты – Адольфо Скилинго решил раскрыть свои секреты. Восемнадцать лет он жил в кошмарах о реальности, которую не раскрыла Комиссия по установлению истины. Он был офицером в ESMA, Военно-морской механической школе в Буэнос-

---

<sup>25</sup> О использовании оправдания в бывшей ГДР см.: John Borneman, *Settling Accounts: Violence, Justice and Accountability in Postsocialist Europe* (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1997).

<sup>26</sup> Kadar Asmal et al., *Reconciliation through Truth: A Reckoning of Apartheid's Criminal Governance*, 2nd ed. (Cape Town: David Philip, 1997).

Айресе – центре, куда попадали тысячи похищенных людей, где они были подвергнуты пыткам и потом исчезли. Скилинго рассказал, что он лично убил тридцать политических заключенных, сбросив их живыми из самолета в океан. Каждую среду в течение двух лет происходили обычные полеты: заключенных (около 2000 только из ESMA) помещали в комнату с успокаивающей музыкой; врач вводил им успокоительные препараты; их отвозили в аэропорт и раздевали донага; затем помещали в самолет, чтобы сбросить в океан. С лидерами католической церкви, как утверждал Скилинго, проконсультировались и одобрили убийства «как христианскую форму смерти». Церковь отвергла эти обвинения; Президент Менем осудил Скилинго («Скилинго – мошенник. Он сыплет соль на старые раны»); была начата кампания по его дискредитации (в 1991 году он был осужден за угон автомобиля и лишен офицерского звания). Отставной старший армейский офицер заявил: «19 лет назад произошла гражданская война. Глупо продолжать вскрывать старые раны».

«Эффект Скилинго» не только подтвердил самые худшие слухи и опасения. Его публичные выступления и захватывающие истории были напоминанием о том, о чем большинство людей предпочитало забыть. Миньоне оптимистично утверждает, что «общество было вынуждено противостоять собственному отрицанию и молчаливому одобрению тайных преступлений, совершенных в те годы». Реакция общественности во время судебных процессов над командирами была сдержанной, и процесс не разрешили показывать по телевидению. Увидеть лица – это для них единственный способ осознать, что симпатичный, хорошо одетый и красноречивый мистер Скилинго, тот джентльмен, который мог бы быть вашим ближайшим соседом, является самим воплощением Процесса ... и вот он обращается к тебе в твоей гостиной вечер за вечером»<sup>27</sup>.

Другие истории об искуплении звучат менее очищающими, чем рассказы Силинго, и ближе к светскому представлению об изви-

---

<sup>27</sup> Миньоне, известная аргентинская правозащитница, чья собственная дочь была desaparecida, цитирует в: Marguerite Feitlowitz, *A Lexicon of Terror: Argentina and the Legacies of Torture* (New York: Oxford University Press, 1998), 195. Детали см. в: ch. 6: «The Scilingo Effect», 193–255.

нении как о восстановительном и лечебном средстве – как в прекрасном определении Коффмана:

В своей наиболее полной форме извинение состоит из нескольких элементов: выражения смущения и огорчения; разъяснения того, что человек знает, какое поведение ожидается, и поддерживает применение негативных санкций; словесного неприятия, отрицания и отвержения неправильного образа поведения наряду с очернением самого себя, который вел себя таким вот образом; поддержки правильного пути и обязательства впредь следовать этим путем; совершения покаяния и добровольного возмещение ущерба<sup>28</sup>.

Примером может служить публичное письмо, написанное южноафриканским врачом Бенджамином Такером в 1991 году. В 1977 году доктор Такер вел себя крайне небрежно и неэтично, не оказывая помощь должным образом лидеру черного движения Стиву Бико в тюрьме. Он также доверчиво принял версию причин травм Бико, представленную полицией безопасности. Правда об убийстве Бико стала известна, и в 1985 году доктор Такер был привлечен к ответственности и опозорен (отстранен от практики за «позорное поведение» дисциплинарным комитетом Южноафриканского медицинского совета). Затем его реинтегрировали: его медицинская лицензия была восстановлена после того, как он отправил совету письмо с извинениями. Затем он написал публичное письмо, в котором не просто признает халатность, призывает к бездумному повиновению или утверждает, что он всего лишь выполнял свою работу. Он делает решающее признание: он стал слишком тесно отождествлять себя с интересами безопасности государства, а не с медицинской и личной этикой.

Лишь немногие выражения сожаления или акты покаяния соответствуют строгим критериям Гоффмана. Более того, эти ритуалы могут проводиться, не затрагивая политических причин прошлых злодеяний и не способствуя предотвращению будущих злодеяний. По этой причине цели примирения и восстановления сейчас вышли на первый план.

---

<sup>28</sup> Erving Goffman, *Relations in Public* (London: Allen Lane, 1971), 113.

## Примирение

Голос примирения начинает звучать с тона нежного разума: «Зачем жить прошлым? ... Где-то нужно провести черту ... Пора закрыть книгу прошлого ... Время открыть новую страницу ... Что закончилось, то закончилось. Мы должны научиться жить друг с другом. . . Ни у кого нет чистых рук ... Давайте смотреть вперед в новое будущее для наших детей, а не оглядываться назад». Однако этот голос – особенно под лозунгом «национального примирения» – может быть фальшивым и корыстным, стратегией уклонения от ответственности и увековечивания исторического отрицания. Люди, которые настраивали соседей, друзей и семьи друг против друга как доносчиков, теперь проповедуют примирение. Они прощают себя, дают себе право на великодушие и присваивают себе прерогативу закрыть книгу прошлого.

Когда риторика примирения искренна, она склоняет к терпимости, прощению, социальной реконструкции и решению социальных конфликтов иными способами, чем наказание. Если подобные призывы сделаны искренне, они не призывают к отрицанию прошлого. Напротив, они предполагают, что преступники и свидетели уже признали, что произошло. Нельзя ожидать, что жертвы и выжившие будут прощать без доступа к полному знанию: «Отец, я готов прощать, но мне нужно знать, кого прощать и за что»<sup>29</sup>. Опять же, это не просто вопрос фактического знания: «Невозможно ожидать «примирения», если часть населения отказывается признать, что что-то когда-либо было неправильным, а другая часть никогда не получала признания своих страданий или никто не несет полной ответственности за эти страдания»<sup>30</sup>.

Примирение – это радикальный способ противостоять прошлому. Оно требует величайшей борьбы в личной жизни выживших жертв и их семей, особенно если это сочетается с требованием прощения. Мать Мэтью Кондиле слушает заседание южноафри-

---

<sup>29</sup> Реакция женщины в Уругвае, которую священник консультировал по поводу исчезновения ее ребенка; цитируется в Alex Boraine et al. (eds), *Dealing with the Past: Truth and Reconciliation in South Africa* (Cape Town: IDASA, 1994), 121.

<sup>30</sup> Письмо от Human Rights Watch президенту де Клерку, «South Africa: Accounting for the Past», Human Rights Watch Africa (newsletter), 4 (23 Oct. 1992), 2.

канского TRC. Ее сын был убит печально известным Дирком Кутзее, одним из самых жестоких лидеров эскадронов смерти южноафриканской полиции. Миссис Кондиле отказывается его прощать. По ее словам, Мандела и Туту могут простить, потому что они живут «новой жизнью», жизнью, в которой их страдания нашли признание. Но: «В моей жизни ничего, абсолютно ничего не изменилось с тех пор, как моего сына сожгли варвары. Ничего. Поэтому я не могу простить»<sup>31</sup>.

В культурном пространстве между публичными заявлениями и личными мучениями трудно обнаружить признаки примирения. Позже я буду утверждать, что достаточно смириться с переменами, даже если это не «неподдельно», «искренне» или «от всего сердца». Но даже этот критерий неоднозначен, особенно после долгой истории зверств и широко распространенного сговора. Белые южноафриканцы «примирились» в смысле признания того, что у них нет выбора, но не в смысле принятия на себя ответственности за прошлую несправедливость, причиненную режимом, который они подавляющим большинством поддерживали. Недавний опрос показывает, что большинство белых не убеждены в том, что они сыграли какую-либо роль в злоупотреблениях апартеида<sup>32</sup>. Около 44 процентов считают, что прежняя система не была несправедливой и что апартеид был хорошей идеей, но реализованной плохо. Пропорционально ответственность за прошлые зверства в большей степени была возложена на активистов, выступавших против апартеида, и «нарушителей спокойствия» в чернокожих общинах (57 процентов), чем на силы безопасности (46 процентов) и бывшее националистическое правительство (46 процентов). Около 60 процентов считают, что жертвам апартеида не следует выплачивать компенсацию за те страдания, от которых они пострадали в прошлом. Однако обнадеживающим открытием стало то, что молодые белые всегда больше поддерживали перемены в обществе.

---

<sup>31</sup> Цитируется по Antjie Krog, *Country of My Skull* (London: Jonathan Cape, 1999), 109.

<sup>32</sup> Gunnar Theissen and Brandon Hamber, «A State of Denial: White South Africans' Attitudes to the Truth and Reconciliation Commission», *Indicator South Africa: The Barometer of Social Trends*, 15 (1998), 7–12.

### *Реконструкция*

Самый политически подходящий способ признать прошлые несправедливости и страдания – это восстановить (или построить с нуля, если нет демократической традиции, на которую можно было бы опереться) основы, необходимые для поддержания новой демократии. Зверство – это не концепция и не состояние ума, а институт и конкретный набор социальных практик. «Просвещение в области прав человека» – это не рассказ о новых злодеяниях, а объяснение того, почему та или иная практика возникла и сохранилась. Признание реальности пыток требует гораздо большего, чем просто сопоставление криков жертв или оправданий, используемых мучителями. Что нуждается в демонтаже, так это весь «режим пыток»<sup>33</sup>. Пытки, применяемые в течение длительного периода времени в любом обществе, должны иметь свои собственные законы, судебную практику, бюрократию, образование, язык, культурные представления и политические оправдания.

Необходимость и цели реконструкции очевидны: создание условий для демократии и законности, восстановление достойной общественной жизни, продвижение социальной справедливости. После первого волнения от открытия шкатулки с тайнами люди начинают больше интересоваться политикой, направленной на настоящее и будущее, а не оглядываться назад. Но должна существовать цель и для «негативной» реконструкции: оглядываться назад не только для того, чтобы признать, но и подорвать общественный дискурс, который допускал сговор, молчание и безразличие. Гражданское просвещение должно включать дискуссионный курс по языковой морали. Это позволило бы тщательно изучить публичные отрицания прошлого: все методы нейтрализации, рационализации, оправдания, обоснования и клише сторонних наблюдателей. Некоторые из этих рассказов следует, по крайней мере, подвергнуть осуждению.

---

<sup>33</sup> Ronald D. Crelinsten, «The World of Torture: A Constructed Reality», unpublished paper, 1993.

## Признание и общественный контроль

«Кто контролирует прошлое, ... контролирует будущее. Кто контролирует настоящее, контролирует прошлое»<sup>34</sup>. Мы узнали, что это относится не только к 1984-ым Оруэлла, в котором Министерство правды переписало прошлое, но и к повседневной жизни в совершенно иных политических условиях: «контроль над прошлым зависит, прежде всего, от подготовки памяти .... Необходимо помнить только, что события происходили желаемым образом. А если необходимо перекроить воспоминания или подделать письменные источники, то следует забыть, что вы это сделали. Этому трюку можно научиться, как и любому другому ментальному приему. Называется это двоемыслием»<sup>35</sup>. Парадокс отрицания идентичен «двоемыслию» и, следовательно, является частью задачи государства по созданию и укреплению чувства временной непрерывности, необходимого для общественного порядка<sup>36</sup>.

Выйти из-под определяемого государством и обслуживающего его интересы контроля в социальном пространстве – значит установить некоторый разрыв между настоящим и прошлым, став постоянным беглецом от собственного прошлого<sup>37</sup>. Люди во всем мире живут с ужасными воспоминаниями – как жертвы, как выжившие, как преступники и свидетели. Они ощущают себя в ловушке прошлого; они говорят о том, что помогает избежать страданий, или пытаются забыть о страданиях. Другие, похоже, не могут вспомнить. Как и пациентам Оливера Сакса, для пробуждения им нужен психологический эквивалент L-DOPA.

---

<sup>34</sup> George Orwell, *Nineteen-Eighty-Four* (Harmondsworth: Penguin, 1954; first pub. 1949), 31.

<sup>35</sup> *Ibid.*, 170–1.

<sup>36</sup> Моя дискуссия о социальном контроле во многом опирается на работу Steven Spitzer, «Policing the Past», с которой я ознакомился в Law and Society Association, Amsterdam, June 1991. Я в долгу перед Стивом за эти и другие интересные дискуссии.

<sup>37</sup> Роман Мартина Эмиса «Стрела времени» (*Time's Arrow*; New York: Vintage, 1991) представляет собой оригинальное размышление на эту тему: сбежавший нацистский военный преступник, ныне находящийся в Соединенных Штатах, проживает свою жизнь в обратном направлении до того момента, как он стал врачом Освенцима.

Воспоминания о переживании политической истории («вот как это должно было бы быть во времена хунты») не подвержены таким унитарным нейрологическим процессам. Существует не единственный вариант восприятия прошлых страданий; восприятие всегда искажается, чтобы соответствовать повестке дня настоящего. Личная память загрязняется течением политического времени. Память – это социальный продукт, отражающий повестку дня, а также социальное положение тех, кто к ней обращается. Это еще одна война памяти: те, кто пытается подавить, против тех, кто пытается воскресить то, что было или то, что потенциально может быть забыто. Но когда вы говорите, что «просто выполняли свой долг», или «были всего лишь винтиком в машине», или что «другие поступали гораздо хуже», было ли это правдой в то время, или же это было только сфабриковано, а затем превратилось в правду под действием позднейших политически мотивированных усилий истории?

Даже без устных объяснений палач из недавней военной хунты, похоже, не совсем принадлежит сегодняшнему времени. Розенберг, пишущий о фильме Марселя Офюльса «Память правосудия», размышляет о глубоком разрыве, возникающем в результате того, что обвиняемого судят за деяние, совершенное им в абсолютно ином прошлом. Во время суда он кажется другим человеком. «В какой-то степени наказание всегда назначается незнакомцу, носящему имя преступника»<sup>38</sup>. Это верно по отношению ко всем преступникам. Но политический преступник предстает перед трибуналом, который представляет собой не что иное, как «суд истории». Перенесем время преступления назад: во время первых судебных процессов над французскими коллаборационистами. Сартра и де Бовуар беспокоил биографический вопрос: они знали этого парня в школе, умного и дружелюбного мальчика; какое он имеет отношение к этому отвратительному осведомителю на скамье подсудимых? Или мысленно вычеркните время, прошедшее с момента совершения преступления: способен ли этот безобидный на вид бездельник – Эйхман, смотрящий сквозь очки – совершить подобные злодеяния сейчас? Выживший в Освенциме проходит

---

<sup>38</sup> Harold Rosenberg, «The Shadow of the Furies», New York Review of Books, 20 Jan. 1977, 47.



мимо камеры для узников Нюрнберга и внезапно видит в обвиняемых обычных людей:

Произошла метаморфоза. Настоящие преступники унесены историей и никогда не вернутся. На их месте осталась группа стареющих дублеров, больных и дрожащих от страха. Приговор будет вынесен кучке самозванцев, коллекции манекенов, позаимствованных в музее восковых фигур. В худшем случае эти слабые посредственности, «такие же, как и все остальные люди», могли быть, как они утверждают, лишь винтиками в машине смерти, каким-то образом созданной историей<sup>39</sup>.

Конечно, не все государственные преступники представляют из себя жалких посредственностей. С таким же успехом они могут оказаться высокомерными, задиристыми и самодовольными. Подобно аргентинским генералам или Чаушеску в Румынии, они оправдывают свои действия, осуждают своих судей и отказываются признавать их легитимность. На суде над аргентинской хунтой генерал Видела объявил о своем самоотверженном мученичестве; подобно Христу, он отдал себя на милость суда, не обладающего никакими полномочиями: «Ваша честь: вы не мои естественные судьи. И по этой причине у вас нет юрисдикции и юридических полномочий, чтобы судить меня». Они могут даже утверждать, что никакая информация, зафиксированная комиссиями по установлению истины, никакие подробности, раскрытые в уголовных процессах, не умаляют исторической справедливости их дела. Именно это имел в виду другой осужденный аргентинский путчист бывший командир Эмилио Массера своими пугающими словами в суде: «Я несу ответственность, но я невиновен. *Власть сейчас может принадлежать моим судьям, но История принадлежит мне, и именно там будет вынесен окончательный вердикт*».

Эти обращения к преданности более высоким понятиям или уклонение от ответственности (просто выполняя приказы) являются попытками отрицать историю, оказаться вне времени и, прежде всего, быть оцененными не по стандартам сегодняшнего дня (законность, права человека, справедливость), а по стандартам прошлого. Это «отрицание времени», безусловно, является самым мощным из всех оправданий, которое независимым от истории

---

<sup>39</sup> Ibid., 48.

судьям труднее всего опровергнуть – не потому, что его идеология последовательна, а как раз наоборот. В послевоенный период они хранили молчание, потому что «новое поколение не поняло бы тех времен». Их заявление теперь бесконечно более радикально (и устрашающе, потому что мы не можем быть уверены, что это совершенно невозможно): «Если бы вы были там тогда, вы бы сделали то же самое». Так освободи меня, освободи меня от истории. Голос современности отказывается принять эти призывы к исторической относительности. Это перекликается с криком с балкона во время суда над Эйхманом: «Ах! Видели бы вы его в полковничьем мундире». Суд идет над другим – над существом, уполномоченным отправлять на смерть миллионы людей, а не над лысеющим стариком, пользующимся наушниками.

Таково признание индивидуальное. Но какое убежище есть у коллектива, у всего общества? Быть свободным от социального контроля – значит быть лишенным хранилища исторических знаний. В таком случае нет необходимости в коллективных ритуалах искупления или возмещения ущерба, потому что ничего не произошло, не о чем сожалеть. Некоторые социальные страдания вообще не вспоминаются. Целые общества скатываются к массовому отрицанию – с ужасными последствиями, особенно для жертв и выживших, которые оказываются буквально вырванными из исторического времени. Учитывая темп событий и быстрое распространение информации в СМИ, такое отставание теперь является нормальным.

Социальный контроль может быть реализован не только путем неустанного противостояния прошлому – открытия последнего архива, наказания последнего нарушителя, выплаты компенсации последней жертве. Идеал Международного уголовного суда предполагает, что социальный контроль неразрывно связан с подотчетностью. Вы открываете правду о прошлом, чтобы добиться справедливости в настоящем. Но социальный контроль также возможен путем трансформации или стирания прошлого, особенно путем ослабления или переопределения отношений между тем, что было раньше, и тем, что существует в настоящее время: не открывая прошлое для изучения, а закрывая его и намеренно устанавливая барьеры для памяти. Такой способ контроля за прошлым требует не восстановления памяти, а ее искоренения.

Все общества используют обе стратегии восстановления и искоренения. Но, возможно, отдельные общества в определенное время скатываются в тот или иной из этих режимов – контроль путем открытия или закрытия. Спитцер сравнивает режимы непрерывности с режимами разрыва. В режимах непрерывности избирательная амнезия вызывается устранением одних элементов прошлого и сохранением других. Прошлое должно соответствовать настоящему, чтобы создать версию истории (основной нарратив), легитимную текущую политику. Сталинская форма контроля над прошлым – преднамеренное подавление и искажение истории – является классическим типом. (Однако, как отмечает Гавел, переписывание истории никогда не было очень эффективным: «Поистине удивительно обнаружить, что после десятилетий фальсификации истории и идеологических манипуляций ничто не было забыто»<sup>40</sup>).

Напротив, наблюдается избирательное забвение *режимов разрыва*, в которых доминируют множественные нарративы рынка. Здесь забвение является побочным продуктом быстрых социальных перемен, постмодернистской «истории» в стиле Диснейленда, неспособности ассимилировать настоящее. Прошлое не стирается и не переписывается намеренно в оруэлловском смысле, вместо этого оно испаряется и распадается в какофонии настоящего.

Режимы непрерывности, отмечает Спитцер, имеют тенденцию быть центристскими. В государственных коммунистических или классических тоталитарных обществах истина формируется вокруг единого центра, однородного ядра убеждений, которое не подлежит сомнению или нарушению. Прошлое постоянно адаптируется и пересматривается, чтобы отразить изменения в убеждениях и текущей политической повестке дня. Некоторые события, по памяtnому выражению Кундеры, «вычеркнуты» из истории, но они также могут быть восстановлены, когда реабилитируются ранее неприемлемые идеи или личности. Вот почему люстрация так характерна для подобных обществ. Это именно тот тип политики, которого следует ожидать от режимов, знакомых с переписыванием истории – и которые прошли через предыдущие

---

<sup>40</sup> Vaclav Havel, «The Post-Communist Nightmare», New York Review of Books, 27 May 1993, 10.

серии потрясений, за которыми следовали чистки, а затем переписывание истории.

В постмодернистских рыночных обществах этот процесс приобретает иные, более утонченные формы. В этих режимах разрыва знание распадается и подвергается скептицизму, пересмотру и иронии. Истина растворяется в выбросе слишком большого количества информации или квазиинформации, фактов или фактоидов, документальных фильмов или драматических реконструкций. Движение центробежное, а не центростремительное. Информация и память просто отпадают. Становится трудно установить связь между тем, что есть, и тем, что было раньше. Прошлое стирается без давления цензуры, пропаганды или Министерства Правды. Вытеснение прошлого (исчезновение из памяти и истории) переходит в отрицание настоящего (потеря феноменов при имплозии информации). Сколько людей, которые были взрослыми в 1960 году, могут перечислить массовые политические убийства, произошедшие с тех пор: ибо в Нигерии, южане в Судане, аче в Парагвае, восточнотиморцы в Индонезии, курды в Ираке, хуту в Бурунди, тутси в Руанде, камбоджийцы Красными Кхмерами, эфиопы – режимом Менгисту, угандийцы – подручными Иди Амина, боснийские мусульмане – сербами.

Это не два разных типа общества, соответствующие коммунистическому и рыночному, каждый из которых имеет свой собственный способ подавления прошлого. Несмотря на постмодернистское центробежное забвение, западные демократические рыночные общества по-прежнему поощряют более традиционное переписывание истории. Удивительные изменения в американской внешней политике напоминают учебник Оруэлла: прошлогодний союзник и любимый покупатель оружия становится сегодняшним врагом; сегодняшняя «зарождающаяся демократия» в прошлом году была террористическим государством. Единственная постмодернистская особенность этих сдвигов заключается в том, что государство даже не пытается дать какое-либо принципиальное оправдание; полная трансформация – это просто «изменение курса»<sup>41</sup>. Вторжение в Заир даже не требует упоминания о предыдущей поддержке того же режима.

---

<sup>41</sup> Noam Chomsky, *The Culture of Terrorism* (London: Pluto Press, 1989), esp. 74–111.

Глобальное движение к свободному рынку – другая сторона демократизации – позволяет постмодернистам забыть о необходимости дополнения этих старых, более идеологических форм. Таким образом, очень традиционное (непрерывное, линейное, центростремительное) турецкое отрицание геноцида армян было дополнено современной, постмодернистской версией. Это дискурс бессмысленного релятивизма, механистическое повторение глупой идеи о том, что всегда должна быть другая точка зрения<sup>42</sup>. Во имя «взгляда с обеих сторон» обширные исторические записи массовых убийств теперь превращаются в серию «обвинений», «чувств», «претензий» или «слухов».

### Чрезмерное признание

Задолго до наступления эпохи комиссий по установлению истины мы слышали банальную фразу о том, что общества, которые не помнят своего прошлого, обречены на ужасную судьбу. Нам говорят, что сегодня общество *не может* отрицать или уклоняться от позорных истин своей недавней истории – прошлые демоны всегда вернуться. Это политическая версия навязчивой идеи Фрейда о том, что невротик обречен на повторение. Признайтесь сегодня, иначе те же ужасы будут происходить и дальше.

Тем не менее, мы смутно не одобряем или даже высмеиваем людей, которые «живут прошлым», которые настаивают на «протаскивании прошлого» в сегодняшние реалии. С точки зрения нашей космополитической высоты, испорченной жизни и веры в примирение мы не можем понять глубину исторического недовольства. (Когда я был маленьким, я однажды показал отцу крошечную игрушечную машинку, которую купил. Он посмотрел на этикетку, а затем сжал машинку в руках. Все, что он сказал, было: «Запомни в следующий раз: мы не покупаем ничего сделанного в Германии».)

Противоположностью амнезии является буквальная неспособность что-либо забыть. Русский нейропсихолог Лурия изучал знаменитого мнемониста Шерешевского, который обладал необы-

---

<sup>42</sup> Terence Des Pres, «On Governing Narratives: The Turkish—Armenian Case», *Yale Review*, 75 (1986), 517–31; Gregory F. Goekjian, «Genocide and Historical Desire», *Semiotica*, 83 (1991), 211.

чайной способностью запоминать любые данные или списки и полностью вспоминать эту информацию десятилетие спустя<sup>43</sup>. Острое чувственное восприятие Шерешевского позволяло ему запоминать все образы и факты, но ему не хватало способности к абстракции. Он развлекал публику своими трюками с памятью, но никогда не мог жить обычной жизнью. «Мучимый кучей фактов, которые он мог забыть лишь огромным усилием воли, он нашел свой дар бременем»<sup>44</sup>.

Еще более мучительным является бремя памяти, которое несут миллионы людей, пережившие – как жертвы, наблюдатели и преступники – самые ужасные события, которые только можно себе представить. Они выжили, но обречены помнить и переживать. Клинический термин «посттравматическое стрессовое расстройство» безнадежно бесцветен для описания их мыслей и чувств, поскольку они бесконечно воспроизводят события, которые навсегда отметили их жизнь. Даже прилагая «огромные усилия воли» они не могут забыть. Некоторых вынуждают давать публичные показания, другие остаются во внутреннем театре, скрытые – иногда на всю жизнь – даже от своих семей и близких. Согласно теории Фрейда, человек сохраняет все воспоминания жизни; бессознательное не имеет чувства времени. Болезненное прошлое отнесено к бессознательному, скрыто и отодвинуто более мягкими экранирующими воспоминаниями. Аналитик расшифровывает эту «обратную мнемонику» – и воспоминание возвращается.

Эти личные мучения нелегко облегчить ни консультантам по горю, ни специалистам по памяти. Вы не можете заставить людей забыть. Но необходимы решительные политические действия, чтобы не дать более опасным формам чрезмерного признания прошлого стать движущей силой политических культур. Коллективные воспоминания становятся программами мести и ненависти, направленными даже против экранных объектов.

Историки успешно разоблачили «воображаемые сообщества» и «изобретенные традиции», которые являются движущей силой сегодняшнего этнического националистического насилия. Список

---

<sup>43</sup> Alexandr R. Luria, *The Mind of a Mnemonist* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1968).

<sup>44</sup> Patrick H. Hutton, «The Art of Memory Reconceived: From Rhetoric to Psychoanalysis», *Journal of the History of Ideas*, 48 (Sept. 1987), 372.

воспоминаний бесконечен – мученики, месть, распри, стыд, искупление, жертвы, обиды и страдания призраков. Язык коллективного отрицания в сочетании с риторикой «крови и принадлежности» предлагает две привлекательные стороны: свести счеты с прошлым и избавиться от любых остаточных ограничений на нынешнюю жестокость<sup>45</sup>.

Когда генерал Ратко Младич вошел в Сребреницу, его первым публичным заявлением была клятва отомстить «туркам» за сербов, которых они убили в этом районе. «Мы в Сребренице 11 июля 1995 года. Накануне еще одного великого сербского праздника ... мы преподносим этот город сербскому народу в дар. Наконец, после восстания дахий, пришло время отомстить туркам в этом регионе»<sup>46</sup>. Младич говорил о сегодняшних мусульманах так, как если бы они были турками-османами; «восстание дахий» – сербское восстание, которое турки подавили в 1804 году. Почти два столетия спустя он все еще жаждал мести. Воспоминания, «возвращенные» сербскими идеологами, еще старше: они подавлялись на протяжении шести столетий страданий (исторический эквивалент подавленных воспоминаний пациентов психиатрических клиник доктора Караджича?) со времени главного поражения в битве на Косовом поле в 1389 году.

### *Постмодернистское признание*

Историческая ответственность стала теперь вопросом международной повестки дня. Страны, которые десять лет назад даже не говорили о демократии, теперь выстраиваются в очередь, чтобы подписать декларации о правах человека и принять на вооружение риторику ответственности за прошлые нарушения. А более стабильные демократии вынуждены признать свои исторические грехи, такие как жертвы среди коренных народов, или их опосредованную поддержку далеких зверств. Вся история стала ревизионистской. Идея о том, что текущие политические програм-

---

<sup>45</sup> Michael Ignatieff, *Blood and Belonging: Journeys into the New Nationalism* (London: Vintage, 1994), and idem, *The Warrior's Honour: Ethnic War and the Modern Conscience* (London: Chatto & Windus, 1998).

<sup>46</sup> Цитируется по David Rohde, *Endgame: The Betrayal and Fall of Srebrenica, Europe's Worst Massacre since World War II* (New York: Farrar, Straus and Giroux, 1998), 167.

мы влияют на то, как рассматривается прошлое, сейчас банальна – и опасно близка к тезису о том, что объективное изложение прошлых событий невозможно. Подобно коллективному забвению, сегодняшние коллективные признания прошлого сохраняют как традиционные, так и постмодернистские модели. Отрицание истории сейчас «примиряется» с прошлым эпизодом, отрицая его преемственность с тем, что было раньше или с тем, что существует сейчас. История была прервана; что-то произошло; этого больше не происходит; так что нет смысла слишком много об этом говорить.

В течение двух десятилетий после аннексии Марокко территории Западной Сахары в 1975 году сотни сахарцев были арестованы и «исчезли». Их родственники были слишком напуганы, чтобы говорить открыто; власти отрицали, что им что-либо известно о задержаниях, похищениях или пытках. Тазмамент был секретным центром содержания под стражей в крепости на юге Марокко. За восемнадцать лет, с 1973 по 1991 год, здесь в ужасающих условиях содержались пятьдесят восемь политических заключенных. Половина умерла из-за условий их содержания; все ужасно страдали. Все это время, несмотря на частые обвинения со стороны правозащитных организаций, марокканское правительство полностью отрицало существование тюрьмы. Еще в июле 1991 года король Хасан публично заявил, что «Тазмамент существовал только в умах и воображении людей, имеющих злые намерения». Примерно в это же время последние заключенные умерли или были освобождены; их семьи никогда не были уведомлены об их судьбе; место, которого никогда не существовало, было закрыто. В июле 1992 года король Хасан заявил: «Это было место, использовавшееся для содержания лиц, направленных туда административно ... у него больше нет причин для существования. Глава закрыта. Оно существовало. Это больше не так. Вот и все»<sup>47</sup>. Знание без признания; страдания без компенсации; нарушение без ответственности; ужасы, которые не изгоняются; история без преемственности – идеальные постмодернистские акты.

Но наряду с таким мгновенным «забыванием» – прошлым, стираемым несколькими неподходящими словами – существует

---

<sup>47</sup> См.: Amnesty International, «Morocco: Tazmamant: Official Silence and Impunity» (London: Amnesty International, Nov. 1992).



мгновенное воспоминание. Это своего рода индустрия виртуальной памяти, торгующая китчевыми культурными продуктами и мгновенно увековечивающая память. Невозможно передать особое сочетание благочестия, фальши и откровенной безвкусицы в этих церемониях, фильмах, романах, стихах и иных формах искусства. Я начал долгий анализ этого жанра, но отказался, когда услышал о случае, выходящем за пределы всякого анализа: сборная США на Олимпийских играх 1996 года в Атланте выбрала Холокост в качестве темы своего выступления по синхронному плаванию. (Программа была отрепетирована, но позже отменена по причине «дурного тона».)

Если выйти за рамки виртуального поминовения, то сейчас как раз политическая эпоха мгновенных виртуальных извинений, вины, сожаления и изгнания нечистой силы. Японское правительство приносит извинения Корее за «женщин для утех» и получает просьбу извиниться за обращение с британскими военнопленными; новое лейбористское правительство приносит извинения за картофельный голод в Ирландии; Ельцин приносит извинения за убийство семьи Романовых; королева подписывает акт новозеландского парламента с извинениями перед маори; США заняты извинениями повсюду и за все – за истребление коренных американцев, рабство, эксперименты с наркотиками над чернокожими заключенными; Клинтон совершает поездку по Африке и извиняется за рабство, как только прибывает в государство, откуда доставлялись невольники; а Сухарто, уходя, просит индонезийцев простить его.

Эти постановочные раскаяния достаточно безобидны. По крайней мере, они не выдумывают мифическое прошлое, чтобы оправдать будущую месть и ненависть. Но признание коллективного нарратива (или подтверждение коллективных воспоминаний об этом нарративе) должно быть сделано ради него самого. То есть мы должны знать во что бы то ни стало и без компромиссов, а не настаивать на извлечении «урока». Любые принципиальные уроки о моральной ответственности всегда будут скомпрометированы политической реальностью. Лозунг Залакетта – «Вся правда и как можно больше справедливости» – является хорошим советом не потому, что истина лечит, а потому, что ни одному политическому институту, и в первую очередь государству, нельзя дове-

речь дозирование количества правды. Что касается справедливости, то ничего нельзя сделать, чтобы исправить последствия предыдущих злодеяний. Выбор стоит не между истиной и справедливостью, а между количеством прошлой несправедливости, которая является терпимой или же недопустимой. Забыть невозможно. Однако жить «за счет» этих ужасных воспоминаний, когда все общество съедается ненавистью и жаждой мести, должно быть неправильно. «Нужно помнить, – пишет Михник, – но нужно уметь переступить границу собственного страдания, нельзя настаивать на том, чтобы оставаться в мире собственного страдания»<sup>48</sup>.

На личностном уровне это звучит правильно. Но кто из нас настолько самонадеян, чтобы давать такой совет тому, кто лично пострадал? Однако мы не должны испытывать морального беспокойства, советуя людям, которые сами не стали жертвами, но настолько глубоко впитали коллективный менталитет выживших, что суррогатные воспоминания о прошлых страданиях становятся единственным, что придает смысл их жизни. К ним мы можем обращаться без каких-либо извинений: вместо того, чтобы оставаться запертыми в той самой лояльности, которая вызвала страдания, ищите некую космополитическую идентичность.

Отрицать ужасы прошлого аморально, но приносить коллективные извинения за прошлое целым группам людей (или их потомкам десятилетия или даже столетия спустя) нелепо. В июле 1999 года базирующееся во Флориде Лютеранское общество восточной миссии отправилось в «Поход примирения» по Ближнему Востоку, прослеживая путь крестоносцев от Кельна до Иерусалима. 400 туристов, приносивших извинения, в конечном итоге молились в Иерусалиме, чтобы отметить 900-летие с тех пор, как крестоносцы вырезали евреев, мусульман и христиан восточного обряда. Вместо того, чтобы торжественно их приветствовать и *благодарить*, религиозные и политические лидеры должны были бы отнестись к ним с иронией и насмешкой и приказать собрать свои кресты и вернуться домой.

---

<sup>48</sup> «More Humility, Fewer Illusions: A Talk between Adam Michnik and Jürgen Habermas», New York Review of Books, 24 Mar. 1994, 29.

## 10

## Признание Сейчас

В популистской психологии отрицание – это аномальное состояние, нечто, что нужно разоблачить, чему надо противостоять и что необходимо подорвать. Люди должны признать свои «тревожащие признания». Тогда каждый, от алкоголика, отрицающего реальность, до пассивного наблюдателя, сможет присоединиться к остальным и принять реальность. В обращениях Amnesty или Oxfam мир выглядит иначе. Отрицание – в смысле сокрытия информации о страданиях других – является нормальным положением дел. Именно поэтому столько усилий нужно приложить, чтобы вырваться из этих рамок. Людей не только не подталкивают к принятию реальности, но и вытаскивают из нее:

Мировоззрение «Amnesty-Oxfam» является лучшей социальной наукой. Вместо того, чтобы мучиться из-за того, почему происходит отрицание, нам следует принять это состояние как должное. Теоретическая проблема не в том, «почему мы закрываемся?» но «почему мы не делаем этого всегда?». Эмпирическая проблема состоит не в том, чтобы обнаружить еще больше свидетельств отрицания, а в том, чтобы обнаружить условия, при которых информация признается и на нее возникает реакция. Политическая проблема заключается в том, как создать эти условия. Это переосмысливает классические исследования послушания: вместо того, чтобы спрашивать, почему большинство людей так бездумно подчиняются власти, давайте снова и снова посмотрим на стойкое меньшинство – в конце концов, почти треть – которое отказывается подчиняться.

Принимая отрицание за норму, я не проявляю ни морализма, ни иронии. Это просто помогает увидеть «признание» как активную и несчастую противоположность отрицанию: когда люди обращают внимание? Когда они осознают значимость того, что знают? Когда

они решат действовать, пусть даже с личным риском? Эмоциональная логика программы Amnesty–Oxfam применима ко всей человеческой жизни: как превратить незнание в информацию, информацию в знание, знание в признание (осознание в признание, видение в понимание) и, наконец, признание в действие.

*Когнитивные* требования заключаются в том, чтобы знать, что происходит, удерживать информацию в зоне осознания, которую нелегко заблокировать, и найти подходящий фрейм – будь то такие общеупотребительные термины, как «злодеяние», исторический фрейм «зла» или правовая основа «нарушений прав человека». Прежде всего, список приемлемых выражений отрицания должен быть сокращен за счет отказа придавать достоверность наиболее пустым утверждениям. Эмоциональная потребность заключается в том, чтобы чувства – сочувствие, возмущение, стыд, сострадание – широко распространялись, не скрывались и были культурно доступны. Моральные чувства – это неправильно и с этим нельзя мириться, они должны быть известны и доступны в форме словарей признания («Мы не должны позволить этому повториться»). Призывы должны достигать этого порога: «Я не могу молчать; Я должен сделать что-нибудь с этим». И, наконец, культурные каналы должны быть на виду: чтобы подтвердить ощущение, что что-то можно сделать, сообщить вам, что это что-то представляет собой, и дать вам возможность это сделать. Должны быть легко распознаваемые пути между общей поддержкой, с одной стороны, и смутными намерениями «что-то сделать», и отправной точкой для того, что профессионалы называют «последовательным социальным действием», с другой стороны.

Если призыв к признанию исходит от Oxfam или Amnesty, становятся очевидными различные «последовательные социальные действия» – подписание поручения банку, усыновление ребенка, вступление в организацию, участие в пикете. Однако изображения зверств и страданий в средствах массовой информации редко указывают на направление действий. Это случайные тексты о случайных ужасах. В 1995 году средства массовой информации сообщили о политике Саддама Хусейна по массовому нанесению увечий армейским дезертирам, уклонистам от призыва и мелким правонарушителям. Им ставили клеймо на лбу, отрезали руки и уши. В официальном постановлении указывался точный размер

клейма Х, выжженного на лице раскаленным клеймом, помещенным между бровями. Багдадское телевидение показало напуганного мужчину, которому отрубили руку и выжгли клеймо на лбу за кражу телевизора и 250 динаров (около 30 пенсов). Аккуратно одетый диктор, в костюме и галстук, читает стих из Корана, затем зачитывает описание преступления и наказания. На его лице нет никакого выражения. Хирургически удаленная рука преступника демонстрируется зрителям и воспроизводится в международных средствах массовой информации. На цветной фотографии видно, как наказуемый держит культю руки и кричит в агонии<sup>1</sup>.

Что именно означало бы «признать» информацию такого типа? Все знают, что это правда; почти каждый, конечно, почувствует мгновенное отвращение. Но жить ежедневно с этой отвратительной истиной нежелательно и невозможно. Такое «признание» не только бесполезно, но оно сразу же трансформируется в ощущение, что «с такими вещами ничего нельзя поделать».

Коллективное признание – это другое дело: трансформация, которая превращает ранее нормализованные условия в социальные проблемы. Это влечет за собой радикальные последствия для жертв, правонарушителей и свидетелей.

Социальные институты, политические стратегии и даже новый язык созданы для того, чтобы подорвать отрицание, а также поощрять и направлять индивидуальное признание. Ситуация меняется, когда индивидуальное признание выражается без культурной поддержки или даже *противоречит* культурному этосу.

## Значения признания

Термин «признание» обычно используется в публичном дискурсе для описания официального подтверждения того, что ранее отвергнутые обвинения или подозрения действительно верны. «Да, – заявляет какой-то незадачливый чиновник на пресс-конференции, – мы отказываемся от наших предыдущих опровержений», ... мы подтверждаем, что это произошло, ... этого не должно было случиться, ... мы признаем, что утверждения были по существу

---

<sup>1</sup> Больше деталей в: Patrick Cockburn, «Campaign of Mutilation Terrorizes Iraqis», Independent, 13 Jan. 1995.

верными, ... мы создадим комиссию по расследованию». Причудливое здание официального отрицания, возникшее в прошлом месяце, больше не упоминается – как будто его никогда и не существовало. Подобные рассказы об официальном признании сейчас стали обычным явлением. Регулярный ритуал общественной жизни состоит в правительственных намерениях расследовать злоупотребления, факт которых ранее отрицался. Столь же регулярными являются истории о том, что общественные деятели открыто заявляют о своей непричастности к коррупции, подлости или сексуальным скандалам.

Меня больше интересуют обычные люди, которые приходят к признанию чужих страданий, а затем находят правильный образ действия или импровизируют свои собственные. Это похоже на народные сказки о превращении: медленное созревание или внезапное прозрение, а затем самоотверженное посвящение всей жизни. Вот четыре такие обыденные истории признания: басни о том, как *открыть глаза* или *не поворачиваться в другую сторону*. Первая – моя любимая, простая, но достаточно насыщенная, чтобы охватить всю последовательность. Вторая предполагает парадоксальные и непреднамеренные последствия официальных знаний. Третья – типичная история СМИ о «возмущении в действии». Четвертая рассказывает об альтруизме, который решительно идет вразрез с политическим течением.

### *Миссис Агнес Байс*

В 1991 году г-жа Агнес Байс была домохозяйкой и жила в Куилс-Ривер, маленьком городке недалеко от Кейптауна, в респектабельном районе, где живут африканеры, главным образом сторонники Консервативной партии<sup>2</sup>. Это было время массового политического насилия («беспорядков») по всей Южной Африке. Г-жа Байс видела в газетах сообщения о том, что белые активисты и полицейские провоцируют или совершают насилие в поселках, но не поверила тому, что прочитала. Однажды в сентябрьскую среду она заметила, что ее чернокожая прислуга Юнис Синдизи «не в

---

<sup>2</sup> Все цитаты взяты из: Linda Galloway, «Domestic Worker Opens Madam's Eyes On Violence», Cape Argus, 14 Sept. 1991, 4.

духе»: опаздывает на работу, нервничает и не может сосредоточиться. Миссис Байс спросила ее, что случилось, и миссис Синдизи сказала, что ей пришлось спать в кустах.

Позже в тот же день миссис Байс пошла в супермаркет, где и купила газету. В ней оказалась статья о члене парламента от Демократической партии, утверждавшем, что белые были замешаны в местном насилии. Она снова не поверила, но, вернувшись домой спросила Юнис, правда ли это, но та не захотела говорить. Миссис Байс объяснила ей: «Если ты не будешь говорить, как люди смогут что-то сделать?». Вот тогда Юнис рассказала, что произошло. Услышав ее историю, г-жа Байс позвонила в офис Демократической партии, связалась с организацией по мониторингу беспорядков, которая направила своего работника, чтобы зафиксировать показания г-жи Синдизи. Вот какой оказалась ее история.

В понедельник г-жа Синдизи находилась в своем доме в поселке Хайелитша с двумя детьми и двумя друзьями. Подъехала машина, похожая на те, что используются полицией. Из машины вышли двое мужчин в обычной одежде, с лицами, скрытыми балаклавами. Они начали стрелять в сторону ее дома. Одно из орудий «выпустило длинное пламя», которое попало в окно и подожгло дом. (Во время войны в Анголе применялись огнеметы.) Попавшие в ловушку жильцы кричали о помощи, и соседи выломали дверь. Остаток ночи госпожа Синдизи и ее дети провели в другой части поселка. В следующую полночь произошло то же самое. Они побежали в отделение полиции, откуда их прогнали. Теперь ночь они провели в лесу на окраине одного из поселковых кварталов. По словам г-жи Синдизи, подруга видела, когда один из мужчин стянул балаклаву, что он был белым.

Миссис Байс сначала отказалась верить рассказу Юнис. Потом «она сказала мне: «Поэтому нет смысла вам говорить», и я поняла, что это правда. Я наводила справки, разговаривала с людьми, пыталась что-то выяснить. Должны быть записи о том, кто пользуется полицейскими машинами, кто находится на службе или нет, но я все время натыкаюсь на каменную стену... Что-то, где-то ужасно не так. Кто это делает?». Г-жа Байс считает, что эти мужчины были либо полицейскими, либо белыми, развязавшими местные войны водителей такси.

Осознание происходящего стало шоком для миссис Байс. Попытки решить проблемы страны были бесполезны, поняла она, пока происходят подобные вещи. «Я ставлю себя на место Юнис и знаю, что если бы чернокожие люди ворвались бы в мой дом с таким научно-фантастическим оружием и сожгли бы мой дом, я была бы очень несчастна. Но имею ли я право злиться? Как мы можем ожидать, что чернокожие будут относиться к нам справедливо, если мы так поступаем с ними?»

Миссис Байс поняла, что может подвергнуть себя большим неприятностям со стороны соседей. «Это нормально. Что правильно, то правильно. Вы не можете накрыть голову одеялом и делать вид, что ничего не происходит».

### *Лена*

«Лена» была индонезийской студенткой моего коллеги<sup>3</sup>. В конце 1980-х она училась в школе, а затем в университете в Джакарте. В 1994 году она получила стипендию для обучения в американском университете. В первые несколько недель семестра она присоединилась к ассоциации индонезийских студентов. Среди раздаточных материалов, которые ей дали, была брошюра, подготовленная Министерством иностранных дел Индонезии и распространенная посольством. В брошюре содержались подробные инструкции о том, как противодействовать любой критике в адрес Индонезии, которую могли услышать студенты, особенно в отношении ситуации в стране с правами человека. Наибольшее внимание привлекли два «обвинения». Первое касался массовых убийств коммунистов и других политических оппонентов в 1964–1965 годах, когда власть захватил президент Сухарто. Второе было посвящено геноциду местного населения, начавшемуся сразу после индонезийского вторжения и оккупации Восточного Тимора в 1975 году. За первый год было убито около 60000 восточнотиморцев. Для противодействия этим двум утверждениям были предложены соответствующие методы отрицания (все они фигурируют в официальном дискурсе, описанном в главе 5). Лена была поражена, прочитав все это. Хотя она знала о критике внешней политики

---

<sup>3</sup> Я изменил ее имя и иные сведения о ней.



Индонезии, она имела мало информации об этих конкретных утверждениях. Она, конечно, знала, что в 1965 году произошел какой-то переворот, но ничего не слышала о массовых убийствах. Что касается Восточного Тимора, то она вспомнила, что в ее школьных учебниках по истории создавалось впечатление, что остров всегда был одной из провинций Индонезии. Она слышала кое-что о проблемах с коммунистическими партизанами, но уж точно не о том, что около 10 процентов тиморского населения были уничтожены центральными властями.

Как и миссис Байс, Лена обладала «пытливым умом». Она пошла в библиотеку и прочитала все, что смогла найти об этих эпизодах. Она разыскала даже больше материала. Спустя короткое время она убедилась, что обвинения по существу верны. Официальные опровержения подтолкнули ее к поиску истины.

### *Никки дю Приз*

Однажды вечером в первую неделю 1993 года Никки дю Приз, консультант по менеджменту, живущая в Эдинбурге, с ужасом смотрела выпуск новостей на 4-том канале. В нем сообщалось, что сербские силы в Боснии изнасиловали тысячи мусульманок. (Цифры до сих пор оспариваются.) «Это действительно поразило меня, я была возмущена», – вспоминала она несколько недель спустя.

Будучи еврейкой, она сразу увидела параллели между мусульманами Боснии и евреями нацистской Европы. Она также подумала, что мусульманские женщины будут испытывать особый ужас перед любой формой сексуального насилия. На следующее утро она все еще была возмущена и хотела что-нибудь сделать. Эта история не давала ей покоя, и она прочитала дополнительные материалы, которые убедили ее в том, что факты не были преувеличены и что изнасилования были преднамеренной политикой. Она связалась со старшим репортером новостного канала, который предложил ей поехать в Лондон с миссией по установлению фактов. В течение двух недель она основала благотворительную организацию BOSNIA NOW, чтобы помогать боснийским женщинам. Двумя членами комитета были мусульманки из азиатской общины Эдинбурга.

*Жан Батист Нтетуруйе*

В начале 1994 года Жан Батист Нтетуруйе был всего лишь стариком, жившим в районе Сонга в Бурунди<sup>4</sup>. Он заботился о тридцати восьми обитателях его дома, все женщины и дети. Само по себе это было не так уж и странно. За предыдущие месяцы ужасов в Бурунди было убито по меньшей мере 100 000 человек и почти миллион лишились крова. Только в районе Сонга за неделю до этого были убиты двадцать четыре человека и сожжено 150 домов. Бездомные теснились в домах родственников до тех пор, пока они не почувствовали себя в достаточной безопасности, чтобы вернуться в свои деревни.

Что было странно, так это то, что все гости в доме г-на Нтетуруйе были хуту, а он был тутси. На этих людей напала группа тутси из соседней деревни. Четыре члена семьи одной из женщин были убиты, дом сожжен, а дети бежали в лес и прятались там пока г-н Нтетуруйе не дал им приют. Он знал, что это опасно; почему тогда он их приютил? «Потому что они мои друзья». Он был достаточно взрослым, чтобы помнить резню 1965, 1969, 1972, 1988, 1991 и 1993 годов.

Эти четыре истории поднимают все те же вопросы, которые я задал в предисловии. К концу книги я подхожу с этими же вопросами. Возьмите миссис Байс. Почему она открыла глаза, когда подавляющее большинство ее соседей, друзей, родных и сограждан так долго делали со своим зрением что-то другое: держали глаза закрытыми, в упор не замечали, отводили взгляд, ничего не видели?

Да, мы можем говорить об истории: это были последние годы апартеида, когда белые были более открыты для перемен. Но почему *миссис Байс*, а не другие, подобные ей, или еще кто-то? Некоторые предполагают, что психологически она всегда была другой: у нее было детство в любви и заботе; социализация в ценностях инклюзивности; эго, которому не угрожают аномальные познания ... и так далее. Но это даже не похоже на «объяснение».

---

<sup>4</sup> Большая часть данных взята из: Richard Dowden, 'A Glimmer of Hope Flickers in the Wake of the Carnage', Independent, 15 Feb. 1994.

## Говорить правду

Прежде чем перейти к теориям альтруизма, рассмотрим четыре совершенно разных значения, в которых признание противопоставляется *отрицанию: самопознание, моральное свидетельство, сигнализация и жизнь вне лжи.*

### *Самопознание*

Состояние, противоположное психологическому отрицанию – *самопознание*. Чтобы стать целостным и исцеленным, вы должны взглянуть в глаза правде о самом себе. Начало истории этого идеального состояния ума, как показал Фуко, восходит к исповеди. Его современная история начинается с другого религиозного образа: тюрьмы начала девятнадцатого века, где каждый заключенный заперт в своей камере, и только Библия помогает в размышлениях. В конце концов он достигает самопознания, осознает ошибочность своего пути и становится моральным существом. Светская, терапевтическая версия – часть массовой культуры: терпеливый пациент, который лежит и лежит на кушетке психоаналитика, день за днем, год за годом. В конце концов, с помощью мудрого герра или фрау Доктор она достигает самопознания, осознает невротизм своего поведения и становится здоровым существом.

Без самопознания не может быть исцеления; действительно, самопознание лечит. Мы должны отбросить наши оборонительные стратегии и искаженное чувство реальности и посмотреть в лицо тому, что происходит на самом деле. Посвященный в Анонимные Алкоголики предлагает первичное выражение признания: «Я Сьюзен, и я алкоголик». Далее следует все остальное – как и в случае любой другой психологической проблемы. Мы живем в культурах отрицания других, но в культурах, где знание самого себя однозначно ценится.

Самопознание, понимание, самореализация и интеграция: такой была фрейдистская версия веры Просвещения в то, что истина сделает вас свободными. Фрейд, однако, никогда не отходил от своего иронического понимания того, что вас *объединяет именно раскол*. Психологи Нью Эйдж отказались от иронии. В их

популистской психической демократии каждый должен преодолеть отрицание: нарушить заговор молчания, признать недопустимое. Культовый швейцарский терапевт Элис Миллер критикует «чудовищные последствия» отрицания жестокого обращения с детьми<sup>5</sup>: нацизм и румынский коммунизм можно было бы предотвратить, если бы только было признано деструктивное семейное воспитание Гитлера и Чаушеску. Целые книжные магазины ломаются от такого рода экстрасенсорной пищи.

Спасение через открытие истины стало тупым и ускоренным – это не пожизненный духовный поиск, не пятидесятиминутный час пять дней в неделю в течение трех лет, даже не еженедельное собрание Анонимных Отрицателей. Все, что вам нужно, – это книга самопомощи, которая начинается со шкалы понимания из двадцати пунктов. Сначала вы ставите галочку, читаете книгу, проводите мысленную санитарную очистку, затем возвращаетесь к шкале, чтобы увидеть свой прогресс – то есть, сколько еще плохих вещей о себе теперь нужно признать.

Но самопризнания недостаточно. Нас поощряют (если на самом деле не принуждают) объявлять другим – желательно публично – что мы достигли этого состояния. Это заявление (свидетельство, исповедь, признание) является реальным доказательством признания. Сначала нам нужно было «войти»; теперь мы должны «выйти». Мы делаем это охотно, даже с энтузиазмом: пусть все это выставляется, рассказывается, как оно есть на самом деле. Однако это не тот путь, который интеллигенция рекомендует *для себя*. Интеллигенты достигли пост-постфрейдистского дискурса, в котором самопознание представляет собой совершенно ироническую концепцию. Не существует ни «я», которое нужно познать, ни «не»-знания, которое не подлежит сомнению. Но по мере того, как постмодернистские интеллектуалы погружаются в свою дезинтеграцию и фрагментацию, представители среднего класса все еще уверены, что освобождение для них означает целостность; целостность означает «познай самого себя»; «познай себя» означает «покажи и скажи себе».

---

<sup>5</sup> Alice Miller, *Breaking Down the Wall of Silence: The Liberating Experience of Facing Painful Truth* (New York: Meridian, 1993).

Коллективное знание, особенно о *таких, как вы*, и о вашем положении в социальной вселенной, когда-то предлагало совершенно иные перспективы: политическое освобождение, социальную справедливость. Это был марксистский идеал борьбы с «ложным сознанием». Для Франкфуртской школы фасад отрицания поддерживался репрессивной толерантностью: разоблачить нечто гораздо более сложное, чем очевидную ложь и мистификации.

### *Моральный свидетель*

Моральный свидетель ищет тихого, но достоверного знания того, что сильные мира сего отрицают и чему предпочли бы не быть свидетелями. В первоначальном идеале квакеров знания и правдивость сами по себе были ценностями. Идея раздачи видеокамер наблюдателям за соблюдением прав человека более утилитарна: видеодоказательства позволяют привлечь к ответственности. Ряд молчаливых свидетелей – с видеокамерами в руках или без них – наблюдающих за правонарушениями, часто подвергающих себя риску, представляет собой мощный образ. Они являются активными наблюдателями – бессильными вмешаться, но напоминающими преступникам, что не все одобряют происходящее или вступают в сговор, и что их будущим отрицаниям будут противостоять новые свидетельства.

Кроме того, идеал добровольного свидетельствования как морального поступка сам по себе был более амбициозной надеждой на то, что организованное присутствие других пристыдит преступников. Эту веру не следует отбрасывать. Однако во многих подобных случаях в Израиле – наблюдая, как солдаты взрывают палестинские дома или сносят бульдозерами их оливковые сады, чтобы освободить место для поселения – я не могу припомнить, чтобы видел стыд на лице какого-либо солдата. Даже если свидетелей заметили и допустили их присутствие, их можно игнорировать. Более того, они могут быть представлены в качестве преднамеренно включенной части сцены, даже в качестве доказательства того, что властям нечего скрывать.

*«Закладывать»*

Идиома «закладывать» или «стучать» (blowing the whistle) слишком банальна, чтобы описать агонию, стоящую за таким признанием, или его драматические последствия. Академические определения еще хуже: «раскрытие членами организации незаконных, аморальных или незаконных действий, находящихся под контролем их работодателей, лицам или организациям, которые могут принять меры, чтобы остановить правонарушения»<sup>6</sup>. Термин «работодатели» не подходит для высших армейских или полицейских офицеров; раскрытие информации может быть направлено на то, чтобы сказать правду, без особой надежды остановить правонарушения. Но мы поняли суть.

Вот гипотетический пример. Солдат запаса временно призван на армейскую службу в центре содержания подозреваемых в политических преступлениях, ожидающих суда. Его обязанность – конвоировать их в отделение допросов Секретной службы, а затем обратно в камеры. После некоторого периода неопределенности – полузнания, незнания, нежелания знать – он понимает, что задержанные подвергаются физическому насилию (у него в голове может быть, а может и не быть слово «пытки»). Он слышит их крики, видит, как они истекают кровью; однажды ему приходится тащить заключенного, который не может идти сам. Но он молчит и ничего не делает. Возможно, он никогда не подвергает сомнению авторитет власти; задержанные принадлежат к униженной этнической группе; их страдания ничего для него не значат. Или у него бывают моменты беспокойства, но он чувствует себя связанным старой преданностью и не хочет позорить себя и свою семью. Или же он все время несчастен и испытывает моральное отвращение – но не знает, что думать или делать, и не знает о культурных традициях, поддерживающих инакомыслие. Схема отрицания остается нетронутой.

Но кое-что может стать причиной признания: задержанный умирает на допросе; подруга солдата рассказывает ему о газетной статье, в которой описываются обвинения в пытках и восхваляется

---

<sup>6</sup> Marcia P. Miceli and Janet P. Near, *Blowing the Whistle* (New York: Lexington Books, 1992), 45.

армейский врач, допустивший утечку информации; правозащитная организация распространяет листовки с указанием анонимной горячей линии («путь к раскрытию информации»). Наш солдат связывается с журналистом; в результате у того получается более достоверная статья. Если армия установит личность солдата, они могут попытаться дискредитировать его или наказать. Он может остановиться, снова замкнуться в молчании или, наоборот, продолжить свою историю.

Мы понятия не имеем, почему и как выбирается один из этих столь разных путей. Несомненно, социальные психологи правы в том, что ситуационные различия важны. Обычно разоблачение более вероятно, когда правонарушение очевидно, и менее вероятно, когда присутствует много других наблюдателей. Нет, не похоже, что есть что-то специфическое, отличающее личность, сообщающую о нарушениях (закладывающую своих)<sup>7</sup>. Мы не знаем, обладают ли информаторы «расширенным чувством ответственности». Мы знаем, что стереотип о недовольных сотрудниках или бывших сотрудниках ошибочен: согласно имеющимся данным, информаторы более удовлетворены своей работой, больше зарабатывают и демонстрируют более высокие результаты, чем другие члены организации.

Хотя сведения, раскрываемые информаторами, иногда были секретными, а их обнародование ошеломляющим, чаще всего они были «секретом Полишинеля» или относились к сумеречной зоне полужнания. Действие раскрытия состоит в том, чтобы «пробудить внимание апатичной общественности к опасностям, о которых все знают, но не полностью признают»<sup>8</sup>. Длительный период нормализации и отрицания часто прерывается внезапным моментом признания: «Хватит ... Я больше не могу молчать ... Это больше, чем я могу вынести ... я не могу жить с этим знанием». Ранее молчаливые наблюдатели, достигшие такого прозрения, могут быть людьми, уже идеологически настроенными на беспокойство по поводу происходящего, но слишком сомневающимися в необхо-

---

<sup>7</sup> Ibid., 133-5.

<sup>8</sup> Sisela Bok, *Secrets: On the Ethics of Concealment and Revelation* (New York: Vintage Books, 1982), 211.

димости высказаться. С другой стороны, это люди, которые никогда не видели ничего плохого и даже вступали в сговор, но затем внезапно открыли глаза. Последние типы считаются более заслуживающими доверия: их нельзя упрекать за то, что они намеренно «высматривают» что-то.

Пути усвоения информации о нарушениях, особенно для людей, проявляющих смутную симпатию, аналогичны способам обращения с гуманитарными призывами. Примерно семь или восемь сообщений (устойчивое, хотя и апокрифическое правило) будут выброшены из сознания или рационализированы. Затем еще одна фотография или история – не лучшая и не более душе-раздирающая, чем другие – даст последний толчок.

### *Жизнь вне лжи*

Бывают такие личные моменты, когда вы больше не можете выносить самого себя; вы пошли на слишком много компромиссов, слишком долго притворялись, что все в порядке; вашей недобросовестности пора положить конец. Есть и такие периоды истории, которые начинаются незаметно, когда некий безличный импульс волшебным образом позволяет многим личным моментам многих персон совпасть, когда целое общество «выходит» и признает истину. Это то, что Гавел называет «жить вне лжи».

Я помню не столь драматичную индивидуальную историю. Наоми, женщина лет сорока, была членом прогрессивной еврейской дискуссионной группы в Сан-Франциско, с которой я беседовал в 1991 году об израильско-палестинском конфликте. Еще со студенческих лет она принимала активное участие в прогрессивных и левых движениях. Но она обнаружила, что ее еврейские корни и зачаточные сионистские симпатии не позволяют ей применять идентичные моральные стандарты к Израилю. Интифада стала заголовком новостей с 1988 года, на телеэкранах было показано, как израильские солдаты избивают палестинцев в секторе Газа. Наоми почувствовала, что это невозможным смотреть. Эти изображения были слишком тревожащими; они не соответствовали тому, во что она всегда верила. В глубине души она знала, что критика Израиля была справедливой, и находила отрицания правительства неубедительными. Но она не хотела нарушать молчание. Ей было постоянно



стыдно, и она перестала разговаривать со своими бывшими политическими товарищами, а также с более консервативными еврейскими друзьями и семьей. Ей было плохо – физически и эмоционально. Постепенно ее снова потянуло к просмотру телевизионных новостей, а затем она начала одержимо читать источники, более критически настроенные по отношению к Израилю. После двух непростых лет она присоединилась к этой дискуссионной группе. Наоми знала, что она все еще не «воспринимает» все, но чувствовала себя «морально чище», потому что перестала лгать себе и другим.

Помните, как бакалейщик из рассказа Гавела вывесил в своей витрине лозунг «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!». Он никогда не задумывается о значении лозунга; так и должно быть. Он стал участником тайной игры отрицания, политической версии Лаингиана или семьи алкоголиков. Все живут во лжи. Но представьте себе, предлагает Гавел, что что-то в бакалейщике «щелкает»<sup>9</sup>. Он перестает вывешивать этот лозунг. Он начинает говорить то, что думает на самом деле, и поддерживать людей по совести. Теперь система должна его наказать. Он совершил нечто более серьезное, чем индивидуальное правонарушение: он нарушил правила игры, выставив ее как игру: «Он продемонстрировал, что жить во лжи – значит жить во лжи»<sup>10</sup>. Король, как все знали с самого начала, был голым. Люди открывают, что можно жить внутри истины, найти подавленную альтернативу недостоверному, обнажить «скрытую сферу жизни». «Власть бессильных» Гавела – это сила истины, которая может вырваться наружу в любой момент. Тогда отдельные люди, такие как бакалейщик, могут оказаться частью внезапного взрыва волнений во всем обществе.

Для этих людей – Наоми, бакалейщика, миссис Байс, Лены – признание – это сильная связь между «что-то сломалось» и «пытливым умом». Разовое вмешательство теперь может стать образом жизни. Люди становятся целеустремленными, мотивированными, неспособными вернуться к своей прежней жизни или снова закрыть глаза. Наоборот, им нужно вновь рассказать свои истории о

---

<sup>9</sup> Vaclav Havel «The Power of the Powerless», in *Open Letters: Selected Writings, 1965–1990* (New York: Vintage Books, 1992), esp. 146–8.

<sup>10</sup> Ibid., 147.

злодеяниях. Они становятся постоянными моральными свидетелями, рассказывая свои истории, как Старый Моряк.

Есть люди, которые, зачастую с самого раннего возраста, не способны отрицать. Их моральная и эмоциональная чувствительность настолько тонко настроена, их мембраны настолько тонки, что они все распознают, остро улавливают и даже «чувствуют» агонию других. Сама мысль о том, что страдает кто-то другой, буквально невыносима. Более того, они, похоже, не осознают обычных границ крови и принадлежности. Они отдадут приоритет семье и друзьям, но страдания тех, кто находится далеко, ощущаются в равной степени. Если они видят ребенка, униженного матерью и плачущего на публике, это оставляет эмоциональный след, который проходит через все существо и сохраняется как остаточный образ.

Это люди, перегруженные информацией; они не способны фильтровать ужасы, образы которых обрушиваются на них; их внимание неизбирательно. Если они не найдут какой-либо социально приемлемый способ направить или заглушить свою острую чувствительность, они будут жить в замкнутом пространстве, наполненном изображениями зверств. Их всепоглощающее отождествление со страданиями других сочетается с постоянным ощущением собственной беспомощности. Некоторые из них могут организовать свою общественную жизнь вокруг внутренних забот. Как художники, журналисты или фотографы, они создают изображения страданий. Или же, будучи профессионалами или волонтерами, они проводят большую часть своей жизни, пытаясь облегчить страдания других. Это не означает, что все гуманитарные работники являются преданными альтруистами. Предполагаемые чрезмерные признания – это фигуры популярных насмешек, светские версии Матери Терезы. Для циничных консерваторов это «либералы с кровоточащим сердцем». Для изоциренных радикальных социологов они являются вуайеристами страданий, порнографами насилия, эксплуататорами эксплуатации, торговцами нищетой. Для мудрых психоаналитиков такие люди сублимируют, проецируют, подавляют, мазохистские и, конечно же, «отрицают» собственное погружение в страдание. Они переживают не лучшие времена.

На самом деле, я никогда не встречал такого человека и не слышал о подобном в реальной жизни. Легковерный сентименталист, который видит только хорошее и которого постоянно

обманивают, – это фигура прошлого. Еще более обманчивой является идея о том, что гуманитарные работники чувствуют себя ответственными за решение всех проблем в мире. Напротив, по-настоящему эффективные люди сознательно избирательно подходят к решению проблем, за решение которых они берутся. «Делать что-то» возможно только в том случае, если они не позволяют себе быть подавленными – или не вступают в романтическую идентификацию с выбранными ими жертвами, которая затуманивает их суждения и притупляет чувство справедливости.

Существует парадоксальный риск отрицания: вы не можете вынести еще одной ужасной истории, вы пропускаете материалы дела, не читая подробностей, вы боитесь телефонного звонка о том, что еще одного задержанного пытаются. Это настоящее выгорание, онемение от слишком долгого пребывания на работе и слишком частого наблюдения за одними и теми же вещами. Противоположная опасность – хроническое повышение чувствительности. Военный фотограф Дон Маккаллин утверждает, что его чувствительность осталась прежней или даже возросла: «После всех этих войн я вместо того, чтобы ожесточиться, стал мягче. С такими людьми, как я, случилось так, что мы стали психологическими калекками. Мы помещали себя в ужасные ситуации, и каждый раз, когда мы там оказывались, с нас снимали еще один тонкий слой кожи. У меня все нервные окончания болтаются снаружи»<sup>11</sup>.

Нет простого способа сделать это правильно: нервные окончания притуплены или постоянно чувствительны. Но есть простые способы ошибиться. Американский еврейский духовный лидер возглавляет 150 членов своего Ордена Миротворцев в поездке «свидетельства» и «увлеченной духовности»: недельные «духовные практики» в Освенциме-Биркенау<sup>12</sup>.

---

<sup>11</sup> Interview in Signature, Jan. 1992, 10.

<sup>12</sup> Bernie Glassman, Bearing Witness: A Zen Master's Lesson in Making Peace (New York: Bell Tower, 1998). Наиболее яркие моменты включали сон в музее Освенцима, медитацию в лагере, произнесение Кадиша у стены казни, прогулки по железнодорожным путям, пение «клятв миротворца» (например, «Я клянусь исцелить себя и других» и «Я клянусь быть единым») и складывание листов бумаги с именами убитых там людей (из книг о смерти) в красную лакированную коробку на заранее выбранном месте.

## Вмешательство: просоциальное поведение и альтруизм

Реакции, противоположные пассивному наблюдению, проявляются в формах *альтруизма* (помощь кому-то другому, без ожидания вознаграждения), *просоциального поведения* (любое действие, которое помогает или предназначено для помощи другим) и *позитивной морали*<sup>13</sup>. Является ли альтруизм по своей сути полезным и приносящим удовлетворение? Существуют ли только альтруистические действия или есть последовательно альтруистические личности? Почему некоторые люди с большей вероятностью помогут, чем другие? Поощряют ли некоторые общества более просоциальное поведение, чем другие? Можем ли мы создать условия для большего альтруизма?

Для начала позвольте мне дополнить мои четыре первоначальных истории рассказом о более известном герое, Хью Томпсоне<sup>14</sup>. 16 августа 1968 года резня в Май Лай, как ее стали называть впоследствии, уже в самом разгаре. Возглавляемый лейтенантом Келли и под командованием капитана Эрнеста Медины взвод убивает около 350 мирных жителей: детей, женщин и стариков. Им было приказано уничтожить врага в деревне, но партизаны-вьетконговцы уже исчезли. Тем не менее, они не останавливаются, как утверждают некоторые потому, что приказ был неоднозначным. Старший уорент-офицер Хью Томпсон и его бортовой стрелок прибывают на своем наблюдательном вертолете и зависают над деревней. Томпсон замечает нечто странное: повсюду лежат трупы, похоже, это женщины и дети. Он продолжает кружить над деревней: «Я увидел некоторые вещи, о которых в тот момент я не мог понять, почему они произошли ... *Я не мог понять*». Никакие объяснения не имеют смысла – почему тела так сложены?

---

<sup>13</sup> См.: Ervin Staub et al. (eds), *Development and Maintenance of Prosocial Behaviour: International Perspectives on Positive Morality* (New York: Plenum Press, 1984).

<sup>14</sup> Цитируется по: Mary McCarthy, *Medina* (London: Wildwood House, 1973). Более подробный отчет о резне в Май Лай и последовавших за ней судебных процессах см.: Michael Billington and Kevin Sims, *Four Hours at My Lai* (Harmondsworth: Penguin, 1993).

Он снижается и видит капитана, подходящего к умирающей женщине с раной в животе. Капитан толкает ее ногой, отходит и стреляет в нее. Томпсон приземляется и пытается образумить Келли. Затем он спускает первый из своих спасательных трапов, подбирает раненых жителей деревни и доставляет их в госпиталь.

Тревожный факт, отмечает Маккарти, заключается в том, что у обычного человека с «обычным интеллектом», каким является Томпсон, вид тел вызвал вопросы, на которые обычные люди хотели бы получить ответы. «Трудность Томпсона, его озадаченная неспособность *«понимать»* были своего рода спасительной тугодумностью»<sup>15</sup>. Все остальные, от Келли и Медины до генералов, знали реалии войны во Вьетнаме. Этот инцидент их не удивил; все знали, что это грязная война; зверства, столь же ужасные, как и Май Лай, случались часто. Возмущение Томпсона и его призывы к вышестоящим властям остановить бойню показали, сколь мало он понимал. «Его неверие в то, что он видел собственными глазами, сопровождалось трогательной верой в готовность его начальства исправить то, что, по его мнению, *должно* было быть ужасной ошибкой»<sup>16</sup>. Сельское происхождение Томпсона – обычного южанина с традиционной верой в правила войны – сделало его «культурно отсталым», неспособным понять, что происходит. Ни он, ни его девятнадцатилетний стрелок Ларри Колберн (который реагировал так же, как и он) не были против войны по моральным или политическим соображениям. Это были два «обычных человека», которые вообразили, что происходит что-то необычное.

Это имеет некоторые странные последствия для теории отрицания. Традиционная интерпретация верна: Келли, его люди из роты «Чарли» и его ближайшие офицеры определенно сразу же начали отрицать; у них не было очень уж пытливого ума. Но отрицание означает отрицание, отказ верить в то, что происходит. Архетипический отрицатель – это идиот, который, кажется, не способен увидеть, не говоря уже о том, чтобы принять реальность, очевидную для всех остальных. Но именно это и происходит с Томпсоном: его признание и есть его отказ верить в то, что он видит. Его псевдоглупость – это его «трогательная вера», что все не

---

<sup>15</sup> McCarthy, Medina, 77.

<sup>16</sup> Ibid., 78.

так, как должно быть. Отрицание – это не невротический защитный механизм, а здоровое признание того, что все вокруг совершенно безумны. В этом смысле заявление типа «Я не могу поверить в происходящее» является, как это ни парадоксально, не выражением отрицания, а сигналом о том, что было признано что-то тревожное или особенное.

Но почему, живя внутри и зная о той же несправедливости, большинство людей пассивны и лишь у немногих возникает желание помочь? Исследования сравнивали социальные условия, которые приводят к активной помощи (или менее сговорчивому молчанию) в одних обществах, а не в других – например, очень разные степени сотрудничества в оккупированных странах Европы<sup>17</sup>. Некоторые объяснения очевидны (например, антисемитская традиция), но не могут объяснить различия между Латвией, Литвой и Польшей, где около 90 процентов евреев были убиты, и Данией, где 90 процентов были спасены. И почему Норвегия, Нидерланды, Франция, Болгария и Венгрия занимают разные позиции в этом индексе сговора?<sup>18</sup> Кроме того, существуют различия внутри одного и того же общества: мрачная история сотрудничества в Виши по сравнению с замечательной историей Ле Шамбон, маленькой гугенотской деревни, где под руководством ее пастора были спасены и укрыты сотни евреев<sup>19</sup>.

Существуют мотивационные различия даже внутри одних и тех же групп людей, спасавших евреев<sup>20</sup>. Многие реагируют на мнение своей влиятельной группы; другие реагируют более сочувственно, охваченные болью тех, кому они помогают; лишь незначительное меньшинство приходит к такому решению из-за набора автономных моральных принципов. Существует мало

---

<sup>17</sup> См.: Helen Fein, *Accounting for Genocide* (New York: Free Press, 1979).

<sup>18</sup> Краткое изложение см. в: Raul Hilberg, *Perpetrators Victims Bystanders: The Jewish Catastrophe, 1933–1945* (New York: Harper Collins, 1992), 75–86, 212–24.

<sup>19</sup> Philip Hallie, *Lest Innocent Blood be Shed: The Story of the Village of Le Chambon* (New York: Harper and Row, 1979).

<sup>20</sup> Samuel P. Oliner and Pearl M. Oliner, *The Altruistic Personality: Rescuers of Jews in Nazi Europe* (New York: Free Press, 1988); «Righteous People in the Holocaust», in Israel Charny (ed.), *Genocide: A Critical Bibliographical Review*, vol. 2 (London: Mansell, 1991), 363–85. Олинеры изучили данные 406 спасателей, которых Яд Вашем назвал «Праведными неевреями» за спасение жизней евреев в оккупированной Европе.

доказательств существования «альтруистической личности». Основным отличием «спасателей» от контрольной группы «неспасателей» из той же страны была «экстенсивность» спасателей. Они были более склонны привязываться к другим, брать на себя ответственность за них и действовать инклюзивно по отношению к широкому кругу людей. «Участие, целеустремленность, забота и ответственность являются отличительными чертами обширных людей. Диссоциация, отстраненность и исключительность являются отличительными чертами ограниченных личностей»<sup>21</sup>. «Ограниченность» пассивных наблюдателей происходит из качеств личности, которая не видит большую часть мира за пределами своих собственных границ. Осознавая в малой степени потребности других, они дистанцируются от требований более широких отношений. Напротив, «экстенсивность» спасателей означала заботу о других, помимо ближайших родственников и сообщества, ощущение себя частью общего человечества, чувствительность к моральным нарушениям и даже поиск возможностей помочь. «Уже более глубоко и широко привязанные к другим, им трудно удержаться от действия. Уже более склонные включать посторонних в сферу своих интересов, они не находят причин исключать их в случае чрезвычайной ситуации»<sup>22</sup>.

*Они не нашли причин исключать их:* это, я считаю, имеет решающее значение. Эти люди реагировали инстинктивно: они не искали обоснований или нейтрализаций, почему бы не помочь. Они были весьма сбиты с толку другими свидетелями. Спасатели знали, что большинство их сограждан апатичны или фактически отказались помочь. Тем не менее, чтобы преуменьшить свою уникальность, они утверждали, что большинство людей, обратившихся за помощью, ответили бы одинаково: «Я не сделал ничего необычного; на моем месте любой сделал бы то же самое». Однако ощущение себя неспособным не помочь – это особая личная черта их характера. Интервью Фогельмана с примерно 300 спасателями – охватывающими альтруистические действия от одного-единственного жеста (благодетение, предложение приюта на ночь) до многих лет принадлежности к сети сопротивления и спасателей –

---

<sup>21</sup> Oliner and Oliner, *Altruistic Personality*, 186.

<sup>22</sup> *Ibid.*, 251.

обнаруживают аналогичную двойственность при сравнении их с другими<sup>23</sup>. С одной стороны, существует постоянное ощущение «банальности добра». Большинство спасателей никогда не думали о себе в героическом смысле; они были просто обычными людьми, делавшими то, что нужно было делать в то время. Позже они, казалось, были озадачены тем, что вокруг них подняли такой шум. Но, оглядываясь назад, они и сами не могли вполне понять своего поведения – как могли такие простые люди, как они, пойти на такой риск? С другой стороны, они кажутся весьма неординарными людьми. Акт спасения является «выражением ценностей и убеждений сокровенной сути человека... Это «я» спасателя было и на протяжении многих лет оставалось неотъемлемой частью их личности»<sup>24</sup>. Это не адаптируемое, ситуативное «я» – просто противоположность тому «я», которое приспосабливается к ужасным ситуациям посредством безразличия и послушания, – а, скорее, глубоко внутреннее «я».

Были упомянуты и другие мотивы, такие как симпатия, дружеские узы, политические, религиозные убеждения или этические суждения о ценности жизни. Но *банальность добро-детели* – самая постоянная тема: действовать с «здравым смыслом», человеческой порядочностью; не думать о себе как о чем-то особенном; рассматривая ситуацию как не оставляющую им выбора; помогать, потому что это было просто очевидным поступком, продолжающим рутинную мораль, которую они усвоили и практиковали в своих сообществах и семьях.

Любое превращение из наблюдателя в спасателя требует гораздо больше усилий, чем в притче о добром самаритянине. В оккупированной Европе наказание за помощь евреям было суровым. Спасатели рисковали своей жизнью и жизнью своих семей, о чем никогда не просили доброго самаритянина (не говоря уже о субъектах исследования, чье «помогающее поведение» заключалось в том, чтобы указать дорогу заблудившемуся незнакомцу). Как и в случае с Джеймсианским религиозным обращением, существуют разные повествования о трансформации: длительный, постепенный

---

<sup>23</sup> Eva Fogelman, *Conscience and Courage: Rescuers of Jews during the Holocaust* (New York: Doubleday, 1994).

<sup>24</sup> *Ibid.*, p. xviii.



процесс; драматическая, преобразующая встреча; внезапное прозрение; особая «способность». Часто возникает своеобразное ощущение, что ты видишь знакомые предметы новыми глазами. У одной опрошенной женщины, Гитты Бауэр, в течение длительного периода были личные сомнения по поводу режима. Затем она увидела «Хрустальную ночь». «Раньше все это было в ее периферийном зрении, теперь она действительно это видела. Способность ясно видеть, снять покров нацистских эвфемизмов и осознать, что убивают невинных, лежит в основе того, что отличает спасателей от случайных свидетелей»<sup>25</sup>. Подобно пытливому уму, эта «способность видеть ясно» – переход от периферического зрения к центральному, видение через «прозрачную кисею» эвфемизмов – имеет решающее значение.

Альтруизм является аномалией теории рационального выбора в том очевидном смысле, что альтруисты определяются именно как люди, которые действуют, не ожидая вознаграждения. Ответ теории заключается в том, что вознаграждения просто скрыты: расчет затрат и выгод учитывает вознаграждения в виде психического удовлетворения, взаимности и одобрения группы сверстников. Но эта модель просто не подходит для спасения в оккупированной Европе. Недавнее исследование (небольшой группы из тринадцати спасателей) не обнаружило никаких признаков корыстных рациональных действующих лиц<sup>26</sup>. Индивидуальные решения спасателей помочь евреям не были результатом какого-либо сознательного расчета затрат и выгод. Спасатели следовали последовательному образу жизни, не поддающемуся никаким рациональным объяснениям выбора: у них не было необходимости искупать прошлые ошибки; не было никаких свидетельств ни «товарного альтруизма» (действия, предпринимаемые ради материальной выгоды или почестей), ни «альтруизма участия» (действия,

---

<sup>25</sup> Ibid., 56.

<sup>26</sup> Kristen R. Monroe et al. «Altruism and the Theory of Rational Action: Rescuers of Jews in Nazi Europe», *Ethics*, 101 (1990), 103–22. Бадхвар соглашается с тем, что модель рационального выбора, основанная на личных интересах и вознаграждении, неверна, но утверждает, что альтруистические действия корыстны в том смысле, что они необходимы для чувства полной моральной ценности спасателей и удовлетворения их чувства собственного достоинства (Neera Kapur Badhwar, «Altruism versus Self-Interest: Sometimes a False Dichotomy», in Ellen Frankel Paul et al. (eds), *Altruism* (Cambridge: Cambridge University Press, 1993), 90–117).

предпринимаемые для того, чтобы чувствовать себя хорошо); не было никакой надежды на вознаграждение.

Альтруизм возник скорее из особого когнитивного мировоззрения – ощущения себя как части всего человечества («инклюзивность»), а не персонажа, привязанного к конкретным интересам семьи, сообщества или страны. Признание того, кем вы являетесь, было более важным, чем верность какой-либо абстрактной моральной или политической программе: помогайте всем, кому можете, когда вас об этом просят. Благодаря такому сильному чувству идентичности спасателям не нужно было принимать взвешенное решение, оценивая варианты и выбирая лучший. Они действовали спонтанно, как будто альтернативной реакции не было. В каждом исследовании зафиксированы одни и те же утверждения: «На самом деле нельзя поступать иначе»; «Что еще я мог сделать?». А затем: «Это был не вопрос рассуждений... Были люди, нуждавшиеся в помощи, и мы им помогли... Люди всегда спрашивают, как мы начали, но мы не начинали. Началось ... очень постепенно. Мы никогда особо не задумывались об этом»<sup>27</sup>. Однако, как отмечает Бадхвар, утверждения «спасателей», что у них не было другого выбора, кроме как помочь, должны пониматься как означающие, что они чувствовали, что другой выбор *для них* невозможен, а не то, что они считали, что других вариантов не существует»<sup>28</sup>. И далее: «Даже после того, как спасатели были вынуждены оценить затраты, у спасателей все еще не было сознательного выбора; скорее, это было признание того, что они были людьми определенного типа и что это означало, что они *должны* были вести себя определенным образом»<sup>29</sup>.

Это признание могло быть сделано относительно почти всех активистов, которых я знал. Ничто не объясняет его биографического происхождения или то, почему именно эти люди, а не другие, обладают такой «инстинктивной экстенсивностью». На социологическом уровне мы не знаем, способствуют ли одни политические культуры этому состоянию больше, чем другие; или, на психологическом уровне, почему оно появляется у этого конкретного меньшинства в пределах одной и той же культуры.

<sup>27</sup> Oliner and Oliner, *Altruistic Personality*, 216.

<sup>28</sup> Badhwar, «Altruism versus Self-Interest», 98.

<sup>29</sup> Ibid., 118.

Отличаются ли женщины от мужчин в этом отношении? Переносится ли эта реакция последовательно на другие ситуации? Некоторые противоречия хорошо известны: люди, которые в общественной сфере альтруистичны и глубоко сострадательны в гуманитарных вопросах, в личной жизни являются невнимательными родителями, нарциссическими друзьями и безразличными ко всем нуждам других. И нам не нужно заходить так далеко, как «раскол» Лифтона (нацистские врачи, которые так любят своих детей и собак), чтобы найти противоположное: людей, которые являются заботливыми родителями, самоотверженными друзьями, чувствительными и укорененными в своем собственном сообществе – но совершенно безразличны к обращениям извне своего непосредственного круга.

Это поднимает тревожный вопрос. Обладают ли выжившие и жертвы, люди, которые сами ужасно пострадали, особой чувствительностью к страданиям других? Или, наоборот, их опыт был настолько всепоглощающим, что они мало сочувствовали другим, чье положение менее серьезно? В любом случае веских доказательств не существует. Некоторые ранние исследования переживших Холокост, живущих в Америке, создавали образ людей, которые не могли отвести взгляд, как бы им ни хотелось, когда на экране появлялись изображения Биафры и Вьетнама<sup>30</sup>. Как и спасатели, они чувствовали, что у них нет другого выбора, кроме как отреагировать. Они казались неспособными к безразличию; хотели они того или нет, но они видели то, что предпочли бы не видеть, чувствовали то, что чувствовать было некомфортно. Однако это не обязательно делало их более добродетельными или гуманными, и они мало сочувствовали антивоенным и другим политическим движениям шестидесятых. Может быть и большее несоответствие – даже дихотомия между «нашими» и «их» страданиями.

---

<sup>30</sup> Dorothy Rabinowicz, *New Lives: Survivors of the Holocaust Living in America* (New York: Knopf, 1977).

## Расширение признания

Любой ребенок понимает, что в лучшем мире миссис Байс, Гитта Бауэр и Хью Томпсон не выделялись бы среди других людей. Мы должны надеяться, что многие хорошие люди получали хорошие зарплаты за то, чтобы думать об этих проблемах – в учреждениях Организации Объединенных Наций, аналитических центрах, университетах, правительствах, институтах исследования мира, проектах по разрешению конфликтов – и тоже понимают суть проблемы. Надо также предположить, что это серьезные, порядочные люди, знающие, что делают.

Между тем, менее амбициозная программа направлена на преодоление более пагубных форм культурного отрицания и поощрение большего признания. Нам уже сообщили плохую новость: простое предоставление людям дополнительной информации не поможет. Но как преодолеть разрыв между тем, что люди знают (и во что верят), и тем, что они делают. Социально-научный подход (когда-то названный «теорией когнитивного диссонанса») не обнадеживает. Если существует конфликт между противоречивыми представлениями о себе (я порядочный человек, но живу в стране, которая действует вопреки всем моим ценностям), то изменение отношения и соответствующие действия являются лишь одним из способов поиска соответствия, баланса или последовательности. Два иных способа уменьшения психологического дискомфорта встречаются чаще. Первый – восстановить равновесие, или хотя бы снять напряжение, перестав думать о беспокоящей теме: так называемое «удаление с поля» или «внутреннее изгнание». Второй – изменить, преобразовать или исказить информацию, опираясь на подсказки, одобряемые культурой отрицания: дела не так плохи, как кажутся; есть места и хуже.

Изменить отношение и поведение – особенно в условиях угрозы, отсутствия безопасности, наличия терроризма и риска – гораздо сложнее. Как хорошо знают политические лидеры, никогда не бывает достаточно просто представить факты, привести моральные аргументы или даже проявить терпение к глубокой неуверенности и страхам. Все это необходимо делать – но ради самого себя, а не в ожидании немедленных результатов. Рассмотрим четыре политические стратегии, возможные в такой ситуации: *просвещение*

*и профилактика, юридическое принуждение, призывы и прямое признание.*

### *Просвещение и профилактика*

Правозащитное сообщество разделилось в подходе к просвещению. При одном подчеркиваются достоинства ценностей прав человека: Всеобщая декларация – это «позитивный образ» – права как достижимые условия для достойной жизни. Другой («негативный образ») – это воспроизведение историй о зверствах и образцов страданий. И тот, и другой необходимы для поощрения признания и связаны с политическими программами (не более чем либеральными рецептами) по превращению пассивных наблюдателей в активных, социально ответственных действующих лиц<sup>31</sup>. В них входят методы воспитания детей, которые подчеркивают ценности моральной инклюзивности и личного примера; терпимость к тем, кто отличается от других и расширение границ вашей моральной вселенной; просвещение общественности о пределах послушания и роли пассивных свидетелей в допущении совершения злодеяний; достоинства мобилизации людей в «сети заботы».

Но как именно это можно сделать? Кларксон предполагает, что точно так же, как Служба скорой помощи проводит занятия для обычных людей по обучению оказанию первой помощи, так и нам следует придумать «обучение вмешательству свидетелей»<sup>32</sup>. Программа должна включать подробные и яркие описания злодеяний, страданий, отрицания и соучастия. Они не предназначены для морального негодования или вуайеристского созерцания. Урок должен быть полностью сконцентрирован на разоблачении и опровержении показаний преступников и свидетелей. Нарративы об альтруизме и вмешательстве должны обеспечить альтернативный набор мотивационных обоснований, которые могут вдохновлять. Посмотрите, как они объясняют, что сделали. Можете ли вы представить себе использование тех же слов?

<sup>31</sup> Erwin Staub, «Transforming the Bystanders: Altruism, Caring and Social Responsibility», in Helen Fein (ed.), *Genocide Watch* (New Haven: Yale University Press, 1992), 162–81.

<sup>32</sup> Petruska Clarkson, *The Bystander (An End to Innocence in Human Relationships?)* (London: Whurr Publications, 1996), 108.

Мотивационными моделями должны быть не только легенды движений и лауреаты Нобелевской премии мира, но и обычные люди. Поучительным примером является Премия «Правильный образ жизни», вручаемая ежегодно с 1985 года в Стокгольме, за день до Нобелевской церемонии. Награды вручаются отдельным лицам и организациям, объединенным «видением неделимого человечества», работающим во имя социальной справедливости и прав человека, мира и разоружения, защиты меньшинств, прав женщин, экологических проблем. Лауреаты приезжают отовсюду: общественный организатор из Буркина-Фасо; адвокат, добровольно работающий в защиту прав огони в Нигерии; борец за права цыган в Венгрии; техник (Мордехай Вануну), раскрывший подробности секретного израильского завода по производству ядерного оружия. На другом уровне среди этих частично известных людей находятся такие люди, как миссис Байс, Лена, Жан Батист Нтетуре, Никки дю Приз и Хью Томпсон.

Помимо идеалов и образцов для подражания, люди должны знать, как и где они могут реализовать свое желание помочь. Существуют справочники, в которых перечислены эти возможности<sup>33</sup>, но они не связывают признание с действием. Потребность жертвы в возможности рассказать о своих страданиях также относится и к свидетелю. Один терапевт предлагает разработать «пути» для жертв семейного насилия<sup>34</sup>. Эти пути должны быть пройдены для раскрытия информации, и жертвы должны заранее знать о них. Пути для жертв (и свидетелей) должны быть доступными, проходимыми, взаимосвязанными и заслуживающими внимания.

### *Юридическое принуждение*

На первый взгляд закон выглядит слишком грубым инструментом, позволяющим либо предотвращать состояния отрицания, либо принуждать к формам признания. Но если на действия можно

---

<sup>33</sup> Например, *How to Make the World a Better Place; A Guide to Doing Good; The Campaigning Handbook, How Can I Help?* etc.

<sup>34</sup> Angela Browne, «The Victim's Experience: Pathways to Disclosure», *Psychotherapy*, 28/1 (Spring 1991), 150–6.

повлиять, а это, безусловно, возможно, не пытаюсь изменить сердца и умы, то почему бы не использовать нормативную и принуждающую силу закона? Регулирование и контроль используются и в других, не менее сложных областях общественной жизни. Есть четыре возможности: *отрицание как преступление* и *обязанность помнить, спасти и знать*.

### Отрицание как преступление

Ряд стран – Австрия, Франция, Канада и Швейцария в девяностых годах, Израиль и Германия ранее – приняли законы против отрицания Холокоста и/или геноцида и других преступлений против человечности<sup>35</sup>. Такой законодательный акт происходит из более общего применения уголовного закона против подстрекательства к ненависти и дискриминации. Деяние иногда называют «преступлением на почве ненависти»: преступления, совершенные по этническим, расовым или религиозным мотивам. Другие законы запрещают распространение взглядов, основанных на утверждениях о расовом превосходстве или выражениях презрения, подразумевающих расовую неполноценность.

Политические причины, лежащие в основе законов об отрицании Холокоста, включают сочувствие жертвам, (правильное) понимание того, что ни осуждение, ни научные аргументы не одолеют ревизионистские и другие исторические отрицания, а также обеспокоенность по поводу возрождения крайне правых, особенно в Европе. Утверждения о том, что «так называемый Холокост» был мистификацией, сфабрикованной евреями с целью вымогательства компенсации у Германии, очевидно, связаны с разжиганием ненависти и насилия против евреев. Однако согласно некоторым законам буквальное отрицание истребления как исторического события само по себе не является основанием для осуждения. Также должно иметь место намерение подстрекать или утверждать, что ответственность за мистификацию несут евреи. Согласно израильскому законодательству, «отрицание или уменьшение масштабов деяний» во время нацистского режима («преступлений

---

<sup>35</sup> См. обзор: Stephen J. Roth, «Denial of the Holocaust as an Issue of Law», *Israel Yearbook of Human Rights*, 23 (1993), 215-35.

против еврейского народа или против человечности») требует доказательства намерения защитить преступников или выразить им сочувствие.

Некоторые западноевропейские законы приближаются к запрету отрицания злодеяний самих по себе, не требуя умысла или подстрекательства. Французское законодательство направлено против любого, кто *оспаривает* существование определенных преступлений против человечности. Охвачены все три классические формы отрицания: отрицание фактов, их интерпретация и их оправдание. Наказанию подлежит любой человек, который публично *отрицает, грубо умаляет, одобряет или пытается оправдать* национал-социалистический геноцид или другие его преступления против человечности (Австрия); *грубо преуменьшает* или *пытается оспорить* геноцид и другие преступления против человечности (Швейцария). Согласно немецкому законодательству запрещаются попытки *одобрять, отрицать или интерпретировать как безобидные действия* в рамках законов против «оскорбления».

Аргументом в пользу специальных законов, противостоящих отрицанию преступлений против человечности, является то, что нельзя полагаться на общие положения, запрещающие подстрекательство, распространение лжи, прославление преступлений или защищающие честь. Существуют очевидные возражения против свободы слова и других гражданских свобод. Другие критики утверждают, что такого рода судебные процессы приведут только к появлению мучеников. Трудно сказать, производят ли эти законы какой-либо сдерживающий или превентивный эффект.

### Обязанность помнить

Предполагается, что комиссии по установлению истины, политические процессы и расследования, а также попытки установить и обнародовать подробности прошлых злоупотреблений, снизят вероятность будущих правонарушений: «Никогда больше». Если это произойдет, то не возлагает ли это на правительство определенную юридическую «обязанность помнить»? Я считаю, что абсолютная и символическая ценность коллективного признания прошлого оправдывала бы создание Комиссий по установлению истины – с конкретными целями, минимальными стандартами и



кодексами поведения – юридическим требованием во время переходных режимов.

Подкомиссия ООН по предотвращению дискриминации уже включила в свой проект декларации о принципах обязанность помнить:

Знания Народа об истории своего угнетения являются частью его наследия и, как таковые, должны сохраняться соответствующими мерами во исполнение обязанности государства помнить. Такие меры должны быть направлены на сохранение коллективной памяти от исчезновения и, в частности, на защиту от развития ревизионистских и отрицательных аргументов<sup>36</sup>.

### Обязанность спасать

Социально-научная работа об эффекте свидетеля и библейская притча о добром самаритянине призваны передать недвусмысленный моральный урок. Мы должны прийти к выводу, что соседи Китти Дженовезе, а также священник и левит, проходившие мимо раненого, не соответствовали элементарным стандартам моральной порядочности и гражданственности. Но может ли существовать юридически закреплённая обязанность, обязательство или требование вставать на защиту незнакомцев, особенно для спасения их жизней? Можем ли мы «принудить» к признанию?

Правовая концепция «обязанности спасения» является предметом сложных юридических дискуссий<sup>37</sup>. Существуют гражданские и уголовные законы, которые обязывают граждан вмешиваться или, по крайней мере, уведомлять власти, когда они становятся свидетелями чрезвычайных ситуаций, особенно когда на карту поставлена чья-либо жизнь. Типичные ситуации включают исчезновение детей, изнасилование, агрессия и насилие в семье. Законы о «спасении» или «обязанности оказывать помощь» имеют долгую историю и более распространены в правовой традиции

<sup>36</sup> Цитируется (неодобрительно) в: Priscilla Hayner, «International Guidelines for the Creation and Operation of Truth Commissions», *Law and Contemporary Problems*, 59/4 (Autumn 1996), 173.

<sup>37</sup> Исчерпывающий обзор по теме: Michael A. Menlowe and Alexander McCall Smith, *The Duty to Rescue* (Aldershot: Dartmouth, 1994).

континентальной Европы, чем в англосаксонских системах общего права<sup>38</sup>. Законы о вмешательстве свидетелей, тем не менее, все чаще обсуждаются в США – наиболее цитируемым прототипом является дело Китти Дженовезе.

Дебаты ведутся не о моральной ценности спасения, а о желательности и возможности использования закона для обеспечения соблюдения определенных стандартов. Многим людям не нравится идея юридического обязательства, согласно которому нежелание помогать тому, кто находится в опасности, считается правонарушением. Они утверждают, что добродетель нельзя узаконить; это нарушение гражданских свобод; совесть не может контролироваться законом; и что в любом случае такие законы не имеют исковой силы. Эти возражения становятся еще сильнее, когда моральная вина и понятие «непосредственной опасности» распространяются на жертв, живущих в отдаленных ситуациях, о которых вы четко знаете, даже если вы не являетесь их физическим свидетелем. Является ли моральное обязательство что-то сделать с этими страданиями эквивалентом требования помощи в ситуации, видимой свидетелем? В противном случае и если моральное обязательство применимо только к видимым, конкретным и известным опасностям, тогда призывы «сделать что-нибудь» с голодом в Бангладеш или внесудебными казнями в Шри-Ланке теряют свой универсальный моральный статус.

### Обязанность знать

Еще более радикальным требованием, чем обязанность действовать, является юридическая обязанность знать и быть в курсе страданий и злодеяний. Никто не может подвергнуть сомнению наше искреннее незнание некоторых фактов. Но что если мы решили игнорировать их, сознательно закрыли глаза, перестали смотреть или читать новости? Разве мы не виноваты морально в недостатке внимания? Заслуживает ли нежелание быть инфор-

---

<sup>38</sup> Французская версия стала наиболее широко известна после гибели принцессы Дианы в автомобильной аварии. Было много разговоров о привлечении к суду фотографов, журналистов и других зрителей по обвинению в неспособности или несвоевременном оказании помощи.

мированным и признавать страдания других людей какого-то морального порицания?

Этика лжи, секретности и самообмана пытается найти ситуации, в которых оправдание незнания может освободить вас от моральной ответственности. Бок задается вопросом: Каков моральный статус стратегий избегания, используемых для утверждения о незнании о жестокости или страданиях, которых можно избежать?<sup>39</sup> Самонавязанное незнание, признает она, может отличаться от других форм незнания; при определенных обстоятельствах «намеренная слепота» может быть морально ответственной. Однако было бы излишним «расширять понятие моральной ответственности настолько, чтобы охватить все, что люди игнорируют или не замечают, или все ситуации, в которых мы воспринимаем некоторую рационализацию или стратегию избегания»<sup>40</sup>.

Противоположным тезисом является идея «обязанности быть в курсе отдаленных злодеяний»<sup>41</sup>. С одной стороны, незнание о крупных злодеяниях не может быть законным моральным оправданием, если кто-то намеренно сохраняет себя неинформированным; с другой стороны, незнание является вполне законным оправданием, если у человека нет средств или возможностей для получения информации. Наиболее известные случаи находятся между этими крайностями. Феличе утверждает, что для «средних» жителей глобального Запада, таких как граждане США (получающие информацию от CNN?), незнание о зверствах, произошедших вдалеке, не является оправданием и, следовательно, не оправдывает их бездействия в отношении зверств. Если принято юридическое обязательство по предотвращению крупного вреда, то за этим следует обязанность предпринимать серьезные попытки быть в курсе и оставаться в курсе отдаленных злодеяний (особенно в сфере влияния вашей страны), и ее можно реально соблюдать. Феличе пытается отмахнуться от этих очевидных возражений против его предложения:

---

<sup>39</sup> Bok, *Secrets*, ch. 5.

<sup>40</sup> *Ibid.*, 68.

<sup>41</sup> Carlo Felice, «On the Obligation to Keep Informed about Distant Atrocities», *Human Rights Quarterly*, 12 (1990), 397-414.

1. Обычные граждане слишком политически невежественны и наивны, чтобы быть по-настоящему информированными, особенно о зверствах, которые игнорируются или преуменьшаются основными средствами массовой информации. Для поиска дополнительной информации потребуются предварительные обязательства и базовые знания, которых было бы неразумно ожидать.
2. Даже если граждане решат найти соответствующую информацию, они окажутся слишком неискушённым и бессильными, чтобы знать, как всем этим воспользоваться.
3. Вы должны помогать только тем, кому можете. Вмешательство одного человека в эти отдаленные проблемы с правами человека вряд ли предотвратит какой-либо вред. Разумнее помогать тем, кто рядом с домом – вашим соседям, вашему сообществу. Так зачем тратить время и силы на попытки быть в курсе событий, происходящих в отдаленных районах?
4. Отдельный человек не может предотвратить или отсрочить такие события, как массовые убийства в Восточном Тиморе, поскольку подобные периодические ужасы являются неизбежным продуктом нынешнего мирового порядка. Исторические силы, находящиеся вне чьего-либо контроля, подталкивают к нарушениям прав человека.
5. «Да, было бы здорово помочь, но так ли уж плохо не помочь?». Существует различие между действиями, заслуживающими похвалы, и действиями, которые являются обязательными.
6. К тому времени, когда среднестатистический гражданин узнает о крупном злодеянии, оно уже произошло, и, следовательно, ничего нельзя сделать, чтобы предотвратить его. Знания должны быть упреждающими, чтобы обеспечить возможность предотвращения.

Мало кого убедят ответы Феличе на эти возражения, и еще меньше людей поддержат его практически неисполнимые юридические предложения. Большинство людей предпочли бы сослаться на то, что Дэниел Элсберг красиво назвал «их правом не знать». Однако эти шесть возражений – именно те, которые рассматриваются в

стандартных призывах организаций подобных Amnesty. В этом контексте большинство из нас отвергло бы их как шаблонные отрицания и рационализации, заслуживающие довольно снисходительного ответа.

### *Призывы*

Сторонники теории рационального выбора опираются на идею о том, что альтруизм, по своей сути, вознаграждает и, следовательно, его следует включить в расчет затрат и выгод. Но получение «награды» за действия в соответствии со своей честностью гораздо менее ощутимо и предсказуемо, чем предполагает эта формула. Единственный устойчивый эффект – усиление путем повторения. Как только люди начинают помогать, они уже не останавливаются. Однако первоначальная приверженность подкрепляется по-разному: некоторым людям нужны результаты, другим – чувство растущих возможностей; третьи довольствуются тем, что остаются верными своему образу и ценностям.

В призывах, как мы видели, используются совершенно разные – и даже теоретически несовместимые – послания. Старомодные сообщения о вине и стыде (голодающий ребенок) можно переформулировать в бесстрастном дискурсе рационального выбора и маркетинга. Целевая группа состоит из отдельных потребителей: каждый из них – заботливый человек, наделенный чувством того, что справедливо и несправедливо, и стремящийся удовлетворить потребность в помощи другим. Сообщение «тебе следует позаботиться» не предназначено для того, чтобы вызвать чувство вины по отношению к самому себе. Скорее, вам предлагается потребительский выбор, позволяющий избежать чувства вины – или стыда – которое возникнет, *только* если вы не отреагируете. Нет необходимости чувствовать вину за свой образ жизни – если только вы не признаете (подумайте, сделайте что-нибудь) эти другие реальности мира.

### *Направленное признание*

Как и почти все благотворительные организации, гуманитарные организации расширяют использование того, что я называю «направленным признанием». Это форма сбора средств, при которой жертвователи (независимо от того, сколько они вносят) не обязаны вкладывать значительные усилия, время и энергию. Им даже не придется выписывать чек, подписывать петицию или бросать монеты в ящик. Их признание того, что дело стоит поддерживать – кормить голодающих детей или уничтожать противопехотные мины – удобно воплощается в привычках повседневной жизни. Приверженность становится институционализированной и ритуализированной. Вот некоторые примеры.

#### *Этические завещания.*

Древняя практика оставления наследства на любимое благое дело теперь стала профессиональной в форме этических завещаний. Консультанты и эксперты, работающие полный рабочий день, работают на высококонкурентном рынке, чтобы поощрять и распределять наследие: постжизненное признание.

#### *Этические инвестиции.*

Используя такие лозунги, как «Прибыль от совести», инвестиционные консультанты предлагают советы по вложениям только в этические пенсии, ипотечные кредиты, сбережения и страхование жизни. Большинство советов отрицательны: не инвестировать в компании, корпорации или банки с явно испорченной гуманитарной репутацией (несправедливая торговля, конфискация земель у коренных народов, эксплуатация детского труда, несправедливая занятость женщин). Другой совет позитивен: инвестировать в компании с четкой этической деловой практикой или в группы, работающие над вопросами справедливой торговли и выплаты долгов. Некоторые сберегательные счета предлагают возможность пожертвовать все или часть процентов на соответствующую благотворительную организацию.

*Кредитные карты для сбора средств* (также называемые «кредитными картами без чувства вины»).

Основная идея заключается в том, что регулярный процент платежей по вашей кредитной карте идет на благотворительность. Несколько лет назад владельцам карт American Express сообщили, что, когда они отправляются в часовой коктейльный круиз по акватории морского порта Нью-Йорка, половина стоимости плавания будет пожертвована на онкологические исследования. Организация «Womankind Worldwide» недавно объединилась с Банком Шотландии для производства карты, по которой организация получает от банка 25 пенсов за каждые 100 фунтов стерлингов, оплаченные картой. Пресс-секретарь Womankind заявила: «За три костюма, то есть 900 фунтов стерлингов, Womankind получит достаточно, чтобы заплатить общественному работнику в Индии за месяц или купить дойную козу и двух кур в Африке». Она утверждала, что женщины обычно чувствуют себя ужасно, когда идут за покупками; а это поможет им чувствовать себя лучше.

*«Измените к лучшему»* – это умный лозунг на конвертах ЮНИСЕФ (Детский фонд Организации Объединенных Наций), которые в течение последнего десятилетия распространялись на международных рейсах. Конверт озаглавлен «Вот лучшее место для сдачи иностранной валюты». В нем содержится стандартная подача: Знаете ли вы, что ... «каждый день 40 000 детей умирают от таких причин, как недоедание, обезвоживание и инфекционные заболевания?». Всего за ... 5 долларов: «Вы можете сделать ребенку прививку от основных детских болезней». Иногда есть сопутствующее видео (Одри Хепберн или Джери Холливелл с несчастными детьми в Сомали); капитан или казначей объявляет, что придут сотрудники и заберут конверт, в который вы бросите все иностранные деньги (у вас все еще слишком много ничего не стоящих песет, и вы только рады избавиться от них).

*Политически корректное потребление.*

Бойкот со стороны потребителей – часто ассоциируемый с кампанией против апартеида – является наиболее известным методом направленного признания: «Не покупайте южноафриканские (испанские, израильские) апельсины». Этот метод сейчас широко

используется в движениях за защиту окружающей среды и животных: предписания не покупать экологически вредные продукты или продукты, тестируемые на животных. Негативная привлекательность плюс чувство вины за получаемые удовольствия, которое приводит к их отрицанию, убеждает женщин, что шоколад – это продукт, в производстве которого неравенство особенно затрагивает работающих женщин<sup>42</sup>. Позитивный посыл состоит в том, что следует выборочно покупать продукты или услуги, которые вам в любом случае понравятся, зная, что прибыль пойдет на благое дело. Британский турагент сообщает в своей рекламе: «Забронируйте отпуск у нас, и мы пожертвуем 50 фунтов стерлингов в пользу ACTIONAID». Часть прибыли от мороженого «Бен и Джерри» идет на добрые дела (оплата специальной добавки, обладающей ореховым вкусом, спасет тропические леса). Покупка «экологически чистой» продукции Body Shop обеспечивает работникам большую прибыль. Фонд Fairtrade Foundation награждает одобренные компании логотипами, позволяющими потребителю идентифицировать товары, производимые и продаваемые без эксплуатации работников. Ассоциация исследований этических потребителей разрабатывает подробные инструкции по продуктам, рейтинговые таблицы и профили компаний, выявляя всевозможные скрытые связи, которые помогут вам отсеять самые «беспринципные» покупки<sup>43</sup>.

Организации продают товары в этническом духе (сумки, чехлы, шарфы, ковры), перечисленные в роскошных каталогах (с кодом, позволяющим определить, произведены ли они в Бангладеш или Непале, плюс мгновенное сообщение о расширении возможностей: «Каждый раз, когда вы покупаете, X процентов идет на ...»). В 1992 году Café Direct начал кампанию (спонсируемую такими организациями, как Oxfam и Christian Aid) по продаже «этически

---

<sup>42</sup> Cat Cox, *Chocolate Unwrapped: The Politics of Pleasure* (London: Women's Environmental Network, 1993).

<sup>43</sup> См.: Jane Turner et al., *Ethical Consumer Guide to Everyday Shopping* (Manchester: ECR Publishing, 1996). Это связывает безобидные торговые марки с их материнскими компаниями: так мы узнаем, что печеные бобы Princess являются побочным продуктом поставок компанией Mitsubishi плутония, тропической древесины Саравака и управляемых ракет. Каждому приходится выполнять некоторую работу по отрицанию: компания выдает стандартные официальные опровержения; неубежденный, ленивый или перегоревший потребитель говорит: «Чего вы ожидаете от меня – проконсультироваться со справочником по поводу каждой банки печеных бобов?»



чистого кофе». Деньги, уплаченные за кофе Café Direct, идут напрямую производителям кофе в Латинской Америке; этот кофе продается таким образом, что производители и их семьи получают прямую выгоду от вашей покупки. Рекламные лозунги были простыми, легко узнаваемыми и воодушевляющими: «Вы открываете для себя превосходный кофе. Они открывают для себя школу» и «Вы получаете отличный кофе. Они получают вакцины». Эта кампания оказалась весьма эффективной: продажи быстро наладились, а люди постоянно доказывали, что люди приветствуют и даже готовы платить больше за продукцию, продаваемую с соблюдением этических норм<sup>44</sup>.

*Добрые дела создают хорошее настроение.* Основной сценарий: голливудские знаменитости публично едят рис и воду, чтобы продемонстрировать свою солидарность с бедными людьми мира. На ежегодном банкете Oxfam America Hunger Banquet среди гостей случайным образом разыгрываются билеты либо на изысканную еду, либо на бобы с хлебом, или рис и воду<sup>45</sup>. В Великобритании благотворительная организация War Child организовала «Праздник мира», во время которого гости питались в сотне ресторанов, согласившихся пожертвовать 25 процентов своих доходов на благотворительность. Чем больше вы едите, тем больше они жертвуют. Представитель War Child сформулировал принцип: «Делать добро, хорошо проводя время». С другой стороны, люди, в таких организациях, как «Сидевшие на диете, кормят голодных», следующие диете, раздают другим еду, которую в противном случае они бы съели во вред себе. Ее основатель утверждает, что «цель организации «Диетики накормят голодных» – придать более глубокий смысл диете, побуждая людей, сидящих на диете, сосредоточить часть своего времени и энергии на кормлении тех, кто действительно нуждается в пище»<sup>46</sup>. Это выглядит как простая уловка, помогающая полным и богатым людям похудеть. Но нет, жертва

---

<sup>44</sup> Опрос NOR, проведенный в 1993 году для Christian Aid, показал, что 83 процента населения приветствуют справедливо продаваемые продукты, а 73 процента были готовы платить за них больше (Взято из Media Natura, «Café Direct Campaign», 1993).

<sup>45</sup> О третьем таком банкете – в Санта-Монике – см. Los Angeles Times, 21 Nov. 1992.

<sup>46</sup> Ronna Kabatznik, «Hunger's Many Meanings», Tikkun, 7 (July 1992), 28.

части еды «от имени» своей диеты – отложить банку тунца или банку арахисового масла или приготовить запеканку, чтобы отнести ее в столовую – это путь к глубокому признанию. «Для многих людей выписка чека – это быстрый способ уйти от решения основных проблем, тогда как участие в кормлении других имеет более глубокое и непосредственное значение»<sup>47</sup>.

В лучшем случае это похоже на методы родителей, убеждающих своих детей есть, потому что дети Африки голодают. (Как сказал Аллан Шерман: «Ну и ел я свою еду, становился толще, а дети Африки продолжали голодать».) Когда мы росли в послевоенной Южной Африке, о настоящих голодающих детях вокруг нас никогда не упоминали; нас заставляли есть, думая о бедных детях *Европы*. В худшем случае эти методы представляют собой корыстные увертки. Даритель находит дешевый способ отрицать и в то же время хорошо выглядеть, одобряемую культурой недобросовестность. Корпорации платят деньги за вину, но получают хорошую и дешевую рекламу.

Мой собственный взгляд на эти методы сбора средств (а не на общую политику признания) является благосклонным. Пока источник сам не вовлечен в грязный бизнес, нет необходимости вызывать полицию разума для тщательного изучения и цензуры мотивов людей, делающих пожертвования денег. Пусть отдадут с миром в душе.

Было бы неплохо оценивать степень признания в любом обществе. Затем мы могли бы сравнить изменения во времени или между обществами. Еще лучше было бы иметь формулу для определения соответствующего уровня социальной реакции на ужасы. Международная Комиссия Добрых Людей под председательством Далай-ламы и Нельсона Манделы разработает универсальные шкалы злодеяний и страданий. Подобно формулам судебного приговора, каждому баллу шкалы будет присвоен соответствующий (обязательный) ответ. Зверства уровня A2 (10–15 мирных демонстрантов убиты, 5–10 ослеплены слезоточивым газом, не менее 30 произвольных арестов) или страдания уровня B3 (200 человек в лагере беженцев умирают каждый день от дизентерии) должны

---

<sup>47</sup> Ibid., 65. Если когда-либо и имел место случай невмешательства в альтруизм, то это он и есть.

привести к признанию и Действию на уровне 6 баллов по «шкале порядочности Рихтера».

Этот проект, увы, не следует воспринимать всерьез. Это субъективные и политизированные суждения; благонамеренные люди со схожими ценностями могут прийти к совершенно разным выводам. Более того, они могут совершенно по-разному оценивать порог отрицания. Возможно, в минимализме Арендт есть что-то общее. Рассказывая о немецком сержанте, который помогал еврейским партизанам (и был арестован и казнен), она спрашивает: почему таких людей, как он, было так мало, и что изменилось бы, если бы их было больше? «В условиях террора большинство людей подчинятся, но некоторые нет, точно так же, как урок стран, на которые было распространено «Окончательное решение», состоит в том, что «это могло произойти» в большинстве мест, но это произошло не везде. С человеческой точки зрения, большего и не требуется, и большего нельзя требовать»<sup>48</sup>.

Есть и политические философы, которые стремятся к большему. Герас воспринимает спасателей в оккупированной Европе как образ альтернативного этического ландшафта: представьте себе, спрашивает он, моральную культуру, пропитанную чувством ответственности за безопасность других<sup>49</sup>. Может ли существовать глобальное сообщество, в котором обязанность помогать другим в опасности или бедствии было мощным императивом? И где глубокий стыд из-за пассивности становится «эффективной мобилизующей нормой общественной жизни»?

Нам следует вообразить эти практические утопии. Но в то же время наша критика отрицания может быть слишком резкой и самодовольной. А наши ожидания признания – получить информацию, открыть глаза, не пройти мимо, не соответствовать, сделать что-нибудь, дать сигнал – слишком высоки. Если злые люди – те, кто планирует и осуществляет злодеяния или намеренно позволяет другим страдать – составляют ограниченное меньшинство, то же самое относится и к тем, у кого есть время, энергия и стремление посвятить свою жизнь делу защиты прав человека или облегчения

---

<sup>48</sup> Hannah Arendt, *Eichmann in Jerusalem: A Report on the Banality of Evil* (New York: Penguin USA, 1994; orig. edn, 1965), 233.

<sup>49</sup> Norman Geras, *The Contract of Mutual Indifference: Political Philosophy after the Holocaust* (London: Verso, 1998), 57–60.

человеческих страданий. Между ними находится подавляющее большинство обычных людей. Во многих обществах участие общест-венности затруднено просто вследствие обыденного каждоднев-ного давления, связанного с элементарным выживанием. Большин-ство людей, в большинстве случаев, в большинстве обществ, больше заинтересованы в том, чтобы «творить жизнь», а не «творить историю»<sup>50</sup>. Их поддерживающая идеология – это то, что израиль-тяне красиво называют рош катан (буквально «маленькая голова»): вести себя сдержанно и не позволять себе слишком беспокоиться из-за серьезных проблем. Люди, которым посчастливилось посвя-тить свою жизнь гуманитарным делам (и получать разумную плату за интересную и высокооплачиваемую работу), могут попросить других «что-нибудь сделать». Но им (и их академическим попут-чикам, таким как я) не следует требовать большего.

Но сколько стоит «что-нибудь»? Залакетт говорит: «Закон может требовать от обычного гражданина только того, чтобы он был законопослушным, но не героем»<sup>51</sup>. Но, несомненно, социальная справедливость заслуживает большего, чем закон. Есть такие состояния бытия, как высокая гражданственность, которые столь уж героические, но более чем просто законопослушные. Они не требуют необычайного героизма, но препятствуют обычному молчанию.

---

<sup>50</sup> Richard Flacks, *Making History: The Radical Tradition in American Life* (New York: Columbia University Press, 1988).

<sup>51</sup> José Zalaquett, «Discussion», in Alex Boraine et al. (eds), *Dealing with the Past: Truth and Reconciliation in South Africa* (Cape Town: IDASA, 1994), 105.

## 11

## На Пути к Культуре Отрицания?

Проект «преодоления отрицания» оказывается более сложным и странным, чем я себе представлял. «И познаете истину, и истина сделает вас свободными» (*Евангелие от Иоанна*, 8:32). Но что это за истина, которую следует признавать, а не отрицать? И каким образом это сделает нас свободными? А как насчет разницы между абсолютной ценностью высказывания правды как самоцели и ее инструментальной ценностью как средства достижения социальной справедливости?

Мы уже знаем некоторые из поджидающих нас сложностей. Например, таковой является идея о том, что личное отрицание может быть функциональным и здоровым. Однако тезис здорового отрицания вряд ли применим к целым обществам, сталкивающимся с риском и опасностью. Нет ничего позитивного в том, что общество отрицает наличие у него проблемы СПИДа, или в неспособности международного сообщества распознать ранние признаки геноцида и других массовых бедствий.

Но все это очевидно. Гораздо более интересной является сама идея единой самости, которая лежит в основе как терапевтической, так и политической критики отрицания. Стойкое отрицание принимается за указание на личностную патологию (диссоциацию, распад, раздвоение) и политическую атрофию (жизнь во лжи, культурную амнезию). Но рассматривать отрицание как проблему имеет смысл только в том случае, если мы сохраняем модернистское предположение о единстве. Постмодернистское «я», напротив, фрагментировано и принимает фрагментацию.

Политические последствия этого имеют далеко идущие последствия. Мы можем осуждать пассивность, безразличие и недобросовестность только изнутри метапсихологии целевого и желательного «я» организаций типа Amnesty/Oxfam. Без этого мы не

можем говорить об отрицании аудитории; мы также не можем сказать: «Если ты знаешь это и веришь в это, то ты должен сделать это». По мере угасания этой метапсихологии исчезают и зависимые от нее идеалы истины, интеграции и приверженности. В пост-модернистском ландшафте цели и средства, ориентиры и пункты назначения находятся в не слишком серьезных отношениях друг с другом. Нет особого смысла «разоблачать» нормализованное отрицание, раздвоение или диссоциацию, не говоря уже о намеках на их аморальность. Существует слишком много сбивающих с толку сигналов и метасигналов, чтобы «реагировать» на сообщения об убийствах двенадцатилетних детей в Анголе. Мы всегда знали о разрыве между знанием и признанием, о разрыве между тем, что ты знаешь, и тем, что ты делаешь. Те, кто напоминает нам об этом послании сейчас, просто раздражают.

Именно это случилось с Тиресием, «пророком, в котором, единственном из всех людей, живет воплощенная истина». Поначалу, когда Эдип чувствует, что в воздухе витают плохие новости, он просто говорит ему: «Похоже, ты приносишь нам мало ободрения». По мере того, как послание становится более ясным, Эдип начинает дико бунтовать против Тиресия – он проклинает и угрожает ему, обвиняет его в причастности к заговору и, наконец, изгоняет его. Бедный слепой Тиресий предвидел это – истина не только не освободила его, но и стала его бременем:

... когда мудрость не приносит пользы,  
 Быть мудрым – значит страдать. И почему я забыл это?  
 Кто это хорошо знал? Я никогда не должен был приходить.

Но он последним смеётся над Эдипом: «Когда ты сможешь доказать, что я неправ, тогда назови меня слепым»<sup>1</sup>.

Истина и мудрость больше не являются тем бременем, которым они были когда-то. Мы с трудом верим, что только полное знание прошлого или настоящего может гарантировать «никогда больше». Представляя свою историю нацистской программы «эвтаназии», Берли отмечает: «Само собой разумеется, что я не ожидаю, что эта книга будет способствовать повышению демократического сознания или даже более чуткому обращению с психическими

---

<sup>1</sup> Софокл, Царь Эдип.

расстройствами и инвалидами»<sup>2</sup>. Говоря о людях в Европе, пытающихся подорвать демократию, или о тех, кто умышленно жесток по отношению к инвалидам, он пишет: «Попытки убедить таких людей в том, что «на самом деле произошло», слегка смешны, поскольку отрицание реальности связано с их политической повесткой дня»<sup>3</sup>.

Несмотря на широко распространенное признание лжи как инструмента достижения политических целей, мы с трудом понимаем «природу нашей способности отрицать в мыслях и словах все, что является реальным фактом. Эта наша активная агрессивная способность явно отличается от нашей пассивной склонности становиться жертвой ошибок, иллюзий и искажений памяти»<sup>4</sup>. Документы Пентагона показали, что ответственные за принятие решений (и их прирученные интеллектуалы) играли в причудливую игру «обманывайте сами себя», действуя так, как будто едва осознавая огромный разрыв между известными фактами и гипотезами, согласно которым были приняты решения. Их разум стал настолько затуманен, что они больше не знали и не помнили правду, скрывающуюся за их сокрытием и ложью: «Проблема лжи и обмана в том, что их эффективность полностью зависит от ясного представления об истине, которую лжец и обманщик хочет скрыть»<sup>5</sup>.

## Интеллектуальное отрицание

«Четкое представление об истине» – это вовсе не послание сегодняшних интеллектуалов. В прошлом их измена заключалась в том, что они помогли создать и придать респектабельность словарю отрицания, необходимому «истинно верующим» и попутчикам. В противном случае хорошо функционирующие умы становятся закрытыми, и взгляд отводится от уродливых частей их идеологических проектов и экспериментов. Или они позволяют – ради ощутимого вознаграждения или стремления угодить сильным мира

---

<sup>2</sup> Michael Burleigh, *Death and Deliverance: 'Euthanasia' in Germany, 1940– 1945* (Cambridge: Cambridge University Press, 1994), 7.

<sup>3</sup> Ibid.

<sup>4</sup> Hannah Arendt, «Lying and Politics: Reflections on the Pentagon Papers», in *Crises of the Republic* (New York: Harcourt Brace, 1972), 3–47.

<sup>5</sup> Ibid., 36.

сего – обмануть себя до псевдоглупости. Эти постыдные свидетельства о сговоре берут свое начало очень давно.

Однако в течение последних двух десятилетий меньшая, но очень красноречивая и элегантная часть западной интеллигенции занималась маркетингом в основном с добрыми намерениями, обычно во имя «радикализма» – совершенно другой формы отрицания. Их ведущим продуктом является деконструктивистская и постмодернистская теория, в которой «истина» и «реальность» всегда заключаются в иронические (а не грамматические) кавычки. Они заявляют, что верят в то, что старомодные разоблачения буквального или интерпретационного отрицания лишены какого-либо «привилегированного» авторитета. Все встречаемые утверждения об отрицаемой реальности сами по себе являются лишь маневрами в бесконечных играх за истину. А правда, как известно, неотделима от власти. Из конкретной информации также невозможно сделать какие-либо разумные моральные выводы: мораль и ценности являются относительными, культурно специфическими и лишенными какой-либо универсальной силы.

Многие из всех этих идей просто смехотворны. И пока они остаются в аудиториях для семинаров, конференциях и резюме ученых-социологов, они представляют собой безобидное развлечение. Но когда они шумно циркулируют в обыденной и даже массовой культуре, они начинают пополнять арсенал отрицаний, доступных сильным мира сего. Так не было задумано. И, конечно же, тиранам не обязательно читать постмодернистскую философию, чтобы получить моральное позволение делать то, что они всегда делали. Но тираны сегодня тоже живут по метаправилам глобализации и рефлексивности. Им нужны по-новому и лучше сформулированные истории – дизайнерские отчеты, которые можно было бы предложить Генеральной Ассамблее, приедем полномочным представителям МВФ, Всемирного банка и ВОЗ и даже миссии по установлению фактов Human Rights Watch.

### *Повествования и игры в правду*

Самым вредоносным элементом критики того, что по-разному называют «позитивизмом», «рациональностью», «наукой» или «Просвещением», является идея о том, что не может быть



доступа к текущей или исторической реальности за пределами точки зрения власти. В конечном счете, не существует способа определить, что одна версия реальности более достоверна, чем любая другая. Все мы, кто носил антипозитивистские знамена шестидесятых, ответственны за эти философские шутки. Размышляя о версиях эпистемического релятивизма, которым отдают предпочтение культурные левые, мы должны, по крайней мере, иметь совесть сказать: «Мы имели в виду не это».

В марте 1991 года, вскоре после окончания войны в Персидском заливе – тысячи погибших и искалеченных в Ираке, инфраструктура страны разрушена «умными бомбами», а курды брошены на произвол судьбы – Бодрийяр опубликовал свою статью «Война в Персидском заливе не состоялась»<sup>6</sup>. «Настоящие воюющие стороны», утверждал он, – это те, кто преуспел в идеологии истины этой войны. Его более раннее предсказание о том, что войны никогда не произойдет, оказалось верным<sup>7</sup>. «Война» была свободно плавающим термином, лишенным референциального значения. То, что произошло, было всего лишь плодом симуляции СМИ, серией воображаемых сценариев, выходящих за все пределы реальности реального мира. Эта «вещь» существовала в сознании аудитории, являясь продолжением видеоигр, которые так долго заполняли экраны телевизоров. Все – не только зрители прайм-тайма, но и пятизвездочные генералы – стали зависимы от этих компьютерных изображений. С таким же успехом мы могли бы отбросить все самообманчивые различия между экранными событиями и «реальностью».

Бодрийяр и другие в блестящем стиле раскритиковали представление таких зрелищ, как война в Персидском заливе, политтехнологии и средствами информации. Я понимаю эту критику как разоблачение отрицания: ошеломляющее использование бессмысленных статистических данных для создания иллюзии фактического сообщения; эвфемизмы о «точном нацеливании», «умных бомбах» и «побочном ущербе», чтобы убедить нас в том, что массовое уничтожение мирных жителей либо не происходило (буквальное отрицание), либо было случайным

---

<sup>6</sup> Jean Baudrillard, «La Guerre du Golfe n'a pas eu lieu», *Liberation*, 29 Mar., 1991.

<sup>7</sup> Jean Baudrillard, «The Reality Gulf», *Guardian*, 11 Jan. 1991.

(отрицание ответственности); репортажи о войне, в которых не фигурируют никакие тела, кроме находящегося под угрозой исчезновения репортера CNN. (Генерал Шварцкопф пообещал, что не будет ни подсчета трупов, ни мешков для трупов, а только «мешки с человеческими останками»). Высотехнологичные изображения воздушной разведки, электронного картографирования и мультипликационных симуляций были оружием в репрезентационной войне. Корпоративные СМИ вступили в сговор с Государственным департаментом, чтобы отрицать реальность, травмы и инакомыслие.

Однако эта война презентаций была преднамеренной, а не просто отражением постмодернистского духа. США не хотели еще одного Вьетнама – то есть войны, телевизионные изображения которой были настолько реалистичными, что многие обвиняли их в деморализации, которая подпитывала оппозицию войне. Но даже если война между изображениями в киберпространстве монополизировала наше сознание, на земле все же произошла война между телами. Ни один из этих теоретиков, как меня снисходительно заверили, «действительно» не думает, что этой «настоящей» войны не было; оказывается, я упустил метаиронию.

Кристофер Норрис объясняет, как возникло уклончивое предположение, что, поскольку каждый текст включает в себя некий повествовательный интерес, невозможно отличить фактический, исторический или документальный материал, с одной стороны, от вымышленного, воображаемого или смоделированного материала, с другой<sup>8</sup>. Если не может быть доступа к истине или историческим данным, показывает Норрис, остается царство незакрепленных убедительных высказываний, где риторика сводится к нулю и где ничто не может считаться демонстрацией ложности того, во что средства массовой информации или правительства хотели бы заставить нас верить.

Это как раз правильная теория для поддержки даже самых несостоятельных форм отрицания, таких как теория отрицателей Холокоста, «для которых очевидно, что хорошей новостью является то, что события прошлого можно интерпретировать только в соответствии с нынешними консенсусными ценностями или идеями

---

<sup>8</sup> Christopher Norris, *Uncritical Theory: Postmodernism, Intellectuals and the Gulf War* (London: Lawrence and Wishart, 1992).

того, что в настоящее время и условно считается «хорошим с точки зрения веры»<sup>9</sup>. Даже самые грубые отрицатели могут использовать нынешнее интеллектуальное недомогание, чтобы заявить, что они просто предлагают альтернативную версию истории<sup>10</sup>. Липштадт справедливо потрясен готовностью ученых, студентов университетов, а также средств массовой информации рассматривать отрицание Холокоста просто как «другую сторону» или «другую» версию истины<sup>11</sup>. Вы не можете апеллировать к релятивизму знаний, чтобы превратить «утверждение Холокоста» и «отрицание Холокоста» в академические дебаты. Мы ведь не так относимся к мнению о том, что Земля плоская или что рабства никогда не существовало. Это не две «точки зрения» – одна из позиций представляет собой просто фанатичное неприятие доказательств и отказ подчиняться правилам рациональности и логики.

Я много раз цитировал случай Армении: восьмидесятилетнюю эволюцию неоспоримого геноцида, в котором погибло более миллиона человек, в «проблему», в которой «другой стороне», туркам, должно быть уделено должное внимание. Де Пре спрашивает: «Что случилось с аргументом о том, что есть две стороны всего, что когда-то способствовало установлению истины, а теперь работает против нее?»<sup>12</sup>. То, что произошло, было старомодной победой власти над правдой: государство-сателлит предлагает политическую лояльность, чтобы убедить сверхдержаву отрицать ее бесспорные прежние знания. В лучшем случае скептицизм Просвещения мог подорвать официальный дискурс и псевдонауку. В худшем случае пустые разговоры о «множественных нарративах» оставляют лишь пустоту: «забота об истине, кото-рая настаивала на проверке доказательств, уступила место растерянному скептицизму, который в конечном итоге приводит к принятию официальной позиции»<sup>13</sup>.

---

<sup>9</sup> Ibid., 21.

<sup>10</sup> See Pierre Vidal-Naquet, *Assassins of Memory* (New York: Columbia University Press, 1992).

<sup>11</sup> Deborah Lipstadt, *Denying the Holocaust: The Growing Assault on Truth and Memory* (New York: Free Press, 1994).

<sup>12</sup> Terence Des Pres, «On Governing Narratives: The Turkish–Armenian Case», *Yale Review*, 75 (1986), 519.

<sup>13</sup> Ibid., 521.

Благодаря выжившим, информаторам, историкам, журналистам и правозащитным организациям ранее отрицаемые истории раскрываются, а нынешние опровержения становятся прозрачными. Но по мере увеличения объема документации растет и скептицизм в отношении существования объективной истины. Согласно этому эпистемическому релятивизму, установленные научные факты являются всего лишь социальными конструкциями. Нарративы одинаково и открыто соревнуются в неопределенных играх правды. Возможно, однажды все эти утомительные дебаты о том, какой урок можно извлечь из прошлого, станут менее острыми. В конце концов, если одна история ничуть не хуже другой, зачем бороться за свою версию? Вместо поучительной язвительности мы будем иметь неразрешимое безумие психиатрической больницы, в которой сразу несколько пациентов утверждают, что они – Иисус Христос<sup>14</sup>.

Признаком того, что это безумие уже распространилось в нашем обществе, является то, что именно юристам доверено выносить решения по историческим повествованиям. При обеспечении соблюдения законов против отрицания геноцида судам все чаще придется выносить решения по этим эпистемологическим битвам. Когда юридический дискурс совпадает со здравым смыслом, это может быть не так уж и плохо. Обратите внимание, например, на простые слова судьи Верховного суда Лос-Анджелеса, вынесшего в 1981 году решение по делу «Мермельштейн против Института исторического обзора [фальшивого академического института в индустрии отрицания Холокоста]»: «Суд обращает внимание на тот факт, что евреев убили газом в концентрационном лагере Освенцим в Польше». Существование Холокоста не подлежит обоснованному оспариванию: «Его можно немедленно и точно определить, обратившись к источникам разумной и неоспоримой точности. Это просто факт»<sup>15</sup>.

Это просто факт. Такие факты, конечно, могут быть неуловимыми, а их детали – непроницаемыми. Даже полностью транслируемое по телевидению злодеяние, каждый записанный кадр которого

---

<sup>14</sup> Я имею в виду прекрасное, но забытое исследование: Milton Rokeach, *The Three Christs of Ypsilanti* (New York: Columbia University Press, 1981; orig. pub. 1964).

<sup>15</sup> Цитируется по: Erich Kulka, «Denial of the Holocaust», in I. W. Charny (ed.), *Genocide: A Critical Bibliographical Review*, vol. 2 (London: Mansell, 1991), 55.

повторяется каждый час в выпусках новостей (в отличие от многих не попавших в кадр убийств), редко бывает полностью однозначным. Все стороны в войнах в бывшей Югославии будут отрицать реальность, интерпретацию и значение каждого такого образа. Каждый убедил себя в своей невинности. Но это только их убеждение. Где-то есть неуловимая точка обзора, которая находится не на стороне какой-либо стороны, а лишь несколько за пределами территории обеих сторон. Отсюда можно наблюдать рутинное преувеличение и подтасовку фактов; сокрытия могут быть сфотографированы (тайные могилы, уничтожение улики, очистка ранее сфотографированного места захоронения), а голоса эквивалентов Караджича записаны на пленку («Так называемая резня»; «нет приказа их убивать»); истории о зверствах являются частью международного заговора против сербов, возглавляемого странами Ближнего Востока, которые контролируют Запад, нефтяные рынки и CNN»; «тела были солдатами-мусульманами, убитыми в законных боевых действиях»). С этой точки зрения наблюдатели могли бы согласиться, по крайней мере, с одним утверждением истины: за пять дней солдаты боснийских сербов убили по меньшей мере 7000 в основном безоружных боснийских мужчин-мусульман. Когда будет создан Международный уголовный суд, тогда – несмотря на все недостатки судебного дискурса как хранилища истины – *можно будет* прийти к выводу, подобному выводу судьи из Лос-Анджелеса: «Это просто факт».

Такие концепции, как «сокрытие», предполагают, что скрывается не очередной риторический прием, а повествовательная истина с моральным подтекстом. Некоторые люди отдавали приказы, другие подчинялись им, еще кто-то был равнодушным наблюдателем. Это не означает, что тексты и изображения подобных событий имеют для всех одно и то же значение. Вся моя книга пытается продемонстрировать обратное. Отчаяние Брехта, Бенджамена, Леви, Оруэлла и Штайнера происходит из испытываемого чувства неспособности отобразить уникальность каждого конкретного злодеяния, а также передать их универсальный смысл. Такое же отчаяние было у журналистов в Руанде в 1994 году: как описать убийство людей с помощью мачете, дубинок и кухонных принадлежностей; 800 000 убито за сто дней, по пять человек убито каждую минуту – в три раза больше, чем число евреев, погибавших

за такой же отрезок времени в период Холокоста, – число, которое привело бы к гибели десяти миллионов человек за четыре года. Корреспондент Associated Press в Западной Африке пишет: «Я сомневаюсь, что есть какое-либо другое место в мире, где так много людей, зарабатывающих на жизнь писательством, использовали фразу: «Слова не могут описать...»<sup>16</sup>.

Писатели, размышляющие о Холокосте, и журналисты, пишущие о Руанде, выражают одно и то же обескураживающее ощущение: паралич языка, непреодолимую пропасть между языком и событием, которое он должен описывать. Это не имеет ничего, вообще ничего общего с «доказательством» существования события. Вы не можете говорить о «неадекватности» или апеллировать к поэтическому молчанию, не зная, где находится неадекватность и о чем вы молчите.

Это не тот предмет, который можно «сделать проблемным» или «поместить» в какой-нибудь лозунг на футболках о «вымышленности фактов». Фридлендер терпеливо объясняет проблему, читая стандартную историческую книгу, описывающую массовые убийства и депортации в Хелмо<sup>17</sup>. Этот текст, отмечает он, является научным и основанным на фактах и служит именно тем источником, который можно использовать в борьбе с отрицанием. Но сама фактичность блокирует эмоциональную привлекательность. Текст имеет как бы две половины. В части А записано, что «евреи некоторых эшелонов ... не были приписаны к местным гетто или лагерям». В части Б отмечается, что «эти евреи были расстреляны сразу по прибытии». Здесь есть несоответствие, нереальность: часть А описывает административные вопросы обычной речью; часть Б внезапно описывает массовые убийства. Но стиль не меняется и не может измениться: «Естественно, что вторая половина текста может лишь продолжать бюрократический и отстраненный тон первой. Это нейтрализует всю дискуссию и внезапно ставит каждого из нас, прежде чем мы успеем взять себя в руки, в ситуацию, не чуждую отстраненной позиции координатора истребления»<sup>18</sup>.

---

<sup>16</sup> Mark Fritz, цитируется по: Susan D. Moeller, *Compassion Fatigue: How the Media Sell Disease, Famine, War and Death* (London: Routledge, 1999), 297.

<sup>17</sup> Saul Friedlander, *Reflections of Nazism: An Essay of Kitsch and Death* (New York: Harper and Row, 1984), 89–92.

<sup>18</sup> Ibid., 91.

Этот ужасный вывод не является усталым эстетическим жестом. Это происходит из-за отчаяния репрезентации: ощущения, что обычные способы сообщения правды не могут передать действительно жестоких вещей, не говоря уже о том, чтобы вызвать «адекватную» реакцию. Этот тезис совершенно отличается от утверждения, что не может быть доступа к истине – идеи, которая сейчас циркулирует на культурном рынке. Тираны, которые никогда не слышали слова «нарратив», действительно признают хорошую историю. Они могут рассчитывать на то, что предприниматели в сфере культуры доведут это послание до уровня MTV. Литературные деятели как раз для этого подходят. Как любезно объясняет романист Э. Л. Доктороу: «Больше не существует таких вещей, как художественная или документальная литература; есть только нарратив».

### *Моральный релятивизм*

Респектабельные идеи о моральном и культурном релятивизме также стали культурным товаром. Нам говорят, что игра нацелена на универсальность. В отсутствие основополагающей основы морали невозможно отстаивать универсальные ценности, подобные тем, которые закреплены в декларациях по правам человека. Идеал универсальности не только нежелателен и недостижим, но и отражает западные, этноцентрические и индивидуалистические ценности. Всеобщая декларация прав человека была продуктом определенного момента в западной (европейской, белой) истории. Эти чуждые ценности были навязаны глобально и с типичным колонизаторским рвением. Сейчас они используются выборочно – особенно для того, чтобы очернить общества, где общинные обязанности более естественны, чем индивидуальные права, и где социальные и экономические права должны иметь приоритет над гражданскими и политическими правами. Даже внутри либеральных демократий Запада не может быть никаких основных ценностей. Это мультикультурные общества, в которых каждая идентичность – этническая принадлежность, пол, сексуальность – несет в себе свое собственное мировоззрение, каждое из которых столь же значимо, как и другое.

Историческая часть этой истории может быть неполной, но она определенно не ошибочна, а некоторые другие утверждения достаточно правдоподобны. Однако его политические последствия, если оторвать его от метатеории, крайне пагубны. Как мы видели, автоматическим отказом в официальном дискурсе отрицания является «принципиальное» неприятие правительством применимости международных норм в области прав человека: мы разные; мы сталкиваемся с особыми проблемами; у нас есть собственная культура; это азиатский путь, африканский путь, ислам или еврейская традиция; мир нас не понимает. Эти неискренние отрицания теперь выглядят респектабельно и даже интеллектуально достойно: изощренный словарь для «осуждения осуждающих».

В более безумных североамериканских версиях мультикультурализма и политики идентичности даже те, которые раньше назывались «субкультурными» группами, не разделяют каких-либо основных (то есть «доминирующих» или «гегемонистских») ценностей. Если в одном кампусе калифорнийского колледжа каждая такая группа заявляет о своих отличиях, как тогда индонезийцы, ливийцы и украинцы могут быть связаны одними и теми же ценностями? В отличие от эпистемического релятивизма, который признается лишь молчаливо, авангардные теории культурной специфики явно заимствуются. Влиятельные люди продолжают делать то, что они делали всегда, в то время как интеллектуалы снабжают их тем, что Уоле Сойинка красиво называет «культурным алиби».

Дебаты об универсальности/культурной специфике, конечно, гораздо сложнее, чем нарисованная мной карикатура. Правозащитники не могут быть (или хотеть быть) нечувствительными к местным ценностям. Они действительно находятся в авангарде попыток примирить универсальные нормы с такими традициями, как ислам. Местные рабочие сами представляют собой частное и общее; они каждый день борются с обвинениями в том, что они навязывают чуждые ценности. Но чего они ждут от прогрессивных интеллектуалов, так это признания их дилеммы и некоторой помощи в подрыве культурного алиби своего правительства. Вместо этого они слышат, что местная борьба за социальную справедливость теряет свой смысл, потому что она опирается на универ-



сальные основы и основные нарративы, которые сейчас дискредитированы. Прощай, Просвещение.

Эти смутные времена заставляют задуматься о «роли интеллектуала». В моих кавычках я узнаю старомодное – даже слегка нелепое – звучание этого термина. Нам действительно придется вернуться к анахроничным фигурам, таким как Оруэлл. Ближайший современный голос – голос Хомского. Для него интеллектуальная ответственность писателя как морального агента очевидна: попытаться выяснить и рассказать правду о вопросах, имеющих *общечеловеческое значение, насколько это возможно, нужной аудитории*, то есть аудитории, которая может что-то с ними сделать<sup>19</sup>. Выяснение и высказывание правды избыточны только в том смысле, что «факты известны и не отрицаются, но считаются не вызывающими беспокойства, учитывая поставленные цели»<sup>20</sup>. Никаких психологических тонкостей: люди знают, но им все равно. Хомский не согласен со старым квакерским лозунгом «Говори правду власти». «Говорить правду» киссинджерам всего мира, тем, кто уже очень хорошо знают правду, – бессмысленная трата времени. Люди, которые имеют влияние, принадлежат к «сообществу общих интересов». Они хотят услышать правду не для самопросветления, а для того, чтобы «осуществлять лучшую политику, которая поможет облегчить страдания»<sup>21</sup>. Интеллектуалы, которые хранят молчание о том, что они знают, игнорируют преступления, имеющие значение с моральной точки зрения, морально виновны еще больше, когда их общество свободно и открыто. Они могут говорить свободно, но предпочитают не делать этого.

По мнению Хомского, постмодернистские культурные левые даже не настолько интересны, чтобы их критиковать. Но их теории интересны. Просто будучи гражданином ЮАР, Эфиопии, Камбоджи или Заира, я бы предпочел, чтобы деконструктивист не был назначен председателем нашей Комиссии по установлению истины и

---

<sup>19</sup> Noam Chomsky, «Writers and Intellectual Responsibility», in *Powers and Prospects: Reflections on Human Nature and the Social Order* (Boston: South End Press, 1996), 55–69. Я объединил два определения (курсив в оригинале) со стр. 55 и 54.

<sup>20</sup> Ibid., 62.

<sup>21</sup> Ibid., 60-1.

справедливости. Созданный ими текст был бы интересен, но не для моих целей.

## Большее или меньшее отрицание?

За полвека, прошедшие после окончания Второй мировой войны, около 25 миллионов человек, в основном гражданских лиц, были убиты правительствами своих же стран в результате внутренних конфликтов и этнического, националистического или религиозного насилия. Число погибших среди гражданского населения возросло с 5 процентов всех смертей, связанных с войной, на рубеже веков до более чем 90 процентов в 1990-х годах. Около 50 миллионов человек были вынуждены покинуть свои дома. В 1998 году более 2000 человек ежемесячно погибали или получали увечья в результате взрывов противопехотных мин. Невозможно даже оценить количество раненых и инвалидов, подвергшихся пыткам и изнасилованиям во время этих конфликтов. Статистика бедности, голода и детской смертности от болезней, которые можно было предотвратить, продолжает поражать воображение: 17 миллионов человек в год умирают от инфекционных и паразитарных заболеваний, таких как корь, диарея и малярия; 600 миллионов человек хронически недоедают; 3 миллиона умирают от туберкулеза; если бы каждый имел доступ к безопасной воде и базовым санитарным услугам, каждый год можно было бы спасти 2 миллиона молодых жизней. Значительные части мира опустошены и обезлюдели из-за вируса СПИДа: каждый день им заражается 16 000 человек<sup>22</sup>.

Как мы будем реагировать на зверства и страдания, которые нас ждут впереди? Политические преобразования последнего десятилетия радикально изменили постановку этих проблем. Холодная война закончилась, обычная «война» уже не означает того, что она означала раньше; равно как и термины «национализм», «социализм», «государство всеобщего благоденствия», «общественный порядок», «безопасность», «жертва», «поддержание мира» и «вмешательство». Демонтаж коммунизма и апартеида, распад (в основном в Африке) некоторых национальных государств и фрагментация нового мирового порядка привели к интенсификации

---

<sup>22</sup> UNDP Human Development Report (New York: Oxford University Press, 1998).

смертоносных этнических, сепаратистских, религиозных и националистических конфликтов. Неравенство в странах с развитой стабильной демократией возросло: разрыв между наиболее богатыми странами Севера и самыми бедными странами Юга увеличился еще больше. Досовременные практики – пиратство, «военачальники», мачете, пытки, похищения людей и наемные армии – продолжают существовать, используя современные гаджеты и представляя собой постмодернистские информационные технологии. В начале 1999 года произошли зверства, о которых ранее не сообщалось: в Сьерра-Леоне двенадцатилетние дети-солдаты, которым боевики в качестве предупреждения ампутировали руки, появились в лагерях, организованных комиссариатом ООН по делам беженцев.

Если предположить, что впереди нас ждет еще больше открытий такого рода, будут ли соответствующие знания получены с большим отрицанием или с большим признанием? Оба случая можно оспорить.

### *Больше отрицания*

Какими бы неуловимыми ни были такие понятия, как перегрузка или усталость, простое нарастание и повторение ужасных образов должно иметь некоторый кумулятивный эффект. Представьте себе, что сегодня сможет увидеть шестидесятилетний человек, который сорок лет регулярно смотрел телевизионные новости. Сейчас достаточно сложно воспринимать и удерживать взгляды зрителей. Новые коммуникационные технологии делают каждую проблему более заметной, но менее понятной. Контекстные вопросы начнут приобретать еще меньшее значение: что здесь натворили колониальные державы? С исторической точки зрения, кто является жертвами, а кто – угнетателями? Действительно ли произошла эта резня? Где беженцы? Станет труднее даже *представить* себе эффективное вмешательство. Еще труднее для понимания будет список причин «почему ничего не делается?»: ситуация в ООН, сложность конфликта, опасность гуманитарных интервенций, полуполигальная и незаконная торговля оружием, торговые соглашения и геополитические интересы. Также усилится конкуренция за скудные ресурсы внимания и сострадания. Требования уже высоки: каждую неделю появляется все больше обращений, новостей и

документальных фильмов о далеких страданиях, а также о домашних проблемах. Почему цель этих призывов должна выходить за пределы небольшой либеральной аудитории? В Великобритании все гуманитарные организации вместе получают около 4-х процентов от общего объема благотворительных пожертвований (остальная часть идет на здравоохранение, животных, религию, окружающую среду, образование и искусство).

Успех экологического движения был поразительным. Его первоначальный подъем, вплоть до конца восьмидесятых годов, был частично достигнут за счет гуманитарных причин. Экологическое послание более безопасно, практически аполитично и напрямую апеллирует к личным интересам (если не к вашему здоровью, то к здоровью ваших детей). Даже если повестка дня долгосрочная и сложная, можно продемонстрировать ощутимые успехи – снижение загрязнения воздуха, сохранение природной зоны, спасение дельфинов. Средства массовой информации, особенно телевидение, могут установить связь между глобальными проблемами, такими как загрязнение окружающей среды, кислотные дожди, парниковое потепление, удаление токсичных отходов, сохранение дикой природы и тропических лесов, и тем, как мы живем на промышленном Севере. «Думай глобально, действуй локально» – вот яркое послание средств массовой информации. Такую непосредственность и подразумеваемую причинно-следственную связь гораздо труднее установить в сфере прав человека. В этой сфере не существует изображений, эквивалентных визуальной связи между переработкой мусора и защитой мировых ресурсов.

Понятие усталости от сострадания может быть шатким. Но каждое новое моральное требование усложняет задачу: необходимо установить еще один фильтр или приоритет. Я проверил это, проанализировав свою собственную реакцию на проблемы окружающей среды и прав животных. Оказывается, я не могу найти сильных рациональных аргументов против любого набора утверждений. Но эмоционально они меня совершенно не трогают. Я почти не обращаю внимания (полностью отрицая) на проблемы животных. Я знаю, что обращение с животными в жестоких экспериментах и на промышленных фермах трудно оправдать. Я даже вижу повод стать вегетарианцем. Но в конце концов, как люди, выбрасывающие листовку Amnesty, мои фильтры переходят в автомати-

ческий режим: это не моя ответственность; есть проблемы посерьезней; есть много других людей, которые заботятся об этом. Что вы имеете в виду, утверждая, что я отрицаю это каждый раз, когда покупаю гамбургер?

Что касается страданий наших собратьев, то границы этого «сообщества» всегда будут под вопросом. Насколько наше сострадание выходит за рамки наших семей, друзей и близкого круга? Где грань между внутренними проблемами и проблемами далекого мира? Если существует метаправило заботиться в первую очередь о «своих людях», достигается ли порог реагирования на тяжелое положение далеких чужаков? Мы не можем быть уверены, что дополнительная информация (или более ужасная информация?) изменит порог. Люди возмущаются, когда им говорят то, что они уже знают; им не нравится проповеднический и повышенный тон призывов. Но они чувствуют ужас, расстройство, вину и сострадание. Их беспокоят человеческие страдания, они не считают их нормальными и терпимыми. Вот вам и разрыв между заботой и действием.

Изменения в мировом порядке за последнее десятилетие выглядят бесперспективными. Международное вмешательство, такое как бомбардировки из-за событий в Косово, может вызвать политическую реакцию в пользу усиления изоляционизма. Уже существует очевидная тенденция списывать со счетов целые части мира, такие, например, как Западная и Центральная Африка. Изоляционизм может показаться странным в мире глобализации, транснациональных корпораций и надгосударственных структур, таких как ЕС. Однако в этих гигантских институтах сложнее найти структуры ответственности и подотчетности, что позволяет больше отрицать.

Изменение политической культуры *в западных демократиях* также порождает пессимизм. В Британии новые слои населения являются возрожденными индивидуалистами, типичными для эпохи свободного рынка, они хронически заражены эгоизмом времен Тэтчер. На левом фланге «новые социальные движения» начала семидесятых годов отходили от интернационалистских обязательств. Эти движения были построены вокруг общей идентичности, сепаратистских интересов и озабоченности повседневными проблемами «самореализации», «личного, то есть

политического» и «качества жизни». Ничто из этого не побуждает задуматься о голоде в Судане или резне в Алжире. Более того, современные версии политики идентичности основаны на коллективной идентичности *жертв*. Некоторые представления о «культуре жалоб» и «нации жертв» могут быть преувеличены, но существует тенденция, которая поощряет конкуренцию в отношении того, какая группа пострадала больше всего.

Идеал шестидесятых годов активиста вообще, который может быть мобилизован для любых видов прогрессивных целей, далек от активизма, построенного на исключительном субъективном опыте особых групп. Доктрина мультикультурализма усиливает эту политику отдельных и особых идентичностей. Это не благодатная почва для того, чтобы просить людей мобилизоваться от имени далеких других. Призывы к правам человека порождаются устаревшими идеалами общественной жизни, братства, солидарности, универсальности и общего гражданства. Идеал мирового гражданства, который когда-то был респектабельной идеей, звучит просто ненадежно, когда даже национальное гражданство устарело.

### *Больше признания*

Можно рассказать гораздо более обнадеживающую историю: совсем недавнюю и долгосрочную эволюцию более универсального, сострадательного и инклюзивного сознания. Импульс телезрителей «сделать что-нибудь» при виде страданий (или сказать друг другу, что «нужно что-то сделать») говорит о растущем чувстве морального долга за пределами нации и семьи<sup>23</sup>. Каким бы хрупким и двусмысленным ни выглядело это повествование о сострадании, несмотря на то, что оно должно быть подчинено первобытным узам человеческой привязанности, его присутствие приходится признавать. Новое моральное воображение заметно развилось за последние пятьдесят лет благодаря ощутимым усилиям международных гуманитарных агентств и неизбежному присутствию глобальных телевизионных новостей. Все приближается к нам и ускоряется: лица людей в агонии, пространство и время, необходимое, чтобы

---

<sup>23</sup> Michael Ignatieff, *The Warrior's Honour: Ethnic War and the Modern Conscience* (London: Chatto & Windus, 1998).

добраться до них, работа врачей или спасателей, помогающих людям избежать смерти. Границы «морального посягательства» расширились, как и ощущение, что что-то, в конце концов, можно сделать<sup>24</sup>.

В этой долговременной истории утверждения о том, что потоки новой информации приведут к чрезмерной стимуляции, усталости от сострадания или выгоранию доноров, являются эфемерными клише. Журналисты и гуманитарные организации могут беспокоиться, что одни и те же старые изображения утомят их аудиторию, но нет никаких доказательств того, что это происходит. Не существует и какого-то ограниченного запаса сострадания, которое сейчас исчерпано. Быстрая и массовая мобилизация в случае чрезвычайных гуманитарных ситуаций показывает, насколько легко и быстро можно принять альтруистические меры реагирования. Трехмесячная история геноцида в Руанде почти не тронула общественность, но когда история переключилась на Гому, беженцев, умирающих детей, холеру и дизентерию, реакция доноров была массовой. Вопреки модели рационального личного интереса, люди *постоянно* реагируют – не только на массовые бедствия, но и поддерживая традиционные благотворительные организации, агентства по развитию/помощи и другие дела (например, права животных), где на карту не поставлены никакие личные интересы.

Нет и никаких доказательств существования клише приложений к Sunday о «Me Generation» (Baby Boomers, вошедшие в возраст к 1970-м), «заботе о первом» или нарциссизме яппи. Возможно, это и не будет воплощено в жизнь, но основные принципы прав человека пользуются широкой поддержкой. Более того, хотя внутренние проблемы сохраняют приоритетные международные проблемы, такие как защита окружающей среды, права человека и помощь/развитие имеют каждый свой собственный электорат. В своем общем преодолении национальных границ они вряд ли конкурируют друг с другом. Одни и те же люди подписываются на группу организаций (моральные инвестиции в сбалансированный портфель?), таких как Amnesty International, Greenpeace и Oxfam.

---

<sup>24</sup> Ibid., 90.

Технологии глобальных коммуникаций позволяют получить мгновенный доступ к новостям в реальном времени и к сценам «реалити-шоу», в которых люди непосредственно переживают ужасы. Стандартная критика образов страдания как нормальных, стереотипных и ограниченных устаревает. Разоблачения в СМИ таких тем, как незаконные сделки с оружием, выходят далеко за рамки ожиданий и знаний радикалов шестидесятых. Группы давления, гуманитарные организации и жертвы становятся все более изощренными в повышении осведомленности общественности о человеческих страданиях.

Глобализация информационных сетей и создание универсальных культур, таких как рок-музыка, позволяют быстро передавать гуманитарные призывы. Поразительные успехи организованных Бобом Гелдофом Live Aid и мирового турне Human Rights Now показывают, что универсальные альтруистические послания могут мотивировать широкую аудиторию. Не следует принижать видение Гелдофа: музыка как символическое средство обхода традиционных структур и достижения потенциальных сторонников с располагаемым доходом, а также резервуар ненаправленной страсти, обычно не являющейся целью благотворительных организаций<sup>25</sup>. Немедленно вспыхнувший энтузиазм вскоре угас, но эти события возродили осознание проблем третьего мира, которые исчезли из общественного сознания вместе с остальными в шестидесятые годы.

Да, новые социальные движения заражены политикой особой идентичности. Но они также демонстрируют обнадеживающую способность извлекать выгоду из разочарования в партийной политике. Нынешнее поколение активистов не ищет сверхъестественного места за пределами левых и правых. Их привлекают дела, посвященные одной проблеме, *поскольку* у них нет общей программы.

По мере того как старые структуры лояльности и идентичности – нация, класс, религия, профсоюзы, армия – теряют свою обязательную силу, могут возникнуть движения, основанные на более универсальных идентичностях. Экологическая модель «думай глобально, действуй локально» применима и к другим проблемам. Здоровое недоверие к власти поощряет эти более эгалитарные

---

<sup>25</sup> Frances Westley, «Bob Geldof and Live Aid: The Affective Side of Global Social Innovation», *Human Relations*, 44 (1991), 1011–36.



обязательства. То же самое относится и к моральному сочувствию жертвам насильственной власти, независимо от его идеологической окраски – а именно, концепции жертв, основанной на правах человека. Акцент на прозрачность и подотчетность, более пристальное внимание к общественным деятелям и регулярное разоблачение их частной жизни, без сомнения, могут перерасти в разъедающий цинизм в отношении любых перспектив перемен. Это могло бы также стимулировать участие в решении ограниченных гуманитарных вопросов. По крайней мере, это должно вызвать рефлекторное подозрение в отношении официальных опровержений.

### *Порог*

И так далее. Эти оптимистические и пессимистические прогнозы нестабильны, и каждый из них можно развивать и дальше. Оптимистическое повествование Игнатьева о расширяющемся моральном воображении стимулировалось универсальной непосредственностью телевизионных изображений и интервенционистскими драмами начала 1990-х годов, но не прошло и десятилетия как оно мутировала в изоляционизм и пессимизм. Моральный рефлекс «что-то должно быть сделано» основывался на иллюзии, что «что-то можно сделать». Провал большинства мер – продолжающееся насилие на низком уровне все в тех же местах (и насилие на высоком уровне в новых местах, таких как Чечня) – приводит к чему-то более уродливому, чем беспомощность или усталость от сострадания. Существует осязаемое нетерпение – даже *моральное отвращение* – к обществам, которые, кажется, не только неспособны извлечь выгоду из внешней помощи, но и дальше сваливаются в необъяснимый хаос и жестокость<sup>26</sup>. Это сигнал для жалоба пассивного наблюдателя: «Вы ничего не можете сделать в таких местах».

Словно для того, чтобы конкурировать с ужасами окружающего мира, вокруг индивидуальных страданий простых людей создается необычайная медиакультура. На Опре, Филе, Салли и

---

<sup>26</sup> Диссертация Игнатьева на тему «Соблазнительность морального отвращения» появилась в 1995 году – довольно скоро, поскольку оптимистические нарративы о моральной приверженности и глобализации социальных страданий были настолько размыты пессимизмом и хаосом.

Джерри совершенствуется искусство исповеди и свидетельствования. Каждый может стать жертвой; нет ничего личного или неупомянутого. Жертва вовсе не «отрицает», а «выставляется напоказ». В одном из эпизодов Салли Джесси Рафаэль благодарит серийного насильника за признание того, что он тоже стал жертвой плохого воспитания и жестокого обращения со стороны родителей. Но слово «серийный насильник» уже слишком распространено. Категории демонстрируемых отклонений должны стать еще более утонченными; пустое указание «дать выход своим чувствам» сосредоточено только на непосредственной ситуации. Отдаленные трагедии голода и политических убийств не могут соперничать на одной и той же почве.

Свободный рынок позднего капитализма – по определению, система, отрицающая свою аморальность – порождает свою собственную культуру отрицания. Все больше людей становятся лишними и маргинальными: неквалифицированные, малоквалифицированные и безнадежные бедняки; старики, которые уже не работают; молодежь, которая не может найти работу; массовое перемещение мигрантов, просителей убежища и беженцев. «Решение» этих проблем теперь физически воспроизводит условия отрицания. Стратегия – *изоляция и сегрегация*: анклавы проигравших и избыточного населения, живущие в современной версии гетто, достаточно удаленные, чтобы стать «с глаз долой, из памяти», отделенные от мест проживания победителей, в своих охраняемых торговых центрах, закрытых поселениях и специальных поселках для пенсионеров.

Профессионализация гуманитарной помощи – это обоюдоострая победа. У старых специалистов по семейным страданиям (социальные работники, священники, врачи и терапевты) теперь есть коллеги на международном уровне. Эти эксперты действительно заботятся и помогают; им нужны специальные навыки и глубокие знания местной культуры. Технический термин «сложные чрезвычайные ситуации» не передает в должной мере сложность этой работы. Но существует слишком сильное давление на затраты – учет выгод, слишком много мониторинга и оценки и слишком много тэтчеристской тарабарщины о «показателях эффективности». Это создает профессиональные монополии, исключая волонте-

ров и любителей, и может задушить чувство коллективной ответственности среди простых людей.

Можем ли мы ожидать большего морального признания от обычных людей? Бауман предполагает, что все «естественные» моральные рефлексy, которые мы имеем, унаследованы от домодернистской эпохи. Это «мораль близости, и поэтому она крайне неадекватна обществу, в котором все важные действия совершаются на расстоянии»; нам придется расширить наше воображение за пределы его возможностей, чтобы понять причинно-следственные связи и возможное вмешательство, применимое к чему-то вроде Руанды. «Мы не «естественно» чувствуем ответственность за такие далекие события, как бы тесно они ни переплетались с тем, что мы делаем или воздерживаемся от действий»<sup>27</sup>. Для досовременной «морали близости», чтобы признать тяжелое положение далеких неизвестных, требуется некоторый скачок идентификации. Это, в свою очередь, как напоминает нам Игнатъев, предполагает наличие естественной или универсальной человеческой идентичности, по крайней мере, «в базовом братстве голода, жажды, холода, истощения, одиночества или сексуальной страсти»<sup>28</sup>. Даже основные телесные потребности отмечены социальными различиями: «Тождество между таким голодом, который я когда-либо знал, и голодом бездомных людей в Калькутте является чисто лингвистическим»<sup>29</sup>.

Есть только один способ подключить далекого незнакомца: установить совершенно одинаковый порог невыносимого *для всех без исключения*. Отправной точкой является не псевдоуниверсализм или обидчивая эмпатия, а признание радикальных и непреодолимых различий, которые действительно имеют значение. Эти различия проистекают не из моей этнической принадлежности, культуры, дохода, мировоззрения, возраста, сексуальной ориентации или пола, а из основополагающих фактов, что *мои дети не умерли и не умрут от голода и что меня не выгнали или не выгонят*

<sup>27</sup> Zygmunt Bauman, *Postmodern Ethics* (Oxford: Blackwell, 1993), 18. О необходимости «этики дистанции и отдаленных последствий» см. также Norman Geras, *The Contract of Mutual Indifference: Political Philosophy after the Holocaust* (London: Verso, 1998).

<sup>28</sup> Michael Ignatieff, *The Needs of Strangers* (London: Vintage, 1994), 28.

<sup>29</sup> Ibid., 29. У всех нас есть друзья, мыслящие буквально, которые не терпят таких выражений, как «Я умираю от голода». И «эти новые ботинки носить просто пытка».

*из дома после свидетельства того, что мою жену зарубили мачете.* Именно потому, что эти различия настолько глубоки, приходится ссылаться на самый игнорируемый из революционных принципов: не свободу, не равенство, а *братство*.

«Закрывать глаза» не означает буквально не смотреть – это означает потворствовать, не заботиться, быть безразличным. Физическое видение – это метафора морального видения. Некоторые моральные поля напоминают физическое видение, поскольку они охватывают страдания только ограниченных и избранных групп людей.

Однако другие поля вместо того, чтобы где-то заканчиваться, только начинаются в определенной точке: за этой точкой вы не можете «идти вместе» с «вещами», они «заходят слишком далеко», вы не можете их терпеть. Некоторые поля определяются более эмоционально («После этого у меня свело желудок, я не смог этого вынести»). Чисто когнитивное закрытие глаз наименее важно («Происходит слишком много всего. В этот момент я перестая воспринимать любую новую информацию»). Этими зрительными полями также манипулируют сильные мира сего: нет «естественных» точек, нет нейрофизиологических барьеров, где ужасы могли бы быть нормализованы, или моральная близость достигла бы своих внешних границ. Конечно, имеет значение масштаб и серьезность страданий: да, имеет значение, будут убиты 50 или 5000 человек. Но даже идеальная эмпирическая матрица всех этих полей зрения не могла предсказать, как простой объем страданий повлияет на социальную реакцию.

Причина в том, что нас волнует совершенно необоснованное, непредсказуемое, даже причудливое: источник информации, метод массового убийства, даже настроение, в котором мы находимся. Мир страданий делает всех нас моральными идиотами. Маккарти дает прекрасный пример. Почему, спрашивает она, резня в Май Лай – преднамеренное убийство одного за другим несопротивляющихся женщин и детей – рассматривалась как более отвратительная, чем достижение тех же результатов с помощью стандартных боевых средств, «умных» бомб, невидимо сбрасываемых на расстоянии? Возможно, потому, что знание об обезличенных массовых убийствах во многом похоже на базовое знание о том, что дети голодают, пока вы едите.

Если один и тот же человек может осуждать Келли и при этом «сосуществовать» с бомбардировками В-52 в Лаосе и Камбодже, которые, как он *знает*, должны ежедневно убивать неизвестное количество крестьян, это означает лишь то, что он не совсем бессердечен. Он не знает, перестанет ли думать об этом, но, к счастью, он не обязан думать двадцать четыре часа в сутки. Есть знания и неизбежные знания. Где-то посередине находится порог толерантности, очевидно, различающийся у разных людей<sup>30</sup>.

Жизнь любого индивидуума, как и жизнь общества в целом, построена на отрицании. Только основополагающий принцип, такой как социальная справедливость, может определить, какие формы отрицания имеют значение, а какие можно оставить в стороне. Затем мы пытаемся снизить порог толерантности, превращая знания в *неизбежные знания*. Бывают непредсказуемые моменты, когда нас настигает конкретный образ страдания: сердце *сжимается*, набегают тихая слеза – мы «ощущаем» отчаяние на лице ребенка. Но эти моменты невозможно запрограммировать заранее. Никого уже не убедят безвкусные проповеди о добром самаритянине. В качестве религиозной притчи о добродетели и сострадании это так же неуместно, как эпизод с Китти Дженовезе в качестве светской притчи, призывающей к «вмешательству». В постмодернистском мире не так уж много отдельных встреч с ограбленными незнакомцами, лежащими на дороге, неожиданных «моментов истины», в которых проверяются ваши моральные инстинкты. Наши знания не зависят от случая. Они постоянны и непрерывны; те отдельные моменты, когда на экране появляется плачущий руандийский сирота, напоминают о том, что мы уже знаем. Тестом на признание является не наша рефлекторная реакция на телевизионную новость, нищего на улице или рекламу Amnesty, а то, как мы живем между такими моментами. Как нам продолжать жить нормальной жизнью, зная то, что мы знаем?

Это риторический вопрос, тенденциозная морализаторская придирка. Но я рассматриваю это также и в эмпирическом смысле.

---

<sup>30</sup> Mary McCarthy, Medina (London: Wildwood House, 1973), 43.

Каково пространство между нами и коллективными страданиями других? В стихотворении Одена зафиксирована архитектура отстраненности: «человеческая позиция» страдания такова, что оно всегда происходит, когда мы заняты чем-то еще: едим, открываем окно, просто идем. Сюжеты старых мастеров не закрывали намеренно на это глаза. Их и наша отстраненность – результат структурной позиции, встроенного отчуждения от мира страданий других людей<sup>31</sup>. Это пространство даже шире, чем идеологический разрыв между такими людьми, как мы, и теми, кто принадлежит к другим моральным сообществам.

Личное отрицание можно терпеть, поскольку достоинство и конфиденциальность также важны. Компромиссы возможны; никто другой не может пострадать; знание (и высказывание) правды не освобождает вас. Это ваше человеческое право не смотреть правде в глаза о себе; вы можете создавать свои любимые фантазии и жить в блаженном самообмане и выгодной для себя вере. Однако на политическом уровне мы просто не можем терпеть состояния отрицания. Компромиссу нет места. Даже если говорить правду само по себе не является ценностью, отрицание всегда *должно* влиять на других.

Несмотря на сложные препятствия, возникающие между информацией и действием (а это есть тема моей книги), ни одна гуманитарная, образовательная или политическая организация не должна даже рассматривать возможность ограничения потока поступающих знаний. Но сам объем и рефлексивный характер знаний требуют некоторой непредвзятой моральной фильтрации. Если бы только существовала Международная комиссия добрых людей, которая рассматривала бы злодеяния и страдания, принципиально ранжировала бы соответствующие принципы и подходы, а затем устанавливала фильтры и каналы. Доверять фильтрацию новостей некоторым благонамеренным и информированным людям должно быть лучше, чем позволять рынку выбирать, какую информацию продавать, а государству выбирать, какую информацию отрицать.

---

<sup>31</sup> David Morris, «About Suffering: Voice, Genre and Moral Community», in Arthur Kleinman et al. (eds), *Social Suffering* (Berkeley: University of California Press, 1997), 25–47.

Но только наши собственные внутренние психические антенны могут уловить различные виды страданий. Вопрос о том, «освободит ли вас истина», не рядом и не вдали. Выбор предлагается между «тревожными признаниями», которых можно избежать (мы можем с ними жить), и теми, которых избежать невозможно. Это не «позитивная свобода» избавления, а негативная свобода выбора. Это означает, что *более* тревожная информация станет доступной большему количеству людей. Осознанный выбор требует большего количества исходного материала: статистики, отчетов, атласов, словарей, документальных фильмов, хроник, переписей, исследований, списков. Кто-то должен точно сообщить нам, сколько детей в мире (а также *где* и *почему*) все еще умирают от кори, в двенадцатилетнем возрасте призываются в отряды убийц, продаются своими семьями для детской проституции, забиваются до смерти своими родителями. Эта информация должна быть регулярной и доступной: крутиться перед нашими глазами, как заголовки новостей на экранах Таймс-сквер.

Я возвращаюсь в последний раз к этим глазам.

## Фотография никогда не лжет

Незаинтересованного взгляда не существует. Фотографии голодающего сомалийского ребенка и изображения резни в Алжире схвачены с разных точек зрения. Это очевидно, даже если критика невинности стала преувеличенной: ребенок существовал, резня произошла.

Любопытно, что о визуальном представлении мы знаем больше, чем о вербальном восприятии, значении, приписываемом тому, что воспринимается. Прославившиеся военные фотографии и изображения, такие как фотография голодающего африканского ребенка, часто используются, чтобы «говорить сами за себя». Это предполагает некоторую степень соответствия – если не полную симметрию – между намерениями отправителя и восприятием зрителя. Гораздо более сильное предположение заключается в том, что, несмотря на идиосинкразическую чувствительность каждого зрителя, существует общая уязвимость относительно сурового вида крайних человеческих страданий: истины, которые никто не может отрицать, универсальное чувство жалости.

Но, без сомнения, ничто из этого не является самоочевидным. Я рассказываю знакомой, что меня «глубоко тронула» выставка военных фотографий. Она идет на выставку, но ее там совершенно ничто не трогает. «Это оставило меня равнодушной», - говорит она. Наши взгляды и вкусы настолько схожи, что такое полное расхождение вызывает недоумение. В качестве иллюстрации я приведу аллереорию загадки: рецензию, написанную двадцать пять лет назад молодой жительницей Нью-Йорка, на коллекцию фотографий, сделанных другой молодой жительницей Нью-Йорка.

Фотограф – Диана Эрбус, первый «художественный» фотограф, который произвел на меня впечатление. Когда я сам впервые увидел ее работы в начале семидесятых, я был ошеломлен, совершенно загнипнотизирован. Ее фотографии всегда оставались со мной, изображенные ею люди будто не замечали камеру, пока я разглядывал их. Тогда я ничего не знал об Эрбус, но глубоко отождествлял себя с ее творчеством. Я чувствовал, что она настроена на проблему отрицания. Ее субъекты (уничижительно и ошибочно называемые «уродцами») выдвигают два убедительных, но противоречивых требования: признать свое крайне тревожное отличие от нас, а также свою общую с нами природу. Они не были привлекательными людьми; вам было бы неловко оказаться на публике вместе с большинством из них; вы не могли бы легко «идентифицировать» себя с ними. Но они могут изменить вас; нужно восхищаться их стойкостью.

Позже я был удивлен, увидев недоброжелательную рецензию Сьюзен Зонтаг на ретроспективную выставку в 1973 году, через два года после самоубийства Эрбус<sup>32</sup>. Ее реакция во всем была противоположной моей. Я забыл о рецензии и перечитал ее только двадцать пять лет спустя. Теперь я не согласен еще в большей степени. Она описывает 112 фотографий Эрбус как изображения «разнообразных монстров и пограничных случаев – большинство из них уродливы; ношение гротескной или нелепой одежды; в унылой или бесплодной обстановке»<sup>33</sup>. Я бы не стал использовать термин

---

<sup>32</sup> Diane Arbus: An Aperture Monograph for The Museum of Modern Art (New York: MOMA, 1972).

<sup>33</sup> Susan Sontag, «Freak Show», New York Review of Books, 15 Nov. 1973, 13 (второе из трех эссе, позже опубликованных под названием «О фотографии»). Все приведенные ниже цитаты взяты из оригинальной публикации.



«монстр» даже в ироническом смысле; во всяком случае, около четверти фотографий представляют вполне «нормальных» людей, ни в коем случае не уродов. Посмотрите «Женщину с вуалью», «Женщину на скамейке в парке», «Женщину с медальоном», «Четырех человек на открытии галереи», на нудистов и танцующую топless. Ни одна из них не является даже отдаленно чудовищной. А что такое «пограничные случаи»?

Буквальные описания Зонтаг узнаваемы; мы оба видели одни и те же фотографии. Но с этой точки зрения расхождение полное. Я приведу четыре примера.

*«Работы Эрбус не побуждают зрителей идентифицировать себя с изгоями и несчастными людьми, которых она фотографировала. Человечество не «единообразно». Ее послание антигуманистично».*

Это невероятно. На мой взгляд, фотографии Эрбус не только явно «приглашают» к идентификации, но и мгновенно достигают ее. И делает она это самым необычным образом с полным осознанием того, «что невозможно переместиться из своей кожи в чужую, ... что невозможно воспринимать чужую трагедию как собственную»<sup>34</sup>. Правда, некоторые люди выглядят несчастными, но многие вовсе не таковы. Один из близнецов на обложке выглядит вполне довольным; две группы умственно отсталых молодых женщин на фото «Без названия» смеются; большинство нудистов выглядят глупо, но счастливо; двое трансвеститов улыбаются; прекрасные «Танцующие еврейские пары» светятся счастьем. Эрбус увидела и показала нечто совершенно ошеломляющее: «Большинство людей проживают жизнь, опасаясь, что их ждет травмирующий опыт. Необычные рождаются со своей травмой. Они уже прошли испытание жизнью»<sup>35</sup>. Они достигли странного спокойствия; ужасное уже произошло. Я вижу это на фотографиях каждый раз, но Зонтаг не видит никогда. Да, я согласен, что Эрбус аполитична. Но «антигуманистична»? Нет сомнения, ее послание в целом «гуманистическое».

*«Двусмысленность работ Эрбус заключается в том, что она, кажется, участвовала в одном из самых заметных проектов*

---

<sup>34</sup> Diane Arbus, 2.

<sup>35</sup> Ibid., 3.

*художественной фотографии – концентрируясь на жертвах, несчастных, обездоленных – но без той сострадательной цели, которой, как ожидается, будет служить такой проект. Творчество Эрбус показывает людей жалких, несчастных, а также ужасных, отталкивающих, но никаких чувств сострадания оно не вызывает».*

Фотографии, возможно, не вызовут чувства сострадания у Зонтаг. Но такое чувство поразило меня мгновенно и остается таким же сильным и двадцать пять лет спустя. Я не вижу ни малейшего следа «двусмысленности».

*«Фотограф не только не подсматривала за уродами и изгоями и не застигала их врасплох, а знакомилась с ними, чтобы они позировали ей... Наибольшая загадка фотографий Эрбус заключается в том, что они рассказывают о том, что чувствовали ее субъекты после того, как согласились сфотографироваться. Видят ли они себя, задается вопросом зритель, именно такими? Знают ли они, насколько они гротескны? Создается впечатление, что нет».*

Утверждает ли Зонтаг, что она предпочла бы, чтобы фотограф за этими объектами шпионила и тайно фотографировала? Ее риторическая «загадка» о том, как эти люди видят себя, нелепа и унижительна. Это не люди-волки из лесов: это существа социальные; они видят и знают других людей; у них есть зеркала; у них есть братья и сестры, родители и дети, соседи; они смотрят кино и телевидение. Предположение Зонтаг о том, что они не осознают своего предполагаемого уродства, гротескно. То же самое можно сказать и о ее бессмысленном обвинении в том, что работа Эрбус «исключает больных, которые, по-видимому, знают, что они страдают, например, вследствие несчастных случаев, войн, голода и политических преследований».

*«Поскольку просмотр большинства этих фотографий, несомненно, является испытанием, работы Эрбус типичны для того вида искусства, который сейчас популярен среди искушенных горожан: искусства, которое является добровольным испытанием на твердость. Фотографии дают повод продемонстрировать, что с ужасами жизни можно столкнуться без брезгливости... Работы Эрбус – хороший пример ведущей тенденции высокого искусства капиталистических стран: подавить или хотя бы уменьшить моральную и чувственную тошноту. Большая часть современного искусства посвящена снижению порога ужасного».*

Лично я никогда не считал просмотр этих фотографий «испытанием». Я предполагаю, что под «понижением порога» Зонтаг подразумевает включение в определение человека уродливых, покалеченных, сексуально странных людей или людей, которые очень плохо справляются с тестами IQ. Если так, то мы должны быть вечно благодарны Диане Эрбус и другим искушённым городским капиталистам.

Я перечислил свои разногласия с Зонтаг не для того, чтобы принизить ее критические способности по сравнению с моими. Напротив, нет никакого сомнения, что она гораздо лучше меня осведомлена об эстетике, фотографии вообще и творчестве Эрбус, в частности. Я привожу это как болезненный пример того, как люди, живущие в одном моральном мире, видят одни и те же образы совершенно по-разному. Я принадлежу к той же крошечной субкультуре, что и Зонтаг: средний класс, интеллигент, англо-говорящий, в культурном отношении англо-американский, того же поколения, леволиберальные политические взгляды, космополитичный, испорченный. Однако каждую фотографию Эрбус, которая впечатляла меня своей честностью, человечностью и состраданием, Зонтаг объявляла лишённой всех этих качеств.

Я мог бы обратить направление, позаимствовав критические замечания Зонтаг, чтобы описать свою реакцию на работы другого фотографа, фиксирующего страдание. В мире помощи и прав человека есть много людей, чье мнение я уважаю и которые восхищаются работами Себастьяна Сальгадо. Его мгновенно узнаваемые фотографии – беженцев, рабочих, крестьян – широко хвалят за социальную документальность и «художественный» реализм. Но какими бы безупречными ни были намерения Сальгадо, я считаю его работы полностью эстетствующим ответом на страдания. Фотографии представляют собой приукрашенные трагедии с неуместными намеками на религиозную символику: женщина-беженка, похожая на Мадонну, держит на руках похожего на Христа ребенка. Эти изображения совершенно не трогают меня: некоторые я нахожу оскорбительными, другие просто смущают. Для меня это фотографии, которые нужно собрать в книжке на журнальном столике или прикрепить к стене в комнате школьника.

Эстетический релятивизм, однако, не означает, что не может быть универсального ответа на страдание. Этот ответ может быть

(и должен быть) не чем иным, как раздраженным ответом Генерального секретаря ООН Кофи Анана в 1998 году на вопрос журналиста о том, разделяют ли «африканцы» те же ценности прав человека, что и европейцы: «Почему бы вам не спросить мать в Руанде, что она чувствует по поводу того, что ее ребенка убил эскадрон смерти?»

Однажды я подумал, что нашел свой образ, отрицать который невозможно. Это была незабываемая фотография истощенного мальчика-альбиноса во время войны в Биафре, сделанная Доном Маккалином в 1969 году. Этот образ оставался со мной тридцать лет. Это было подкреплено воспоминаниями Маккалина о том, что он чувствовал в то время. Он попал в миссионерскую школу, превращенную в больницу для 800 детей, осиротевших на войне.

Когда я вошел, я увидел маленького мальчика-альбиноса. Быть голодающим биафранским сиротой означало оказаться в самом плачевном положении, но быть голодающим альбиносом в Биафре означало оказаться в положении, не поддающемся описанию. Умирая от голода, он по-прежнему оставался среди сверстников объектом остракизма, насмешек и оскорблений. Я увидел, как этот мальчик смотрит на меня. Он был похож на живой скелет. В нем была какая-то скелетная белизна. Он приближался ко мне все ближе и ближе. На нем были остатки плохо сидящего свитера, и он сжимал в руке банку из-под тушенки, пустую банку из-под тушенки.

Мальчик посмотрел на меня пристально, что вызвало неприятное ощущение, и оно терзало меня чувством вины и беспокойства. Он приближался. Я старался не смотреть на него. Я попытался сфокусировать взгляд на чем-то другом. Некоторые французские врачи из «Врачей без границ» пытались спасти умирающую девочку... Они пытались оживить девочку, воткнув ей иглу в горло и делая ей закрытый массаж сердца. Зрелище было почти невыносимым. Она умерла на моих глазах. Самый маленький и самый печальный человек, которого я когда-либо за весь свой мрачный опыт видел умирающим. Краем глаза я все еще мог видеть мальчика-альбиноса. Я поймал вспышку белизны. Он преследовал меня, приближаясь. Кто-то предоставил мне статистику страданий, ужасную кратность этой трагедии. Когда я смотрел на этих мрачных жертв лишений и голода, мои мысли вернулись к моему собственному дому в Англии, где мои дети почти того же возраста были небрежны и бесцеремонны с едой, как это часто бывает с западными детьми. Попытка найти баланс между этими двумя видениями вызывала во мне своего рода душевную муку.

Я почувствовал, как что-то коснулось моей руки. Мальчик-альбинос подкрался ближе и вложил свою руку в мою. Я почувствовал, как слезы выступили у меня на глазах, когда я стоял там, держа его за руку. Я думал, думал о чем-нибудь еще, о чем-нибудь еще. Не плачь перед этими детьми. Я сунул руку в карман и нашел одну из своих ячменных сахарных конфет. Я тайком передал его в руку мальчику-альбиносу, и он ушел. Он стоял недалеко и медленно неуклюжими пальцами разворачивал конфету. Он лизнул конфетку и уставился на меня огромными глазами. Я заметил, что он все еще сжимал в руках пустую банку из-под тушенки, стоя и деликатно облизывая сладость, как будто она могла исчезнуть слишком быстро. Он не выглядел человеком, как будто крошечный скелет каким-то образом ожил...

Это было за пределами войны, это было за пределами журналистики. Это было за пределами фотографии, но не за пределами политики. Эти невыразимые страдания не были результатом одного из стихийных бедствий в Африке. Здесь действовал не меч природы, это был результат злых желаний человека. Если бы я мог, я бы вычеркнул этот день из своей жизни, стер память о нем<sup>36</sup>.

Фотокамера Маккалина (он сравнил ее с зубной щеткой, просто выполняющей свою работу) открыла нам глаза, которые нелегко ослепить или даже повернуть. Хотя бы на мгновение, мы должны посмотреть. Джон Бергер, рецензируя работы Маккалина, описывает, что происходит: эти фотографии «заставляют нас остано-виться»; они буквально «затягивают»; мы «захвачены ими»; «момент страдания другого поглощает нас»<sup>37</sup>. Результатом может быть *отчаяние* (которое беспомощно принимает на себя часть страданий другого) или *негодование* (которое требует действий). Мы ощущаем радикальный разрыв, когда покидаем застывший «момент» фотоизображения и возвращаемся в нашу собственную жизнь: «Контраст таков, что возобновление нашей жизни кажется безнадежно неадекватной реакцией на то, что мы только что видели»<sup>38</sup>. Момент агонии был изолированным, оторванным от нормального времени и пространства.

---

<sup>36</sup> Don McCullin, *Unreasonable Behaviour* (London: Vintage, 1992), 123–4.

<sup>37</sup> John Berger, «Photographs of Agony» (1972), reprinted in *About Looking* (New York: Pantheon, 1986), 38.

<sup>38</sup> Ibid.

Однако этот разрыв не является нашей личной реакцией или ответственностью: *любая* реакция на такие зафиксированные моменты обязательно будет ощущаться неадекватной. Эти моменты агонии существуют сами по себе; они должны быть не связаны с другими моментами нашей собственной жизни. Однако мы знаем, что образы страданий предназначены для того, чтобы вызвать шок, признание, беспокойство и действие. Вот что мы должны чувствовать. Но, утверждает Бергер, как только мы ощущаем разрыв как нашу собственную моральную неадекватность – и либо игнорируем его как часть человеческого существования, либо совершаем своего рода покаяние, давая деньги ЮНИСЕФ – мы отодвигаем проблему вглубь. Мы беспокоимся о нашей собственной моральной несостоятельности или нашей психической склонности отрицать – вместо того, чтобы обратиться к политической критике злодеяний<sup>39</sup>.

Я часто вспоминаю об этом мальчике-альбиносе. Бергер описывает, как такие образы захватывают людей. Но он вскользь и в скобках замечает: «Я знаю, что есть люди, которые их обходят стороной, но о таких нечего сказать». Мне не хотелось бы в это верить.

---

<sup>39</sup> Ibid.

## Оглавление

Предисловие	1
Благодарности	10
<b>1 Элементарные Формы Отрицания</b>	<b>13</b>
Психологический статус: сознательно или бессознательно?	16
Содержание: буквальное, интерпретационное или подразумеваемое?	21
Организация: личная, культурная или официальная	25
Время: историческое или современное?	28
Действующее лицо: жертва, преступник или наблюдатель?	31
Пространство и место: свое или чужое?	37
<b>2 Знание и Незнание: Психология Отрицания</b>	<b>41</b>
Ежедневное отрицание	41
Психоанализ отрицания	46
Ложь и самообман	66
Когнитивные ошибки	73
<b>3 Отрицание в Действии: Механизмы и Риторические Приемы</b>	<b>87</b>
Нормализация	87
Защитные механизмы и когнитивные ошибки	89
Сговор и сокрытие	108
Ежедневные наблюдатели	115
<b>4 Обоснования Зверств: Преступники и Официальные Лица</b>	<b>127</b>
Преступники: обоснования как отрицания	128
Дискурс официального отрицания	165

<b>5</b>	<b>Вычеркивание Прошлого:</b>	
	<b>Личные Воспоминания, Публичные Истории</b>	<b>188</b>
	Прелюдия: вытеснение	190
	Личные воспоминания, личное прошлое	192
	Личное отрицание, общественные истории	199
	Коллективные отрицания, общественные истории	212
<b>6</b>	<b>Государства-наблюдатели</b>	<b>223</b>
	Пролог: «У нас этого не может случиться»	223
	Внутренние свидетели	226
	Внешняя аудитория	251
<b>7</b>	<b>Образы Страданий</b>	<b>264</b>
	Умиротворение медиа-зверя	265
	Голодающий африканский ребенок – образ и реальность	279
	Усталость от просвещения	290
<b>8</b>	<b>Призывы: Возмущение в Действии</b>	<b>306</b>
	Рассказ о призывах	307
	Проблемы	315
<b>9</b>	<b>Раскапывая Могилы, Вскрывая Раны:</b>	
	<b>Признание Прошлого</b>	<b>344</b>
	Формы признания	351
	Признание и общественный контроль	371
	Чрезмерное признание	377
<b>10</b>	<b>Признание Сейчас</b>	<b>383</b>
	Значение признания	385
	Говорить правду	391
	Вмешательство: просоциальное поведение и альтруизм	400
	Расширение признания	408



<b>11 На Пути к Культуре Отрицания?</b>	<b>425</b>
Интеллектуальное отрицание	427
Большее или меньшее отрицание	438
Фотография никогда не лжет	451
Оглавление	459